

Н О В Ы Й
М И Р

2

Н О В Ы Й
М И Р

1955

2

1955

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 2

Февраль, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
МАРК МАКСИМОВ — В армейскую годовщину, стихи	3
Е. ВИНОКУРОВ — Солдатские стихи	7
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ — Растут сыновья, стихи	9
АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ — Екатерина Воронина, роман. Продолжение	13
С. МАРШАК — Семь стихотворений	104
ЕВГ. ПЕТРОВ, Г. МУНБЛИТ — Беспокойный человек, кинокомедия	107
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Слёзы. Мой стих, стихи	151
АРКАДИЙ РЫВЛИН — Обида. В нашем доме. Мальчишка и солнце, стихи	152
ГОВАРД ФАСТ — Сайлас Тимбермен, роман. Продолжение. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова	154
ПУБЛИЦИСТИКА	
Кандидат архитектуры Г. ГРАДОВ — Проблемы нашей архитектуры	198
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ	
Кандидат технических наук И. АБРАМОВ — Пути развития советской техники	206
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
Н. Н. МИХАЙЛОВ — Поэзия науки	218
ДОКУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ	
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА А. Н. ТОЛСТОГО «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»	225
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА — Проза альманаха «Советская отчизна»	229
Г. БЯЛЫЙ — Реализм Гаршина (К 100-летию со дня рождения писателя)	237
Трибуна читателя	
О ВОСПИТАНИИ ВКУСА	247

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	255
Л. Лазарев. Роман о Москве. — А. Шагалов. Морская служба. — Е. Городецкая. Була и Волга. — Н. Мацуев. Большое и нужное дело. — Н. Дьяконова. «Весна, которую предали».	
<i>Политика и наука</i>	267
Д. Льдов. Тайвань сегодня. — С. Князева. Страницы скорби и мужества. — Кандидат военных наук подполковник О. Кузуб. Передовая военная наука. — Ю. Давыдов. Русские на Средиземном море. — Кандидат исторических наук А. Николаева. Памятники русской культуры. — Н. Болотников. Записки натуралистов Арктики. — А. Иглицкий. Заслуженные победы.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285

МАРК МАКСИМОВ

★

В АРМЕЙСКУЮ ГОДОВЩИНУ

ПИСЬМО РОВЕСНИКУ

Говорят, что люди начинают
детство удивительно похоже —
тихим словом «мама» на заре.
После их качают и катают,
яблони цветут и облетают,
юность незаметно прилетает,
мужество? Его приходу тоже
точной даты нет в календаре.

На перекладных плетётся час.
Вырастают, женятся, стареют...
Так ли это? Может быть, до нас
жили так. Но мы — куда скорее!..

Память начинается, упрямо
путая слова и имена:
говорят, что первым было — мама,
только нам запомнилось — война.

Нам с тобой запомнилась могила,
где по-вдови выплакалась мать,
обняла тебя и обронила:
— Только бы, сынок, не воевать...

В нашу коммунальную квартиру —
не могу забыть её с тех пор —
как-то мы втащили карту мира
с дыркой вместо Пиренейских гор.

Примусы шипели, жаря, шкваря,
но уже во всю земную ширь
круглыми

плечами
полушарий
прямо в кухню вламывался мир.

Он ещё так мало знал про атом,
мы — про назначение штыка.
Мир казался просто старшим братом
нашего ребячьего мирка.

Трёхкилометровки — те в планшете,
детству непонятны рубежи.
Человек родился на планете —
чем он не хозяин ей, скажи?

Мы в ручьи пустили пароходы,
сказочные строили порты,
сапоги обули, скороходы,
сшитые без дратвы — из мечты.

А фашизм уже навёл винтовки
прямо в наши детские сердца,
разделив на трёхкилометровки
карту полушарий до конца.

И ещё по-вдовьи мать молила:
— Только бы, сынок, не воевать! —
а уже отцовскую могилу
мы учились братской называть...

Поуплыли наши пароходы,
поотстали наши скороходы.
Время так спешило, так спешило —
половины сказок нас лишило.

Ну, да мы не сетуем на это:
по плечу пришлась тебе война.
Здравствуй, карта полушарий света!
До чего же ты изменена!

Наш солдат заслуженную каску
с иностранной пылью сдал в запас,
нашу недослушанную сказку
светлой былью делает сейчас.

Но одно попрежнему: по-вдовьи
ночью слёзы вытирает мать
и ребёнку шепчет в изголовье:
— Только бы, сынок, не воевать.

Для тебя с подругой звёзды блещут
сбещаньем завтрашнего дня.
Я люблю. И лучшая из женщин
не желает
потерять меня.

Ни на час
разлуки не желает.
Верит: если что — пойдёт со мной.
Я молчу. Но военком-то знает,
что жена — женой, война — войной.

Нам с тобою, брат, не отмахнуться
ст недоброй памяти о ней,
нам нельзя с угрозой разминуться,
не бороться с ней — нельзя вдвойне.

Нет, не мы встревожим день весенний,
нам бы жить в труде и тишине:
дело вражье — начинать сраженьё.
наше дело — побеждать в войне.

ПРО АТОМ

Профессор нам рассказывал про атом, —
седой и крутолобый человек
из тех, кто взял букварь в году двадцатом,
а после в руки взял двадцатый век.

Такой шагнёт с отцовского порога,
и всё его: тропа до большака,
и торная районная дорога,
и Млечный путь, нехоженный пока!..

Так вот, вода по схемам мудроватым
своей указкой битых два часа,
профессор нам рассказывал про атом
и на колени ставил чудеса.

Всё по-крестьянски прочно, терпеливо:
сначала об урановом котле,
потом о реках, вспять бегущих к нивам,
а под конец — уже не о Земле!

Сначала — нестерпимое сиянье,
и океан плеснул за облака,
и встала дамба в Тихом океане,
соединяя два материка.

А под конец — уже земную славу
унёс корабль в космический простор,
и Марс проплыл и вспыхнул где-то справа,
как за курьерским красный светофор.

И долго с неба не спускаться нам бы,
до звёзд подать рукою — так близки...
Да как нам быть, профессор, с вашей дамбой —
уж больно далеки материки!

Но он — весёлый, властный, увлечённый —
нас всё водил по сказочной стране...
Кухаркин сын, заслуженный учёный,
неужто позабыл он о войне?

Забыл, в мечтах о нивах плодородных,
забыл, в своём космическом рывке,
что думают о взрывах водородных
дельцы
на том, другом, материке?!

Он шёл к звезде и вёл беседу с нею,
спокойно льдины плавил на огне...

А ты, моя любимая, ко мне
в тревоге прижималась всё теснее.
Что ж, не стыдись: пред целым белым светом
твой страх священен — ты жена и мать...

Но мы поедem к морю этим летом!
И сможем сына в первый класс отдать!
Заставим атом слушать человека,
и плавить льды, и не шуметь зазря,
и будем гнать, куда прикажешь, реку,
и дамбы поднимать через моря,
любить, мечтать и с дерзким интересом
планету Марс отыскивать в ночах:

про атом нам рассказывал профессор
в погонах генеральских на плечах!



Е. ВИНОКУРОВ

★

СОЛДАТСКИЕ СТИХИ

О Т Ц Ы

У возвратившихся с фронта отцов,
Мешки и под сумки облазив,
Ребята не просят цветных леденцов,
А просят серьёзных рассказов.

И вот, уступив настоянъям ребят,
Отцы им, пока не стемнело,
Как взрослым, о жизни своей говорят
И глядят их неумело.

А дети задремлют,
наград боевых
Касаясь во сне головою, —
Отцы осторожно баюкают их
Песенкою строевою.

О КРАСОТЕ

На небо взглянешь — звёзд полночных тыщи!
Что юности в блескучей высоте?
Но яростнее, чем потребность в пище,
Была у нас потребность в красоте.

Нам красота давалась понемножку...
По вечерам, когда шумел привал,
Сапожник ротный, мучая гармошку,
Её для нас упорно добывал.

Она была минутной и не броской:
Мелькнёт — и нет! Под утро вдалеке,
На горке, — стеариновой берёзкой,
В ночи —
луной, раздробленной в реке.

А то бывало: осень, вязнут танки,
И чад, и гарь, и вдруг она возьмёт —
И чистым взором познанской крестьянки
Из-под платка, лукавая, блеснёт.

Земля омыта
летними дождями.
Нам вдаль итти
с припевом строевым,
нам вдаль итти,
где прочно, как гвоздями,
прибита пыль
к дорогам полевым.

Ещё темно,
звезда моргнёт
и канет.
Весь долгий день
шагать придётся,
брат.
В пути рассвет
по спинам нашим встанет,
по лицам нашим
спустится закат.

И там, в пути,
среди июльской лени
на перекур усядемся под рожь.
И ты, пилотку
глядя на колене,
свои стихи мальчишечьи
прочтёшь.
И будет в них
луна над белым садом,
и будет небо
в зареве на треть,
и та,
с которой ты хотел бы рядом
над дымною рекою
посидеть.

Они грустящей молодостью дышат,
в них звонких рифм
весёлая игра...
Но кто ж стихов
в семнадцать лет
не пишет?..

Вставай-ка, друг,
уже зовут,
пора!

Пред нами путь,
сияет ночь звездами,
нам вдаль итти
с припевом строевым.
Нам вдаль итти,
где прочно, как гвоздями,
прибита пыль
к дорогам полевым.



ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

★

РАСТУТ СЫНОВЬЯ

СТАРАЯ ПЕСНЯ

За холодными стёклами тополь скрипел,
А в печи огонёк растревожен.
Кто-то старую песню в казарме запел,
Словно выхватил саблю из ножен.

И сержант, повторяя слова невпопад,
Лишь бы в песне не замерло чувство,
Вспомнил вдруг, как привёз её с фронта солдат
И как пел на завалинке грустно.

Он тогда её слушал, разинувши рот,
За солдатом следя неотрывно,
И мечтал он от мамы податься на фронт
В свои девять годков допризывных...

А сидящий у печки высокий боец,
Услышав её, вдруг вострепнулся:
С этой песней на фронт отправлялся отец,
А обратно домой не вернулся.

А наводчик-узбек тоже песне внимал,
На полу примостившись удобней,
И по-своему песню сейчас понимал,
И глядел на огонь исподлобья.

Думал он, что серьёзная вещь — миномёт,
И о том, что по дому он тужит,
И что русскую девушку в жёны возьмёт
И в Ташкент увезёт, как отслужит...

Лишь майор, что на койку присел к старшине
И притих, зачарованный словно,
Только он, свою юность отдавший войне,
Понимал эту песню дословно.

И ему показалось, что это они,
Эти хлопцы, что рядышком пели,
Были с ним на войне в те далёкие дни
И под плотным огнём не робели.

Но только на войне в полках
Другое построенье.
Там суть не в ровных каблуках
И не на рост равнение.

Когда придётся в бой итти
И порохом потянет,
Кто всех смелей — тот впереди,
На правом фланге встанет.

Он, может быть, и ростом мал,
И статью он не вышел,
И в мирный день в строю стоял
За теми, кто повыше,

Но вот он бросился вперёд,
Рванулся в наступление —
И на него весь полк берёт
Высокое равнение.

НА ПАРОМЕ

Поперёк течения лёгкого
Через Волгу плыл паром.
Словно часть пути далёкого
Отрубили топором —

И пошёл он с пешеходами,
С рядом замерших машин,
С запылёнными подводами
И с автобусом большим.

И тогда на радость малому,
Что у поручней играл,
Спрыгнул молодо на палубу
Из машины генерал.

У него фигура стройная,
Брови низкие седые.
На щеке рубцы у воина —
Боевых деньков следы.

И как будто замороженный,
Тронув мягкий козырёк,
На него глядит восторженно
Черномазый паренёк.

Он глазёнки вездесущие
Вскинул, кепку теребя,
Словно смотрит в дни грядущие,
Словно видит в них себя:

То на нём штаны с лампасами
И фуражка со звездой,
Кобура с боеприпасами,
Сабля с кистью золотой.

Это он в походы хаживал
В дни суровые войны,
Это он врагов отваживал
От родимой стороны.

Паренёк в уме прикидывал,
Размечтавшись, что к чему.
И не знал он, что завидовал
Генерал седой ему.

Старый воин смелым росчерком
Скинул сорок лет долой
И таким же стал он хлопчиком,
Вот как этот — удалой.

То на нём ботинки папины
На пудовых каблуках,
И почётные царшины
На обветренных ногах.

Как орешек нерасколотый,
Сердце юное крепко.
И опять в запасе молодость,
И опять шагать легко.

И весь путь, однажды пройденный,
Можно заново пройти.
Можно снова милой Родине
Жизнь и силы принести.

Правый берег удаляется,
Изгибается дугой.
Левый — рядом появляется,
До него подать рукой.

И под ветром, в спину дующим,
Шум мотора зачистил.
Кто задумался о будущем,
Кто о прошлом загрустил.



АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

★

ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА

*Роман**

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава двенадцатая

Институт Екатерина Воронина окончила в 1950 году. Её, выросшую на судне, всегда манил образ женщины-капитана. Но постепенно в этом образе она стала чувствовать что-то излишне картинное, вызывающее общее любопытство. Да и интересы, возникшие у неё с течением времени, побуждали её работать на берегу. После института она три года проработала в порту сменным инженером второго участка.

Здесь Катя приобрела репутацию человека знающего, твёрдого, но недостаточно гибкого. У неё часто бывали столкновения с людьми. Не все её любили. Но когда Катю принимали в члены партии, то на партийном собрании никто не мог сказать о ней ничего плохого. С ней можно было спорить, можно было жаловаться на неё, но не уважать её нельзя было.

Начальник порта Елисеев, старинный друг её отца, высокий старик с подстриженными ёжиком седыми волосами и со склеротическим лицом человека, пьющего не много, но систематически, говаривал ей:

— Ты, Екатерина, того, не своевольничай. Рай-то, он далеко, а мы на земле живём. Работать надо оперативно. Так что уж давай в одну дудку дудеть.

— Приспосабливаться к условиям — это ещё не оперативность, — отвечала Катя.

Заботы, которые изо дня в день, из года в год заполняли всё катино время, стали сущностью её жизни. К тридцати годам Катя успела внушить себе (сначала в шутку, потом всерьёз), что она уже старуха и что личная жизнь не удалась.

— Ох-хо-хо, — вздыхала Анастасия Степановна, привыкшая вечно жаловаться на судьбу, — совсем измаялась Катерина. Женское ли дело со шкиперами да грузчиками лаяться? Лица на ней нет, придёт — и на кушетку. Скоро тридцать, а ни мужа, ни семьи... А так ведь всем взяла. И учёная и из себя видная.

Бабушка со свойственной ей пронизательностью понимала всё и писала:

«По нынешнему времени девки все замуж торопятся. Да где на них на всех женихов взять? Вон сколько мужиков война побила. Уж чем с шалопутом маяться, лучше одной жить, посвободнее...»

За Катей, конечно, ухаживали. Красота её приобрела теперь ту полноту и яркость, которых не хватало раньше. Её энергичное лицо было

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

немного скуласто, но черты его были тонки и правильны, а серые блестящие глаза — одухотворены тем сильным выражением ясного ума и спокойного достоинства, которое бывает у женщин в этом зрелом возрасте. Расчёсанные на прямой пробор тёмнокаштановые волосы обрамляли широкий чистый лоб. Серый костюм, длинный и свободный в талии, не мог скрыть гибкости её фигуры. Глядя на неё, думалось: эта женщина будет стройна и в старости. В ней было здоровье человека труда и интеллигентность — сочетание, столь характерное для послереволюционных поколений.

В институте подруги делились с ней своими секретами. Она выслушивала их со снисходительностью взрослой женщины. Она никому не рассказывала о своём прошлом. Но в катиной сдержанности, в понимании всего, в решительности её суждений подруги чувствовали превосходство, не замечая, что сама Катя этим превосходством тяготилась: она была лишена девических радостей, не обретая женских. С каждым годом она ощущала своё одиночество всё сильнее и сильнее.

Будь у неё ребёнок, она не была бы так одинока. Приходя к Ермаковым, она с нежностью поглядывала на сониных ребятишек: восьмилетнего Васю и шестилетнюю Надю, играла с ними, приносила подарки, гордилась тем, что дети любят её и радуются её приходу.

В эти минуты Соня с особенной добротой и жалостливостью поглядывала на неё. Но о катиной жизни никогда не заговаривала. Только однажды в порту спросила её:

— Катюша, ты что завтра вечером делаешь?

— Завтра... Как будто ничего. А что такое?

— Приходи к нам, посидим...

Ермаковы часто приглашали к себе Катю, и сегодняшнее приглашение не могло её удивить. Но на этот раз Катя уловила в сониных словах какую-то особенную интонацию, смущение, прикрытое лукавством, некоторую преднамеренность, отсутствие той простоты и душевной ясности, которые были присущи Соне и так приятны в ней.

— А что у тебя завтра?

— Да ничего, посидим, поболтаем, чай попьём, — ответила Соня и засмеялась не так, как она смеялась обычно, а как-то по-другому. И всё это было очень странно в простодушной Соне.

— А кто у тебя будет?

— Кто... Все свои: я, Николай, мама... Ну, потом один бывший колин политрук придёт, они вместе в армии служили. Он, знаешь, научный работник, умный такой, душевный человек. И не старый, чуть постарше тебя...

И, видимо, решив, что хитрить нечего, Соня улыбнулась доброй, но Chesкoлькo двусмысленной улыбкой.

Катя нахмурилась.

— Жених?

— А что, может быть, — серьёзно ответила Соня. — Ведь никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.

Катя молчала. В сущности, всё это очень оскорбительно: желание устроить её судьбу, точно она сама не может устроить её, деловитость, как будто любовь и жизнь решаются тем, чтобы выйти удачно замуж...

Если бы это сказала не Соня, а кто-то другой, то Катя ответила бы так, как она умела отвечать... Но ведь это Соня, добрая, жалостливая Соня, которая хочет всем добра, а уж ей, Кате, тем более, и которая вот уже сама смотрит на неё тревожно и виновато. Засмеявшись, Катя ответила:

— Нет, Сонечка, я завтра не приду. А научный этот работник, бог с ним! Не надо... И говорить об этом не надо...

— Ах, Катюша, — проникновенно сказала Соня и своей маленькой рукой тронула гигантскую металлическую опору крана, — неужели этим кранам да теплоходам жизнь отдать?

Катя молча смотрела на реку. Огромный порт на много километров растянулся по берегам Волги и Оки в том месте, где они сливаются друг с другом. Он казался безмолвным — его звуки как бы поглощались молчаньем реки. Но за этим безмолвием угадывалась напряжённая, ни на минуту не прекращающаяся жизнь... Поворачивались стрелы кранов, плыли в воздухе грузы и огромные ковши с углем и песком, виднелись дымки паровозов и длинные ленты движущихся железнодорожных составов, подъезжали и отъезжали автомашины, от причалов отваливали суда, и тогда река оглашалась рёвом их гудков... Тысячи людей трудятся здесь, невидимые в башнях своих кранов, в будках паровозов, кабинах автомобилей, машинных отделениях пароходов. Но они там есть, они создают всё это мощно осязаемое движение... Это — народ, служение которому было делом её жизни, нужды, радости, невзгоды и дерзания которого были сущностью её собственного бытия.

Продолжая смотреть на реку, Катя медленно проговорила:

— Кранам и теплоходам нельзя отдать жизнь. Но тому, что есть за ними и за всем этим, — широким движением руки она показала на реку, на порт, на город, — можно.

Только отец никогда не говорил о катином одиночестве. Между ним и Катей давно установилось то молчаливое понимание, та взаимная нежность, которые возникают между отцом и дочерью в доме, где мать, по тем или иным причинам, не становится центром семьи и дочери в какой-то мере приходится заменять её.

Иван Васильевич плывал теперь капитаном грузового теплохода «Керчь» — одного из новых прекрасных судов, появившихся на наших реках после войны. Когда отец возвращался из плавания, Катя смотрела на его морщинистое, обветренное, изрытое синими точками порохowego ожога лицо, и ей, как всегда после долгой разлуки, казалось, что он ещё больше постарел. Её охватывала жалость к отцу, к его старости, одиночеству. Все его считают суровым и угрюмым стариком, а он угрюм потому, что не в силах изменить существующее положение вещей, не в силах устранить простои, которые отражаются на заработке подчинённых ему людей. Все попытки Кати помочь отцу и другим капитанам, чьи суда простаивали на её участке, в её смену, не давали результата.

В январе 1953 года Катя была назначена начальником второго участка. Она начала деятельно готовиться к предстоящей весне: в эту свою первую самостоятельную навигацию она сделает всё, чтобы на участке суда грузили так, как это должно быть, а не так, как к этому все привыкли. Катя не изобретала ничего нового. Она была твёрдо убеждена: скоростная обработка судов — это прежде всего порядок и организованность. А порядка и организованности может добиться каждый. Надо только проявить волю и настойчивость.

— Скоростная погрузка — вещь, конечно, хорошая, — сказал Иван Васильевич, — только одним участком задачи не решишь. Громаду надо своротить: и флот, и железную дорогу, и клиентуру. Тут с большого верха должны действовать. А ты песчинка.

Этот разговор происходил между ними не впервые, и Катя ответила:

— Что я тебе скажу, папа... Ответу тебе прописной истиной: каждый на своём месте должен делать всё от него зависящее. Только тогда можно добиться общего результата.

Получилось так, что навигация 1953 года открывалась погрузкой теплохода «Керчь».

Одетая в чёрное форменное платье, Катя стояла на причале, вглядываясь в противоположный берег Волги, откуда должен был появиться теплоход. Причалная стенка серой железобетонной громадой нависала над водой. Работники порта и пароходства в таких же, как и Катя, чёрных шинелях, распахнутых и раздуваемых ветром, празднично одетые грузчики и грузчицы, незнакомые люди в штатском — представители городских организаций — оживлёнными группами заполнили участок. Они расхаживали по блестящим на солнце подкрановым путям, вдоль железнодорожной колеи, на которой стояли вагоны с лесом, сидели на бетонных платформах складов, на ящиках и тюках, смеясь, разговаривая, нарушая своим присутствием привычный порядок на участке.

Когда перед большим собранием людей молодой руководитель проходит своё первое ответственное испытание, его беспокойство часто сосредоточивается на одном человеке, обычно на том, чьё мнение является здесь решающим. Такое чувство испытывала и Катя, и этим человеком был начальник пароходства Леднёв, сравнительно молодой, но представительный генерал, стоявший в окружении руководящих работников пароходства и порта.

Катя была знакома с Леднёвым в той мере, в какой может быть знаком с начальником пароходства рядовой работник одного из портов. При своём назначении в порт, она ему представилась, дважды он посетил участок во время её дежурства, несколько раз она слышала его выступления на совещаниях в порту и в пароходстве. Сейчас, здесь, он олицетворял для неё высшие инстанции, отношение которых к её работе не могло её не интересовать. Но на бесстрастном лице Леднёва нельзя было прочесть ни сочувствия, ни осуждения, ни даже безразличия. Это лицо выражало спокойную отчуждённость человека, который находится в центре внимания, знает это и привык к этому, а потому и привык держаться перед людьми с той многозначительной сдержанностью, которая как бы говорит: «Я всё вижу, всё знаю, но своё отношение ко всему этому я покажу только тогда, когда придёт время и надо будет сказать решающее слово».

Около Леднёва стоял начальник порта Елисеев. Тут же расхаживал начальник железнодорожной станции Кушнеров — маленький, толстенький брюнет в очках, с толстыми губами и красной шеей. На лице у него было недовольное выражение человека, который знает, что хотя он всё сегодня обеспечил, но его всё равно будут ругать, потому что такова уж традиция — всё сваливать на железнодорожников.

Войдя в фарватер реки, «Керчь» развернулась и, прибавляя ход, пошла в направлении порта. Здесь, на просторе широко разлившейся Волги, теплоход казался совсем маленьким. Река была безбрежной и пустынной. Только таял в голубой дымке дальний берег, ещё затопленный водой, с зелёными островками, рошицами и перелесками, точно выраставшими из воды белыми домиками, окружёнными купами деревьев.

Порожнее судно сидело высоко в воде. Как у всех грузовых теплоходов, его надстройка помещалась на корме. И от этого нос теплохода, казался, сидел ещё выше, а сама надстройка, увенчанная застеклённой рубкой, выглядела, наоборот, маленькой и лёгкой, и не верилось, что в ней расположены все служебные и жилые помещения судна.

Теплоход быстро приближался. Он шёл, разрезая носом воду, и две тонкие длинные волны уходили от него наискосок, образуя на воде острый угол, вспененный на вершине и затихающий внизу. Катя уже ясно различала детали судна, его серебряную окраску, флагшток на носу,

радиомачту, чёрную трубу, развеваемый ветром флаг на корме, людей на палубе, фигуру высокого человека на капитанском мостике; ещё нельзя было различить его лица, но Катя знала, что это отец... Поравнявшись с участком, «Керчь» дала длинный гудок и начала разворачиваться, чтобы подойти к причалу против течения. Вода за кормой бурлила белой пеной, и на месте поворота ещё долго волновалась светлая закружённая полоса.

Быстрым взглядом Катя в последний раз окинула участок. Толпа людей прихлынула к парапету. Крановщики стояли в башнях своих кранов: Николай Ермаков — на первом, Сизов — на втором, Умняшкин — на третьем. Бригадир грузчиков, Мария Спиридоновна Ермакова, мать Николая, стояла у вагонов, где столпились остальные грузчики.

Медленно, боком теплоход приваливал к стенке порта. Всех охватило напряжённое ожидание, передающееся от команды судна, для которой причал — всегда событие. Глухо отдавался равномерный стук машины, шум винта и бурлящей воды. Прозвучали громкие слова команды: «Отдать носовую! Отдать кормовую!» В воздухе взвились и упали на причал связки бечёвок, привязанные к швартовым канатам — чалкам. Матросы на берегу выбрали чалки и закрепили их на кнехтах. Машинист сработала назад. Теплоход остановился. Вода стояла высоко, почти у самой кромки причальной стенки, и палуба судна, на которую высыпало всё его взрослое и детское население, оказалась почти вровень с причалом.

Отец перешёл с мостика в рубку, сквозь стекло которой Катя разглядела бледное, болезненное лицо первого штурмана Мелкова, крупную фигуру Сутырина и незнакомый профиль молоденького рулевого. Каждому из них отец пожал руку, поздравляя с благополучным прибытием в порт.

Спустили трап. Воронин сошёл на берег, подошёл к Леднёву и, приложив руку к козырьку старой фуражки, доложил, что грузовой теплоход «Керчь» после зимнего отстоя вступил в навигацию и отправляется в первый рейс на Сталинград. Он говорил ровным глухим голосом, медленно подбирая слова и держа руку слишком далеко от фуражки, так что казалось, будто он поднял её в каком-то неопределённом и неофициальном приветствии.

Леднёв стоял спокойно, свободным движением приложив руку к козырьку генеральской фуражки. На его лице, в больших, навывкате, голубых глазах было то выражение внимания ко всему происходящему, которое бывает у людей, привыкших участвовать в торжественных церемониях и своим видом подчёркивающих их важность. Они стояли друг против друга в центре смотревшей на них, сразу стихшей толпы, оба высокие, в чёрных шинелях, но Воронин уже старый, худой и сутулый, а Леднёв средних лет, немного полный, представительный и видный генерал.

Взмахнув рукой, Леднёв подал знак к подъёму флага. Над зданием управления порта начал медленно подниматься вымпел открытия навигации. Оркестр заиграл Гимн Советского Союза. Все стояли молча, мужчины — приложив руку к козырьку фуражки. Свежий весенний ветер гнал по реке белые барашки. Солнце то пряталось за облака, то снова выходило из-за них, и медные трубы оркестра то темнели, то снова светлели.

Оркестр смолк. Всё оживилось и задвигалось. Леднёв и Воронин прошли на теплоход — Воронин, тяжело ступая по трапу и держась за поручни, Леднёв, не вынимая рук из карманов пальто.

Ожидая команду начать погрузку, крановщики высунулись из башен кранов. Одни грузчики стояли на вагонах, другие держались за поручни

палубы, готовые перепрыгнуть через них и опуститься в широкие и глубокие отсеки трюма.

Катя посмотрела на часы — ровно час! Торжество не кончилось, начальство ещё осматривало теплоход. Но график уже действовал.

Взмахнув рукой, Катя подала команду начинать погрузку...

Началась навигация!

Поворачиваются башни кранов. Плывут в воздухе вязанки брёвен. На обратном пути со свистом пролетают стропы. Хлопочет на палубе команда. Паровозик, передвигающийся состав, издаёт резкие свистки. Крановщики тоже дают предупредительные сигналы, и тогда слышится тонкий короткий звонок, похожий на звонок в квартире, и не верится, что этот слабый звук издаёт такая громадная и мощная машина.

Крановщики работали отлично. Все они — и пожилой Сизов, и Николай Ермаков, и Умняшкин — были лучшими крановщиками участка. Ермаков, сильный, загорелый, в телогрейке, которая ещё больше утолщала его плечи, стоял в башне крана, держа руки на рычагах, и было удивительно и даже страшно смотреть, как он управляет летящей по воздуху огромной массой брёвен, пронося её почти вплотную над причальными и палубными надстройками. Казалось, он вот-вот что-нибудь заденет. Но он ничего не задевал; донеся вязанку до судна, заводил её чуть дальше середины люка и притормаживал. Расчёт был удивительно точен: качнувшись в обратную сторону, вязанка ложилась в глубине трюма, одним концом далеко под люком.

— Хорошо работает, — раздался за катиной спиной спокойный, мягкий голос, с чуть певучими оттенками и с тем далёким оканьем, по которому узнаётся человек, родившийся на Волге, но долго не живший на ней. Катя оглянулась. Сбоку и чуть позади неё стоял Леднёв. Елисеев и отец, разговаривая, задержались у трапа.

Как и раньше, Леднёв стоял, не вынимая рук из карманов пальто. Но на лице его уже не было выражения важной отчуждённости, как во время церемонии открытия навигации. Теперь это было лицо человека, закончившего исполнение каких-то не совсем приятных обязанностей, но закончившего их благополучно, — немножко усталое, но довольное, а потому спокойное и доброжелательное лицо.

— Да, отличный крановщик Ермаков, — сказала Катя.

— Ермаков? — повторил Леднёв, как бы пытаясь вспомнить, где он слышал эту фамилию. Но он вспомнил только через некоторое время и тогда вдруг спросил: — Сын Ермаковой?

И, получив утвердительный ответ, кивнул головой.

Ермаков начал поднимать очередную вязанку, но она не пошла. Видимо, край её был сильно зажат между оставшимися в вагоне брёвнами.

— Зажаты концы, — сказал Леднёв и неожиданно тронул Катю за локоть. — Сейчас возьмёт, вы не волнуйтесь.

Он сделал это движение спокойно, как, по видимому, всё, что делал, и в общем дружелюбно. Но Катя уловила в этом движении некую покровительственность, точно он, как и другие, сочувствует ей и жалеет её за то, что она затеяла трудное дело, и этим сочувствием как бы старается уменьшить огорчения, которые ей предстоит испытать.

— А я и не волнуюсь, — улыбаясь, ответила она и посмотрела на Леднёва.

И он понял, что покровительственность, которую он только что проявил, видимо, забавляла её.

Отведя стрелу немного в сторону, Ермаков опять дёрнул. Вязанка на этот раз поднялась и, раскачиваясь сильнее обычного, поплыла к теплоходу. Провожая её глазами, Леднёв пояснил:

— «Не волнуйтесь» я сказал в том смысле, что с краном всё в порядке. Авария крана вас, повидимому, взволновала бы?

— Да, конечно.

— Особенно сегодня, — многозначительно добавил Леднёв.

Катя заинтересованно посмотрела на него.

— Почему именно сегодня?

Он поднял одну бровь.

— Всё-таки вы объявили погрузку «Керчи» скоростной. Сразу соваться было бы вам, конечно, неприятно. — И добавил: — Впрочем, как и всем нам.

Сдержанность этого замечания только подчёркивала его искренность. Им Леднёв давал Кате понять, какое значение он придаёт её работе. И вопросы, которые он потом задал Кате, тоже свидетельствовали о его искреннем интересе к тому, что делает участок. Отвечая, Катя оборачивалась к нему и видела его красивое, со строгими, но мягкими чертами лицо, тщательно выбритые щёки, небольшой, но сильный подбородок.

Отец и начальник порта Елисеев сошли на берег и стали рядом с Леднёвым и Катей. Теперь все наблюдали за погрузкой.

— Работать умеем, — сказал Елисеев, и на его склеротическом лице морщинки собрались вокруг глаз. — Вот как сегодня работаем — минута в минуту!.. Другой вопрос — что дальше будет? Начнут суда пачками подходить, и полетели все наши графики и технологические карты. А там, смотришь, и железная дорога начнёт подводить с вагонами.

И хотя в Елисееве просто говорил осторожный хозяйственник, получилось так, что он заранее готовит руководителей пароходства к тому, что катина работа не может увенчаться успехом.

— Главное — это информация, — сказала Катя. — Мы должны за двенадцать часов знать, какое судно и с чем к нам подойдёт. — Помолчав, она добавила: — Наверно, это не так сложно. Радио есть на каждом теплоходе. И диспетчерская связь сквозная, по всей Волге.

— Радио и связь и в прошлом году были, — сказал Елисеев, — а что творилось... Соберутся на рейде тридцать судов — вот и вся информация.

Леднёв слушал Елисеева, не отвечая ему, но всей своей фигурой и лицом выражая холодное и официальное внимание. Только один раз он быстро взглянул на Катю, губы тронула добродушная улыбка, и улыбка эта как бы говорила, что только они с Катей понимают Елисеева. И ещё эта улыбка и его взгляд говорили: «Я всё вижу и всё понимаю. Но такой человек, как вы, не нуждается в сочувствии. Всё идёт хорошо и будет ещё лучше». Лицо его от этой мгновенной улыбки вдруг помолодело и на какую-то долю секунды показалось Кате отдалённо знакомым, как будто она когда-то, очень давно, его видела.

Не успело окончиться торжество открытия навигации, только что уехал Леднёв, разошлись работники управления, а уже ко всем причалам порта одно за другим начали подходить суда. Буксировщики подводили баржи. Железнодорожные составы втягивались и вытягивались с участков. У причалов второго участка уже, кроме «Керчи», стоял «Минусинск», на него грузили оборудование для Куйбышевской ГЭС. Уже звонили из порта и пароходства, и в трубке раздавались знакомые вопросы: «Как «Минусинск»?», «Когда закончите «Керчь»?..» В ворота непрерывным потоком въезжали автомашины, подходили вагоны, точно все предприятия города и области выкидывали накопленную за зиму продукцию. Клиенты, ещё вчера просившие только принять их груз на склад, сегодня требовали его немедленной отправки... И на всех судах

отбивали склянки, звучавшие тревожным напоминанием, что время идёт и судам скоро отправляться в рейс...

Погрузкой распоряжалась Мария Спиридоновна Ермакова — бригадир грузчиков, бодрая женщина с морщинистым крестьянским лицом, в тёмной косынке, простых сапогах и чёрном форменном пальто, сидевшем на ней несколько неуклюже, как и может сидеть на пожилой женщине стандартная мужская форма. Эту потомственную нижегородскую грузчицу знала вся Волга. Отдавая простуженным голосом короткие распоряжения, она отвечала на приветствия своих многочисленных знакомых лёгким кивком головы, по своему обыкновению сухоовато, не пускаясь ни в разговоры, ни в расспросы, как будто видела этих людей вчера и не было шестимесячного перерыва навигации.

В два часа дня Катя приказала ей готовить третий причал к приёму «Эстонии», которая должна была по графику подойти снизу, с грузом муки.

— Да, уж надо бы, — ответила Мария Спиридоновна, не глядя на Катю и продолжая старательно заправлять косынку.

Но за сделанной готовностью этого ответа Катя уловила ту хитрость, которую она так не любила в этой простой и умной женщине. Точно шадя самолюбие молодого начальника участка, Мария Спиридоновна никогда прямо не возражала. Будучи в чём-либо не согласна, она всегда сначала с какой-то неискренней поспешностью соглашалась, а затем начинала исподволь высказывать всевозможные соображения, которые должны были заставить Катю усомниться в правильности её приказа, отменить его и отдать другое, которое в тонкой и дипломатической форме подсказывала ей Мария Спиридоновна. В первые дни работы на участке Катя поддавалась этому, но потом начала сопротивляться. Не потому, что Мария Спиридоновна подчёркивала превосходство своего опыта, а потому, что в этом опыте было много снисходительной и не всегда оправданной самоуверенности самоучки, для которого собственные знания тем значительнее, чем труднее они ему достались.

— Причал приготовить нетрудно, — сказала Мария Спиридоновна, — да вдруг «Эстония» запоздает... А то прикажут ещё какое-нибудь другое судно грузить. И это бывает.

Катя взяла Марию Спиридоновну за руку и, стараясь говорить возможно мягче, сказала:

— Мария Спиридоновна... Знаете приметку — как новый год встретишь, так и проведёшь. Так и мы с вами договоримся: в первый день не ссориться, иначе всю навигацию будем цапаться. Договорились?

— Так я только к слову. Ведь...

— Вот и хорошо, — не дала ей договорить Катя. — Готовьте причал точно по графику и, как только подойдёт «Эстония», начинайте разгрузку её.

Глава тринадцатая

Катя хорошо знала команду «Керчи». На корме, как всегда, сидели женщины — жёны штурманов и механиков, бегали дети первого штурмана Мелкова — маленькие, давно не стриженные белобрысые девочки, одна другой меньше.

С прошлого года на «Керчи» вторым штурманом плавал Сутырин. И до прошлого года Катя не видела его двенадцать лет, с тех пор, как вместе плавали на «Амуре». Только слышала от Сони, что он сразу после войны разошёлся с Кларой и что это была неприятная и некрасивая история. Подробностей этой истории Соня не рассказывала, но по обрывкам разговоров Катя понимала, что виновата Клара. Впрочем, и тогда, когда

они поженились, было ясно, что ничего хорошего из этого брака не может выйти.

Сейчас Сутырин стоял в трюме. Увидев Катю, он снял фуражку и помахал ею в знак приветствия.

Его коротко подстриженные волосы на круглой большой голове пробивала теперь сильная проседь. Линия, проходящая по лицу сверху вниз, обозначилась особенно резко. Морщины на лбу, двумя столбиками дужек сходящиеся к переносице, казалось, уже больше не разглаживались. Катя смотрела на него и думала о том, как много лет жизни уже прошло и как, наверное, постарела она сама...

И вместе с тем в нём попрежнему было что-то симпатичное и подкупающее, та душевная простота и добрая пронизательность, которые так понравились Кате ещё тогда, когда она познакомилась с ним на «Амуре». Он так же смущался и краснел в разговоре, так же не находил нужных слов, так же старался всё и всех оправдать, так же был внимателен и доброжелателен ко всем...

Катя улыбнулась и тоже помахала ему рукой...

Вот и каюта отца.

В углублении, отгороженном занавеской, стоит узкая кровать и маленькая тумбочка, на которой лежит раскрытая книга с вложенными между страницами очками. Письменный стол, по обыкновению, пуст, на круглом — обеденном — бумага, графики, журналы. Сколько помнила Катя отца, он никогда не работал за письменным столом, даже дома занимался за обеденным. Он много читал, по-стариковски сосредоточенно и внимательно, но бумаг — то, что он называл писаниной, — не любил. Может быть, поэтому он избегал пользоваться письменным столом и только держал на нём табак в большой коробке палехской работы — подарок Кати.

Катя села в кресло и положила руку на колено отца.

— Как ноги, папа?

— Дерёт по ночам: вот мазь новую затонский медик дал, — ответил Иван Васильевич и показал баночку, прикрытую бумажкой и завязанную белой ниткой.

Катя видела уже много таких баночек и знала, что, хотя ни одна из них не помогает и весной и осенью отца обычно одолевают приступы ревматизма, он верит в каждое новое средство. А может быть, втирание этих мазей вошло у него в привычку.

За окном слышалась работа порта, шум кранов, торопливые шаги и движение на палубе, крики грузчиков, свистки паровоза.

— Что начальство? — спросила Катя, имея в виду осмотр теплохода Леднёвым.

— Посмотрел, чего ж... Всё на месте... А Костька-то Леднёв какой выгрохотался, генерал настоящий, — сказал вдруг Иван Васильевич с знакомым Кате оттенком неодобрения в голосе.

Катя удивлённо подняла брови, и Воронин добавил:

— Это же наших Леднёвых сынок. Помнишь Алексея Фёдоровича, затонского мастера, на Нагорной жили, в Кадницах ещё, сад-то у них большой, забор длинный, серый.

— Да, да, — стветила Катя, вспоминая большой, огороженный высоким серым забором сад, в котором она ни разу не была, и запах улицы, и ветви деревьев, свисающих через забор, и какие-то смутные разговоры о семье, живущей в этом доме.

Напрягая память, она старалась вспомнить самого Леднёва, но не могла. Может быть, она и вспомнила бы его, но когда она пыталась это сделать, перед ней вставал образ представительного генерала с гладко

выбранным лицом, и вежливо-безразличным взглядом. Этот образ заслонял тот, другой, который она чувствовала в глубине своей памяти и который смутно шёл от смешливой улыбки, промелькнувшей в глазах Леднёва при разговоре с Елисеевым.

— Больно форсист, а помню — мальчонкой бегал, — сказал Иван Васильевич.

— Важный генерал, — засмеялась Катя.

Оттенок неодобрения, который слышался в голосе отца, когда он говорил о Леднёве, удивил Катю. В сущности, отец так же мало знает его, как и она.

— Как Иван Калистратыч? Тебя не обижает? — спросил Воронин, имея в виду начальника порта Елисеева и посматривая на дочь глубоко сидящими глазами, спокойными и всё понимающими.

— Пока ничего.

— Ему всё по-быстрому надо. Да ведь машиной управляет, — как бы заранее оправдывая Елисеева в могущих быть у него столкновениях с дочерью, сказал отец. И Катю тронуло, что он думает о ней, о её работе на новой должности, но говорит об этом, как всегда, просто. Вся жизнь Воронина была в работе, и на дочь он смотрел сейчас, как на человека, которому надо помочь на первых порах хорошим советом.

— Работа — она и есть работа, — уже не глядя на Катю, продолжал Иван Васильевич. — С нашим братом — капитаном — покруче, со своим народом — душевнее, но и спуску не давать, требовать. Ну, а что не так — тоже не бояться: дурак не заметит, умный не скажет... Нас-то в срок погрузите?

— Обязательно. Завтра отправим.

— Первый день-то легко, — сказал Воронин, — а завтра вот и послезавтра...

Катя засмеялась.

— Я боюсь, что уже сегодня начнётся катавасия. Должна снизу «Эстония» подойти, я для неё и причал приготовила и вагоны. А вот не подходит.

Он покачал головой.

— Дело такое... Я уж Сутырина, штурману своему, говорю: торопись, говорю, пока нас по графику грузят, хоть полную воду используем, пройдем скоростным рейсом.

— Да, кстати, Сутырин, — сказала Катя, — как он?

— Хороший человек, да уж больно прост, больно прост, — сказал Иван Васильевич, вкладывая в это слово тот смысл, что человек этот не умеет устроиться в жизни, как умеют устраиваться другие...

— Ветлужский он, что ли? — спросила Катя.

— Да, из Козьмодемьянска, старинные плотовщики, — подтвердил отец. — Да вот с женой разошёлся, ребёнка оставил — не повезло ему в семье. — И, подумав, осторожно добавил: — Тут у нас баб полно, так болтают, с какой-то вашей крановщицей путается.

Он вопросительно посмотрел на Катю.

— Не знаю, не слыхала, — недоуменно проговорила Катя, мысленно перебирая в уме крановщиц участка и не находя почему-то среди них ни одной, с которой мог быть связан Сутырин. И оттого, что она много лет его знала и он ей нравился, ей было неприятно употреблённое по отношению к нему слово «путается».

— Не знаю, не слыхала, — повторила она.

— Эту крановщицу будто Евдокией звать, — сказал Воронин.

Евдокия? Дуся? Кто же это мог быть? Неужели Дуся Ошуркова? Крановщица из бригады Николая Ермакова. Вторую навигацию на кра-

не, зимой училась на курсах, до этого несколько лет работала грузчицей. Красивая, конечно, но много сплетен...

— Больно уж прост, — следуя каким-то своим мыслям, снова сказал Воронин.

К четырём часам всё было готово к разгрузке «Эстонии»: краны снабжены площадками, на которые будут укладываться мешки с мукой, выделена бригада грузчиков, железная дорога уже подогнала первые десять вагонов для приёма муки.

Позвонил начальник станции Кушнеров и своим картавым баском сказал:

— Под муку буду подавать каждые два часа по десять вагонов. Управитесь?

— Конечно, — ответила Катя.

— Ругаться не будете? — спросил Кушнеров с грубоватым добродушием человека, которого все ругают и ругают, а сегодня вот ругать не за что, и он доволен тем, что сам это знает и другие видят.

Добродушие, прозвучавшее в голосе Кушнерова, обрадовало Катю: оно как бы знаменовало новые отношения между портом и железной дорогой.

Не без тайного намерения укрепить эти новые отношения личной симпатией, она сказала:

— Зачем же ругать! За сегодняшнюю работу вас, Ефим Семёнович, надо орденом наградить.

— Орденов мне не надо, — ворчливо отозвался Кушнеров, — да и не вы их раздаёте. А вот вагончики не задерживайте...

Но к четырём часам «Эстония» не подошла.

В четыре тридцать позвонил диспетчер Бедюкин.

— «Эстония» запаздывает. Принимайте на причал «Минск» и грузите, что есть на Астрахань...

Так!..

— «Эстония» придёт рано или поздно, — ответила Катя. — Для неё всё подготовлено, и уже поданы вагоны. «Минск» принять не могу.

— Будете держать причал пустой?! — закричал Бедюкин. — Что это за капризы? Есть рейсовое судно, а вы его заставляете стоять, когда у вас свободен причал. Принимайте «Минск», и кончен разговор.

— Если я приму «Минск», — сказала Катя, — то он всё равно сутки простоят: ему ещё надо подобрать груз, не говоря о том, что надо будет менять всё оборудование причала, — мы его подготовили под разгрузку муки. И получается: и «Минск» будет стоять, и «Эстония» подойдёт — будет стоять, и вагоны будут стоять.

— Когда придёт «Эстония», тогда будем думать, что делать... А сейчас принимайте «Минск». Никто нам не позволит в первый же день навигации держать причал пустым...

— Пока я точно не буду знать, что «Эстония» сегодня не придёт, никакого другого судна я на причал не приму, — сказала Катя.

— Если не примете «Минск», доложу начальнику пароходства, — пригрозил Бедюкин.

— Докладывайте, — спокойно ответила Катя и положила трубку.

Она вышла из конторы и пошла к причалам. Погрузка «Керчи» и «Минусинска» шла своим чередом, а на третьем причале безжизненно торчали в небе стрелы кранов, лежали на земле площадки с металлическими кольцами на углах, сидели, разговаривали и покуривали грузчики.

Навстречу Кате шла Мария Спиридоновна. Смена её кончилась, но она не уходила, дожидаясь «Эстонии».

— Нет судна снизу-то, — сказала она, — сидят люди, что будем делать?

— Сейчас судно подойдёт, — ответила Катя, всматриваясь в даль, с надеждой увидеть блестящий корпус «Эстонии». Но даль реки уже затягивалась туманом, была пустой и безбрежной.

— Сидим, товарищ начальник! — сказал грузчик Малахов, наглый человек с лицом спившегося красавца.

— Посидите, — сказала Катя, проходя.

— Нам-то всё равно, по какой системе сидеть: по старой или по новой — скоростной. Посидим... — сказал Малахов ей вслед. Потом добавил что-то, чего она не расслышала, но по смеху грузчиков догадалась — нехорошее...

Она остановилась и повернулась к Малахову.

— Что вы сказали, товарищ Малахов, я не расслышала?

Криво улыбаясь, он медленно поднялся.

— Сказал: посидим.

Прямо глядя ему в глаза, Катя с расстановкой проговорила:

— Никогда не говорите лишнего, Малахов, не советую. — Она обернулась к остальным грузчикам. — «Эстония» задерживается. Я могу перебросить вас на склад, на сортировку...

— Начали гонять из угла в угол, — сказал пожилой грузчик Петухов, — значит, ничего не зарабатываешь...

— И я так думаю, — подтвердила Катя. — Подождём ещё час. Если «Эстония» не подойдёт, тогда будем решать, что делать.

— А ведь никак идёт, — сказала Мария Спиридоновна, приставив ладонь козырьком ко лбу и вглядываясь в даль реки...

Все обернулись в эту сторону... В быстро надвигающемся тумане появилась маленькая точка судна, похожая издали на лодку... Но это могла быть только «Эстония» — другого судна снизу не ожидалось...

Только к вечеру Катя выкроила время для обеда.

В просторном зале столовой, уставленном квадратными столиками, было полно народу, как и всегда по окончании смены. С большими деревянными подносами бегали официантки. Громко пересмеивались девушки-грузчицы. Шумели и требовали пива грузчики. Катя осматривала зал, отыскивая свободное место, и увидела, что ей машут из-за крайнего столика. Там сидели Мария Спиридоновна с двумя грузчиками из её бригады, Николай с Соней и крановщицей Дусей Ошурковой. Они сдвинули стулья, и Катя под села к ним.

— Что это вы сегодня здесь? — спросила она Ермаковых, зная, что они всегда обедают только дома.

— Вот, подвела, — ответила Мария Спиридоновна, кивая на Соню. — С утра на участке, обед не приготовила.

— Прогуляла, — улыбнулась Соня.

Все молча ели. Только Дуся Ошуркова, ни к чему не притрагиваясь, беспокойно озиралась на входную дверь. Эта девушка в низко опущенной на лоб, почти до бровей, чёрной косынке чем-то походила на Ермакова. Такие же полные губы, широкие скулы, узко поставленные глаза, тёмные волосы. Они не были родственниками, но оба происходили из Сергачского района, искони поставлявшего грузчиков на всю Волгу. Но глаза у Дуси были большие, серые, а брови, ресницы и волосы — чёрные. Лицо поэтому было вызывающе красиво, а опущенная на глаза до бровей чёрная косынка придавала этой красоте затаённый и даже порочный вид. Она сидела рядом с Соней, они о чём-то перешёптывались, и Соня тоже поглядывала на входную дверь, но не с беспокойством, как Дуся, а несколько лукаво и двусмысленно. И каждый раз, когда Дуся с Соней перешёптывались,

Николай с неприязнью смотрел на них, точно ему были неприятны это перешёптывание и беспокойные взгляды молодых женщин.

— Ну, а ты, Евдокия, чего взглядишь? — Мария Спиридоновна постучала ложкой о край дусиной тарелки, к которой та ещё не притронулась. — Освобождай место, — и показала на загромождённый тарелками и кружками стол.

— У неё аппетита нету, — засмеялась Соня.

— Ты ешь, ешь, — с грубоватой ласковостью повторила Мария Спиридоновна, — а то вон Клара придёт да покажет тебе, разлучнице.

— Я ей самой покажу, — злобно произнесла Ошуркова, и в глазах её вспыхнула ненависть. — Я ей покажу, кто разлучница.

— Ну, ну, — внушительно произнесла Мария Спиридоновна, продолжая есть, — законная-то она.

— Законная, — презрительно протянула Дуся. — Венчаны, да уж давно развенчаны...

— Всё равно. Ребёнок-то его.

— Что ж ребёнок! — передёрнула плечами Дуся. — Ребёнок — он и есть ребёнок. А раз ребёнка имеешь, так веди себя аккуратно, не позорь человека. А ей не он, а деньги его нужны. Да хоть бы все забрала, лишь бы спокой дала. Шлюха!

— Ну, ну, ты потише, — погрозила ей Мария Спиридоновна.

Николай Ермаков, с подчёркнутым и грубоватым пренебрежением к этим бабьим делам и всё больше и больше распаляясь, заговорил о том, что в прошлом году мешало нормальной работе кранов и что, по его мнению, будет мешать и в нынешнем. Когда он хмурился, глаза его делались совсем узенькими. Не глядя на жену, он заказал ещё пива и, так как официантка долго не несла его, встал и пошёл к буфету. Из-за широких, могучих плеч и чуть косолапой, осторожной, на всю ступню, походки — врождённой или перенятой походки волжского грузчика — он казался ниже своего действительного роста.

Слушая Николая, Катя не переставала наблюдать за Соней и Ошурковой и за теми взглядами, которые бросал на них Николай. Она видела, что между этими всегда такими дружными людьми происходит что-то ей непонятное и что Николай недоволен женой.

Глядя на Ошуркову, Катя испытывала чувство, подобное тому, какое испытала она тогда, когда Соня сказала ей, что Сутырин женился на Кларе Сироткиной. Это было чувство, в котором смешивались жалость к Сутырину, недоумение по поводу того, что он так плохо разбирается в людях, и даже некоторое раздражение, вызванное тем, что он так легко даёт себя окрутить. Слабый человек...

— А начальник-то — видный мужчина, представительный, — сказала вдруг Мария Спиридоновна, имея в виду Леднёва.

— Красивый генерал, — попрежнему улыбаясь, сказала Соня.

— Заместитель он, — вставил Ермаков, — начальник-то — Микулин.

— Так ведь Микулин уж год болеет, фактически начальник — Леднёв. Старинные бурлаки, — продолжала Мария Спиридоновна, по обычаю именуя бурлаком всякого исконного волгара, — я их всю фамилию знаю. Мужики-то у них все представительные. Сам хозяин, Алексей Фёдорович, — с усами. У них в роду все с усами... У Алексея Фёдоровича трое сыновей, все погодки. Старший, лётчик, ещё перед войной разбился, в газетах много писали, тогда они из Кадниц-то в Куйбышев и переехали.

Упоминание о лётчике Леднёве, погибшем до войны в одной из северных экспедиций, сразу пробудило в Кате те воспоминания, которые она тщетно пыталась воскресить в памяти в каюте отца. Снова встали в её памяти и серый забор, и сад, и таинственный дом в глубине этого

сада. Но теперь к этим смутным воспоминаниям прибавилось ещё одно. В этом доме собиралась весёлая и шумная ватага молодых людей. Они часто проходили мимо её дома с длинными вёслами, лопасти которых на мгновение проплывали перед её окнами, перебивая солнечные лучи, падавшие на пол комнаты. На мгновение она ощутила вдруг то чувство острого любопытства, которое она, тогда пятнадцатилетняя девочка, испытывала к этим молодым людям, живущим в незнакомом ей мире. И если ей казалось, что она помнит теперь старшего сына Леднёва, проходившего по их улице в лёгкой форме, и даже самого усатого старика, то Константина она вспомнить не могла, и, когда пыталась это сделать, перед её глазами опять встал представительный генерал с безразлично-внимательным взглядом...

Вот и кончился первый день навигации. Он сошёл в общем благополучно. Но это только первый день. Завтра и послезавтра, когда река заживёт полной жизнью, начнут действовать десятки и сотни обстоятельств, не предусмотренных ни Катей, ни начальством, ни людьми, которые сидят за этим столом. Но сегодняшний день показал, что скоростная погрузка осуществима.

Глава четырнадцатая

Со дня открытия навигации, когда Дуся, ни от кого не скрываясь, провожала Сутырина, она чувствовала, что Николай только ищет случая, чтобы сказать ей что-нибудь неприятное и оскорбительное. При каждой встрече она внутренне напрягалась, готовясь к отпору. И какое ему дело! Ладно, пусть попробует... Нарвётся!..

В осколок зеркала, прислонённый к стеклу кабины, Дуся увидела, как за её спиной Ермаков прошёл вглубь башни, присел за маленький столик и начал рассматривать вахтенный журнал. По мрачному и решительному выражению его лица она догадалась — не с добрыми намерениями он пришёл. Но наблюдать за ним у неё не было времени, работа требовала всего её внимания.

Дуся стояла в кабине, держа обе руки на штурвалах, а согнутую в колене левую ногу — на педали тормоза. Простые, с короткими голенищами сапоги обтягивали её полные икры. На её молодом, здоровом и сильном теле всё казалось коротким и тесным: сапоги, чулки, серая кофточка, оттопыренная на полной высокой груди и выбившаяся из-за чёрной юбки. Когда сигнальщик подавал знак «вира!», Дуся правой, оголённой выше локтя рукой включала штурвал подъёма. Площадка, нагружённая мешками с мукой, медленно вращаясь на натянутых тросах, подымалась, — тогда Дуся левой рукой включала штурвал поворота. Башня крана с грохотом поворачивалась. Дуся внимательно-напряжённым взглядом следила за площадкой и, остановив её над трюмом, спускала вниз. Грузчики быстро отъединяли площадку и подцепляли другую, уже разгружённую. Опять подъём — поворот — спуск... Вира — майна! Подъём — поворот — спуск... Вира — майна! Вира — майна!

Она работала молча и сосредоточенно. Движения её были сильны, но слишком резки, оторванные одно от другого, она не соединяла их в одно — плавное и законченное. Николай опытным глазом видел те едва заметные паузы между ними, на которые затрачиваются драгоценные секунды и теряется скорость. Самых простых вещей не понимает! Такая упрямая! И что хорошего нашёл в ней Серёга? Глаза бесстыжие, наглые... Нашёл с кем связаться! Когда в грузчицах работала, с бригадиром жила, отцом двух детей. В прошлом году со студентом-практикантом путалась. Зачем всё это Серёге надо?! Мало он от Клара вытерпел? Из кулька в рогожку!.. В его доме Дуся познакомилась с Сергеем, и Николай себя чувствовал

виновником этой ненужной и неприличной для Сергея связи. И Дуся, которая пришла к нему на кран прямо с курсов, неумелая, неопытная, которую он-то, Николай Ермаков, и сделал крановщицей, бегала теперь по другим кранам, как будто у него, у Николая Ермакова, одного из лучших крановщиков страны, уже нечему учиться.

Николай встал и прошёл в заднюю часть башни. Перед ним расстилалась широкая панорама порта. Всё было в движении: суда, краны, вагоны, автомашины, механизмы, люди...

Скопление судов на рейде, которое человеку постороннему могло казаться признаком оживления в порту, для Николая было лишь доказательством того, что дела идут скверно — в порту начинается пробка... Вот этот стоящий внизу, под краном, теплоход с мукой двое суток ожидал причала... Конечно, на участке теперь жёсткий технологический план, суда грузят быстро, по-скоростному. Воронина доказывает своё. Но что толку, когда время, сэкономленное на погрузке, суда теряют на ожидании этой погрузки, на ожидании своей очереди у причалов?..

На кран поднялась Соня, сменявшая Ошуркову.

Всё ещё тоненькая и стройная, она легко и быстро взобралась на кран по узкой, почти отвесной железной лестнице.

— Получила грёши, — как всегда улыбаясь, сказала она, похлопывая по нагрудному карманчику своего коричневого платья. — Теперь погуляем... Иди, Дуся, а то смена кончится, народ в кассу набегит. — Она обернулась к Николаю. — А ты чего за получкой не идёшь?

— Успею, — пробормотал Николай, отходя от окна и своим обычным жестом отбрасывая назад волосы.

— Знаем мы вас, — сказала Соня, надевая серый халатик и аккуратно застёгивая пуговицы на груди, — знаем мы вас!.. — Она обернулась к Дусе. — Вот не везёт! Как получка, обязательно я в вечернюю работаю, а Коленька наш гуляет... Гуляет, — повторила она и, протянув руку, провела ладонью по голове Николая, снова опустив ему волосы на лоб.

Николай отдёргнул голову, покраснел, скосил глаза на Дусю, как бы говоря: «Нашла место для нежностей!»

— Чего глазами косишь? — засмеялась Соня, мотая головой и щурясь, словно передразнивая Николая. — Скажите, какой стыдливый...

Пока шла смена грузчиков, женщины между собой о чём-то вполголоса говорили, и на лице у Сони, в глазах её и уголках рта появилась та двусмысленная улыбка, которую Николай замечал у неё всегда, когда она секретничала с Дусей, и которую он ненавидел глухой, ревнивой ненавистью. Ему казалось, что они разговаривают о грязном и нехорошем, о чём стыдно громко говорить, и ему была невыносима мысль, что его Соня, его чистенькая, беленькая Соня, прикасается к порочному и непристойному, олицетворением чего была для него Ошуркова.

Опустив голову и ни на кого не глядя, он сказал:

— Вчера первую смену Ошуркова на чужих кранах проторчала. Может, неинтересно на своём работать? Так и надо сказать.

Он ждал её ответа, готовый придаться к каждому дусиному слову. Но Дуся ничего не сказала. Она вытерла руки и теперь поправляла платок на голове, снова низко опуская его на лоб.

Вместо неё ответила Соня:

— Когда я первый год работала, тоже ко всем присматривалась. Так и Дуся теперь. Верно, Дуся?

— Что было раньше — я не знаю, — мрачно произнёс Николай, — а по кранам бегать нечего. Не гулянка здесь.

Он первый раз посмотрел на Ошуркову и замолчал, встретившись с её неподвижным взглядом. Она стояла в дверях, обеими руками прижимая к груди кончики косынки. Николай почувствовал: Дуся отлично понимает, что он, Николай, о ней думает и чем в действительности вызвано его замечание. И он ждал её ответа, попрежнему готовый придрасться к каждому её слову и высказать ей всё...

Но опять вмешалась Соня.

— Что это вы, господи боже мой, словно петухи какие! — сказала она, переводя взгляд с одного на другого. — Николай! Ну, что ты!.. Ведь она год работает, вот и приглядывается... — И примирительно улыбнулась. — Погоди, мы ещё с Дуськой приспособимся, так вертеть начнём — тебя обгоним, хоть ты здесь и первый человек.

Николай внушительно, точно желая подавить Ошуркову своим превосходством, закончил:

— Хочешь на кране работать — работай, слушай, что тебе говорят. Не хочешь — можешь на другое место переходить.

Башня крана с грохотом повернулась, заглушив дусин ответ. Но через секунду башня остановилась, грохот сразу оборвался, и в наступившей тишине её голос прозвучал сильно и резко:

— ...и вот что я тебе ещё скажу, Николай Фёдорович: ты мне не свёкор и не в своё дело не лезь. Слышишь: не лезь! Есть у тебя жена, ну, и смотри за ней... А в чужую душу не лезь. Стыдно — мужчина всё-таки!

Она шагнула к лестнице, на секунду остановилась, точно намереваясь ещё что-то сказать, но ничего не сказала и спустилась вниз.

Снова началась разгрузка теплохода. Если Дуся работала молча и сосредоточенно, то Соня, наоборот, работала легко, весело, хлопотливо, переключаясь и пересмеиваясь с грузчиками, добродушно задевая и поторапливая их. Движения её были более плавны, чем дусины, но и более осторожны. У Сони не было той резкости, которая мешала Дусе, но и не было смелости, которая обещала в той незаурядного крановщика.

Есть люди, умеющие передавать окружающим своё ясное и дружелюбное отношение к жизни. Таким человеком была Соня. И как ни хмурился и ни капризничал Николай, он всегда незаметно для себя проникался её настроением и начинал смотреть на всё веселее и проще.

Всегда немногословная в компании, особенно если там были незнакомые люди, она, оставаясь наедине с мужем, любила порассуждать. Держа руки на штурвалах и следя за движением стрелы, она говорила:

— Люблю, когда грузчики — мужчины. И силы больше и смелости. Зацепишь его крючком — поёжится, и всё. А задень женщину... Такой крик подымет, обзовёт по-всякому...

Она весело крикнула грузчикам:

— Ну вы, лодыри! Застрапливайте быстрее, чего ковыряетесь?! — и, удовлетворённо улыбаясь, сказала Николаю: — Гоняю я их, гоняю... А боятся, видно, меня...

Особенным её вниманием пользовался старый седой грузчик Петухов. По причалу прошли закончившие смену девушки-грузчицы. Высушившись из кабины, Соня крикнула:

— Петухов! Чего на девок засмотрелся? Невесту, что ли, выбираешь? Не оборачиваясь, она протянула Николаю руку.

— Дай-ка папиросу.

Николай вложил папиросу в её ладонь. Соня всунула её в гайку, обмотала куском пакли и кинула в трюм.

— Петухов, держи премию!

Гайку поймал другой грузчик, и она снова закричала:

— Петухову отдай, Петухову — ухажёру моему!

Ей, небольшой и хрупкой на вид женщине, доставляло удовольствие командовать этими сильными и грубыми мужчинами. Она радостно улыбалась, видя, как все испуганно отскакивают в сторону, когда она опускает площадку или поворачивает стрелу. Плавным движением она подымала площадку с мукой, так же плавно, без остановки, переводила стрелу на поворот и, дойдя до вагона, осторожно опускала её вниз. Но Николай видел, что она подымает груз слишком высоко и затем слишком медленно опускает. На этом она теряет время так же, как и Дуся теряет время на паузах между операциями.

— Зачем так высоко виришь? — сказал Николай. — Делай виру короче, а майну быстрее. Смелее в трюм бросай.

— А если кого площадкой по голове наверну, тогда как?

— Не навернёшь. Рассчитывай, и точно будет.

Он подошёл вплотную к Соне, постоял, следя за грузом, затем легонько отстранил жену и взялся за рычаги.

Грузчики подцепили площадку. Натянув трос, Николай начал подъём, быстро прибавляя скорость и почти одновременно включая поворот. Площадка поднялась на полтора-два метра и пошла по направлению к трюму, продолжая одновременно подниматься, чтобы пройти над каютой, не задев её. От каюты Николай включил спуск и выключил поворот. Описав в воздухе дугу, площадка по инерции дошла до люка и опустилась в трюм. Это было знаменитое движение Николая Ермакова. Три главные операции — подъём, поворот, спуск — он совмещал в одно плавное непрерывное движение. Груз шёл по кривой линии с такой скоростью, что отдельных элементов этого движения даже не было видно.

Если бы Николай посмотрел в это время на Соню, он увидел бы на её лице восхищение. Но он не смотрел ни на неё, ни на грузчиков. Он даже не следил за тем, как делает этот быстрый поворот, потому что привык делать его автоматически. Он знал, что делает это быстро, красиво и все любят его. И, как всегда, когда он клал руки на рычаги, его охватило знакомое чувство уверенности в себе, ощущение своей силы, радость управления огромной машиной, послушной ему, как послушен был каждому его движению этот стремительно летящий в воздухе огромный и тяжёлый груз... Передавая рычаги Соне, он сказал:

— Как подняла площадку метра на два — включай поворот. Дошла до середины — опускай и доводи по инерции.

— Вот приспособлюсь, — она снова встала к рычагам, — буду по твоему поворачивать, а пока боюсь.

— А ты не сразу. Отработай сначала подъём. А как освоишь, то и спуск.

— Во всём сноровка нужна, — сказала Соня, продолжая работать, — вон Дуся смелее моего работает, а сноровки нет, теряет время. Глазомера ещё нету. То вперёд дашь, то назад.

Николай, отойдя вглубь кабины, сердито отозвался:

— Ты мне об этой Ошурковой не говори. И себя с ней не равняй. У неё не работа на уме, а другое... Чего она с тобой секретничала?

— Бабье дело! Жакет просила одолжить на вечер. — Соня вдруг опять улыбнулась двусмысленной улыбкой. — «Керчь» на угольном причале. Вот у неё и свидание сегодня с Серёжей.

Эта двусмысленная улыбка окончательно вывела Николая из себя.

— И ты дала, конечно?

— Чего?

— Жакет, говорю, дала?

— Почему не дать? Жалко разве?

Он с обидой вспомнил, как покупал Соне этот серый костюм. А теперь его наденет какая-то...

— Я тебе тысячу раз говорил: не мешайся ты в это дело!

— Чем же это я вмешиваюсь? — со спокойным удивлением ответила Соня. — Попросила она — я и дала.

Он упрямо продолжал своё:

— Какая эта Дуся — все знают. А Сергей — человек женатый. И нечего!

— Какой он женатый? — рассмеялась Соня. — С женой седьмой год не живёт. Человек холостой, не залежится. Не Дуся, так другая. А Дуся его любит.

Николай презрительно скривил губы.

— Любит... Сколько она их перелюбила-то?! Теперь Сергея подхватила. И ему это ни к чему! Уж кому-кому, а ему и вовсе. И не Дуська ему нужна. Ему жена нужна — человек!

Соня вздохнула.

— Дело это житейское, Коля. Так просто его не решишь.

Он отвернулся к окну... Кого защищает... Ошуркову! Конечно, Клара — плохой человек, но ведь сын у него, тоже подумать надо!

— У Сутырина ребёнок, это тоже понимать надо. Посмотреть, как бы ты заговорила, ежели бы я тебя с ребятами бросил, посмотреть бы!..

Только начав говорить, он уже почувствовал кощунственность этих слов... Соня стояла, не оборачиваясь, и он увидел, как вздрогнула её спина, точно нервная волна пробежала по ней. Он не видел её лица, но почувствовал на нём то страдальческое выражение, которое видел только один раз, давно, когда прогулял с товарищем ночь и вернулся домой на другой день к вечеру, — выражение, которое так поразило его тогда...

Вывалось же!

Он понимал, что надо что-то сказать, шуткой, ласковым словом исправить сделанное, но он не умел ни хитрить, ни оправдываться.

Соня продолжала работать, то правой, то левой рукой вращая штурвал контроллера. Николай исподлобья смотрел на неё, на её спину, такую узенькую и смешную в сером халатике. У него было скверно на душе и казалось, что он стеганул хлыстом по этой слабой и незащитной спине. Чёрт бы побрал эту Ошуркову, из-за неё всё получилось!

— Эй, на кране, — крикнули из трюма, — скоро ль вагон кончим?

— Как кончим — так и скажем, — как бы про себя, ответила Соня и обернулась к Николаю. — Уж какой грузчик начнёт спрашивать, много ль в вагоне осталось, — непременно лодырь.

Она только скользнула по Николаю испытующим взглядом из-под полуприкрытых век и тут же отвернулась. Но он увидел выражение её глаз, затаённо-внимательных и блестящих, точно зародилась и утонула в них невидимая слеза. И в этом взгляде и в том, что она повернулась к нему, пусть на секунду, и первая заговорила с ним, пусть о чём-то постороннем, он почувствовал не осуждение тому, что он сказал, а жалость к нему, к его душевным мукам и переживаниям за сказанное. Что-то дрогнуло в его сердце, и, скрывая выступившую на лице краску, он отвернулся, хотя Соня уже не смотрела на него.

Глава пятнадцатая

У кассы, где выдавали зарплату, стояла длинная очередь — только кончилась смена. Дуся решила сходить сначала домой, переодеться и вернуться часам к пяти — народу будет меньше. По дороге она возьмёт у Ермаковых жакет, тем более, Николая сейчас нет дома... После полочки зайдёт на угольный причал к Сергею, затем поедет в магазин и к серёжиному приходу вернётся домой. Всё по пути, всё по дороге...

Ермаковы жили в новых домах, недалеко от порта. Дуся поднялась на третий этаж. Дверь в квартиру была открыта. В столовой на диване спала Мария Спиридоновна. Уже разбудив её, Дуся сообразила, что ей сегодня выходить в ночную смену, оттого и спит.

— Смотрю — дверь открыта, никого нет, дай, думаю, зайду, — сказала Дуся.

Мария Спиридоновна поднялась, сонными глазами посмотрела на Дусю.

— Васькины дела! Сбежал на двор... Звонить боится.— Мария Спиридоновна зевнула и прикрыла ладонью рот.— За делом, что ль, пришла?

Дуся сказала про жакет. Кряхтя и болезненно морщась, Мария Спиридоновна встала и пошла в спальню, тяжело и медленно ступая, точно ей доставляло особое удовольствие дома быть совсем не такой, какой все привыкли видеть её на работе, — быстрой и энергичной, и как будто в этом полном расслаблении всего тела и заключался подлинный отдых.

Ожидая её, Дуся завистливым взглядом окинула просторную квартиру Ермаковых. Три комнаты, ванная, шкафы в стенах... И за всю эту благодать — те же сто рублей в месяц, которые она платит за свою жалкую комнатку в Ведёрникове... Если бы она продолжала жить в общежитии, то, может быть, со временем и получила бы комнату в новых корпусах, а теперь, как перешла в деревню, разве дадут? Только если Серёже что-нибудь к зиме... Дом плавсостава должны вот-вот кончить.

Мария Спиридоновна вынесла жакет.

— «Керчь», небось, пришла?

— Пришла, — коротко ответила Дуся, заворачивая жакет в газетный лист.

Мария Спиридоновна снова опустилась на диван, исподлобья посмотрела на широкие дусины плечи.

— Влезет?

— Узковат, да ничего... Я уж его надевала.

— Твой-то! Разорился бы на костюм.

Дуся осторожно, чтобы не смять жакет, затулила шпагат.

— С каких это шишей? У него ребёнок. Какая копейка есть — всё туда.

— Это правильно, — согласилась Мария Спиридоновна, снова укладываясь на диване. — Ну, беги, девка, мне досыпать надо.

Дуся сказала правду. Она ничего не позволяла Сутырину тратить на неё. Пусть люди не говорят, что она у его сына отрывает. Даже за комнату, снятую только для того, чтобы иметь возможность встречаться с ним, она платила сама, хотя Сутырин был представлен хозяйке как муж...

В общежитии койка стоила Дусе тридцать рублей в месяц. И постельное бельё каждую неделю меняли за те же деньги. За комнату же она платит сто рублей, и всякой мелочью пришлось обзаводиться. А весной, перед навигацией, какой заработок?!

Деревня Ведёрниково, где снимала комнату Дуся, давно уже вошла в черту города. Это название продолжали носить несколько узких улочек, вымощенных неровным булыжником и уставленных маленькими домиками с крошечными палисадниками впереди и такими же крошечными огородами на задах. Расположенные в овраге, образованном высохшим руслом речушки Веди, улочки были стиснуты с одной стороны новыми кварталами города, с другой — разрастающимся посёлком машиностроительного завода. Каждый год эти мощные соседи предпринимали энергичное наступление на остатки Ведёрникова, и тогда один или два ряда домов шли на снос — каждый новый корпус занимал целую улицу.

Раньше здесь жили ломовые извозчики, портовые грузчики, огородники. Ещё в тридцатых годах почти все жители занимались сельским хозяйством. Но постепенно этот довольно плотный и однородный состав населения размывался, как размывалась и сама деревня. Кто работал в порту, кто — на машиностроительном заводе, на железной дороге, на предприятиях города, на самых различных должностях, по самым различным специальностям. Но все дома продолжали оставаться частновладельческими, и хозяева сдавали комнаты в наём.

Это был своеобразный кусок деревни, каким-то чудом сохранившийся среди громадных и шумных городских кварталов. По асфальтированному шоссе мчались машины, трамваи, троллейбусы, а рядом по узким улицам расхаживали гуси, бродили, оципывая кустарник, козы, валялись в канавах свиньи, хрюкали поросята, из хлева доносилось мычание коров. Хозяйки судачили у водоразборных колонок, выстиранное бельё висело в палисадниках, люди, приходя с работы, умывались под прикреплёнными к дереву умывальниками, копались в огородах, возились в саду возле кустов сирени...

Крохотная комната, которую снимала Дуся, была переделана из чулана, пристроенного к большому пятистенному дому. Дошчатые стены пристройки были засыпаны внутри шлаком, а снаружи оштукатурены и побелены. Самый дом был сооружён из брёвен, хотя и посеревших от времени, но своей толщиной производивших впечатление долговечности. Из комнаты был самостоятельный выход в сени, за что Дуся особенно ценила своё жильё, — не надо было ходить через хозяйские комнаты. Создавалась иллюзия своей, отдельной квартиры. Хотя хозяевам Сутырин был представлен как муж, Дуся всё же испытывала некоторое неудобство. Конечно, она платит за комнату, и до того, кто к ней ходит, хозяевам дела нет. Но всё же с отдельным ходом лучше, разговоров меньше!

Кровать, стол, два стула составляли скромную обстановку этой комнатушки. Синька, примешанная маляром в раствор, придавала белым стенам голубоватый оттенок, особенно ощутимый рядом с блестяще-белыми, почти кремовыми наличниками окон и низким побелённым потолком. Если вид марлевых занавесок на окнах и белой простыни в углу, заменявшей платяной шкаф, удручал Ошуркову, то постель была предметом её гордости. Высокая, с горой подушек в белоснежных наволочках, застланная двумя ватными одеялами и покрытая великолепным кружевным покрывалом, она придавала комнате тот семейный вид, который имел особую прелесть для неё, шесть лет прожившей на койке в общежитии, и, по её расчётам, привлекательный для Сутырина, человека немолодого и привыкшего к домашнему уюту. Устраивая комнату для них двоих, она чувствовала себя не любовницей, а женой. Впервые в жизни она заботилась о любимом человеке. Эти заботы наполняли её жизнь, доставляли ей радость, и поэтому она любила свою комнату и единственный её недостаток видела в том, что тонкие стены пропускали звук. Всё, что делалось и говорилось на огороде и во дворе, было здесь слышно. Так и сейчас. Когда Дуся пришла домой, она услышала громкий разговор во дворе. По голосу она узнала хозяйку и её сестру.

— Какой он ей муж? — говорила сестра. — Снял для неё комнату... вот и муж.

Затаив дыхание, Дуся стояла у окна, прислушиваясь к их разговору. Из-за занавески она хорошо видела обеих женщин, склонившихся над грядками огорода, — маленькую толстенькую хозяйку и её сестру, тощую старую деву.

— Так ведь штурман он, — говорила хозяйка. — В плавании, оттого и бывает редко.

— А вещи? — отвечала сестра. — Разве так живут семейные люди?!

Дуся злобно усмехнулась. И какое им дело? Бабы!

— Ни посуды своей,— продолжала сестра,— ни стола, ни стула.

— Молодожёны, — сказала хозяйка, — обзаведутся.

— Молодожёны, — иронически повторила сестра. — А почему молодой-то не прописывается? Прописан, небось, дома, где жена с детками...

Дуся с шумом распахнула окно. Надоели со своими разговорами! Бубнят, бубнят! Особенно эта чёртова старая дева! Она со злорадством наслаждалась видом женщин, обернувшихся на шум открываемого окна и застывших в растерянной позе.

— Пришла, Дусенька? — произнесла наконец сестра хозяйки, виновато улыбаясь и с беспокойством заглядывая ей в глаза — слышала, мол, или нет?

— Пришла! — вызывающе ответила Дуся и отошла от окна.

Ну, погоди!

Налив в таз воды, она разделась и, встав против открытого окна, начала обтираться мокрым полотенцем. Пусть смотрит, монашка проклятая!..

Одеваясь, она должна была всё время нагибаться и поворачиваться, чтобы увидеть в крошечном настольном зеркале отдельные части своего туалета. Серый жакет, хотя и жал подмышками и собирался складками на спине, всё же очень шёл к её чёрным гладким волосам. Она несколько раз снимала и надевала его, примеряясь, на какое платье его надеть, — на шерстяное платье он не налезет, а летних у неё было два: новое, вишнёвого цвета, и старое, светлосинее с белыми цветами. Конечно, в новом виднее, но что она наденет тогда к Первому мая? Его и без жакета носить можно, а синее — старенькое, так уж в нём не выйдешь, а с жакетом хорошо и цвета подходят...

Большие огорчения причиняли ей туфли. Они и куплены были неудачно, одно название, что модельные. В других аккуратно два, а то и три года проходишь, а эти уже на второй месяц потеряли всякий вид. Кожа, что ли, скверная, или сшиты плохо, только сразу они раздались, носок провалился, краска потрескалась. И за что деньги берут?!

Перед каждой получкой Дуся всегда довольно точно знала, сколько ей причитается. Но каждый раз, когда она шла в кассу, ей казалось, что она получит больше, чем предполагает: какой-нибудь неоплаченный наряд с прошлого месяца перейдёт или премия выйдет больше. И хотя редкая получка оправдывала эти надежды, они никогда не покидали её. Так получилось и сегодня.

Не обращая внимания на насмешки и поторапливания из очереди, она внимательно просмотрела ведомость. Бездетный налог, подоходный... Остаётся на руки — триста шестьдесят два рубля с копейками. Так приблизительно выходило и по её расчётам. Даже законченная в ночь на пятнадцатое погрузка «Абхазии» вошла сюда.

Большой вестибюль управления порта был полон людей, как и всегда в дни выдачи зарплаты. Грузчики и грузчицы в плотных брезентовых костюмах с заткнутыми за пояс рукавицами, крановщики и механизаторы в синих куртках, приёмо-сдатчики, ремонтники, береговые матросы — всё это шумело, волновалось, смеялось, расплываясь в густом облаке табачного дыма.

Наморщив лоб, Дуся перебирала в уме предстоящие расходы. Хозяйке за квартиру — пятьдесят рублей. Долг Соне — пятьдесят. Босножки обязательно — пятьдесят два. Носочков три, ну, две пары — шестнадцать. К Первому мая муку будут давать, три кило — восемнадцать рублей. Мяса взять килограмм, луку, рису, яиц, повидла, дрожжей —

с мукой меньше чем в пятьдесят рублей не уложишься, а пироги обязательно надо испечь: может быть, Серёжа на праздниках будет здесь. Сколько же это получается? Двести двадцать рублей! Чай надо купить — четыре шестьдесят, сахар — шесть двадцать, а то неудобно, уже у хозяйки занимала... Ниток две катушки да штопки четыре мотка. Прошлый раз хотела Серёже носки заштопать — ниток не оказалось... Значит, ещё десятка... Набойки набить на сапоги — совсем стоптались... Мыло всё вышло — кусок хозяйственного, кусок туалетного... Да ещё по мелочи туда-сюда... Всегда этак к Первому мая, всё к одному!

Дуся не уходила, механически перебирая деньги, раздумывая, не подать ли ей заявление в кассу взаимопомощи. Потом решительно тряхнула головой: «Нет, опять в долги лезть!» — и сунула деньги в кармашек юбки.

Она направилась к двери, как вдруг перед ней выросла статная фигура грузчика Малахова. Широко разведя руки, изгибаясь стройным телом, нагло ухмыляясь, он загородил проход.

— Дусеньке привет! С получкой вас!

— Спасибо! — хмурясь и пытаясь пройти, ответила Дуся. — Чего стал-то, дорогу загораживаешь?!

— Торопимся? — играя серыми, наглыми и смеющимися глазами, сказал Малахов. — Куда же это мы торопимся?

Он ещё ниже опустил к ней своё лицо, узкое и бледное, с мешками и припухлостями под глазами, со свисающим на лоб золотистым чубом. От него пахло вином, и Дуся вдруг почувствовала, что сейчас произойдёт что-то отвратительное, что он при всех унизит её, и она должна стоять и слушать его, иначе подыметесь шум на весь вестибюль и будет ещё позорнее.

Надвигаясь на Малахова, она тихо, но с вызовом ответила:

— Да, торопимся... А куда — не твоё дело! Уйди с дороги!

— Ну-ну, с дороги, — угрожающе повторил Малахов. Потом опять, переходя на деланный заискивающий тон, сладким голосом прошептал: — Может, на новоселье пригласишь? Новоселье-то замотала, Дусенька!

— Для тебя новоселье ещё не готово! — тоже шёпотом, но злобным и угрожающим, ответила Дуся, вплотную надвигаясь на Малахова и пытаясь оттиснуть его от двери. — Пусти, слышишь!

Упершись в косяк двери сильной рукой, он продолжал загораживать проход.

— Значит, раздумала с нами, грузчиками, гулять, — кривя губы, проговорил он, — со штурманами теперь, с капитанами... Эх ты...

Он не успел договорить. Дуся размахнулась — звук сильной и звонкой пощёчины раздался в вестибюле. И сразу стало тихо. Малахов пошатнулся и чуть не упал, удержавшись за край стоящего у выхода столика. На секунду его серое, искажённое растерянностью лицо мелькнуло перед Ошурковой.

Не оглядываясь, она вышла из вестибюля.

Дуся быстро шла, почти бежала по берегу, направляясь к угольному причалу. Слезы душили её и застилали глаза. Господи, до чего опостылело всё! Утром Ермаков привязался, теперь этот хлыщ! И чего им от неё нужно? Какое им дело? Им-то что? Кто они ей?!

Холодный вечер спускался над рекой. Бесчисленные суда на рейде казались мёртвыми. Одиноко и скучно поворачивались баши кранов на причалах. По набережной шёл трамвай. Мчались машины. Народ торопился с работы, каждый со своим делом, каждый со своей заботой. Тёмные, чуть засветлённые по краям тучи ползли по небу. Было холодновато и вместе с тем душно — к дождю.

И вдруг Дуся представила себе последствия того, что произошло. Уже сегодня весь порт узнает об этом. И пойдут разговоры. Прибавят, что было и чего не было. И уж, конечно, Серёже обо всём доложат. Тот же Ермаков... И уж отведёт душеньку свою завистливую!..

Зимой она приходила к Сутырину в город, где он жил в комнате брата. Никто, кроме Сони, не знал об этом. А если кто и знал, то молчал. Сутырин не появлялся в порту, и никому не было до этого дела... А теперь знают... Тот же Малахов, подлец: «Со штурманами живёшь!..»

Она бежала по набережной, и мысли одна страшнее другой овладели ею. А может быть, Ермаков уже насплетничал Серёже? Не из-за нормы же Николай с цепи сегодня сорвался?! Что с неё взять, когда она только второй год на кране! Все видят, как она старается. В работе её упрекнуть никто не может. В грузницах шесть лет отработала, звеньевой была, кроме наград и благодарностей, ничего не видела. Тут не в работе дело!

Она представила себе лицо Сергея в ту минуту, когда ему рассказывают и о бригадире, и про скандал с его женой, и про студента этого... У неё похолодело сердце и подкосились ноги. За что, за что всё это ей?! Всё это грязь, пакость! Ведь не любила она никого... Грязь, грязь!..

Много раз Дуся хотела рассказать Сутырину обо всём: пусть лучше от неё узнает, чем от людей. Но она не решалась это сделать. Боялась потерять его, боялась, что станет потом попрекать. Иногда она успокаивала себя тем, что всё это ерунда... Мало ли у какой женщины что было! Свободная была, безотчётная, бесконтрольная... Да и по молодости глупости делала... На какое-то время подобные мысли успокаивали её, но в глубине сердца лежало сознание лжи перед Серёжей, всегда верившим ей. И чем больше верил он ей и чем сильнее любила она его, тем больше хотелось ей укрепить в нём эту веру в себя, хотелось быть в его представлении чистой и честной.

И теперь вся жизнь сосредоточилась только в одном: увидеть Серёжу и убедиться — знает он что-нибудь или нет. Её страшила эта встреча. Ах, почему зимой, когда шла вербовка в северные пароходства, они не уехали на Енисей?! Она тогда не настояла на этом, видела: любит Сергей Волгу, не хочет ездить, не хочет бросать сына, не оформил своего развода с Кларой. Эти соображения, тогда такие значительные, теперь казались ей пустыми и маловажными. Ведь всё равно Клара не даёт ему развода, не даёт ему видеть сына, и всё это только одно расстройство, трёпка нервов. И так же бы он полюбил Енисей, а нет — так через два года они бы вернулись. И не было бы, не было бы всего этого...

Вот и угольный причал... Краны несут в воздухе огромные ковши — грейферы... Двигутся на роликах транспортёры, по ним уголь сыпают в бункера... Девушки-грузчицы с чёрными лицами, красными губами и синими белками глаз подгребают уголь в трюмах... И над всем этим — густое облако угольной пыли, покрывающее и причал, и краны, и транспортёры, и стоящие один к одному суда... И в этом облаке пыли, тёмном и мутном, она вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд и, обернувшись, увидела Сутырина.

«Знает!» — с испугом подумала Дуся и опустила глаза, вся сжавшись, точно приготовившись к удару. Сутырин стоял рядом с ней и молчал. Не в силах вынести это молчание, она подняла глаза и встретилась с его глазами, внимательными и недоумевающими. И оттого, что в них не было ни злости, ни укора, она улыбнулась жалкой, виноватой улыбкой, в которой было и признание своей вины, и мольба о прощении, и надежда, что Серёжа ничего не знает и всё опять пойдёт попрежнему, по-хорошему...

Сутырин продолжал внимательно смотреть на Дусю.

— Ты что это, что с тобой? — спросил он.

По его голосу она поняла, что он ничего не знает и все страхи её напрасны. Нервное напряжение сменилось мгновенной слабостью, тем неудержимым, всепокоряющим влечением к этому человеку, которое всегда овладевало ею, когда он был рядом с ней, такой сильный, спокойный, добрый...

— Ты чего? — повторил Сутырин и тронул рукой её волосы. — Растрепалась вся.

Она схватила его руку и прижалась горячей щекой к широкой шершавой ладони. Он смущённо оглянулся, но она не отпустила его.

Мягким движением он высвободил руку.

— Что случилось? — в третий раз спросил он.

Устало улыбаясь, она смотрела на него. Господи, как тяжело даётся ей эта любовь! И чего она волновалась, чего страдала?.. Разве он бросит её из-за бабьих разговоров?!

— Да ничего, — сказала она. — Так, ерунда. В кассе с грузчиком с одним поскандалила... Смазала ему...

Он засмеялся знакомым ей тихим, добрым смехом.

— Зачем же драться-то?

— Пустой человек, пристаёт и пристаёт, — сказала она, отводя глаза.

Теперь она старалась это происшествие обернуть в свою пользу, восстановить Серёжу против Малахова и, следовательно, против тех слухов, которые могут до него дойти.

— Говорит: со штурманами гуляешь... Видал его? Раз с тобой гуляю, значит и с ним должна. Сволочь!

— Плюнь на это, — сказал Сутырин. Но в глазах его промелькнул недобрый огонёк.

— Ерунда, конечно... Да ведь обидно. Каждый хочет в душу наплевать. Видят, что мне хорошо с тобой, вот и злобятся... Раз я с тобой — значит гулящая... А на гулящую-то каждому хочется напелсти...

— А ты не обращай внимания, — хмурясь, сказал Сутырин, как все добрые и доверчивые люди, чувствуя себя виновником её неприятностей.

И она понимала, что чем больше проникнется он этим чувством, тем более глух будет ко всяким разговорам о ней.

— Обидно, — сказала она, отворачиваясь в сторону, — каждый может наговорить, наслетничать... Языки-то злые... Ну, уж бабам простительно, а то мужики... Тот же Ермаков Николай. Жену твою, вишь, жалеет. Что ж, не я ведь вас развела... А каждый тычет, тычет...

Сутырин поморщился.

— Он тебе что говорил?

— Да уж какой день злобится.

По тому, как он поморщился, Дуся поняла: цель достигнута. Пусть сунется теперь Николай. Не так-то быстро ему Сергей поверит...

Она вдруг улыбнулась.

— Да чёрт с ними со всеми, пусть болтают...

Сутырин обрадовался её улыбке. Чувствуя себя виноватым перед Дусей, он был благодарен ей: она сама прекратила этот тяжёлый и неприятный ему разговор... Он любил Дусю за то, что она просто и прямо смотрела на вещи, спокойная и твёрдая натура. Разговор, подобный сегодняшнему, был между ними впервые. Никогда не надо было думать, как вести себя с ней. Его всегда тянуло к Дусе именно к такой, решительной и независимой.

— Пусть болтают, — повторила Дуся.

В ответ на её улыбку он тоже улыбнулся.

Воровато оглянувшись, она потянулась к нему.

— Серёженька, придёшь сегодня?

Он с сомнением посмотрел на теплоход.

— Не знаю... Как с погрузкой будет...

— Ну приди, хоть на часок... Рубашку я тебе выгладила, заберёшь, носки...

Он улыбнулся, смягчаясь незатейливой хитростью, к которой она всегда прибегала, чтобы встретиться с ним, хотя оба они знали, что никаких других причин нет, кроме одной, известной им обоим: они хотят видеть друг друга и побыть вместе...

— К тебе прийти не смогу, — сказал он, — ночью будем сниматься, а ты ко мне вечером приезжай. В десять вахту закончу, ты и приезжай...

Дуся ушла от Сутырина поздно ночью. Он дремал, пока она одевалась. Прикосновение её одежды и холодных губ заставило его открыть глаза. Тонкие полоски лунного света, едва пробиваясь сквозь узкие жалюзи окна, освещали склонившееся над ним усталое дусяно лицо. Её серые глаза смотрели на него с нежной и стыдливой улыбкой...

Она не позволила проводить себя. Сутырин понимал — не хотела, чтобы на теплоходе видели их вместе. Но с теплохода трудно уйти незамеченной. И к мысли о том, что люди увидят её и будут говорить об этом, он отнёсся равнодушно. Пусть знают, пусть говорят. Сознание того, что ему нет надобности что-то скрывать, принесло ему радостное чувство облегчения.

С таким же чувством радости и душевного торжества шла Дуся вдоль причалов, направляясь ко второму участку. До смены оставалось всего два часа, и она решила домой уже не итти.

Было по-утреннему свежо. Густой туман, сливая воедино небо и воду, превратил весь мир в сплошное серо-голубое море, высокое, глубокое и бездонное. Песчаная полоска противоположного берега не виднелась, но ощущалась. Суда на причалах и на рейде казались громадными чёрными спящими рыбами. Но причалы были освещены тусклым молочным светом. Слышался лязг и скрежет кранов, огоньки на их башнях описывали правильные короткие дуги.

Ночью работал Ермаков. Дуся не хотела с ним встречаться до смены и пошла на кран Сизова. Оба крана работали рядом, заканчивая разгрузку «Томска». Николай мог заметить Дусю, но ей было на это наплевать... Пусть видит!

«Томск» уже почти разгрузили. Второй штурман оформлял документы на сданный груз, матросы зачищали освобождённые второй и четвёртый отсеки, готовя их под погрузку рудничной стойки. Глубокие трюмы чернели, маленькие фигурки матросов на их дне казались совсем крошечными.

— Тебе с утра выходить? — спросил Сизов.

— С утра.

Она посмотрела на трюмы.

— До смены закончите?

— Закончим.

— Ну, а мы сразу лес начнём. Вон состав уже подан... Хорошо с «Томском» получилось. Ни минуты не стояли.

— Это правда, — сказал Сизов. — Так ведь перед тем теплоход трое суток ожидал причала. Не принимала его Екатерина Ивановна.

— И правильно, — сказала Дуся. — Что толку его на причал ставить, когда вагонов нет? Только одна видимость, что начали погрузку. И судно стоит, и нам заработка нет.

— Так-то это так. Только тут такое из-за этого «Томска» было. — Сизов покачал головой. — Начальство из пароходства приезжало. Конеч-

но, и участок прав: не хочет на свою шею простой-то брать. Ну, и начальству тоже неинтересно суда на рейде держать. Так хоть поставили к причалу, туда-сюда, смотришь — и разгрузили потихоньку... Вот и разберись тут, кто правый, кто виноватый... Конечно, Екатерина Ивановна свою линию гнёт. Так ведь над ней повыше люди есть. Прикажут — выполнит.

— Этого я не знаю,— сказала Дуся.— Только уж если поставили судно к причалу, значит работать надо. А так просто, лишь бы поставить, и незачем...

— Ну, как твой бригадир? — спросил Сизов про Ермакова.

— А что?

— Что это вы там такие недружные?.. Или не поделили что? Или с женой, может, его не ладишь?

— Нет, ничего, — уклончиво ответила Дуся. — Всё у нас в порядке.

— Не пойму я его: придёшь ты ко мне на кран, а он косится... И чего косится? Может, ревнует?.. Так ведь мне скоро пятьдесят...

— Он думает, что он один всё насквозь прошёл, — сказала Дуся. — Хочет, чтобы только по его работали.

— Что ж, мастер большой.

— Уж я не знаю какой. А может, как вы работаете, мне больше нравится.

— Каждый по-своему...

— Вот именно! — подхватила Дуся. — Он поворот хорошо делает, ничего не скажу. А вот у вас или у Сидора Иваныча быстрее отцепляют и зацепляют площадку. А почему? Потому что он, Николай Фёдорович, на людей, на грузчиков, не смотрит. Повернул красиво и радуется...

— Зато поворачивает хорошо.

— Так ведь всё надо хорошо делать...

— Это верно, — согласился Сизов, — да не всегда получается, как хочешь. Бывает и хуже. Вот вагоны плохо ставим. Если бы по-другому ставили, можно было бы сразу из двух вагонов работать...

Дуся с жадностью слушала Сизова. Хороший мастер — меньше двух тысяч не получает. Неужели и она не сумела бы так работать? Или ей меньше надо? Тоже ведь хочется жить не хуже других...

— Если бы всё было как следует, — сказала она, — то на кране можно три, а то и четыре тысячи заработать. Вон в других портах зарабатывают.

— Куда тебе столько денег-то? — засмеялся Сизов.

— Значит, надо, — коротко ответила она.

Глава шестнадцатая

Николай видел, что Дуся была на кране Сизова. Но, передавая ей смену, ничего не сказал. Он твёрдо решил убрать Ошуркову из своей бригады. Пусть работает на другом кране, если ей там больше нравится.

Случай к тому скоро представился.

— Очень неравномерно работает ваша бригада, Ермаков, — сказала ему Екатерина Воронина. — В вашу смену выработка в полтора раза больше, чем у Ошурковой.

— Что же, мне за неё работать?

— Надо учить, подтягивать.

— Не хочет она учиться. И не хочет у меня работать. По другим кранам бегаёт. Вот и заберите её у меня.

— Забрать её — не решение вопроса. От этого она лучше работать не станет.

— Ей хочется с Сизовым работать, ну и пусть. Может, он её скорее выучит. А я другого крановщика возьму.

— Надо подумать, — сказала Катя.

— Вот и подумайте. Подумайте и заберите её от меня.

Катя вызвала Ошуркову к себе. Думая о предстоящем разговоре, она поморщилась: эти беспорядочные связи, драки с пьяными грузчиками, склока на кране, жизнь, дающая повод к сплетням и двусмысленным разговорам. Она просмотрела рабочие карточки Ошурковой — в общем, средняя крановщица, хотя из молодых, пожалуй, лучшая.

Дуся сидела, не глядя на Катю, и вертела в руках гаечный ключ. На ней была помятая спецовка, грубые сапоги, открывавшие голые колени, и низко опущенная на лоб чёрная косынка. И её поза и старательное верчение ключа выражали вызывающее безразличие к разговору, к Кате — ко всему, что здесь происходит и может произойти, как будто всё её внимание сосредоточено на этом ключе, а до остального ей никого дела нет.

Но за три года работы в порту Катя привыкла сталкиваться с разными людьми и преодолевать разные характеры. Спокойным голосом человека должностного, для которого это дело — одно из многих в ряду других дел, она спросила:

— Что за история произошла у вас с грузчиком Малаховым на прошлой неделе?

— А ничего особенного. Поговорили. По личному вопросу.

— Зачем же решать личные вопросы в общественном месте?

— Это уж где придётся.

— Да ещё с мордобитием.

— Это уж как получится.

Всё так же спокойно, но внушительно растягивая слова, Катя сказала:

— А получится так: вас могут лишить возможности устраивать скандалы в порту. И очень простым способом. Учтите это на всякий случай.

Дуся ничего не ответила. Но лицо её напряглось, и по нему прошла мгновенная судорога страдания. Это не ускользнуло от Кати, и она добавила:

— Ведь вы даже не хотите объяснить своего поступка.

Дуся опять ничего не ответила.

— Теперь второй вопрос. Ермаков требует перевести вас на другой кран. В чём у вас с ним дело?

— Он требует, у него и спросите, — попрежнему не подымая головы, но уже перестав вертеть в руках ключ, ответила Дуся.

Её руки неподвижно лежали на коленях. Большие сильные руки с широкими толстыми ногтями и следами машинного масла в складках кожи. И, глядя на эти руки, Катя подумала, что говорит с Ошурковой слишком раздражённо и раздражённость эта вызвана предвзятостью её мнения о человеке, которого она, в сущности, почти не знает.

— А вы согласны перейти на другой кран? — спросила Катя помолчав.

— Всё равно.

— Ведь вы учились у Ермакова.

— У него училась, у других подучусь.

— Ермаков всё же лучший крановщик порта.

— Да ведь кому чья работа нравится... Кому Ермакова, кому Сизова, кому Умняшкина...

Катя пристально посмотрела на Ошуркову. Зазвонил телефон, но она, не взяв трубки, спросила:

— А вам чья работа больше нравится?

Дуся подумала и, впервые за всё время разговора подняв глаза на Катю, ответила:

— Поворот стрелы способнее делать, как Николай Фёдорович. Ну, а если говорить про зацеп и отцеп, то у Сизова лучше.

Ошуркова замолчала, но Катя продолжала внимательно смотреть на неё. Вот главное в их разговоре! Не то мелкое, с чего они начали, а вот именно то, что сказала сейчас Ошуркова, чего она, может, не смогла точно выразить, но что было отлично понятно Кате: у каждого крановщика есть свой лучший рекордный приём, и если соединить вместе эти рекордные приёмы, то получится совершенно исключительная и ещё невиданная производительность крана. Катя сама много об этом думала раньше, но не занималась этим, вся отдавшись тому, что считала главным, — ликвидации простоев.

В одно короткое мгновение перед Катей промелькнул тот трудный путь, которым эта простая и ещё малоопытная крановщица пришла к той же мысли, к которой пришла сама Катя после нескольких лет работы в порту. И кто знает: не здесь ли причина того, что Ермаков недоволен Ошурковой. Кате был отлично известен его нетерпимый характер и тщеславие. И может быть, за скандалом с Малаховым тоже кроется причина, о которой Дуся не хочет говорить... Что такое этот Малахов — все знают!.. Да, человек не только в том, что о нём говорят, не только в накрашенных губах и голых коленях, а в той мысли, которую Ошуркова сейчас высказала, в этих вот сильных рабочих руках.

Она задумчиво проговорила:

— Это верно, учиться надо у всех... А как всё-таки с краном: останетесь у Ермакова или на другой вас перевести?

— Да уж лучше перевести.

— Не жалко?

— Что ж поделаешь, если человек о себе так много понимает. Да и вообще до всего касается... — Мрачная тень пробежала по лицу Дуси. — Каждый норовит лучше приспособиться, а он хочет, чтобы только по его. А ведь каждый свою голову имеет, знает, для чего работает.

— Ну и для чего? — заинтересованно спросила Катя.

— Известно, для чего: кто для денег, кто для славы.

Катя не спросила, для чего работает Ошуркова, понимая, что она не сумеет на это сейчас ответить. А для длинного разговора не было времени: через десять минут должно было начаться диспетчерское совещание.

— Краны, конечно, одинаковые, — сказала Катя, вставая, — но бегать из бригады в бригаду тоже не годится. В общем — подумаю.

— Смотрите, — безучастно ответила Дуся.

Елисеев вёл диспетчерское совещание в своей обычной нетерпеливой манере, с полуслова улавливая требования подчинённых, обрывая их и сразу отвечая сжатыми, отрывистыми приказами, которые торопливо, едва поспевая за ним, записывал старший диспетчер. От деланно-наивной и хитровой болтливости, которая обычно была у него в разговоре с начальством, здесь не оставалось и следа. Он хмурил седые лохматые брови, нетерпеливо вертел большой головой с коротко подстриженными седыми волосами. Выражение его мясистого лица со склеротическими жилками на носу и щеках как бы говорило: «Знаю, знаю, всё знаю. За сорок лет работы в порту и не это будешь знать».

Как обычно, на диспетчерском совещании первым обсуждался отчёт за истекшие сутки. Но каждому начальнику участка не терпелось узнать, что ему предстоит сделать завтра. Молодой инженер Костюков, как и Катя, только в этом году назначенный начальником участка, сидя у самого стола, тихонько повернул к себе ведомость завтрашнего сугочного плана и незаметно разглядывал её. Со своим молоджавым озабоченным лицом он

был похож на школьника, старающегося незаметно от учителя заглянуть в чужую тетрадь.

Сидевший с ним рядом начальник третьего участка Кочергин, горбоносый бронет с выпуклыми карими глазами, тянулся, пытаясь из-за спины Костюкова тоже увидеть, что написано в ведомости. Но это ему не удавалось, и он откидывался назад, на спинку стула, слушая доклад начальника четвёртого участка Обрижаева, сухопарого, флегматичного человека средних лет, говорившего скучным, монотонным голосом.

В первый день навигации всё было хорошо, но теперь творилось то же самое, что и в прошлом году: суда подходили неравномерно, вагоны подавались нерегулярно. И Катя понимала, что, несмотря на всю видимость руководства — видимость, которая создавалась планами, докладами, приказами и распоряжениями, — все сидящие здесь люди, во главе с начальником порта, находятся во власти обстоятельств, созданных неорганизованностью перевозок; и все их усилия сводятся лишь к тому, чтобы приноровиться к сложившимся на данный день или на данный час условиям.

Всё это было Кате знакомо, как знакомы были осторожные ответы начальников участков (она сама так же отвечала) о предполагаемом часе разгрузки того или иного судна, как знаком был ей заключительный вопрос Елисеева: «Есть ли взаимные претензии?» — и многое другое, что повторялось изо дня в день.

Когда совещание кончилось, Елисеев приказал Кате задержаться.

Она пересела в кресло у его стола. Когда этот маленький кабинет освободился от людей, он стал, как это ни странно, ещё меньше. Елисеев распахнул окно. Шум порта, гудки и свистки пароходов ворвались в комнату.

— Звонили из пароходства, — сказал Елисеев, — требуют материалы по скоростной обработке судов... Заинтересовались твоими достижениями...

Катя усмехнулась.

— Рано ещё о достижениях говорить. Пусть ещё с месяц подождут.

За прошедшие со дня открытия навигации три недели большинство судов на катином участке было обработано досрочно. Она принимала суда на причал только тогда, когда всё было готово, и обрабатывала по заранее составленной технологической карте. К ней уже несколько раз приходили работники пароходства, требовали данные об этих досрочно обработанных судах. Вот так всегда! Начнёшь дело — не верят и не помогают. Добьёшься какого-то, даже самого незначительного результата — поднимают шум... А оснований для шума пока ещё нет. Результаты ничтожные, и неизвестно, что ещё дальше будет. Навигация ещё впереди...

— Да и о каких достижениях можно говорить, — добавила Катя, — грузим быстро, а суда всё равно стоят на рейде и ждут погрузки. Грузим за сутки, а ждут они нас неделями.

— Так ведь Леднёв требует, приказал завтра тебе лично явиться к нему, — сказал Елисеев и многозначительно посмотрел на Катю.

Этот взгляд говорил, что если катиной работой заинтересовалось высокое начальство, значит, это неспроста и надо сговориться о том, как Кате следует там держаться. Суда-то эти досрочно погружены не где-нибудь, а здесь в порту, и как бы кто-то другой не вздумал зарабатывать себе на этом авторитет.

На лице Елисеева появилось его обычное хитроватое и насторожённое выражение. Он прямо не говорил того, что хотел сказать, а вызывал Катю на разговор, чтобы в осторожной и ни к чему не обязывающей форме подсказать ей линию поведения у Леднёва.

Со дня открытия навигации Катя ни разу не видела Леднёва. Но каждый день приходили распоряжения, инструкции, телефонограммы, под которыми стояла подпись: «Начальник пароходства генерал-директор 3-го ранга Леднёв». Кате хорошо была знакома эта подпись: большое, размашистое «К» (Константин), такая же большая буква «Л» и затем мелко остальные буквы фамилии, подчёркнутые идущей от последней буквы и закруглённой внизу жирной чертой. Короткая, но видная и красивая подпись. При взгляде на неё она живо и ясно представляла себе самого Леднёва таким, каким запомнила его в день открытия навигации,— спокойного, бесстрастного.

Несколько раз, когда она бывала в кабинете начальника порта Елисеева, Леднёв звонил ему. По ответам Елисеева Катя догадывалась, о чём он говорит.

Леднёв бывал в порту и два раза даже на её участке. Но оба раза получилось так, что её самой не было: один раз она уезжала в управление дороги по поводу вагонов, второй раз её вызывали в городской комитет партии. Однако в десятках производственных мелочей, в том, как относились к её участку работники пароходства, в том, что её участку отдавалось предпочтение перед другими, она чувствовала его благожелательную руку. И хотя внимание Леднёва не соответствовало результатам её работы, она не могла не испытывать благодарности к Леднёву.

Про Леднёва говорили, что он раньше работал в Москве, что у него есть дочь, но жена умерла во время войны.

Катя не прислушивалась к этим разговорам. Она стыдилась и боялась того любопытства, которое против своей воли чувствовала к этому человеку, хотя и убеждала себя, что испытывает к нему только деловую симпатию...

И сейчас, когда Елисеев сказал, что ей надо идти к Леднёву, она смутилась, а смутившись, нахмурилась и поторопилась перевести разговор на другое.

— Раз начальство требует, придётся идти,— сказала Катя,— а у меня к вам вот какое дело...

Она рассказала ему о своём разговоре с Ошурковой и попросила провести хронометраж работы крановщиков.

Елисеев выслушал её внимательно.

— Дело-то, в общем, не новое...

— Но у нас новое,— возразила Катя.— Если удастся соединить лучшие приёмы лучших крановщиков, то получится ещё совершенно невиданная норма. А потом поймите, Иван Калистратыч, это назрело в коллективе.

Видимо колеблясь, Елисеев проговорил:

— Конечно, всё это интересно... Да ведь время-то горячее, самый разворот навигации, каждая пара рук — на вес золота.

— Но если мы уж начали скоростную обработку флота, то надо её продолжать, — сказала Катя, намекая на то, что, когда она вводила обработку судов по технологической карте, Елисеев тоже колебался.

Он, видимо, понял этот намёк и ворчливо произнёс:

— Ладно, давай. Только такой работы без ведома пароходства я начинать не могу, нормировочные работы идут по общему плану. Вот будешь у Леднёва, поговори с ним...

И, чтобы Катя не подумала, что он хочет снять с себя ответственность, добавил:

— Скажи, что я согласен.— Потом вдруг вздохнул.— У тебя-то на участке получается скоростная обработка, а в целом у порта — пшик! Стоят суда на рейде, и всё это на мою седую голову...

Катя сочувственно посмотрела на Елисеева. Что бы там ни было, а он честный человек и хороший работник и болеет за дело... Ей очень хотелось ободрить его, и она сказала:

— Порт меньше всего виноват в простоях. Ведь мы за полтора дня теплоход обрабатываем. Раньше пароходство нас ругало, а теперь пусть ругают самих себя. Никак не могут наладить движение флота по графику.

— Всё это так, — устало ответил Елисеев, — да ведь знаешь, как говорится: в чужом полку — не добьёшься толку!..

Глава семнадцатая

Управление пароходства помещалось на улице Некрасова, в четырёхэтажном доме, выложенном по фасаду белым кафелем и украшенном двумя бронзовыми фигурами в нишах. Кроме пароходства, здесь размещались также Бассейное управление пути, Судоходная инспекция и другие речные организации и учреждения. Их названия были обозначены на многочисленных табличках, разных по форме и цвету, но одинаково уродовавших оба парадных подъезда, в размерах и высоте которых была некая торжественность, как и в высоких стрельчатых окнах, за которыми виднелись тяжёлые кремовые шторы.

От парадного входа широкая лестница вела на третий этаж. Пароходство располагалось здесь в бесчисленных комнатах и кабинетах по обе стороны коридора, длинного и узкого, с поворотами и ступенчатыми переходами, украшенного по всей длине стен объявлениями, написанными от руки, приказами, отпечатанными на машинке, стенгазетами и досками почёта. Обычный коридор большого учреждения, где слышатся звонки телефонов и стук пишущих машинок, где сразу можно отличить сотрудника от посетителя, где возле отдела кадров всегда толпятся люди, а в конце лета молодёжь, окончившая учебные заведения, вступает через эти узкие двери в просторный и кипучий мир жизни.

В этом здании Кате была знакома каждая ступенька, каждое пятно на стене, но сегодняшнее посещение, от которого, как ей казалось, зависела судьба её участка и судьба подчинённых ей людей, не могло не волновать её. Хотя Леднёв вызывал её по поводу досрочно обработанных судов, она решила воспользоваться этим для того, чтобы поставить и другие, важные для её участка вопросы. Она понимала, что Леднёву не хуже её самой известно положение вещей, и поэтому ничего нового она ему не скажет, но не сказать она не могла. Главное — это равномерный подход судов и вагонов. Иначе вся та работа, которую она делает, теряет свой смысл...

Катя явилась в пароходство несколько раньше назначенного часа и прошла в диспетчерскую, чтобы узнать о местонахождении баржи № 217, предназначенной под грузы на Каму.

Дежурным диспетчером по тоннажу оказалась Ниночка Куприянова, институтская подруга Кати. Толстенькая блондинка, голубоглазая, румяная, похожая на кукольную матрёшку, она сидела за столом, загромождённым селектором, микрофоном, четырьмя телефонами, картами дислокаций. Рядом на боковых столах были приколоты косые графики, где красным обозначались линии вверх по Волге, синим — вниз. На стенах висели расписания движения.

Катя справилась, где баржа, потом, отвечая на вопрос Ниночки, сказала, что идёт на приём к Леднёву.

Ниночка живо повернулась к Кате, и в глазах её зажёгся огонёк любопытства.

— Ты первый раз к нему?

Катя усмехнулась.

— Первый.

— Смотри не влюбись, — сказала Ниночка, улыбаясь, отчего на её щеках обозначились потешные ямочки, — у нас в него все девушки влюблены.

— Постараюсь не влюбиться, — холодно ответила Катя.

— Он ведь холостой, знаешь?

— Тем более!

— Ну да, ты ведь у нас сухарь, — вздохнула Ниночка. Она была доброй, но недалёкой и восторженной девушкой.

— Между прочим, Леднёв учился в нашем институте, давно ещё, до нас, — сообщила Ниночка.

— Да? — удивилась Катя.

— Ну, конечно, — обрадованно и торопливо заговорила Ниночка, горячая патриотка своей школы и института, самая аккуратная участница всех школьных и институтских годовщин, знавшая, где и кем работает почти каждый из её однокурсников. — Ну, конечно. Он окончил институт в тридцать шестом году...

Она хотела ещё что-то сказать, но голос в селекторе оторвал её от разговора.

То обстоятельство, что Леднёв учился в одном институте с ней, удивило Катю так же, как удивило её то, что они вместе жили в Кадницах.

Он учился в том же институте, где училась и она, в этом сером высоком здании на улице Жданова, где молодость звенит меж голых каменных стен, вечно пропитанных каким-то казённым, но родным запахом; подымался по той же лестнице, ходил по тем же коридорам, сидел в тех же аудиториях. К этой картине, из которой складывался новый и более близкий облик Леднёва, присоединялся смутный образ таинственного дома и сада в Кадницах, о которых рассказывал отец, и то ощущение, которое она девчонкой испытывала тогда при виде весёлой ватаги юношей и девушек.

Просторный кабинет Леднёва удивил её тишиной, необычной для Кати, привыкшей к шумным кабинетам руководителей порта. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь шторы, слабо освещали угол большого письменного стола, за которым сидел Леднёв, и оставляли в тени остальную часть комнаты. В глубине её виднелся стол для заседаний, обставленный двумя рядами стульев с высокими спинками и покрытый красным сукном, казавшимся в этом полумраке пунцовым. Через двойные обитые дерматином двери не проникал ни единый звук, и сами эти двери бесшумно закрылись за Катей.

Леднёв просматривал бумаги. Он поднял голову и, увидев Катю, встал и вышел из-за стола. Улыбаясь, он указал ей на одно из кресел у стола мягким и округлым движением руки; привычное движение, которое совершается, повидимому, механически.

Катя опустила в кресло настолько низкое, что ей пришлось сидеть на самом его краю, чуть подавшись вперёд. Леднёв, наоборот, откинулся на спинку стула. Он продолжал улыбаться, но уже не той официальной улыбкой, которая была у него на лице при появлении Кати, а просто как улыбаются хорошие, давно не видевшиеся знакомые, когда они оба вспоминают что-то такое, что известно только им двоим, и это воспоминание приятно им обоим.

Как и тогда, в день открытия навигации, её поразили в Леднёве неожиданные переходы от официального поведения к простому. Точно жили в нём два человека: один — сухой, действующий по твёрдо выработанному кодексу поведения, другой — человеческий, весёлый и всё понимающий.

Она подумала, что отец и многие другие видели в нём только первого человека и, может быть, поэтому составили о нём неправильное и невыгодное для него мнение.

— Как дела? — спросил Леднёв, подымая одну бровь и продолжая улыбаться.

— Неважные дела, — ответила Катя.

— Да? А что такое? — спросил Леднёв. Оживлённое выражение на его лице сразу сменилось официальным и озабоченным. Он ещё больше откинулся на спинку стула, готовясь слушать.

Катя доложила о неравномерном подходе судов, о неполученных вагонах, о скопившихся на участке грузах. Называя цифры, она думала, что они известны Леднёву в масштабах всей Волги, — положение дел, в общем, всюду одинаково. И ей казалось, что он слушает её из простой вежливости, а выслушав, скажет, что всё это надо решать не в масштабах отдельного участка, а всего пароходства.

Но ничего этого Леднёв не сказал. Он поднял трубку телефона и приказал секретарю соединить его с начальником железной дороги. Ожидая соединения, он уточнил у Кати некоторые цифры, записав их красным карандашом на белом листе бумаги.

Телефон начальника дороги был занят. Леднёв сам позвонил второй и третий раз, спокойно, не выказывая ни раздражения, ни нетерпения. Когда наконец его соединили, оказалось, что начальника дороги нет на месте.

— Косолапова нет, — сказал Леднёв. И, как само собой разумеющееся, добавил: — Ну, а больше говорить не с кем.

Катя понимала, что говорить, конечно, надо только с самим начальником дороги, а не с каким-либо другим, второстепенным лицом. Ей пришли на память её споры с начальником станции Кушнеровым, и она сравнила их с тем, как решаются эти вопросы здесь. Спокойствие Леднёва передавалось ей, и вместе с этим приходила уверенность, что всё будет налажено.

Леднёв вызвал в кабинет начальника отдела портов Завьялова и приказал заготовить справку о подходе судов на второй участок.

Завьялов, пожилой, седеющий брюнет с сухощавым подвижным лицом, выслушал это распоряжение стоя. Кате было неудобно, что Леднёв даже не предложил ему сесть, в то время как она сидит, и что он при ней, каком-то маленьком начальнике участка, выговаривает одному из руководителей пароходства. Но вместе с тем ей нравилась обстоятельность Леднёва, так непохожая на нервозность и поспешность, которые обычно проявлял старик Елисеев.

Никто не мешал им, не входил в кабинет, не звонил по телефону. На столе стояла модель пассажирского теплохода, довольно изящно сделанная, на подставке из матового плексигласа, с зажигающимися внутри лампочками. Задумываясь, Леднёв проводил карандашом по ровному ряду маленьких квадратных окон, и получался дробный звук, как будто мальчишка проводит палкой по частоколу палисадника. Руки у него были большие, белые, с едва заметными волосками на пальцах и кисти. Когда он двигался, поворачиваясь к телефонному столику, или наклонялся вперёд, Катя ощущала далёкий запах крепких духов, смешанный с ароматом хорошего табака. На нём был ослепительно белый китель с золотыми пуговицами и расшитыми золотом погонями. И оттого, что Леднёв сидел, китель морщился, и Леднёв выглядел в нём несколько тяжеловатым и обрюзгшим для своего возраста. У него было бледное, усталое лицо человека, от природы здорового и сильного, но большую часть своей жизни проводящего в помещениях, в кабинетах и на заседаниях.

Материалы по скоростной обработке особенно заинтересовали Леднёва. Оживлённо, рассматривая принесённые Катей таблицы, он сказал:

— Вот чего можно достичь, если хотя бы элементарно организовывать погрузку и разгрузку. Эти данные мы поместим в информационный бюллетень пароходства и разошлём всем портам. Пусть учатся, как надо работать.

В том, что из всех дел это представлялось ему главным, Катя чувствовала согласованность их образа мыслей. Но её не могло не удивить, что Леднёв интересуется только теми хорошими показателями, которых достиг участок по обработке отдельных судов, и совершенно не обращает внимания на то, что многие из этих судов долго стояли в ожидании погрузки.

— В целом для государства результаты нашей работы ещё очень ничтожны, — сказала Катя. — На погрузке мы экономим время, но суда стоят в ожидании причала, в ожидании вагонов. И этот простой съедает все наши достижения.

Леднёв поднял одну бровь и улыбнулся.

— Но ведь вы-то делаете всё возможное. А подача вагонов и движение судов от вас не зависят. Придёт время — наладим и то и другое. А пока надо научиться быстро грузить. Вы научились, пусть научатся другие.

То, что говорил Леднёв, совпадало с обычной катиной точкой зрения: каждый на своём месте должен делать всё от него зависящее. Но вместе с тем Катя чувствовала неправоту этих слов. То, что правильно для одного участка, становится неправильным в применении ко всему флоту. Она занимается только своим участком потому, что не в её власти изменить общее положение вещей. Но это во власти Леднёва, и это его обязанность. Катя боялась, что, искусственно раздувая ещё очень ничтожные успехи её участка, пароходство тем самым уклоняется от решения коренных вопросов работы всех портов и всего флота.

— Рано ещё писать о наших достижениях, — твёрдо сказала Катя, — да и вряд ли другие порты нуждаются в том, чтобы им писали об этом, — работать все умеют. Вместо этих писем они предпочли бы нормально получать суда и вагоны.

Едва заметная тень недовольства пробежала по лицу Леднёва. Но в следующее мгновение лицо его приняло весёлое и несколько общничческое выражение, которое нравилось Кате.

— Вы скромничаете? — улыбаясь, спросил Леднёв.

— Нет, — засмеялась Катя, — но уж если вы дела нашего участка подымаете на такую высоту, то хотелось бы, чтобы вы начали не с наших успехов, а с наших невзгод.

— Хорошо! — воскликнул Леднёв, с какой-то очень привлекательной бесшабашностью ударяя рукой по столу. — Договорились. Будем говорить и о том и о другом. Но ваш участок выходит в передовые, и вам придётся нести бремя славы, ничего не поделаешь. Вы не смущайтесь, не смущайтесь. Вам надо быть увереннее в себе... Уже не первый день навигации...

Он напомнил ей об их первой встрече. Катя покраснела.

Не поднимая глаз, она заговорила о хронометраже, который она собиралась проводить...

Леднёв опять внимательно слушал её, но, как она чувствовала, без особого интереса.

— Вот не знаю, как мы с этим делом будем выглядеть? Самый разгар навигации, а мы занялись отвлечённой работой... — Он подумал, потом решительно заключил: — А впрочем, проводите. Скажите Елисееву, что я не возражаю.

Посмотрев на часы, он встал. Луч света упал на его лицо, ветерок из форточки чуть шевельнул волосы на голове. И Катя, увидев эти редкие, чуть приподнятые ветром русые волосы, и эту уже знакомую ей улыбку, и выхваченный светом характерный поворот головы, вдруг сразу вспомнила высокого красивого юношу с такими же редкими русыми волосами и добродушной улыбкой. Она опять видела вёсла, проплывавшие мимо окон её комнаты, слышала шумные голоса, и в её сердце снова вставало то любопытство, которое она тогда испытывала к этим красивым молодым людям, жившим неведомой ей жизнью. Она вспомнила, как однажды видела Леднёва на пляже. Сильный, загорелый, он боролся с таким же сильным, загорелым парнем. Потом он поднял на руки одну из бывших с ними девушек и понёс её к воде. Девушка отбивалась и визжала, крепко обхватив его рукой за шею. Все смеялись, а Катя почему-то была смущена.

— Вы меня извините,— заговорил Леднёв,— но в два часа меня ждут в обкоме. Значит, если под «Якутию» не подадут вагонов, вы мне позволите.

— Хорошо,— ответила Катя.

Он вышел из-за стола и протянул ей руку. Она протянула свою, он мягко пожал её и вдруг, точно вспомнив что-то, снова улыбнулся.

— А ведь мы с вами, кажется, земляки? Кадницкие...

Катя тоже улыбнулась.

— Да. Мне отец говорил, но я вас не помню.— Она покраснела потому, что сказала неправду, она теперь отчётливо помнила его, но не хотела признаваться в этом.

— Откуда вам меня помнить,— рассмеялся Леднёв.

Он стоял рядом с Катей, высокий — гораздо выше её,— и когда Катя подняла глаза, она увидела, что он смотрит на неё, не отрываясь, и в глубине этого открытого взгляда возникает и разгорается другое, особенное выражение, самоуверенное и испытующее, требующее ответа.

Кате, в её тридцать лет, такой взгляд был не новость. Она оставалась равнодушной к случайным взглядам случайных людей. Но сейчас, в эту минуту, что-то более сильное, чем она сама, заставило её прямо посмотреть в глаза Леднёва. И он увидел на её лице быструю смену выражений: испуганное, страдальческое и, наконец, хмурое... Всё это промелькнуло в одно мгновение, и лицо её снова стало спокойным.

Слегка сжав катины пальцы и заглядывая ей в глаза, он сказал:

— Так вы позвоните мне?

— Да,— овладев собой, сказала Катя.— Позвоню.

Глава восемнадцатая

Когда поздним вечером Катя вышла из ворот порта, она думала о том, как будет без неё догружать «Латвию», «Тагил» и «Воронеж», как примет теплотход «Армавир» и баржу № 217, о диспетчерском совещании, о вышедшем из строя электрокаре, о недостающих аккумуляторах, обо всех других крупных и мелких событиях сегодняшнего дня. Но по мере удаления от порта все эти заботы и мысли тускнели и забывались...

И — странное дело — утреннее свидание с Леднёвым совершенно выпало из её сознания. С того часа, как она вышла из его кабинета и пошла в отдел нормирования, а затем поехала в порт и окунулась в привычное течение жизни участка, всё то, что произошло в кабинете,— взгляды, волнение, рукопожатие — казалось таким неправдоподобным, точно и не было ничего этого. И сам Леднёв казался далёким, она даже не помнила его лица. Она только чувствовала сегодня особенную усталость. И, сидя

в вагоне трамвая, почти пустом в этот поздний час, она желала только одного: добраться домой, вытянуться на кровати, потушить свет и ни о чём не думать. За окном проплывали огни знакомых улиц, мостов, магазинов, кинотеатров. Иногда Катя закрывала глаза, но всё равно знала, где едет и где останавливается трамвай — на остановке или просто у перекрёстка...

Квартира Вороновых была невелика. В две крохотные комнаты, катину и спальню родителей, можно было попасть только через столовую, где комбинацией буфета, шкафа и ширмы был отгорожен угол Виктора, теперь уже студента юридического института. Ничтожные размеры кухни и коридора указывали на то, что одно из них выкроено из другого.

Светлоголубая краска отличала катину комнату от остальных, оклеенных коричневыми, в цветах, обоями, красивыми, но убивавшими свет в довольно тёмной квартире. Низкая кушетка, заменявшая кровать, широкий платяной шкаф без зеркала, крохотный письменный стол стандартного образца, туалетная тумбочка не представляли собой единого гарнитура, но подбором красок и расстановкой вещей здесь достигались простота и безыскусственность, в которых Катя видела подлинную красоту. Книжные полки из сосновых досок, пропитанных коричневой морилкой, тянулись вдоль одной стены от пола до потолка. Маленькая библиотека отца, состоящая больше из исторических книг и разной переводной литературы двадцатых и тридцатых годов, со временем перекочевала к Кате. Собственно катиных книг было не так уж много. Весь Ленин и «Вопросы ленинизма» Сталина; произведения Маркса и Энгельса, сохранившиеся ещё от студенческих лет; почти все гослитиздатские однотомники русских классиков — громоздкие, неуклюжие книги в толстых картонных переплётах; скромные тома сочинений Льва Толстого, Тургенева и Гончарова, вышедших в приложении к «Огоньку»; книги советских писателей, издававшиеся в 47—48 годах; Маяковский; маленькая книжечка стихов Есенина с берёзкой на голубоватой обложке; двухтомник Блока; десятка два книжек малой серии библиотеки поэтов; старое, до-революционное издание Пушкина и другие книги, которые если и давали некоторое, хотя и неполное, представление о читательских вкусах их обладателя, то в гораздо большей степени свидетельствовали об ограниченных возможностях их приобретения.

Две нижние полки были заняты литературой по речному транспорту. Ею пользовалась только Катя: из трёх детей капитана Воронина она одна продолжала фамильную профессию. Кирилл начал с мотористов на теплоходе, но служба в армии сделала его танкистом. Он остался в армии, был уже подполковником и служил где-то на Дальнем Востоке. Виктор решил стать юристом. Когда он объявил о своём намерении отцу, тот по своему обыкновению смолчал, а от бабушки это целый год скрывали. Узнав же, она обрушилась в письме прежде всего на Анастасию Степановну, которую привыкла винить в каждой житейской невзгоде Ивана и его семьи. Анастасия Степановна в душе была довольна выбором сына, оценив этот его шаг как некое своё торжество над ненавистной свекровью, но не показывала этого, боясь противоречить мужу и старухе. Катя же считала, что каждый волен выбирать себе профессию по своему вкусу.

Включив настольную лампу, Катя легла на кушетку, закинув правую руку под голову, а левую положив тыльной стороной ладони на глаза. Она думала о Леднёве. Случайный взгляд, случайный интерес... Сколько она видела таких взглядов, почему она должна верить этому? Зачем ей обманываться ещё раз? Лучшие свои годы она прожила одна — надо ли отравлять будущее ещё одним разочарованием, уподобляться женщинам,

которые ищут хоть какое-нибудь, пусть самое маленькое и в сущности ничтожное счастье...

Звуки, доносившиеся из столовой,— знакомый скрип нижней дверки буфета, звяканье вилок и ложек, шаркающие шаги матери — казались далёкими-далёкими, они то пропадали, то снова возникали. Ей показалось, что мать окликнула её:

— Чай пить, Екатерина...

Катя ничего не ответила. Пусть думает, что она спит.

Потом она услышала голос Виктора... Когда же он пришёл? Неужели она засыпала?

— Не буди,— говорил Виктор,— пусть спит...

Раздался дробный стук ложки в стакане. Это Виктор размешивает сахар. Мать, конечно, опасно поглядывает на стакан. Видя это, Виктор, скосив глаза в газету, ещё яростнее вращает ложку.

— Время-то, поди, одиннадцать, — сказала мать, и Катя услышала звук наливаемого в стакан кипятка, — выпится ещё... Чаю попьёт и ляжет... Устала, небось, ту ночь и вовсе не спала... Спросить бы — отца-то видала?

— Если «Керчь» в порту — значит видала,— наставительно ответил Виктор.

— «Керчь» в порту? — спросила мать Катю, когда та вышла к столу.

— В порту.

— Подъехать, что ли, завтра,— вздохнула мать, передавая Кате стакан, и замолчала, старательно доливая чайник. Потом добавила: — Или ты, может, пирогов ему захватишь? Спеку утром.

Катя знала, что всё это пустые разговоры, никаких пирогов мать не испечёт — чего-нибудь не окажется или времени не хватит.

— Я рано уйду,— не глядя на мать, сказала Катя.

— Виктор, может, подъедет... Поедешь на пристань, Виктор?

— Ровно в три я вернусь из института,— продолжая смотреть в журнал, сказал Виктор,— если будет готово, то возьму.

В детстве очень маленький, Виктор за последние два года неожиданно вытянулся и перерос всех в семье: худощавый, ещё узкоплечий, с маленькой головой и длинной шеей, всегда в неизменной синей футболке с чёрным воротником и чёрными растянувшимися манжетами, которые он машинальными движениями рук всё время подтягивал кверху.

— Почему же не будет... Всё будет... Всё приготовлю,— озабоченно вздохнула мать и повернулась к Кате: — Как они там, на теплоходе-то?

Катя знала беспредметность этих вопросов, и ей было стыдно, что мать так суетится и этой суетой заменяет подлинную заботу об отце. Всё же она сдержанно ответила:

— Ничего...

— Ну, и слава богу,— вздохнула Анастасия Степановна и, взяв обеими руками полоскательницу, полную воды, пошла на кухню.

Виктор обернулся и, протянув руку к комоду, достал синий надорванный сбоку конверт.

— На, читай, письмо от бабушки. Дядю Семёна освободили.

— Да?!

Катя вынула из конверта письмо и пробежала глазами строчки, написанные незнакомым почерком человека, которому бабушка диктовала письмо.

Дядя Семён, младший брат отца, был в январе осуждён линейным судом на три года заключения по делу об аварии баржи «Кобра», на которой он служил шкипером. В этом запутанном деле были замешаны

команда баржи, путейцы и команда буксировщика. Родные с нетерпением ожидали решения Верховного Суда, куда была подана апелляция. И вот теперь дядя Семён освобождён.

«Здравствуй, дорогой сын Иван! — писала бабушка точным, лаконичным языком, которым она и разговаривала. — Сообщаю тебе, что пока жива-здорова. Смерть моя всё не приходит, а мне это и ни к чему. В Кадницах наших новостей нет. Какие мужики на зиму приезжали, все уже и разъехались. Да и зимовали нонче, почитай что, только Алфёровых Ванюшка и Серёжка, да ещё Вахтуровых отец, да ещё в Верхней слободе человека три. Остальные все по затонам. Слыхала я, что суда ныне без ремонта зимуют, а люди год от году всё больше в затонах остаются. Иван! Брат твой Семён прислал телеграмму, что освободили его, домой едет. Но так понимать надо, что ещё будет суд. Думаю, что обойдётся, а там как бог даст. Иван! Возле тебя начальство близко, поговорил бы с кем. Неужто в человеке разобраться не могут? Ещё до войны такое дело с Ермиловым было, когда за дамбу заскочили. Тоже людей таскали, а вышло, что зря. Потому, ежели лоцманов отменили, то какой может быть порядок, и кто такое завёл, должен и в ответе быть. Боюсь, как бы Дарьято баламутная к нему не поехала, вот и разминутся. Как попутный человек в Кадницы поедет, пришли рассады помидорной, что я тебе о прошлом годе писала.

Крыша совсем стала худая. Землянкины нынешним летом свою перекрывать будут, тут бы и нашу сделали. Мне от этого дома доходу нету, для вас берегу. После смерти моей продавать станете, цену сохранить надо.

Налоги в марте уплатила. Постановил сельсовет сторожевые взимать по двадцати пяти рублей со двора, да в сторожах председателевой жены отец, Самошкин, и так деньги больше на водку, какой из него сторож. Да и ни к чему это, платить не буду, и закона такого нету.

Что писала мне Софья насчёт дачников, то, боюсь, не угрожу. Людям и того и другого надо. Одни съезды и разъезды, а главное, стара стала, а людям услужить надо, и в доме кругом нехватка.

Засим кончаю. Плавать тебе счастливо эту навигацию. По радио всё передают насчёт канала к Дону, до морей в понизовье; сказывают, без бакенов плавать будете, да и пароходы электрические. Деткам поклон от меня, от старухи. Витюшку прислал бы уж на лето, как в каникулы пойдёт, хотя и не соблюдает он фамилию, а всё своя кровь. Твоя мать Екатерина Воронина».

— Наверно, Верховный Суд дело отменил и послал на новое рассмотрение, — сказал Виктор. — А как ещё линейный решит?

— Раз отменил — значит в дядину пользу, — ответила Катя. — Прямо гора с плеч! Страшно подумать: дядя Семён и вдруг — тюрьма.

— Я был уверен, что его освободят, — сказал Виктор, — потому что...

— Ну, ведь ты всё всегда наперёд знаешь! Юрист! Нет, а бабушка-то... Лоцманов отменили! Всё ей надо! — говорила Катя, блестя глазами и радостно улыбаясь, живо представляя себе бабушку и по слогу письма точно слыша интонации её властного голоса и представляя всю её полную, тяжёлую фигуру и крупное, с тонкими и правильными чертами мужское лицо с пронзительными серыми глазами. — Всё ей надо, и никому подчиняться не хочет.

— Я, может быть, и поехал бы к ней на каникулы, — сказал Виктор, — да она опять начнёт меня институтом корить. В прошлом году совсем замучила. Какого-то старца привела, который ещё на кабестанах плавал, и давай меня оба разделявать. Весь род речники — и дед и прадед, а ты в адвокаты... Умора!

— Мама! — обратилась Катя к вошедшей Анастасии Степановне. — Дядю Семёна освободили!

— Да. Уж радость-то какая! — ответила мать, ставя поднос на стол. — Отцу бы надо передать.

— Папа обрадуется, — сказала Катя, улыбаясь при мысли о том, какую радость принесёт это известие отцу.

— Дарьюшке-то счастье, — отозвалась Анастасия Степановна, — ведь совсем извелась! Трое детей на руках.

— Рассадку нужно бабушке послать, — сказала Катя, — съездить бы надо к ней, как она там одна.

— Да, уж надо бы, — сдержанно ответила Анастасия Степановна. — Совсем захирели Кадницы.

— Между прочим, мама, ты не помнишь, в Кадницах жили такие Леднёвы?

Катя задала этот вопрос механически, потому что разговор о Кадницах вызвал в её памяти воспоминание о Леднёве. Но уже произнеся эти слова, она покраснела. Ей показалось, что и мать и Виктор понимают тайную причину этого вопроса. Ещё больше краснея и не поднимая глаз, она неестественно-безразличным тоном добавила:

— У нас в пароходстве начальник — Леднёв. Папа сказал, что он из Кадниц.

— Леднёвы? Какие это Леднёвы? — растерянно, как все забывчивые люди, пробормотала Анастасия Степановна, смотря на Виктора, точно призывая его этим взглядом на помощь своей плохой памяти. — Леднёвы? Какие же это Леднёвы?..

— На Нагорной они жили, — сказала Катя, повторяя слова отца, — сам он, Леднёв, работал в затоне мастером. Сад у них большой был, забор...

— Кто же это такие, дай бог памяти, — растерянно бормотала Анастасия Степановна, продолжая смотреть на Виктора. — На Нагорной жили? Там кто же? С краю-то Злобины, за ними — Алфёровы, потом Остаповы, в четвёртом этот... жена его Макариха. — Она перевела вопросительный взгляд с Виктора на Катю. — Однако эти самые и есть Леднёвы, Макариха?

— Что ты, мама, — не отрываясь от журнала, усмехнулся Виктор, — это Лёшки Попова мать зовут Макарихой...

— Точно, точно, эти Поповы. — Анастасия Степановна сокрушённо махнула рукой. — Всё как есть перепутала...

— Да ты не торопись, — сказала Катя, — вспомни, сад у них был большой, я и то помню этот сад. Никто к ним не ходил. Бабушка их всё ругала...

— Ну, уж кого бабушка не ругала, — усмехнулся Виктор.

— Ах ты, господи, — всплеснула руками Анастасия Степановна, — так ведь это Алексея Фёдоровича, затонского мастера, фу ты, право, леший попутал.

Она сразу оживилась, как всегда, когда наконец вспоминала то, чего долго не могла вспомнить.

— Как же, помню. Хорошо жили. Сыновья, дочери в городе, только летом приезжали, красивые все, молодые, один-то лётчиком был, разбился... Дочери все врачи, доктора... Хорошая семья... За год, почитай, до нас из Кадниц уехали... Виктор их не помнит. Дом продали Ключновым, ну, да... Помню, как же... Бабушка их всё «кудесниками» называла.

— Почему же «кудесниками»? — спросила Катя.

— Кто его знает... Говорила бабка: «кудесники». Почему «кудесники», и не припомню...

После дневного напряжения сон долго не приходил. Катя ворочалась на постели, всё ей казалось неудобным. Прохладная ночь была наполнена звуками, доходившими в комнату провозвестниками шумного и жаркого лета. Несколько одиноких окон светилось в противоположном флигеле. На стройке соседнего дома горели сильные лампочки без колпаков. С лесов раздавались чьи-то голоса, с Волги — дальние гудки пароходов.

Лёжа в постели, Катя перебирала в памяти события дня. Правильные мысли, нужные слова, умные решения приходили только сейчас, ночью, когда уже ничего нельзя было поправить. Она восстановила в памяти весь день, час за часом, но вела себя в этих событиях совсем по-другому, гораздо умнее и лучше. Её воображение разыгрывало целые картины — иногда гневные, иногда умильные. Придуманное ею слова вызывали новые ответы других людей и другие их поступки, и от этого люди становились другими. Получался новый, совсем иной, отличный от прошедшего день, в котором действовала совсем другая Катя, такая, какой ей хотелось быть и какой она могла бы быть, если бы умела сразу находить правильную линию поведения.

Но все эти мысли, все события дня развёртывались кругами, сходящимися сейчас к одному центру. И этим центром был Леднёв. Точно все думы о нём, спрятанные весь день где-то в глубине её существа, вдруг вырвались наружу, и он возник перед ней живой, каким был в кабинете, — и его властный и умоляющий взгляд, и рукопожатие, и карандаш, которым он проводил по модели теплохода, и китель, и усталое лицо с гладко выбритым, выпуклым, но мягким подбородком.

Этот живой образ, так ярко и неожиданно возникший перед Катей, сразу вытеснил все её сомнения. С радостью, и торжеством, и страхом она подумала, что этот большой и сильный, такой ещё неясный и непонятный человек может принадлежать ей. И сейчас, сидя в кабинете, он, может быть, тоже думает о ней, и она может ему позвонить и услышать его обрадованный голос, потому что он должен обрадоваться её звонку, она знает, уверена в этом. И если в кабинете есть посторонние люди, он будет вынужден говорить официально. Но сквозь эту официальность будут пробиваться радостные интонации, слышные и понятные только ей одной, потому что и его голос, и весь он принадлежит ей, она имеет тайную власть над ним, как и он имеет власть над ней. Она может неожиданно, без предупреждения, без звонка, прийти к нему домой... И он может поднять её, взять на руки и легко понести, как ту девушку на пляже...

Она перебирала все их встречи, все их разговоры, вспоминала всё, что знала о Леднёве. Её тянуло к нему. Он олицетворял для неё что-то очень большое и значительное. Она чувствовала согласованность их образа мыслей, ощущала его сильную руку, которая поддерживает её в деле, заполнявшем её жизнь...

Тихие звуки музыки доносились из комнаты Виктора. Вдев ноги в туфли и накинув на плечи халат, Катя вышла в столовую и подняла занавеску, закрывавшую вход в угол Виктора.

Виктор возился с приёмником. Маленький столик был загромождён частями, приборами, аппаратами. Он удивлённо поднял глаза на Катю и тихо, полусшёпотом, пропел:

Катя, Катюша, папенькина дочь,
Что ты шатаешься целую ночь?

— Тише, Витька, — так же шёпотом ответила Катя, сбрасывая туфли. Подобрав под халатик ноги, она уселась в то самое большое кресло, которое называлось в семье «гусыной», теперь уже совсем старое и дряхлое...

Передавали Пятую симфонию Чайковского, её любимую. Катя подперла голову рукой и закрыла глаза. Впервые за много лет она почувствовала себя счастливой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава девятнадцатая

Когда рано утром грузовой теплоход идёт по реке, он кажется безлюдным. Только видны за стёклами рубки штурман и рулевой, больше как будто и нет никого. Но это впечатление обманчиво. Жизнь на судне круглые сутки идёт своим чередом. В машинном отделении несут вахту мотористы, работает в своей рубке радист-электрик, в камбузе готовит пищу кок, уже возится в кладовой боцман.

Сутырин любил утреннюю вахту. Никто не беспокоит, не дёргает, плывёшь и смотришь на реку, чистую, ясную, свежую, точно пробудившаяся ото сна девушка. Уходят назад сёла: Бургасы, Красновидово, Антоновка, Юрьевские Горы... Вот и синие воды Камы. Они идут по левому берегу, долго ещё не сливаясь со светлыми водами коренной Волги, но образуя вместе с ними ту Волгу, которая начинается за Камским устьем, — широкую, могучую, бескрайнюю...

На этом необозримом просторе все суда кажутся маленькими, медленно плывущими, с трудом преодолевающими эту необозримую водяную гладь. Бесконечной лентой тянутся по левому берегу плоты с Камы, с аккуратными бревенчатыми избушками, неожиданным на воде дымом костров. Идут снизу нефтеналивные суда Волготанкера с двумя красными полосами на трубе. Маленький буксирный пароходик тащит за собой огромный грузовой дебаркадер; пароходикко пыхтит изо всех сил, но колёса его «балакают», медленно перебирают своими плечами. На горе — четыре элеватора, громадные, похожие на средневековые башни. На берегу ломают мел, разрабатывают известняк. Тракторы ползут на дальнем горизонте. На больших пристанях — горы хлопка. И опять города, сёла, деревни, пристани, порты, посёлки, фабричные трубы, нефтяные вышки, груды строительных материалов, экскаваторы, землечерпалки, деревья, избушки, леса и перелески, поля и поля. Мосты, под которыми по-особенному шумит машина и бурлит вода за кормой... На волнах качается лодка, рыбак высоко подымает огромную стерлядь — купи, мол! Хорошо бы такую на обед, всей бы команде ухи хватило, да нельзя останавливаться, не будить же из-за этого капитана...

Сутырин любил Волгу. С ней были связаны его жизнь, судьба, служба, каждый день, каждый час, каждая минута, здесь родился, здесь женился, здесь и умерёшь. На протяжении всех трёх тысяч километров реки он по каким-то неуловимым признакам в любое время суток узнавал местность: каждую деревню, каждую пристань, каждую избушку бакенщика, чуть ли не каждое дерево. Он знал все бесчисленные суда, их старые и новые названия, годы постройки, все сколько-нибудь значительные события их жизни, всех их капитанов с незапамятных времён... Здесь работали отец, дед, прадед, и всё, что ни есть в жизни, связано с Волгой. Так может любить реку человек, много ночей простоявший на вахте и много чего передумавший под плеск ночной волны...

Он начал сдавать вахту первому штурману Мелкову, когда в рубке появился капитан.

Приход капитана в такой неурочный час удивил всех: ему ещё полагалось спать после ночной вахты, а на судне всё в порядке и впереди ничего сложного не предвидится. Но на судне никто никогда не входил в обсуждение действий капитана. Пришёл, значит надо. Но из-за того, что он пришёл, Сутырин и рулевой не уходили, ожидая, чтобы Воронин им это разрешил.

Воронин просмотрел вахтенный журнал, приборы. Оба штурмана стояли рядом с ним. Сутырин услышал за своей спиной, как ещё кто-то вошёл в рубку. Он оглянулся. Это были старший механик Муртазин и боцман Пушин.

— Вызывали, Иван Васильевич? — обратился к капитану Муртазин.

Воронин задал несколько вопросов Муртазину и Пушину, заговорил о якорях, которые надо сдать в ремонт, о времени прибытия в Сталинград.

— Если дальше так пойдём, — сказал Мелков, — то придём в Сталинград до срока. Часа два на графике сэкономим.

Механик Муртазин, невысокий коренастый татарин, рыжеватый, с расчёсанный верхней губой и с тремя обрубленными на левой руке пальцами, стоял, прислонясь к двери, в своей обычной, несколько вызывающей позе, которую он всегда принимал, разговаривая со штурманами и даже с самим капитаном. При словах Мелкова он презрительно улыбнулся и не удержался, чтобы не задеть верхнюю команду:

— Два часа на рейсе сэкономим, а в Сталинграде суток трое простоим... Экономия...

— Да, придётся постоять, — как бы не замечая ни тона, ни иронии Муртазина, сказал Воронин, — грузчиков в Сталинграде не хватает. Надо будет поставить команду на выгрузку.

Нервное лицо Муртазина сразу посерело, раскосые глаза ещё больше сузились.

— Да уж пусть поработают матросы.

— Надо будет всех поставить, — сказал Воронин, — всех, кто свободен от вахты. Одни матросы не управятся.

Муртазин ещё больше изменился в лице, но ничего не сказал.

Воронин повернулся к Сутырину и пристально посмотрел на него.

— Подготовьте списки людей, которых сумеем поставить на разгрузку, и дадите мне.

— Слушаюсь, — ответил Сутырин.

— Теперь у Сергея Яковлевича дело веселей пойдёт, — ни к кому не обращаясь, со странной усмешкой сказал Воронин. — Он у нас теперь человек женатый... молодой женой обзавёлся.

— Да уж так вот, — озадаченно пробормотал Сутырин, заливаясь краской, чувствуя, что нельзя сейчас возражать.

Мелков повернул к ним своё бледное, болезненное лицо.

— А мне-то жена говорит: к Сутырину супруга приходила. Какая, думаю, супруга? Всё был холостой, а тут на тебе — женился.

Сутырин подумал, что жена сказала Мелкову совсем не так. Сказала, наверное, что у Сутырина ночевала посторонняя женщина и какое это безобразие так делать на глазах у людей, да ещё к тому же на теплоходе дети.

— Да уж бабам только языки чесать, — сказал Муртазин, давая понять, что и его жена ему что-то говорила об этом.

— Познакомил бы, — сказал Воронин. — Дочка мне говорила, твоя-то у неё работает?

— Да, крановщицей, — ответил Сутырин, понимая, что ему теперь остаётся только соглашаться с капитаном.

— Как же, знаю, — заключил Воронин, как бы подтверждая своим авторитетом факт женитьбы Сутырина. — Так сегодня списки людей составьте, — снова заговорил он. — И в Сталинград радируйте: идём скоростным рейсом, людей мобилизуем на разгрузку... Просим сразу поставить к причалу.

— Слушаюсь, — ответил Сутырин.

Как ни неожиданно было то, что произошло в рубке, Сутырин понимал, что капитан действует правильно. Люди видели, как к Сутырину приходила Дуся, и капитан хочет, чтобы все знали, что к нему приходила жена, а не кто-нибудь другой. И Сутырин должен был подтвердить это, иначе он даст повод для сплетен о себе и о своём судне. И он оправдывал действия капитана, как всегда оправдывал их, потому что уважал и любил Ивана Васильевича.

Когда Сутырин женился на Кларе Сироткиной, ему было двадцать шесть лет, ей — двадцать. В 1941 году, в сентябре, у них родился сын, а в октябре Сутырин ушёл на фронт. Он вернулся из армии осенью 1946 года и застал дома пятилетнего парнишку — беленького и сероглазого; он поднял его с постели и прижал к груди. Мальчик с холодным любопытством смотрел на него, его голые ноги касались колен Сутырина, и Сутырин удивился тому, какое длинное тело у сына.

Первые дни после возвращения Сутырин находился в том блаженном состоянии, когда семью, жену, сына, дом воспринимаешь по-новому и в этом новом вспоминаешь старое, когда поздно встаёшь и поздно ложишься, и каждый день гости, и впервые после пяти лет солдатской жизни рядом с тобой жена.

В его отсутствие Клара сменила их комнату на большую. Сутырин не думал о том, как ей удалось это сделать. Он знал только одно: ей нелегко было одной с ребёнком, как нелегко было и всем во время войны. То, что она справилась с житейскими трудностями, умиляло его. При всей своей сердечности, Сутырин не любил обременять себя житейскими заботами. Созерцательный характер порождал в нём ту житейскую беззаботность, которую Воронин называл «простотой». Он приехал, и всё в семье оказалось хорошо. Большая, удобная комната, новая обстановка, всякие мелочи, которые для него олицетворяли уют и практичность жены.

Ещё раньше, в первые дни их семейной жизни, он безропотно отдавал ей власть в доме и безропотно подчинялся этой власти. Уже тогда он видел, что она как-то выкручивается. Его заработок был не так уж велик, а её — она работала тогда счетоводом — ещё меньше. В ней уже тогда была практическая сметка и скупость, которую он принимал за бережливость. Когда он приехал, она работала директором закусочной.

Как это часто бывает после многолетней разлуки, Сутырин в первую минуту особенно ясно увидел, как изменилась Клара. И хотя со временем это ощущение ослабело и отчётливее проступало старое, знакомое, всё же он не мог отделаться от мысли, что Клара изменилась в худшую сторону.

Склонная к полноте, она сильно раздалась и выглядела старше своих двадцати восьми лет. Её лицо ещё можно было бы назвать красивым, если бы не неприятное выражение подозрительной озабоченности: что-то появилось в нём суетливое, беспокойное, жадное. Утром она убегала, когда он ещё спал. Приходила поздно, усталая валилась на кровать, отдавалась ему торопливо, без ласки, без слова и тут же засыпала.

Вся она была там, в своей закусочной, в каких-то таинственных делах и комбинациях. В дом приходили незнакомые Сутырину женщины, Клара перешёптывалась с ними в коридоре или вела при нём иносказательный разговор о каких-то деньгах, продуктах, вещах, так же как и со своей матерью, толстой и жадной старухой. И всё это с тем деланным безразличием, со скучающим, отсутствующим выражением лица, зевотой и излишне поспешным переходом на обыденные темы, которыми она пыталась обмануть его...

«Ну хорошо, — думал Сутырин, — ей было тяжело в войну. Одна, с ребёнком. Но ведь и другим было нелегко. Вот Соня Ермакова прорабо-

тала всю войну крановщицей, не искала места повыгоднее, честно прожизала и честно работала, как жили и работали миллионы людей».

Он винил во многом самого себя. Он вспоминал десятки мелочей, в которых ещё тогда, в первую пору их совместной жизни, обнаруживался её характер и к которым он относился с недопустимым равнодушием. Даже в войну, получив её письмо о переходе на другую работу и смутно догадываясь о её тайных побуждениях, он не вмешался, не предостерег её, боялся своими советами напортить что-то в её и сына жизни — на месте, мол, ей виднее.

Он понимал, что ему следует поговорить с ней, но не знал, как и с чего начать разговор. Он был уверен, что она нечестно ведёт себя на работе, но доказательств у него не было. У Клары, когда она сердилась, был резкий, крикливый голос, она была истерична, начинала кричать и плакать, а он не выносил ни женских слёз, ни криков. Всё же как-то он сказал ей:

— Бросила бы ты это дело. Вертишься. Ни отдыха, ничего. Да и малыш без призора.

Клара усмехнулась.

— Жить как-то надо. На твои восемьсот не разгуляешься.

— Я восемьсот, ты, если в бухгалтерию перейдёшь, тоже шестьсот. Тысяча четыреста. А я, как в плавание уйду, много ли мне на судне надо? Всё в семье останется.

— Навигация начнётся, там видно будет,— уклончиво ответила она.

Но началась навигация, Сутырин ушёл в плавание, а Клара продолжала работать в закуской.

Правда, она стала более осторожна, но Сутырин понимал, что в жизни её ничего не изменилось. Мрачно и холодно стало в их доме. В одной комнате жили два враждебных друг другу человека, понимавших, что долго так продолжаться не может.

Во время войны Клара думала только о том, как бы прожить. Она видела не только то, что людям плохо, что есть карточки, нормы, пайки; её настроенный глаз подмечал то, что неизбежно сопутствует тяжёлым временам. Она видела, что некоторые устраиваются и живут лучше. Клара поступила в столовую военторга заведующей продуктовым складом. Может быть, начальство и понимало, что она нечиста на руку, но она была ловка, аккуратна, хорошо вела документацию и никогда ни на чём не попадалась. Она обладала здравым смыслом посредственности, практической смёткой, проникательностью хитреца, видящего человека ровно столько, сколько ему нужно. Ровная со всеми, Клара была, когда надо, приветлива без угодливости, когда надо, сурова без оскорбительности. В её крупной фигуре было больше солидности, чем грации, в правильных чертах лица не хватало женственности. Это была холодная и чем-то отталкивающая красота, которой не увлекаются мужчины, а потому и не завидуют женщины.

К концу войны Клара работала директором закуской — одного из окрашенных в зелёную краску павильонов, на вывесках которых написано: «Воды — пиво», на стёклах нарисованы наполненные пивом кружки с клубком пены, похожим на поварской колпак,—где пьют и закусывают, стоя за высокими квадратными стойками, заваленными объедками и залитыми пивом. Клара уже не могла жить вне вечного приобретательства. И когда она поняла, что Сергей кое о чём догадывается, она расценила это как угрозу тому образу жизни, к которому она привыкла и который ей нравился. Она вдруг почувствовала неудобство, и это неудобство причинял ей этот в сущности чужой и нелюбимый человек. Она боялась его испытующих взглядов. Кто и что он для неё? Приехал на всё

готовое и распоряжается. Небось, когда ей было трудно, когда она одна с ребёнком на руках вертелась как белка в колесе, он не вмешивался.

В отличие от Сутырина, Клара, придя к какому-либо решению, твёрдо проводила его, всё заранее до тонкости взвесив. Её решения были не плодом долгих и мучительных переживаний, а следствием холодного и обдуманного расчёта. С той минуты, как она поняла, что Сутырин ей мешает, она решила с ним разойтись. Но не она должна бросить Сутырина, а он её. Она в глазах всех должна остаться жертвой.

Со свойственным хитрым и ограниченным умам лукавством она начала создавать нужное себе общественное мнение. В этом обдуманном плане не было ни слов, ни жалоб, ни причитаний. Это была поза страдающего и чем-то угнетённого человека, поза, которая не могла не броситься всем в глаза: неопределённые фразы, вздохи, фальшивая и лицемерная недоговорённость. Ей было нетрудно ломать эту комедию. Из некоторых её фраз, раздутых сплетнями, у всех составилось мнение, что муж Клары Петровны, вернувшись из армии, пьёт, бездельничает, не хочет работать, даже пытался несколько раз бить её, плохо относится к ребёнку.

Соседи были на её стороне. Она жила с ними долго, а Сутырина они не знали. Она с ними никогда не ругалась, потому что почти никогда не бывала дома; оказывала каждому кое-какие услуги, тем более значительные, что они были редкими; и с кем не дружила, а потому и не ссорилась. Теперь она только искала повод заставить Сергея уйти из дома. И этот повод не замедлил явиться.

Был понедельник. Мальчик играл на полу. Клара взяла на сегодня выходной и долго спала. Она любила раз в месяц отоспаться, как она говорила. В комнате был беспорядок, который бывает по выходным, когда все встали поздно, никуда не торопятся и не спешат с уборкой. Сергей не любил такие дни. Они оставляли его на весь день лицом к лицу с женой. Он не знал тогда, куда девать себя, что делать и о чём говорить.

Неожиданно он спросил:

— Ну, как ты решила с работой?

Она ответила не сразу. Присев у шкафа, она что-то перебирала в нижнем его ящике. Полы её халата лежали на полу. Сутырин увидел, как сразу остановились её руки. Потом она медленно, точно выигрывая время и собираясь с мыслями, спросила:

— Что это я должна решать?

— Ведь говорили мы с тобой, менять надо работу.

Клара медленно поднялась и повернулась к нему.

— А чем это тебе не нравится моя работа?

Сутырин никогда не видел её в этой позе. Похожая на скандальную базарную торговку, в стоптанных домашних туфлях и с растрёпанными волосами, она стояла, расставив ноги и уперев руки в бока.

— Да, не нравится,— холодно произнёс Сутырин и прямо посмотрел ей в глаза. Их взгляды встретились, и в его взгляде она прочла то, что он хотел сказать. «Да,— говорил этот взгляд,— мне не нравится твоя работа, и ты знаешь почему. Ты ведёшь нечестную жизнь. И я не позволю дальше её вести». И хотя он высказал это одним взглядом, но высказал. Теперь Кларе оставалось только завершить начатое.

— Что же тебе, интересно, не нравится,— вызывающе улыбаясь, спросила она,— что я там, с мужиками гуляю? А? — Голос её всё время повышался и переходил на крик.— Ты скажи, что я там, с мужиками гуляю, пьянствую?

— Да не кричи ты,— болезненно морщась, сказал Сутырин. Алёша сидел на полу и удивлённо смотрел на них.

— Что не кричи? Чего не кричи?! — ярясь всё больше и больше, кричала Клара. — На готовое приехал?! Всю войну советов не давал, помирай тут с холоду и голоду, а теперь указываешь... Нашёлся указчик?!

Алёша вдруг закатился в плаче. Сутырин шагнул к нему, но Клара подскочила к мальчику и, схватив его на руки, закричала:

— Не смей его трогать! Отец! Ребёнка, сына родного бросаешь! Паразит!

Она бросила Алёшу и, упав на кушетку, громко и противно завопила. Сутырин растерянно стоял возле мальчика. Он понимал, что его надувают, что всё это притворство, но он не знал, что ему делать. В комнату вбежала соседка, за ней другая, кто-то наливал Кларе воды, все суетились, и в их осуждающих взглядах Сутырин читал: «Вот до чего вы довели бедную женщину». Вдруг Клара вскочила и, указывая на соседок, закричала:

— Вот, пусть они скажут! Что, я не работаю как вол? Что, ко мне мужчины ходили? Что, я мужа не ждала? Спроси, спроси их... Эх ты, мерзавец!

Сутырин стоял молча, опустив голову. Потом повернулся и, ни на кого не глядя, не произнеся ни слова, вышел из комнаты.

Он услышал за собой крик. Он не разобрал слов. Но в этом крике, который по смыслу должен был остановить его и выразить горе и скорбь по поводу его ухода из дома, он почувствовал торжествующие нотки и понимал, что она этого хочет и так будет. Он не обернулся и вышел из дому.

Глава двадцатая

Эту ночь Сутырин переночевал у брата. Утром он увидел в коридоре свой чемодан.

— Принесли, поставили, я толком не видела кто,— сказала соседка брата, отводя в сторону глаза.

Он обрадовался тому, что избавлен от необходимости увидиться с Кларой. Пусть живёт как хочет! Жалко семью, жалко сына, да что будешь делать. Так ободрял себя Сутырин. Но в глубине сердца жило сознание того, что он трусливо уходит от решения мучительных вопросов своей и её жизни. Он понимал, что ничего не добился, Клара будет жить попрежнему, и кто знает, к чему это приведёт.

В одном он мог скоро убедиться. Все считали, что он бросил семью. Тем более, что, когда его спрашивали о том, что произошло, он не мог ответить ничего вразумительного.

Ермаковы недолюбливали Клару, но к разрыву между ней и Сергеем отнеслись по-разному.

— И правильно сделал,— сказала Мария Спиридоновна,— чего греха таить? Клара — хапуга. Попадётся — тебе же неприятности.

— А как же Алёша?! — всплеснула руками Соня.— Ребёнка без отца оставить, да разве можно!

— Что ж, по-твоему, Сергею с ней жить да потом вместе в тюрьму садиться?

— Так уж в тюрьму... А главное — ребёнок. Ведь он уже всё понимает, каково ему! В школу пойдёт, все будут знать — отец в семье не живёт...

— Всё до поры до времени,— настаивала на своём Мария Спиридоновна,—кто по этой дорожке пошёл, тому расплаты не миновать. Сергей — человек слабый,— продолжала она, нимало не стесняясь присутствием Сутырина,— разве он с ней справится? Ишь ты, не хочет жить, как люди живут, на лёгкую жизнь потянуло. Достатки ей подавай! Нет уж, пусть сама выкручивается.

— А сын — в беспризорники, — сказала Соня.

— Ничего, подрастёт — разберётся, что к чему, — сказала Мария Спиридоновна. — Нет! Что поломано — того не склеишь...

Николай слушал пререкания женщин молча, жмурясь и щуя глаза. Потом сказал:

— Тут одно из двух: либо есть что-нибудь, либо нет ничего, одни разговоры. Теперь будем говорить так: если чего нехорошее есть, значит надо ему положить конец, а в кусты — не годится. Ну, а если подозрения только, надо заставить перейти на другую работу.

— Так ведь не переходит, — сказала Мария Спиридоновна.

— Как это не переходит? Что ж, муж и заставить не может? — сказала Соня, не без тайного расчёта польстить Николаю.

— Значит, не может.

— Откуда вдруг такие разговоры? — снова начал Николай. — Больше ведь по привычке — раз торговый работник, значит вор.

— Вот я и говорю, — быстро заговорила Соня, — разве факты есть? Нет фактов! Зачем же зря на человека клепать. Верно, Серёжа! Ты бы поговорил с ней по-хорошему. Разве она враг своему ребёнку?

Сутырин думал о том, что и Соня и Николай, простые, честные люди, не могут представить себе чужой нечестной жизни. Мария же Спиридоновна, перевидавшая на своём веку много людей, и плохих и хороших, лучше понимала Клару и не доверяла ей. И если доводы Сони и Николая обращались к сердцу Сутырина, заставляли его думать о сыне, то слова Марии Спиридоновны поддерживали в нём убеждение в том, что Клару не исправишь и что всякие разговоры с ней бесполезны. И ему хотелось убедить себя, что права Мария Спиридоновна: если права она, то тогда не надо снова итти к Кларе, в этот постылый дом, снова начинать этот разговор и снова слышать её крики. Точка зрения Николая и Сони призывала его к действию, к борьбе за сына и за семью. А он чувствовал, что в нём нет сил для такой борьбы и для него лучше всего оставить всё так, как оно есть.

Всё же он долго не мог прийти к определённом решению. Он понимал, что, независимо от того, живёт он или не живёт дома, он должен давать деньги на содержание сына. Он попросил Соню отвезти деньги Кларе. К его удивлению, Соня отказалась.

— Знаешь, Серёжа, — сказала она, — неудобно мне... Скажут люди — вмешиваюсь в ваши дела. Ты уж как-нибудь сам.

Только много позже Сутырин узнал действительную причину сониного отказа. Дело было в том, что Николай и Соня ездили к Кларе, хотели помирить её с Сергеем. Клара приняла их хорошо, угостила, всплакнула, жалуясь на свою судьбу, на Сутырина. Она говорила, что семья ему только обуза, а она всю свою жизнь отдала сыну и работает как вол. Всё это и многое другое говорила в жалобном тоне женщины, удручённой всем, что произошло. И этот тон обманул Николая. Со свойственной ему прямоотой он сказал о подозрениях Сутырина и о том, что ей следует перемнить работу. Не успел он это сказать, как выражение жалостливости и угнетённости точно рукой сняло с Клары.

— Ах, вот какие он про меня слухи распускает, — сказала она, вставая. — Мерзавец! Значит, я воровка, а он честный человек. Ладно. Увидим, кто из нас честный, увидим! Собственную жену порочит, мать своего ребёнка. Ладно!

Её вид, злобный и торжествующий, не оставлял никаких сомнений в том, что она только ждала повода, чтобы наотрез отказаться от примирения. Николай увидел свой промах, но было уже поздно. В ответ на его путаные объяснения о том, что Клара не так его поняла, она сказала:

— Конечно, вы приятели, вам его дела ближе к сердцу. Ну, а мне ребёнок дорог, я о ребёнке должна думать. Нет у него больше отца, уж я как-нибудь сама позабочусь...

— Вот как мешаться в чужие дела,— сказал Николай Соне, когда они вышли на улицу,— ещё на тебя и свалят всё. Нет, уж пусть сами разбираются как хотят, ты к ним больше не ходи.

Сергей ничего не знал об этом посещении. И отказ Сони передать деньги Кларе поставил его в тупик. Но пока он размышлял, как ему поступить, Клара действовала. Не прошло и недели, как Сутырину вручили повестку о явке в суд в качестве ответчика по иску об алиментах на содержание сына Алексея.

Когда судья спрашивал Сутырина о годе его рождения, месте службы, заработке, Сутырин чувствовал себя преступником. Клара стояла спокойная, бесстрастная, уверенная в своей правоте, женщина-мать, покинутая вероломным мужем. Сутырину казалось, что все в зале смотрят на него, как на одного из тех отцов, которые скрываются от своих детей и о которых пишут в газетах. Он был «алиментщик». И потом, когда на работу пришёл исполнительный лист, и его вызвал бухгалтер, и на всю комнату при девушках-счетоводах говорили ему, сколько с него будут вычитать, он чувствовал себя опозоренным, и ему казалось, что все смотрят на него, как на проходимца...

Прошёл год, другой, третий, и острота ненависти его к Кларе притупилась. Клара не трогала Сутырина, жила своей жизнью. Если бы она подала на развод, Сутырин, конечно, дал бы своё согласие. Но мысль о том, что опять надо идти в суд, страшила его. По своей наивности он не понимал, что Кларе сейчас развод не нужен, а когда этот развод ей понадобится, она его наверняка сумеет получить.

Первое время она не давала ему видеть Алёшу, но постепенно это устроилось: Клара не хотела отказываться от тех подарков, которые он приносил сыну. Сутырин приходил днём, когда Алёша возвращался из школы, а матери дома не было. Зимой он мог это делать регулярно, а во время навигации — только когда судно приходило в порт.

Некоторая неловкость, которую они оба испытывали в первые минуты свидания, быстро проходила. Алёша радовался его приходу. Но Сутырин видел: радость эта вызвана прежде всего тем, что мальчик одинок, ему скучно сидеть целыми днями одному. Это была тоска по родительскому вниманию, по родительской ласке, которых ему не хватало. Они никогда не говорили о матери. Алёша не спрашивал его, почему он не живёт с ними,— вернейший признак того, что мальчик понимает и тяжело переживает то, что произошло между отцом и матерью. Это было то, что он всегда среди товарищей, в школе скрывал, вопросов о чём боялся. И это умолчание о самом главном и мучительном в их жизни было той чертой, которая лежала между ними и заставляла Алёшу быть не по-детски серьёзным и задумчивым, а Сутырина — страдать.

Сутырин видел, что время примиряет его с тем, что произошло, а сына, наоборот, время заставляло всё больше и больше думать об этом. И он с горечью думал, что для Алёши, может быть, было бы лучше, если бы он, Сутырин, погиб на фронте.

Иногда днём они ходили в кино. Они сидели рядом в тёмном зале, и Сутырин ощущал близость сына, видел искоса его тонкий профиль и большие глаза, с напряжённым любопытством устремлённые на экран. Он брал тогда его маленькую ладонь в свои руки, и мальчик, увлечённый зрелищем, доверчиво и нежно пожимал его пальцы. Жалость к сыну охватывала тогда Сутырина. Он казался ему таким маленьким и одиноким.

Сутырин видел, что Алёша любит мать. Это была любовь впечатлительного и доброго мальчика, маленького мужчины, который жалеет мать и защищает её. Сутырин видел, что за ребёнком нет ухода, что он ест не во-время, одет кое-как. Он злился на Клару и однажды, пришивая сыну пуговицу, сказал:

— У тебя как что-нибудь оторвётся, ты сразу маме скажи, она зашьёт. Но Алёша понял, что хотел сказать отец.

— Мама мне всегда зашивает,— поспешно ответил он, как бы предупреждая, что будет защищать мать от нападков отца.

Но со временем Алёшу всё больше тянуло к отцу. Было ли это естественное чувство тяготения к мужчине мальчика, выросшего среди женщин, или что-то перестало привлекать его дома, но Сутырин с радостью видел, как ищет Алёша встреч с ним, как оживляется при его приходе, как появляется в порту при каждом прибытии «Абхазии», на которой тогда плавал Сутырин. И ещё замечал Сутырин, как быстро становится Алёша самостоятельным. И эта недетская серьёзность пугала и волновала Сутырина. Он чувствовал, что Алёше плохо дома, он не находит себе там места и что-то скрывает от отца. И Сутырин понял причину этого... Алёша к кому-то ревновал мать. Он скрывал это от отца, но сидеть дома было ему тяжело, и бедный мальчик не находил себе места. И мысль о том, что, может быть, Клара отдаст ему сына, всё чаще и чаще овладевала Сутыриным.

Самые радужные картины рисовались тогда его воображению. В пародстве ему обещали квартиру — вот заживут они там с Алёшей. Летом он будет плавать с ним на теплоходе, хорошо ему будет на воде, вырастет речником. Зимой будет учиться. Сутырин наймёт приходящую старушку, она будет варить им обоим обед. Сутырин представлял себе все заботы, которые появятся у него с Алёшей, и эти заботы, все эти необходимые Алёше мелочи умиляли его. Сутырин представлял себе Алёшу через несколько лет, в ту пору, когда сын становится товарищем отца. У него появятся усики, сломается голос, и он будет говорить смешным баском, будет серьёзничать, уже не задавая вопросов, а сам стараясь отвечать на чужие, оспаривая отца, может быть, начнёт курить и ухаживать за девушками. Кто его знает, всё может быть!

Однажды, когда «Абхазия» пришла в порт, Сутырин увидел на причале Алёшу, ожидавшего его.

— Ты как узнал, что мы придём? — спросил Сутырин.

— Позвонил диспетчеру, он мне и сказал,— ответил Алёша с той нарочитой небрежностью, которой десятилетние мальчики показывают, что им вполне доступны дела и поступки взрослых.

Сутырин рассмеялся и потрепал его по голове. Совсем взрослый парень!

— Мама ушла в трест ресторанов и кафе,— сказал Алёша,— у неё отчёт.

То, что он впервые в разговоре с отцом упомянул о матери, показалось Сутырину многозначительным, мальчик словно намекал ему, что настало время поговорить с матерью...

Он оставил Алёшу на теплоходе и пошёл в управление.

Превозмогая отвращение, которое вызывала в нём любая необходимость говорить с Кларой, и отвыкнув за эти годы слышать её голос, он снял трубку, позвонил в трест и попросил к телефону Сутырину.

Когда он услышал её голос, что-то нехорошее и раздражительное опять поднялось в нём против неё. Но он сдержал себя и сказал:

— Здравствуй, Клара! Это я говорю, Сергей.

— А... — послышалось в трубке. Она, видно, смешалась, но только на мгновение, потом быстро овладела собой. — Слушаю.

— Вот какое дело,— начал Сергей, не зная, как ему приступить к делу, — я тут хотел насчёт Алёши поговорить, может быть, встретимся?

— А что говорить-то? О чём говорить?

— Видишь ли, как тебе сказать... Я скоро комнату получаю... Вот... Ну и подумал: ты на работе, он один, может быть, ему перейти ко мне жить?

Несколько секунд она молчала. Он слышал в трубке её ровное дыхание. И по этому зловещему молчанию, которое он так хорошо знал, он понял, что она готовит ему обдуманый и жестокий ответ.

Молчание длилось слишком долго.

— Алло, алло, ты слушаешь? — спросил Сутырин.

В ответ она медленно и отдельно, с громкостью, рассчитанной на то, чтобы её услышали находящиеся в комнате люди, произнесла:

— От алиментов увиливаешь! Родному сыну денег жалеешь... Ах ты, подлец!

И бросила трубку...

С Дусей Ошурковой Сутырин познакомился у Ермаковых, в прошлом году, на Октябрьских праздниках.

Она сидела за столом рядом с ним, смущая и волнуя его своей грубоватой, вызывающей красотой. Она мало, почти ничего не говорила, но когда поворачивалась к нему, он видел в её глазах, серых и неподвижных, беззастенчивый призыв женщины, которая в понравившемся ей мужчине уже видит любовника. И в лукаво-поощрительном взгляде, который бросила на них Соня, та самая Соня, которая несколько лет тому назад угваривала его вернуться к Кларе, Сутырин увидел одобрение того, что может произойти между ним и Дусей. Впервые за много лет он по-настоящему почувствовал, что он свободный и независимый человек, имеет право любить, ухаживать, может быть, и жениться, что с прежним покончено навсегда и надо начинать новую жизнь.

Он видел, что нравится Дусе, и действительно нравился ей. За его мешковатой внешностью, мужественным лицом, которому сильная вертикальная линия придавала выражение суровости, — за всем этим она угадывала душевную мягкость.

Дуся не была распушенной женщиной. Просто жизнь сложилась так, что до встречи с Сутыриным заложенные в ней душевные силы не нашли своего выхода в настоящей любви. В ней жила жажда материнства — она была вынуждена делать тайные аборты. Она могла бы быть хорошей, преданной женой — у неё не было своей семьи. Она могла бы глубоко и сильно любить — её увлечения переходили в неприязнь; когда порыв проходил, она в увлечённом её человеке видела только виновника своей душевной слабости.

С Сутыриным в её жизнь впервые пришла настоящая любовь. Он принадлежал ей одной, никому больше. Ей не надо было таиться, лгать, она могла смотреть всем прямо в глаза. То, что раньше было связано с унижением, теперь только возвышало её достоинство. Её мечты о браке с Сутыриным, о семье, о детях были, в сущности, страстным стремлением пронести эту любовь через всю жизнь. Он был одинок, по-мужски непрактичен, заботы о нём уже в какой-то мере удовлетворяли её потребность в выполнении пусть маленьких, но для каждой женщины исполненных глубокого смысла обязанностей. Сутырин был мягок, сердечен, прост, ей было легко с ним. Неведомое раньше чувство нежности охватывало её, когда она смотрела на его большую стриженую голову, на внимательные, ласковые глаза, слушала его низкий, глуховатый голос. Она верила

каждому его слову, он был для неё самым умным, самым знающим, всегда желанным. Он любил рассказывать о своих плаваниях, о работе, о людях, с которыми встречается. У Дуси, привыкшей жить только тем, что было рядом с ней, появился новый, широкий мир, в котором жил он.

Сутырин видел, что Дуся любит его, что он дорог ей, что она живёт им одним, и тоже стремился к ней. В этой любви они точно пытались наверстать годы, потерянные для него в одиночестве, для неё — в случайных и не тревоживших сердце связях.

Но чем больше привязывался Сутырин к Дусе, тем чаще зарождалась в нём глухая ревность к её прошлому: слишком много опытности чувствовал он в её страсти. Но он подавлял в себе вспышки этой ревности, заставлял себя мириться с тем, что есть. Какое ему дело до её прошлого? Разве должна была она беречь себя для него одного? Мало ли что у кого было в жизни!

Как-то раз, полушутя, он спросил её об этом.

— Был у меня муж, в деревне ещё, — ответила Дуся, отводя в сторону глаза, — правда, не расписывались мы с ним, но был... Прожили полгода и разошлись... Не любила я его. Завербовалась в порт и уехала...

Он почувствовал в её словах неправду, но только усмехнулся про себя. Со свойственным ему стремлением всё понять и всё оправдать он подумал о том, что никакая женщина не станет рассказывать всей правды о себе, да и нужно ли рассказывать правду, которая только оскорбит их обоих. К тому же, ничем не связывая своё будущее с Дусей, он не считал себя властным и над её прошлым.

Но сам того не замечая, Сутырин всё больше и больше привыкал к Дусе. Она ушла из общежития и сняла маленькую комнату в Ведёрникове. Он, может быть, и сознавал значение этого её шага, но, как все беззаботные в мелочах люди, не стал об этом думать. Он пришёл к ней на новую квартиру и затем стал ходить туда, примирившись с тем, что Дуся, в целях соблюдения приличий, представила его хозяйке как мужа. Постепенно к ней в комнату перекочевала часть его вещей. То надо было что-то починить, то он пришёл прямо из бани, и Дуся оставила у себя его бельё для стирки. Он видел, что забота о нём доставляет ей радость, и не хотел огорчать её отказом. К тому же, думал он, скоро начнётся навигация и всё это кончится само собой. Не то что он не любил Дусю... Нет, он любил её. Но он не имел ещё формального права жениться, да и Дуся не казалась ему ещё тем человеком, с которым он должен связать свою жизнь. Слишком легко они сошлись, и кто знает, что ещё будет впереди.

Начало навигации они переживали по-разному. Природный волгарь, выросший на воде, Сутырин, подобно всякому речнику, встретил начало навигации как праздник, как возобновление и продолжение жизни. Весь он был уже на реке, время проходило в хлопотах подготовки судна, и на разлуку с Дусей он смотрел без скорби. Ему казалось, что его уход в плавание прояснит их отношения. Может быть, по собственной слабости он слишком далеко зашёл в них. А так время и расстояние проверят их чувства.

Дуся же страдала безмерно. Она не думала о том — потеряет она Сутырина или нет, вернётся он к ней или не вернётся. Она просто страдала при мысли о том, что они расстанутся, что кончатся их свидания, нарушается то, что с таким трудом налажено, страдала просто от того, что она не увидит его ни завтра, ни послезавтра.

Но получилось совсем не так, как оба они думали.

«Керчь» работала на линии Горький—Сталинград, почти еженедельно она приходила в порт, стояла по двое-трое суток, и их свидания возобновались. Они не были такими регулярными и частыми, как раньше. Но

от того, что каждый из них ждал и волновался по поводу того, когда «Керчь» придёт в порт, и сколько времени простоят, и смогут ли они увидеться, каждая встреча была теперь праздником, точно они на время теряли и вновь обретали друг друга. Может быть, только сейчас понял Сутырин, насколько любит он Дусю и насколько дорога она ему. И когда Дуся появилась на причале взволнованная, растерянная и сказала о том, что говорят люди об их отношениях, Сутырин понял, что это идёт от её прошлого, от того, что и его смущало раньше. Но это угрожало их любви, и всё в Сутырине возмутилось против этой угрозы. С великодушием и широтой, которые только и обнаруживают настоящего мужчину, он в эту минуту не мог не защитить любимую женщину от клеветы и подозрений. И он велел Дусе прийти вечером на теплоход. Так же, как приходят к другим членам команды их жёны, когда судно прибывает в порт, где они живут.

Глава двадцать первая

Сутырин, как второй штурман, ведал погрузкой — разгрузкой судна. Конечно, он не мог отвечать за то, что порты подолгу задерживают теплоход, за то, что, скажем, в Сталинграде сейчас затор, гонят и гонят туда баржи с лесом. И всё же он чувствовал себя виноватым перед командой за эти простои в портах, за своё бессилие убыстрить дела, за то, что людям приходится становиться на разгрузку.

Когда Сутырин пришёл в каюту старшего механика, Муртазин, взобравшись на диван и поджав под себя ноги, пил чай из большой пиалы. Жена его Лидия, хорошенькая чёрненькая татарочка, сидела тут же, но не на диване, а на стуле, несколько в стороне и молча смотрела, как муж пьёт чай.

— Не дам я людей,— сказал Муртазин,— учатся у меня люди, вахту у меня несут люди. Некогда им.

— Так ведь какая вахта,— поморщился Сутырин,— в порту машины не работают.

— Всё равно,— Муртазин упрямо тряхнул головой,— работают не работают, а у машин люди стоять должны... Нет,— закричал он вдруг,— теплоход в ходу — нижняя команда у машин парится, а верхняя спит. Зимой верхняя команда только снег счищает, а механики в грязи с холодным железом возятся, ремонтируют, мороз тридцать пять градусов бывает... Штурманов и матросов к машинам не поставишь, а моторист давай грузи!.. Неохота в грязи возиться. Лучше сидеть, да на бакены поглядывать, да отмашкой махать, работа чистая, не запачкаешься.

Лидия молча смотрела на Муртазина. И было видно, что она гордится своим умным мужем и тем, что он такой большой начальник, а какие есть нехорошие люди, расстраивают его, спорят, когда даже ей, женщине, и то понятно, что он прав.

И Муртазин рисовался перед женой и оттого становился ещё упрямее.

— Ну, чего ты волнуешься, Муртазин,— добродушно сказал Сутырин,— ведь прикажут — дашь людей. Да и сами люди пойдут работать, только бы не стоять, и заработают на разгрузке. Разве кто виноват, что в Сталинградском порту затор? Дело-то общее, а ты своё самолюбие выставляешь.

— Какой сознательный,— усмехнулся Муртазин,— ты сознательный, а все остальные несознательные... Мы вас к машинам не зовём, сами справляемся. Зачем вы зовёте? Не справляетесь? Не можете движение наладить?.. Вон мы второй месяц премию не получаем. Почему? График срываем! Из-за кого срываем? Из-за нас? Нет, из-за вас! Туда придём — стоим, сюда придём — стоим... А теперь хотите, чтобы мы ваши дыры затыкали? Не выйдет! Не справляетесь со своим делом — так и скажите.

Сутырин болезненно поморщился, и лицо его сразу постарело. Он тяжело переносил всякого рода столкновения с людьми, тем более, когда видел: человек с виду прав, а на самом деле неправ. И оттого, что Муртазин намекал на него лично и имел видимое право это делать, хотя это было и не честно и не по-товарищески, Сутырин переживал этот разговор ещё больше...

— В общем, как знаешь,— сказал он,— капитан приказал, а моё дело маленькое.

И вышел из каюты.

Но этим столкновением сегодняшней день не кончился.

После обеда первый штурман Мелков позвал Сутырина в красный уголок. Давно надо было написать обязательства теплохода по социалистическому соревнованию и вывесить их.

Мелков был старый, опытный штурман, но несколько панического склада характера. Во всём он видел опасности и тревоги. Его воображение усиливало каждую мелочь до размеров жизненной катастрофы. Особенно же он боялся начальства.

Когда приставали к пристани и матрос, забрасывая чалку, ронял её в воду, Мелкову казалось, что теперь по всей Волге будут говорить, что на «Керчи» команда необученная, не умеют даже чалку забросить, и эти разговоры дойдут до начальства, и будет неприятность. Когда он стоял на вахте, то всегда жаловался: «В хорошем месте парохода не встретишь, обязательно в перекате, где ни разойтись, ни разъехаться». Если ребяташки, купаясь, подплывали близко к теплоходу, он беспокойно поглядывал на них, говорил: «Ну, куда лезет, куда лезет... А вдруг у него случится судорога конечностей ног», подавал тревожные сигналы, выбегал на мостик и грозил ребяташкам кулаком. После ночной вахты обязательно рассказывал о какой-нибудь грозившей теплоходу опасности: «Слышу стук моторки без огней, навожу прожектор — в десяти метрах лодка». Если он отпускал матроса на берег, то, пока тот не возвращался во-время, тревожился: «Отпустил на час, а он пробудет два. Уж это обязательно».

Мелков был худ, бледен, страдал изжогой, вахту нёс в шинели и в валенках — болел ревматизмом и был обременён многочисленной семьёй: жена и шестеро детей, один мальчик и пять девочек, плавали вместе с ним. И это тоже всегда было предметом его беспокойства, особенно при перемене зимовки судна: «Отстают дети от школы, как тут быть?» От того, что был нервен и беспокоен, любил писанину и официальность. По каждому поводу составлял акты и говорил: «Всё в акте отразили, теперь не подкопаешься». Для пушшего авторитета разговаривал с людьми строго официально, называя всех на вы и по имени-отчеству. «Вы, Филипп Фёдорович, можете быть свободны», — говорил он боцману Пушкину, коренастому парню из военных моряков, которого на теплоходе называли просто Филей...

Так и сейчас, войдя с Сутыриным в красный уголок, Мелков сказал молоденькому матросу Митьке:

— Пригласите ко мне второго механика и боцмана.

Митька подумал, сделал ход шашкой и пошёл звать второго механика и боцмана. Второй механик был председателем судового комитета, боцман — секретарём комсомольской организации.

Когда все собрались, Мелков сказал официальным голосом:

— Так вот, товарищи, третий месяц навигации, а обязательства наши до сих пор не оформлены. Явится кто из политотдела, и получится неприятность. Уже два раза напоминание было. Нехорошо.

— А чего их писать? — сказал второй механик Бондарев. — Вон они, висят на стенке.

На стене, в стеклянной рамке, висели аккуратно написанные от руки прошлогодние обязательства «Керчи» по соревнованию с теплоходом «Полтава».

— Нельзя, товарищи, — сказал Мелков, — это будет по-формальному. Бондарев усмехнулся.

— Вот это и есть формальность — каждый год одни и те же обязательства переписывать.

— А вот мы их сейчас посмотрим, — сказал Мелков, обращаясь к боцману, — снимите, Филипп Фёдорович, обязательства.

Боцман Пушкин в тельняшке, под которой виднелась татуировка — огромный, во всю грудь, орёл держит в лапах змею, — встал, снял со стены обязательства, положил их перед Мелковым.

— Так, — сказал Мелков, читая по пунктам прошлогодние обязательства, — так: пункт первый «Выполнить навигационный план к 20 октября». Какие будут суждения?

— Какие суждения, — опять усмехнулся Бондарев, — третий год на «Керчи» плаваю и всё к 20 октября, всё к 20 октября.

— Значит, нет возражений, — сказал Мелков, не обращая внимания на тон Бондарева. Ему, видимо, очень хотелось придать необходимую официальность этому совещанию.

— Пункт второй: «Работать без аварий». Ну, это ясно. Пункт третий: «Обеспечить бесперебойную работу механизмов». Тоже ясно! Пункт четвёртый: «Не допускать порчи и недостачи груза»...

Сутырин молча слушал этот разговор. Он сидел против окна. Знакомая панорама берегов проплывала перед его глазами. Жигули... На левом берегу, у Ставрополя, — причалы новостройки. Штабеля белого и красного кирпича, проволочные ограждения, сторожевые будки. Из баржи транспортёром идёт выгрузка кирпича. Подъезжают и отъезжают автомашины. Работают пловучие краны... В котловине — Жигулёвск. Там, где было село Отважное, теперь на берегу лежат железные шпунты, лес, строительные материалы. Работают экскаваторы, со стороны реки земснаряды отсасывают песок. Сразу за Молодецким курганом — Моркваши с длинными рядами новых складов строительства...

Вид экскаваторов напомнил Сутырину краны в порту, а вместе с кранами возникли в его памяти и Николай Ермаков, и Воронина, и Дуся... И он подумал, что всё то, что говорит Мелков, всё то, что они сейчас делают, — всё это только видимость работы, а все хотят работать по-настоящему, ведь самое тяжёлое для человека — видеть, что он не даёт того, что может дать... Жизнь трудна и сложна, и надо делать то, что действительно нужно людям, и социалистическое соревнование должно быть обращено к трудностям жизни и должно помогать преодолевать их.

— Пункт пятый, — читал Мелков, — работать строго по графику.

— А как по нему работать, по графику? — сказал Сутырин. — Придём сейчас в Сталинград и простоим неделю.

— Вот именно, — подхватил Бондарев, — всё это на бумаге, бумага всё терпит. Очковтирательство, и больше ничего!

Мелков заволновался, на его бледном лице выступили красные пятна.

— Нельзя так, нельзя, товарищи, эти пункты все теплоходы принимают и политотделом утверждены...

— А что толку? — спросил Бондарев.

— А то, что это наши обязательства. Должны мы стремиться работать по графику? Должны. И «Полтава» должна стремиться. Вот мы и увидим, кто лучше выполнял график.

— От того, что мы запишем, ни мы, ни «Полтава» работать по графику не будем, — сказал Сутырин.

Неожиданная мысль пришла ему в голову, и он добавил:

— При чём тут «Полтава»?! Где мы её видим, «Полтаву»?! Встретим в месяц раз, помашем ей — и до свидания. И зимовать станем в разных затоках. При чём «Полтава»?!

Мелков во все глаза смотрел на него.

— Вот пишем: работать по графику, выполнить навигационный план, — продолжал Сутырин. — Разве это от «Полтавы» зависит? От порта это зависит. Разгрузит-погрузит он во-время, вот мы и выполнили план. И порт от нас зависит: будем мы аккуратно ходить, не сорвём общего графика, и ему лучше, не будут скопляться суда. Так надо соревноваться, чтобы ни мы берег не держали, ни берег нас не держал.

— Дело! — сказал Бондарев. — Тогда будет соревнование не на бумаге, а в жизни.

— Не нами заведено, не нами и будет меняться, — сказал Мелков.

Не слушая его, Сутырин продолжал:

— Мне один крановщик говорил: грузим за сутки, а суда в ожидании вагонов неделями стоят. И идёт вся их работа насмарку. Так же и мы: в рейсе минуты экономим, в порту — неделями стоим. Вот о чём надо думать, а бумажка — она и есть бумажка.

Мелков не знал, как выйти из создавшегося положения, что ответить Сутырину и Бондареву, и вконец расстроился.

— И бумажки нужны, — пробормотал он, — пока у нас другой формы нет, примем обязательства, как принимали. Вот если спустят нам другую форму, тогда и будет по-другому.

— Так ведь никто и не возражает, — вяло сказал Сутырин, — только уж так, чтобы не на бумажке.

— Форма такая, ничего не поделаешь, — вздохнул Мелков, — отступить нам никак нельзя, только одни неприятности будут.

Глава двадцать вторая

— Поманежил тебя Муртазин? — спросил Воронин Сутырина, когда тот пришёл в рубку. Была уже ночь: капитан несёт самую тяжёлую вахту — с десяти часов вечера до четырёх часов утра.

— Поволновался малость. — Сутырин добродушно улыбнулся и сел на заднюю скамью.

— Механики! — сказал рулевой Ярцев. — Гордятся... А чем? Стой себе у машин, а тут, — он кивнул на реку, — ответственность!..

— И им обидно, — ответил Воронин, — верхняя команда на виду, а они в преисподней. Никто их не видит, никто не слышит.

— Каждому своё место, — пробормотал Ярцев, — а главное — ответственность...

Посматривая на тёмную реку, Воронин продолжал:

— Техника вперёд идёт, усложняется. Механики пограмотнее нас стали, с образованием, вот и обидно.

— Что ж, им теперь командование предоставить? — сказал Ярцев.

— Владеешь такой специальностью — значит молчи.

— Делиться надо перестать, вот что, — сказал Воронин, — это, мол, твоё дело, а это моё...

Сутырин молча слушал неторопливый голос капитана. В ночной тишине по-особому журчала вода за кормой. Впереди покачивались на волнах белые и красные огоньки бакенов. Берега сливались с водой, только белели в них известковые и меловые отложения.

— На пассажирском судне всё по-другому, — продолжал Воронин. — Там весело: пассажиры, остановки на каждой пристанёшке, да и сама команда побольше и обязанности у каждого... А у нас скучно. Ни оста-

новок, ни людей, ни пассажиров. Куда деваться молодёжи? Вот и надо учиться.

— Будет тебе Муртазин учиться, — сказал Ярцев, — кого другого он псуцит, это да.

Два чувства определяют капитана: чувство судна и чувство команды. Даже когда он спит у себя в каюте, он ощущает движение теплохода. Неожиданная остановка, не положенный в этом месте разворот, спуск якоря, нервные или часто повторяющиеся сигналы, толчки о дно, крен, неравномерная работа машины, движение людей по палубе, тяжёлое расхождение с встречным судном, опасный перекач, неясная или нарушенная обстановка — всё это он мгновенно ощущает по каким-то, одному ему известным признакам. Тогда он неожиданно появляется в рубке, и никого это не удивляет, хотя никто не вызывал его туда, никто не будил...

За всю долгую жизнь Воронин перевидал много людей. Он знал, что молодое тесное старое и столкновения людей неизбежны. Задача командира — найти равнодействующую этих сил и направить их к общей цели. К молодёжи он относился без ревности, но и не без некоторой иронии.

«Я в помощниках тридцать лет ходил, а вы хотите через три года в капитаны», — говорил он, впрочем беззлобно, понимая, что молодёжи свойственна переоценка своих возможностей и критическое отношение к старикам.

Воронин сразу улавливал настроение команды. Он не был ни при разговоре Сутырина с Муртазиным, ни в красном уголке во время обсуждения договора, но отлично знал и понимал, кто и что мог сказать и какой разговор там происходил...

— Чего там с Мелковым не поладили?

— О соревновании говорили, — ответил Сутырин, — всё записывали, а ведь выполнять надо.

Вглядываясь в бакены, Воронин строго проговорил:

— Так ведь Мелков тоже лицо подотчётное, с него тоже спрашивают.

— Никто не возражает. Только хотелось чего... чтобы дело сдвинуть с мёртвой точки. Пишем — график, а сами стоим. И выходит на бумаге одно, а в жизни — другое.

— Так и есть, — сказал Ярцев. — Замазывают всё. Послушать — так оно всё в ажуре, а коснись до дела — и нет ничего.

Воронин некоторое время молчал, потом сказал:

— Есть ещё люди, не по делам судят, а по бумаге. А не сделаешь — неприятностей не оберёшься.

Сутырину не хотелось спором огорчать капитана.

— Это, конечно, — согласился он, — никто и не возражал. Так только, к слову пришёлся этот разговор. А писанину надо вести — кто же этого не понимает... Любят в пароходстве бумагу.

— И подхалимаж любят, — неожиданно добавил Ярцев, — а если ты костист, то будешь всю жизнь в рулевых или во вторых штурманах ходить.

— Ты давай... того, — не оборачиваясь, сказал Воронин, — на дорожку посматривай.

Впереди на перекате показались огни каравана.

— Нефтянка, — сказал Ярцев, — в три пыжа идёт.

— Переждать надо! — Воронин скомандовал стоп, потом задний и снова стоп.

Оборвались тарактеные моторов, шум винта и воды за кормой.

— Так и есть, с тремя баржами идёт, — сказал Ярцев, вглядываясь в огни встречного каравана.

«Керчь» покачивалась на волнах. Было настолько тихо, что в открытые двери и окна рубки доносились плеск и барахтанье рыбы.

— Играет рыбёшка, — сказал Сутырин, вслушиваясь в рыбий шум и пытаясь по звукам определить, какая рыба играет... Вот робко булькает плотва, бестолково кувырывается подъязок, коротко и громко, точно веслом, ударяет по воде голавль...

— Скоро самая малость этой рыбы останется, — сказал Ярцев, — как перегородится Волга плотинами, так никакого ходу ей не будет. Кончится рыба.

— Думали рыбоходы устраивать, — сказал Воронин, — ходы такие в плотинах. Да не идёт рыба, не хочет...

— Тоже ведь соображает, — засмеялся Сутырин. — А вдруг, думает, ловушка.

Стуча по воде плицами колёс, прошёл буксирный пароход, за ним протянулись три низкосидящие в воде громадные металлические баржи с нефтью.

«Керчь» опять двинулась вперёд. Воронин вернулся к прерванному разговору:

— Рыба будет в новых морях жить. Одно море, Щербаковское, есть. Куйбышевское и Сталинградское — вот-вот будут. А там, смотришь, Горьковская плотина подопрёт Волгу до Щербакова, а уж потом Чебоксарская подопрёт до Горького. Вот и, считай, почти вся Волга.

— Каскад, — сказал Сутырин, которому очень нравилось это слово. И когда он его произносил, вся Волга представлялась ему в виде ступенек гигантской лестницы, спускающейся от самых своих истоков, с Валдая, и до Каспия.

— Воды, конечно, много, а до моря далековато, — заметил Ярцев.

— Правильнее будет сказать — водохранилище, — согласился с ним Воронин, — а приятнее сказать — море! Водоохранилище — слово длинное и казённое, а море — оно и проще и человеку лестно: сам, значит, море создал. Да и то: на Куйбышевском водохранилище волна будет в три метра высотой, в тридцать длиной. Вот и разбирайся: море это или не море?

— Покачает, — сказал Сутырин.

— Не всякая посудина выдержит, — усмехнулся Иван Васильевич. — Наш теплоход рассчитан на это, да и вообще все суда послевоенной постройки, а старый-то флот придётся реконструировать... Конечно, и убежища будут для отстоя судов, и всё же подкреплять придётся.

— Большая работа, — сказал Ярцев, — шутка сказать, в Казани вода к самому городу подойдёт, порт будут переносить.

— Выходит, мы последние на старой-то Волге работаем, — засмеялся Сутырин, — и, может, первые, которые на ней на новой будут плавать.

— Оседлал человек Волгу, — сказал Ярцев, — а раньше она на нём ездила.

— Читал я одну книжонку, — неожиданно сказал Воронин, — профессора какого-то, не помню фамилии. Про Волгу про нашу, про Каспий. Пишет: Каспийское море каждую тысячу лет то расширяется, то отступает. Раньше, ещё давно, жили на его берегах народы разные. А как море начало наступать, ушли они в кавказские горы и остались там. И теперь, значит, кавказские племена и есть остатки этих народов. Читал?

— Не приходилось, — ответил Сутырин.

— Интересная книжонка. Читал я и думал: может, отсюда и пошёл всемирный потоп, легенда то есть? Арарат-то ведь рядом... А, как думаешь?

Сутырин улыбнулся.

— Кто его знает, может быть.

— То-то и оно... кроме своей специальности, мы и не знаем ничего. Сутырин вздохнул.

— Подумаешь иногда: природу люди переделывают, Волгу, такие машины сооружают, а в мелочах непорядок... Как это понимать?

— Это есть, — согласился Воронин, — так ведь за большим делом, за той же стройкой вся страна наблюдает, у всех на виду, всё внимание сюда... А на маленьком деле — сам решай, сам смотри, сам думай и о дальних и о ближних. На стройке-то все в одном месте собраны, коллектив большой, а у нас река три тысячи километров, все мы по ней раскинуты, каждый сам по себе...

Увлечённый своими мыслями, Сутырин продолжал:

— Работают люди и понимают общую задачу и на войне какой героизм показывали... А вот в быту, в личной жизни, нет ещё того... и уважения, и понимания, и сочувствия... Почему бы это? И не пойму я: люди-то лучше или хуже становятся?

Воронин повернулся к Сутырину.

— А ты как о себе самом понимаешь: лучше ты или хуже?

Сутырин развёл руками, добродушно усмехнулся.

— Разве о себе самом скажешь?

— То-то и оно, — Воронин отвернулся, — с других спрашиваем, а сами о себе сказать не можем. Не думаем: как, мол, я перед совестью перед своей выгляжу, хорошим или плохим?

Они помолчали, потом Воронин сказал:

— Люди стали лучше прежнего. Никто чужим трудом не пользуется, а в этом-то человек человеку был главный враг. Перестал каждый в свою сторону тянуть да на горло соседу наступать. А что ещё плохого осталось, так ведь человека просто не переделаешь.

Они замолчали. Первое дыхание рассвета обозначило контуры берегов, чуть раздвинуло дали. Из мрака постепенно вырисовывались высокие стога сена, перелески, полевые станы...

— Вот у меня дед был, — сказал Воронин, — замечательного ума человек. Всё допытывался: для чего люди на свете живут? Всё перебирал: мол, для жратвы, так для этого каждое насекомое живёт, потомство производить — то же самое, веселиться, песни петь — соловей вон как поёт... Так всё спрашивал и ответить не мог...

— Не доходил, значит, до этого, — сказал Ярцев.

— А почему не доходил? Время примера не показывало. Каждый в свою сторону тянул...

— Много хорошего на свете, — сказал Сутырин, — а никак не могут люди в мире жить. Войны вот, например... Вон что в Корее делается...

— Это вопрос другой, — сказал Воронин, — у нас в Союзе сколько народов, небось, между собой не воюют... Или, к примеру, взять страны народной демократии — Польшу, Чехословакию... А в Корее что? Азия поднялась. Китай — полмиллиарда населения, Индия, — все свободы хотят, тысячу лет под ярмом — невоготу, а тут Советский Союз пример показывает...

Ярцев качнул головой.

— Если будет война, истребят человечество... Атомная бомба!

Воронин помолчал, потом строго ответил:

— Человечество истребить нельзя. Никакой бомбой. Народ, его ничем не возьмёшь. Попугать, конечно, можно, так ведь не все пугливые. Нас тридцать шесть лет всё пугают. А ничего, живём и здравствуем. И другим жить помогаем...

Глава двадцать третья

Катя сидела в своей маленькой конторке, торопясь закончить сегодняшнюю переписку.

В окно её был виден весь участок.

Неимоверно пекло солнце. Поворачивались краны, плыли в воздухе площадки с грузом и вязанки с лесом. К складам подъезжали автомашины, клиенты спорили с приёмо-сдатчиками, быстро сновали маленькие, юркие электрокары, гремя по асфальту своими металлическими колёсиками... А там дальше, на рейде, стояли теплоходы и баржи, ожидающие разгрузки и погрузки.

Особенно часто и озабоченно катин взгляд останавливался на третьем причале, где разгружалась баржа с асфальтом. Асфальт от жары расплавился — его своевременно не посыпали песком. Грузчикам пришлось разбивать асфальт ломами.

Когда выяснилось, что выгрузка асфальта задерживается, Катя позволила начальнику станции Кушнерову:

— Ефим Семёнович, асфальт сварился, разбиваем ломами. Первый состав платформ я задержу на несколько часов — наша вина. Остальные платформы подошлите мне не к десяти, а, если можно, часам к двум.

— Ну что ж, — сказал Кушнеров, — не подавать так не подавать.

— Значит, договорились.

Катя повесила трубку. Но неожиданно миролюбивый тон Кушнерова насторожил её.

Она ждала, что Кушнеров, как обычно, не упустит случая подчеркнуть вину порта. Он этого не сделал, и, повидимому, не зря. Что же это означает?

Она вызвала к себе заведующего складом Петрова и сказала ему:

— Прогуляйтесь по станции, Сидор Иванович... В два часа должны подать крытые вагоны под муку для «Армении». Интересно, что у них там делается... К Кушнерову вам ходить не обязательно... И попадаться ему на глаза тоже не обязательно.

Через час Петров вернулся и доложил:

— Вагоны как будто посылают на машиностроительный. Точно узнать не удалось, знакомого диспетчера нет, а весовщик сказал, что как будто так...

— Хорошо, будем ждать, — решила Катя, предчувствуя, что Кушнеров сыграет с ней какую-то штуку.

День участка шёл своим чередом.

Звонил телефон: диспетчер требовал сведения о ходе погрузки и разгрузки судов, отдел кадров — о выработке рабочих, плановый отдел — о выполнении норм. Поминутно открывалась дверь: то явится капитан теплохода и требует принять его судно на причал, то шкипер баржи настаивает на перевеске груза, то ворвётся клиент с какой-нибудь претензией, и надо идти на склад разбираться... И представителей разных организаций хватает: из пароходства, из министерства, из газеты, из политотдела, из горкома, из научно-исследовательского института...

Пришла старшая нормировщица пароходства Зубкова, принесла первые ведомости по хронометражу. Это были предварительные, ещё черновые данные, но уже по ним было видно, какие огромные резервы скрыты в кране и насколько можно убыстрить его работу, если соединить лучшие приёмы лучших крановщиков.

Просматривая ведомости, Катя сказала:

— Всё это точно соответствует характеру каждого крановщика. Ермаков смелей, у него быстрее поворот, Сизов лучше ладит с грузчиками — у него быстрее зацеп, у Умняшкина всегда был хороший расчёт, он быстро

заводит вязанку в люк — вот у него и быстрее и отцеп и обратный поворот.

С комичной серьёзностью Зубкова сказала:

— Характер не входит в объект изучения, это предмет другой науки — психотехники. Я вам докладываю объективные данные исследования.

— Да, да,— сдерживая улыбку, сказала Катя, радуясь красоте и молодости Зубковой, и её серьёзности, и тому сознанию значительности своей работы, которым она вся была проникнута, и даже пятну машинного масла на её новом крепдешиновом платье.

— Скажите, когда вы закончите наблюдения по крановщикам, можно было бы провести такую же работу по другим профессиям, хотя бы по грузчикам и электрокранщикам?

— Пожалуй, можно...

— Вот и прекрасно.— Катя свернула ведомости.— И я буду просить, чтобы эту работу провели именно вы. И тогда у вас скопится такой богатый материал, что вы сумеете опубликовать статью, а может быть, и целое исследование по этому вопросу.

— Ну, что вы,— покраснела Зубкова.

— Да, да... Серьёзно,— Катя ободряюще улыбнулась и положила ей руку на плечо,— поработайте у нас навигацию, и мы вас выведем в знаменитые люди. Только держитесь за порт, докажите своему начальству, что вам здесь необходимо провести все эти работы.

Зубкова задумчиво проговорила:

— Начальник отдела вряд ли позволит: у нас очень много работы. Вот если товарищ Леднёв прикажет, тогда другое дело.

— Ну что ж,— уверенно сказала Катя,— я думаю, товарищ Леднёв нас поддержит...

Катя произнесла имя Леднёва спокойно, как произнесла бы любое другое имя. Неожиданная вспышка чувства к этому человеку, которая была у неё тогда, дома, когда она лежала и думала о нём, теперь прошла... Первые дни она ждала его звонка, старалась не выходить из конторки, вздрагивала при каждом телефонном звонке, с волнением подымала трубку... Но в течение этих двух недель он ни разу не позвонил ей... И, конечно, она не звонила ему... Внимание Леднёва тогда, в его кабинете представлялось ей теперь не более как мгновенным интересом, который появляется у мужчины при виде хорошенькой женщины и который или проходит в ту минуту, когда он перестаёт её видеть, или переходит в легкомысленное и недолговечное увлечение, которое она презирала и которое никогда бы не приняла. Ну, что ж, значит, любовь не состоялась. Лучше осознать это сейчас, чем разочаровываться потом.

Конечно, Катя не могла не ощущать особого внимания Леднёва к своей работе, но результаты этого внимания были не совсем те, каких ей бы хотелось: против её воли второй участок превращался в этакый показательный участок скоростной обработки судов. Катя понимала, что слава участка опережает его действительные достижения и что, самое главное, эти достижения никак не способствуют улучшению работы других портов: нельзя поставить всех в исключительное положение, а нужно изменять общие условия работы, а это как раз и не делалось... Всё же она не хотела думать, что Леднёвым руководит только желание иметь в своём пароходстве такой показательный участок. Личное разочарование не должно заслонять его облика большого государственного человека. И она верила, что у Леднёва есть какие-то свои соображения, что в масштабе всей Волги ему, может быть, виднее, как действовать, а она должна на своём участке продолжать своё дело... И она продолжала его...

К трём часам дня первые платформы с асфальтом были погружены. В половине четвертого подошла и встала на причал «Армения» с мукой. Но станция не подослала ни новых платформ для асфальта, ни крытых вагонов для муки.

Катя позвонила Кушнерову.

Он выслушал её и недовольным басом протянул:

— Ну, вот, то отказываетесь, то опять давай...

— Ефим Семёнович,— сказала Катя,— не нужно так. В чём дело? У вас нет платформ? Нет вагонов?

— Почему нет? У нас всё есть, но вы со своим асфальтом сбили мне весь дневной график. Через полчаса подойдёт маневровый паровоз, и я подошлю ещё платформы для асфальта.

— А крытые вагоны под муку?

— Это не успею сегодня. Может быть, завтра.

— У вас нет вагонов?

— Вагоны есть, но я не могу сразу делать все манёвры, а поэтому крытых вагонов не дам. И не будем зря время тратить.

Катя опустила трубку на рычаг и задумалась.

«Армения» простояла на рейде уже трое суток. Если ещё сутки простоят на участке, то всё это, в общем, не так страшно. И, конечно, из-за этого несчастного асфальта Кушнеров будет всё сваливать на участок. Тогда ни Елисеев, ни пароходство не захотят ввязываться в конфликт — по их мнению, предлог будет неосновательный, побоятся, что «плохо будут выглядеть»... Но, с другой стороны, разве имеет она право допустить простой теплохода в то время, когда участок бьётся за каждый час, за каждую минуту? И разве из-за того, что у Кушнерова есть видимость правоты, она должна уступить ему, когда на самом деле он неправ и поступает нечестно и nepopядочно?

Катя позвонила Елисееву. Он сказал:

— Да уж знаю. Придётся «Армению» пока отставить.

— Вагоны у них были,— сказала Катя,— но они их отдали машиностроительному. Заткнули другую дыру.

— Это так,— согласился Елисеев,— но с Кушнеровым мы сегодня не справимся: сами ведь задержали с асфальтом. Просчиталась ты, Екатерина. Не надо было утром отказываться от платформ под асфальт. Он бы их всё равно прислал с опозданием, ты бы немножко проканителлилась, туда-сюда, смотришь — и сошло бы. А теперь у него козырь.

— Задержка платформ не имеет никакого отношения к вагонам под муку. Ровным счётом никакого. И я поступила правильно. Не хотела, чтобы ещё десять платформ простаивали. А Кушнеров использовал это против меня. И это nepopядочно...

— Какая уж здесь порядочность,— устало сказал Елисеев,— войди в его положение: у него есть распоряжение начальника дороги — немедленно обеспечить машиностроительный.

— Так бы и сказал.

— Не хочет на своё начальство ссылаться, службист. В общем, «Армения» стояла на рейде трое суток, постоит у тебя ещё. А не хочешь — пусть «Армения» отойдёт, подошлю другую баржу.

— На это я не согласна,— сказала Катя,— участок виноват в задержке платформ под асфальт — пусть участок отвечает, я виновата — я буду отвечать. Железная дорога виновата в неподаче крытых вагонов — пусть за это отвечает. А покрывать друг друга я не согласна, участвовать в подобной круговой поруке тоже не намерена. Короче: я составляю акт на железную дорогу и даю рапорт о чрезвычайном происшествии: вагоны должны дать, и дать сегодня.

— Подавать рапорт я, конечно, не могу тебе запретить, но толку из него не будет: вагоны они угнали на машиностроительный. Ему начальство приказало, а начальству—ещё кто-то, может быть, обком или облисполком, может, из Москвы — приказали обеспечить машиностроительный, и всё тут!

В словах Елисеева была своя логика, но это была логика ведомственная. Он не хотел ссориться с железной дорогой потому, что сегодняшний случай казался ему недостаточно убедительным. А дело не в ссоре, а в том, что дальше так работать нельзя. Нельзя оставлять безнаказанным ни один случай простоя флота — только тогда можно будет эти простои ликвидировать.

— Через тридцать минут у вас будет рапорт, Иван Калистратыч,— сказала Катя,— а муку я начинаю выгружать на склад.

— Ты что, смеёшься?! Знаешь, во сколько это обойдётся?

— Знаю. Дорого. Но дешевле, чем простой теплохода.

— Но ведь простой теплохода не идёт за счёт твоего участка, а двойная перегрузка идёт...

— Дело не в том, за чей счёт, а в том, что в данных условиях выгоднее разгрузить теплоход и отправить его. Двойная перегрузка дорога, а простой теплохода ещё дороже.

Первый раз слышала Катя голос Елисеева таким взволнованным.

— Ты понимаешь, что будет, если пароходство узнает, что ты, не дожидаясь вагонов, выгружаешь муку на склад?

— Понимаю. И очень хочу, чтобы узнали. Тогда, может быть, расшевелются.

Глава двадцать четвёртая

Катя тут же направила Елисееву акт на железную дорогу, сорвавшую погрузку «Армении». Узнав об этом, Кушнеров, в свою очередь, тоже составил акт на задержку платформ с асфальтом. Елисеев направил рапорт Ворониной в пароходство, Кушнеров свой акт — в управление дороги. Возник конфликт. Кроме того, Воронина начала выгружать две тысячи тонн муки на склад, а это уже чрезвычайное происшествие. К концу дня на участке появились начальник железной дороги Косолапов и Кушнеров, через несколько минут появился и Леднёв в сопровождении Елисеева и главного инженера порта Бугрова. Леднёв поздоровался со всеми за руку, и когда повернулся к Кате, его губы тронула официально-приветливая и, как показалось Кате, чуть насмешливая улыбка. Но в его глазах она уловила испытующее и вопросительное выражение, точно он хочет узнать её состояние, её настроение, её отношение к нему. Катя ответила ему спокойным, даже холодным кивком головы. Её бесстрастное лицо выражало лишь ту сдержанную вежливость и полную достоинства предупредительность, которые руководителю участка полагалось выказывать высшим начальникам, тем более приехавшим к нему для разбора щекотливого и не совсем приятного дела.

Зато начальнику железной дороги Косолапову, такому же высокому, как и он сам, и приблизительно одного с ним возраста, но худому, костлявому человеку, видимо, нервному и раздражительному, Леднёв пожал руку с особо подчёркнутой сердечностью. Косолапов ответил ему тем же. И во всё время разбирательства конфликта они держались, как высшие судьи, которые призваны вполне лояльно и доброжелательно, далёкие от всякого рода ведомственных распрей, разобраться то, что натворили их подчинённые, не умеющие жить в ладу, как живут в ладу вот они, Косолапов и Леднёв. Они не спорили, не пререкались, наоборот, согласались друг с другом, каждый старался своим вопросом дополнить вопрос дру-

гого. Когда Кушнеров горячился, Косолапов одёргивал его, то же самое делал Леднёв по отношению к Елисееву.

Но вся эта вежливость и предупредительность были лишь оболочкой и никак не могли скрыть того обстоятельство, что интересы этих двух людей здесь диаметрально противоположны.

Когда говорил Елисеев, Леднёв слушал его с неприязненным и критическим выражением лица, перебивал, старался сбить разными коварными вопросами — это была оболочка. Но, когда Елисеев кончал свои объяснения, Леднёв оборачивался к Косолапову и разводил руками, точно говоря: «Ничего не поделаешь, против фактов не пойдёшь. Я бы рад установить вину своих подчинённых и наказать их... Но, повторяю, против фактов не попрёшь». И это было уже не оболочкой, а отражало суть его поведения.

Точно то же самое делал и Косолапов, когда объяснения давал Кушнеров.

Леднёв выговаривал Елисееву только за историю с асфальтом. Этим он подчёркивал, что выгрузка асфальта не имеет никакого отношения к выгрузке муки и, следовательно, в том, что не выгружалась мука, виновата только железная дорога.

Косолапов выговаривал Кушнерову за то, что он, обнаружив задержку с асфальтом, сразу же не отказал порту в вагонах. И этим Косолапов подчёркивал, что между выгрузкой асфальта и выгрузкой муки есть прямая связь и, следовательно, во всём виноват порт.

И хотя Косолапов всё это делал хмурясь и сдерживая раздражение, а Леднёв — спокойно, с приятной и благожелательной улыбкой, существование их поведения от этого не менялось.

Елисеев, который отговаривал Катю идти на конфликт, держался теперь непримиримо. Он был осторожен лишь в выборе действия, но потом всегда твёрдо держался выбранной линии.

Хмуря свои седые лохматые брови, он вытащил из планшетки, которую всегда носил с собой, ведомость и протянул Косолапову.

— Вот извольте полюбоваться, товарищ Косолапов, сколько раз ваша станция срывала нам подачу вагонов.

Косолапов просмотрел ведомость и предупредительно протянул её Леднёву. Потом обернулся к Кушнерову: «Вот как вы работаете, товарищ Кушнеров!» — хотя отлично знал, что Кушнеров ни в чём не виноват: ему управление дороги, то есть он же сам, Косолапов, недодаёт вагонов, и он же сам, Косолапов, приказал Кушнерову обеспечить вагонами машиностроительный завод, хотя отлично понимал, что Кушнеров может этот приказ выполнить только за счёт порта.

Тогда Кушнеров с жёлчным выражением человека, которого, несмотря на его правоту, всегда в чём-то обвиняют, вытащил, в свою очередь, из записной книжки листок, в котором были аккуратно записаны все те случаи, когда порт срывал погрузку и разгрузку вагонов.

— Плохо работаете! — сказал тогда Леднёв Елисееву, хотя отлично знал, что это происходит из-за неравномерного движения флота, в чём виноват не Елисеев, а главным образом он сам, Леднёв.

От порта говорил Елисеев, и Кате приходилось больше молчать. Изредка она вставляла какое-нибудь замечание или давала справку. В этом дипломатическом разговоре она тоже нашла свою роль. Своим молчанием и своей сдержанностью она ставила себя в положение человека, судьбу которого должны решить, а остальных — в положение людей, которые должны это решить. Своей сдержанностью и одинаковым отношением ко всем она как бы говорила:

«Я молчу и ни во что не вмешиваюсь. Смотрите и судите сами. Вот положение вещей, оно для вас очевидно. Я не в силах и не вправе что-

нибудь решить. Вы же облечены всей полнотой власти, вот и решайте».

И хотя Катя отлично понимала, что вагоны теперь наверняка дадут, она не изменила своего поведения. Эта спокойная и сдержанная позиция, такая естественная в её положении, была в то же время для неё удобна и по отношению к Леднёву лично. Как только взгляд Леднёва обращался к Кате, в нём каждый раз опять появлялось испытующее и вопросительное выражение. Он добивался ответного взгляда, а она не хотела ему отвечать и своей спокойной, официальной сдержанностью как бы отгораживалась от его настойчивых взглядов.

Катя, конечно, понимала условность поведения Леднёва и Косолапова. Может быть, ей было бы приятнее, если бы они решили дело прямо, без всех этих ведомственных ухищрений. Но условность эта была ей на пользу, и она сознавала некоторую неизбежность этой условности. Дипломатичность Леднёва ей нравилась, и она видела, что в этом смысле он сильнее Косолапова, может быть потому, что был спокойнее и выдержаннее.

И вместе с тем Катя чувствовала, что всё поведение Леднёва адресовано ей одной, что своим поведением, как и своими взглядами, он ищет внутреннего контакта с ней, хочет понравиться и расположить её к себе.

— Ведь из-за чего сыр-бор?..— сказал Леднёв.— Этот участок,— он обвёл вокруг себя рукой,— этот участок ведёт скоростную обработку судов. Первый у нас такой. Ну, конечно, не хочется брать на себя простой — все показатели летят...

Это замечание имело два адреса — Косолапову и Кате. Косолапову подчёркивалось, что работа этого участка, как передового, имеет особое значение и что нормальная подача вагонов для этого участка тоже имеет особое значение и тем, следовательно, больше вина железной дороги. Для Кати же предназначалось уважительное признание заслуг и её и её участка.

Но Кате не понравилось скрытое в этом замечании снисходительное дружелюбие, точно она и её участок делают дело, из которого ещё чётче он знает что ещё получится,— скорее всего ничего не получится,— но о котором полагается говорить уважительно потому, что это новаторство, а о новаторстве надо говорить уважительно независимо от того, веришь ты в это новаторство или не веришь. И эта искусственная уважительность подрывала деловую основу разговора, придавая ему некую торжественную условность, точно они здесь не дело делают, а устраивают не то парад, не то юбилей.

Нахмурившись, Катя показала на краны, выгружавшие муку из трюмов «Армении».

— Делаем двойную работу: выгружаем муку на склад, а потом будем из склада грузить в вагоны. Много тысяч рублей выбрасываем на ветер. Не говоря уже о трате времени, о лишних людях, о потерях муки при перегрузке и обо всём прочем...

Некоторое время все молча смотрели на работающие краны, на маленькие, юркие электрокары, перевозящие муку от кранов на склад. И каждый чувствовал себя виноватым хотя бы в том, что эта лишняя работа совершается на его глазах.

Потом Леднёв с досадой спросил Елисеева:

— Зачем вы это делаете? Денег не жалко...— И уже для Косолапова добавил: — Вагоны-то ведь будут.

— Вагоны под «Армению» уже четвёртые сутки обещают. Обещают, а теплоход стоит,— ответил Елисеев.

— Иван Калистратыч не разрешал выгрузку,— сказала Катя,— но я была вынуждена так поступить. За сутки теплоход может сделать пол-

миллиона тонно-километров. Его простой — слишком большой убыток для государства.

Леднёв поднял одну бровь, покачал головой.

— На языке юристов это называется косвенным ущербом. Ну, а прямой убыток, конечно, гораздо меньше.

Он посмотрел на Катю, и в глазах его и уголках рта появилось то предназначенное ей одной тёплое выражение, которое так нравилось ей раньше и которому она не хотела и не считала нужным отвечать сейчас. Но робость этого выражения, какая-то осторожная мимолётность его, точно он боится её холодности, невольно тронули Катю. Ей вдруг стало жаль Леднёва.

Несколько потеплевшим голосом она, мягко усмехаясь, сказала:

— Значит, косвенный ущерб ближе к истине, хотя и называется косвенным.

Косолапов слушал этот разговор с мрачным видом, точно не понимая, зачем люди теряют своё и его время на пустые пререкания. Потом приказал Кушнерову:

— Подбросьте сейчас сюда десяток вагонов под муку за счёт машиностроительного. А к вечеру я подошлю вам резервный маршрут.

— Слушаюсь,— ответил Кушнеров.

— Идите сейчас на телефон и дайте распоряжение. Сами проследите за его выполнением. Через полчаса вагоны должны быть на месте..

Он обернулся к Кате.

— Вы подготовитесь за полчаса?

— Постараюсь,— ответила Катя.

Кушнеров ушёл звонить. Косолапов сухо со всеми попрощался и уехал. Обращаясь к Леднёву и Елисееву, но не глядя ни на того, ни на другого, Катя сказала:

— Мне надо пойти распорядиться насчёт приёмки вагонов. Разрешите?

— Да, пожалуйста,— ответил Леднёв,— займитесь маршрутом, а мы с Иваном Калистратычем пройдем по хозяйству.— И вдруг совершенно неожиданно и как-то очень по-начальнически добавил: — Через час я вернусь сюда — посмотрю ваши дела...

Ожидая Леднёва, Катя сидела в своей конторке. Перед ней лежали ведомости хронометража, оставленные Зубковой, но Катя не смотрела на них. Она думала о Леднёве. Что он скажет ей, и что она скажет ему? Как всё это глупо и нелепо получается... Ведь ничего ей этого не нужно, она уже настолько свыклась со своим положением, со своим одиночеством, что всё это, даже такое незначительное, доставляет ей боль. Неужели он не понимает этого?..

Она скорее почувствовала, чем увидела приближение Леднёва, услышала его твёрдые шаги по маленькой лестнице и коридору, ощутила знакомые ей запахи табака и духов.

Леднёв появился в дверях и, протягивая ей руку и улыбаясь, сказал:

— А вот теперь давайте поздороваемся, Екатерина Ивановна.

Она видела устремлённый на неё взгляд, тот самый, каким смотрел он на неё тогда, в своём кабинете. Этот взгляд говорил, что она не должна ни на что сердиться, что на всё были свои причины и когда она узнает эти причины, то простит его.

Вошли Елисеев и Бугров, и лицо Леднёва снова приняло официальное выражение, но где-то в глубине продолжала теплиться улыбка, предназначенная только одной Кате и только ей одной видимая... И под действием этого взгляда, ласкового, извиняющегося, растоплялась её холодность и ей на смену снова пробуждалось чувство власти над этим человеком,

чувство, которое она пережила тогда, ночью, у себя дома, когда лежала и думала о нём...

Рассматривая лежащие на столе ведомости с данными хронометража, Леднёв сказал:

— Нужно выбрать лучшего крановщика и дать ему возможность установить новую норму. По нему будут равняться и другие.

В другое время Катя, может быть, и не возразила бы Леднёву — просто сделала бы всё по-своему. Но сейчас она боролась с тем влечением, которое снова чувствовала к Леднёву. И она цеплялась за любую возможность противоречить ему.

— Мы думали организовать обмен опытом между всеми крановщиками, — сказала Катя. — Крановщик, у которого лучшее время по какой-то одной операции, передаёт свой приём остальным. То же делают и другие. Получается взаимное обучение.

— Это правильно, — согласился Леднёв, — но это не исключает того, о чём я говорю. Обмен опытом, взаимное обучение — дело нужное, главное, но длительное. А нужно, чтобы проделанная вами работа стала достоянием всего речного флота, всех крановщиков, чтобы люди поверили в неё. Значит, кто-то должен показать лучшее время. Понимаете? Чтобы у этого рекорда было своё имя. Вот хотя бы тот крановщик, который грузил тогда «Керчь», помните? Как его фамилия?

— Ермаков, — машинально ответила Катя.

— Вот, вот, Ермаков. Я, конечно, не настаиваю на его кандидатуре, даже не выдвигаю, а говорю примерно. Вам на месте, конечно, виднее. Вот и надо подобрать человека.

Конечно, в рассуждениях Леднёва была своя логика. Но этот путь не соответствовал тому новому, особому, что видела Катя в этом деле. Опять рекорды, опять рекордсмены — слова, которые в её представлении ассоциировались с каким-то временным и очень индивидуальным успехом.

— Ермаков сейчас занят другим, — сказала Катя.

— Я не настаиваю на нём. Просто он пришёл мне на память. — Он посмотрел на неё и, улынувшись, добавил: — Вспомнил начало навигации, и вот пришёл мне на память этот Ермаков.

И опять при упоминании об этом первом дне их встречи Катя покраснела и отвернулась.

Всё же она сказала:

— Нет. Прежде всего будем подтягивать всю массу крановщиков к новым нормам. Ну, а если уж кто потом вырвется вперёд — тогда пожалуйста: вот вам и рекордсмен.

Она посмотрела на Леднёва, встретила с его долгим, внимательным взглядом и опустила глаза...

Леднёв вдруг рассмеялся и, разводя руками, сказал:

— Ну что ж, ничего не поделаешь. Тут вы полный хозяин — вам и решать.

Глава двадцать пятая

Все пошли по участку — Катя, Леднёв, Елисеев, Бугров. Леднёв о чём-то спрашивал Катю, она отвечала, что-то показывала, смеялась шуткам и замечаниям Елисеева, но никогда позже не могла вспомнить, что говорила, чему смеялась, о чём спорила. В мире существовали только они двое — Леднёв и она. Они произносили какие-то слова, фразы, кого-то слушали, но разговаривали только глазами, только между собой, понимая друг друга и отвечая только один другому.

Когда все подошли к машине Леднёва, он спросил:

— Товарищи, кто в город?

И Катя понимала, что Леднёв хочет, чтобы она поехала с ним, но хочет также, чтобы поехал ещё кто-нибудь, иначе это будет неудобно, покажется всем, что он увозит её с участка. И она, так же как и он, начала лукавить, не понимая, откуда вдруг появилась в ней эта способность к притворству. Она почувствовала себя сообщницей Леднёва, и ей стало весело и беззаботно. И хотя она никогда так рано не уезжала с участка, она, обращаясь к Бугрову, сказала смеясь:

— Поехали, Григорий Кузьмич, прокатимся!

Бугров согласился ехать. Но Леднёв стоял у дверки с нерешительным видом. Катя поняла причину этой нерешительности.

Подняв брови, она сказала:

— Мне, как единственной женщине, надо бы сесть впереди. Но ведь Григорий Семёнович у нас такой толстый. Вдвоём с вами он сзади не поместится.

Леднёв подхватил её шутку.

— А мы ему уступим хозяйское место,— сказал он, садясь рядом с Катей.

Как всегда летом в этот вечерний час, набережная Волги, или откос, как его называли горожане, был заполнен гуляющей публикой. Катя и Леднёв медленно двигались в густой толпе, заполнившей тротуар и широкую асфальтовую мостовую.

С тех пор, как Катя поступила в порт, она ни разу не была здесь. Как и раньше, тут было много военных, студентов, учащихся старших классов, физкультурников... Кате казалось, что все эти девушки и юноши очень молоды, совсем дети, и даже странно, что родители разрешают им так поздно гулять по откосу.

Все доходили до прибрежного садика и поворачивали обратно. Дальше набережная была почти пуста. Леднёв и Катя прошли по ней и сели на одну из скамей, установленных в решётчатых балкончиках парапета.

Короткий металлический лязг пловучего крана, монотонные склянки на судах, заунывная мелодия невидимого баяна, отдалённые крики и смех людей на реке, музыка радиолы, плеск волны — все эти звуки угасающего дня наполнили Катю тоской. Она зябко повела плечами и спрятала ладони в рукава своей форменной куртки.

Повернувшись к Кате, Леднёв шутливо произнёс:

— «Мы сидели с тобой у заснувшей реки...»

Она молча продолжала смотреть прямо вперёд, чувствуя на себе его взгляд и ощущая у щеки его дыхание.

— «И тебе я тогда ничего не сказал»,— добавил Леднёв, и Катя уловила в его голосе оттенок нерешительности.

Слева, там, где гуляла толпа, сияла огнями гостиница. В войну в этом здании был госпиталь, тот самый, в котором работала Катя. Она вдруг ощутила запахи йода, бинтов, солдатских шинелей, увидела полумрак длинных коридоров, окна палат, затемнённые синими бумажными шторами, ряды коек... И эта первая любовь. И Евгений Самойлович... И Мостовой — холодный, далёкий образ...

Глядя Леднёву в глаза, Катя вдруг произнесла:

— Скажите...

Он взял её руку в свои и опустил голову, разглядывая её пальцы и тихонько поглаживая их.

— Маленькие пальчики, а, наверное, сильные,— сказал Леднёв.— Когда я впервые вас увидел, то сразу решил, что у вас, должно быть, очень сильные руки.

— Что вы ещё решили?

— Что я решил?

Он задумался, склонившись к её руке, и Катя увидела у него на макушке лысину, почти незаметную, тщательно прикрытую редкими, рысьими волосами.

Он стареет, этот красивый и ещё, казалось бы, такой молодой мужчина... Он стареет, и её охватило трогательное чувство жалости, нежности к нему...

— Всё ж таки, что вы ещё обо мне решили? — спросила Катя. — Вы так и не сказали.

— О, я многое решил...

— Например?

— Прежде всего я решил обязательно за вами ухаживать.

— Это вы решили о себе... А что вы обо мне решили?

— О вас? Вы, наверное, умная.

— Ладно, — согласилась Катя, — пусть умная. А ещё?

— Решительная.

— Если поехала с вами и сижу здесь, значит решительная.

— Вот я и говорю. Затем — настойчивая... Не очень добрая...

— Значит — злая?

— Это будет видно. Ну, что ещё? Меня вы считаете человеком... человеком несерьёзным...

— Пока... До некоторой степени...

— Ведь вы меня совсем не знаете.

— Почему? Я вас помню в Кадницах, — неожиданно и не совсем к месту сказала Катя.

Он заинтересованно повернулся к ней.

— Да? Сколько же вам было тогда лет?

— Сколько бы ни было, а помню. И дом ваш помню и сад... Потом я вас видела на пляже. Вы брали девушек и бросали их в воду.

— Я?

— Да, вы.

Они начали вспоминать Кадницы, затем институт. Эти нити воспоминаний сближали их, делали моложе и роднее друг другу.

У Леднёва был мягкий тембр голоса, с теми тёплыми, подкупающими интонациями, которые всегда запоминаются. Смеялся он негромко, даже тихо, но очень задушевно и искренне. Но, когда переставал смеяться, улыбка мгновенно сбегала с его лица.

— Вы учились в лучшее время, — доверительно и мягко сказал Леднёв, — а моё поколение испытало на себе всякие эксперименты: бригадно-лабораторный метод, ускоренную подготовку в вуз. Я, например, пошёл в институт прямо из затона, проучился восемь месяцев на рабочих курсах — и в институт. А до этого — семилетка, и то всё позабыл... Вот как мы раньше учились...

— Ну что ж, — сказала Катя, — ведь выучились.

— Да, конечно, вытянули за уши... Знаете, взаимопомощь и прочее. К тому же общественная работа отнимала много времени...

— Руководили?

— Было... Вот и получилось: образование высшее, а наполовину неуч.

И Катя не могла понять: искренне он говорит или рисуется тем, что вот он, простой затонский паренёк с семилетним образованием, стал одним из руководителей речного флота. Но ей хотелось верить в его искренность, и она верила.

— Но вы могли доучиваться, — сказала она.

— Когда? Времени-то не было.

— А где вы работали после института?

— В пароходстве работал, в министерстве...

Они замолчали. Вечер спускался над городом. На набережной зажгётся длинный ряд фонарей, они уплывали вдаль бесконечной мутнобелой полосой. На судах тоже зажгли огни; но они ещё не освещали реку, а двигались и сверкали красными, белыми, зелёными точками.

— О чём вы думаете? — спросил Леднёв.

— Так, ни о чём... — задумчиво проговорила Катя. — Люблю смотреть на реку, особенно вечером. Эти огни... Когда я смотрю на них, мне кажется, что вся моя теперешняя жизнь только воображается мне, а на самом деле я ещё девочка и плаваю с отцом по реке. И мне кажется, что сейчас мы подойдём к пристани, начнётся высадка пассажиров. Матрос вытянет сходни и, как всегда, крикнет: «Ноги!», а на какую-нибудь зазевавшуюся гражданку скажет: «Макака сингапурская...» И я буду смотреть на этого матроса и думать: «Откуда он знает про Сингапур? Наверно, служил в морском флоте и плывал в Тихом океане», а потом буду думать про Тихий океан и воображать, на каких судах плывал этот матрос и что он участвовал в русско-японской войне, где-нибудь с Новиковым-Прибоем, хотя если задуматься, то этого матроса тогда ещё и на свете не было...

— Вы много плавали в детстве?

— Много. Каждую навигацию. Да я и родилась на барже. Правда, правда. Вы не верите?

Он улыбнулся и погладил её руку.

— Нет, почему же? Верю.

— Да, да, родилась на барже. И всю жизнь, вот до поступления в порт, плавала на судах...

— Я тоже много плывал, — сказал Леднёв, — но, конечно, меньше вашего. Отец работал в затоне, я тоже. Но, по правде сказать, не люблю плавать... Правда, странно? Начальник пароходства, а плавать не любит... Долго, скучно, однообразно. Я даже до Куйбышева не плаваю — только самолётом, а уж о Сталинграде и Астрахани и говорить нечего. В Москву — железной дорогой, одна ночь...

— Наверно, вы по натуре более деятельный человек, — сказала Катя, — не любите безделья. А вот я люблю плавать. Плывёшь, плывёшь... Машина шумит, колёса стучат по воде, а вода бурлит, кто-то вбегает по трапу, пароход свистит... Хорошо! И берега знакомые и пристани известные, а каждый раз интересно, всё это такое родное, такое привычное, что думаешь: без этого не сможешь жить... А вот видите, живу!

— Вам бы надо было быть капитаном, — сказал Леднёв.

— Нет, это не женское дело.

— Почему? Ведь есть...

— Да, есть, а всё-таки не женское. На мой взгляд, конечно. Но я уже старуха, и мне положено иметь консервативные взгляды.

— Вот видите, — улыбаясь, сказал Леднёв, — мы хотим уничтожить разницу между мужским и женским трудом, а вы сами отказываетесь от равноправия.

— Равноправие здесь ни при чём. Просто при выборе профессии надо учитывать особенности женского организма и женского быта. Я никогда не видела мужчину — воспитателя детского сада, но это не значит ведь, что мужчины у нас неравноправны. Вы согласны с этим?

— Это истина.

— Чего же вы спорите со мной?

— А я и не спорю.

— Зачем же я держала такую длинную и скучную речь?

— Наверно, любите выступать.

— Нет, я не люблю выступать, — сказала Катя, — но сейчас разболталась.

Она быстро посмотрела на него, отвернулась и тихо добавила:

— Это, наверно, оттого, что я волнуюсь.

— Отчего?

— Я решила, что мы уже никогда с вами не встретимся в такой вот обстановке.

— А почему вы мне ни разу не позвонили?

— Ждала вашего звонка.

— Но ведь вы обещали позвонить.

— По делу... А дела не было.

— А без дела?

— Без дела и вы могли мне позвонить — я женщина.

— Значит, в этом тоже нет равноправия?

— Нет!

— Я хотел вам позвонить, — сказал Леднёв, — но, честно говоря, почему-то стеснялся... Вы мне показались такой... строгой, сердитой, оборвали бы меня, и всё!..

— Я думала, вы храбрее.

— Я, конечно, не трус... Но, если бы вы меня оборвали, как бы я тогда выглядел?

— А вы лучше об этом никогда не думайте.

— О чём?

— О том, как вы будете выглядеть.

— О... Об этом всегда надо думать...

— Вот уж нет... Об этом никогда не надо думать. Между прочим, мой начальник, Елисеев, очевидно, у вас перенял это выражение: «Как мы будем выглядеть?».

Леднёв внимательно посмотрел на Катю и серьёзно спросил:

— Вам не нравится это выражение?

— Очень не нравится. В нём есть что-то, мне даже трудно объяснить что... — сказала Катя.

— Вот как, — задумчиво произнёс Леднёв, — интересно...

Потом решительно спросил:

— Хотите, я никогда больше не буду употреблять это выражение?

Она попыталась всё это обратить в шутку:

— Если вы перестанете употреблять выражения, которые кому-либо не нравятся, то вам придётся всю жизнь молчать. На всех не угодишь.

— Я хочу угодить только вам.

Она положила свою руку на его и спросила:

— Скажите, почему вы всё же мне не звонили?

— Честное слово, боялся, — искренне сказал Леднёв, — вы знаете, я несколько раз брал трубку, хотел звонить, но не звонил. У меня тогда, когда вы были в пароходстве, создалось впечатление, что я не нужен вам, что, может быть, вам вообще всё это не нужно. Мне казалось, что я выгляжу перед вами каким-то очень несерьёзным, легкомысленным, таким... — он рассмеялся и покрутил в воздухе рукой. — Вот... И я думал, что если позвоню вам, то ничего хорошего из этого не выйдет...

Катя с волнением слушала Леднёва. Ей хотелось верить ему, и она верила, потому что то, что переживал он, переживала и она — те же колебания, боязнь позвонить и показаться навязчивой...

— Вот так, — сказал Леднёв, — а сегодня я видел: вы обижены на меня, недовольны мной, и мне это было очень тяжело...

— Да, это верно, — призналась Катя, — я ждала вашего звонка и не знала, почему вы не звоните. Решила, что вы забыли...

— Вы мне верите? — спросил Леднёв, наклоняясь к Кате и заглядывая ей в глаза.

— Верю, — ответила Катя.

Он вдруг привлёк её к себе.

— Не надо, — прошептала она, задыхаясь и отворачивая голову, — увидят...

Сильной рукой он повернул её голову к себе и поцеловал в губы.

Глава двадцать шестая

В Сталинграде «Керчь» простояла неделю. Вся команда, в том числе и машинная, встала на разгрузку, но теплоход был принят на причал только на пятые сутки.

Отвалив от сталинградских причалов, «Керчь» подошла к Красноармейску и встала под погрузку зерна. Причал был свободен, но в трюмах «Керчи» обнаружили клеща и сутки его уничтожали. Затем, после погрузки, которая продолжалась всего шесть часов, теплоход простоял ещё восемь часов — оформлялись документы. Дожидаясь ушедшего за ними Сутырина, Воронин шагал по палубе. В луче прожектора, прорезавшем мучную пыль, летала масса бабочек, казавшихся в этой пыли светлыми, юркими рыбками, ныряющими в глубине моря.

Но вот он увидел три фигуры, быстро спускающиеся по крутой лестнице к причалу. В одной из них Воронин узнал Сутырина, в другой, высокой и худой, — начальника пристани Храмцова, третий человек был незнаком. Спуск с причальной стенки на палубу был довольно высок и неудобен, человек этот что-то сказал, Воронин не расслышал — что, но, видимо, смешное, потому что Храмцов рассмеялся.

Через минуту все трое стояли на палубе.

— Всё оформлено, Иван Васильевич, — сказал Сутырин, передавая накладные, — можем отправляться.

— Вот, Иван Васильевич, — сказал Храмцов, представляя третьего человека, — пассажир с вами до Куйбышева. Из Москвы, товарищ Бахтин. У них и предписание от министра.

Воронин не любил посторонних людей на теплоходе. Недовольно взглянув на Храмцова за то, что тот подсунул этого человека именно к нему на «Керчь», он сказал:

— Что ж, пожалуйста... Только вот насчёт каюты... Кого бы нам поднять...

— Зачем же подымать? — быстро, скороговоркой произнёс человек, которого Храмцов назвал Бахтиным. — Вовсе не нужно подымать! Красный уголок есть? Ночью свободен? И не нужно никого подымать, так ведь?

— И верно, — сказал Воронин, ничем не показывая своего удовлетворения таким оборотом дела: ему всегда было неприятно отбирать каюту у кого-либо из команды для постороннего человека, — поставим койку, дадим постель, там и просторно и воздухи больше. — Он повернулся к Сутырину. — Займитесь, устройте товарища в красном уголке...

Пока матрос устанавливал в красном уголке койку, Сутырин разговаривал с пассажиром.

Это был рыжеватый, плотный, широкоплечий, но очень подвижный человек. Одет он был в лёгкий серый костюм, и, когда снял пиджак, под ним оказалась голубая рубашка с короткими рукавами, плотно обтягивающими толстые руки, густо поросшие тёмнозолотистыми волосами. Наголо выбритая голова с выпуклым лбом как-то странно белела на красной загорелой шее. Тонкие губы, мясистый нос и живые карие глаза под белёсыми, точно выгоревшими бровями дополняли портрет этого человека, в котором Сутырин почувствовал что-то такое, что вынуждало

его быть с ним откровенным и в то же время взвешивать каждое своё слово.

Говорил Бахтин быстрой скороговоркой, часто повторяя слова и выразительной интонацией подчёркивая наиболее важные, как бы в чём-то всё время убеждая собеседника. И говорил всё время весёлым, приветливым голосом, хотя то, что он говорил, было, может быть, вовсе не весело. Глаза его смотрели на собеседника с весёлой и дружелюбной улыбкой, но оттого, что смотрели они, не отрываясь, и оттого ещё, что на этом усталом и небритом лице улыбка выглядела несколько привычной, ощущение этой улыбки пропадало, и появлялось ощущение внутренней насторожённости. Сутырин чувствовал, что если Бахтин примется за человека, то «выпарит» его до седьмого пота и ни в чём не даст ему пощады.

Всё он понимал с полуслова, часто договаривал за собеседника, любил, видно, острое словцо и находчивый ответ и сам выражался метко, броско, несколько иносказательно.

— Вот это коечка так коечка, — говорил он, нажимая рукой на сетку кровати. — Заснёшь и не проснёшься. Закачает и проспишь побудку.

Но по тому, как он провёл пальцами по спинке кровати, шершавой из-за облупившейся краски, Сутырин понял, что Бахтин видит, что койка эта старая, давно не крашенная, а надо бы выкрасить, не конец ещё навигации. И когда Бахтин быстрым опытным взглядом окинул красный уголок, то Сутырин, следя за его взглядом, заметил, что уголок ещё не прибран, и подумал, что это неправильно, когда уголок убирается утром, надо бы убирать его с вечера, и что поскольку здесь и едят, то надо бы каждый раз накладывать клеёнку, а то на материи пятна, и что плакаты здесь висят к Первому мая, а теперь уже конец июня...

— Значит, постояли, — сказал Бахтин, возвращаясь к тому, что он наблюдал в конторе пристани, когда Сутырин так долго оформлял документы на зерно.

— Уж как водится, — ответил Сутырин, — всякий раз стоим.

— Вот именно, — подмигнул ему Бахтин, — куда торопиться?

— Стоять — прибыль небольшая.

— Вот именно, вот именно, — говорил Бахтин, перебирая книги в шкафу, — вот именно, что небольшая прибыль, совсем небольшая, скажем прямо — ничтожная прибыль от всего этого... Читают? — неожиданно спросил он, кивая на книжный шкаф.

— Чего ж, читают, — ответил Сутырин, думая о том, что шкаф не заперт на ночь и это нехорошо, книги растаскивают...

А Бахтин уже читал висевшие на стене прошлогодние обязательства по соревнованию с «Полтавой».

— Как раз писали новый договор с «Полтавой», — сказал Сутырин, — завтра вывесим.

— Ведь тоже выполнять надо... Новый, старый, все надо выполнять, — говорил между тем Бахтин, перебирая подшивки газет и журналов и складывая их не так, как они лежали раньше, а по-другому, аккуратнее. Да и вообще всё, что он брал в руки, он клал потом по-своему, наводя свой порядок. Разговаривая, он перебирал валявшиеся на столе шахматы и шашки и сложил их в коробки, и Сутырин подумал, что он, наверное, пересчитывает их. И действительно, Бахтин наклонился, разыскивая под столом недостающую шашку, и, найдя её, положил с остальными.

Боцман Пушин принёс постель.

— Ого, сынок, какой ты расписанный, — сказал Бахтин, разглядывая богатую татуировку боцмана. — Где это тебя так разукрасили? На Балтийском или на Дальнем?

Боцман Пушин, хотя и напускал на себя боцманскую строгость, был, в сущности, добродушный и весёлый парень. Единственное, что могло вывести его из состояния покоя, было упоминание о татуировке, которой он одновременно и гордился и стыдился.

Однако весёлое замечание Бахтина не рассердило его. Оно было сказано в том особом тоне, в котором сочетаются и покоряющая людей опытность — сразу угадал в Пушине военного моряка, — и простота человека равно, у которого у самого, может быть, в молодости была вытатуирована грудь, и в то же время что-то такое командирско-покровительственное, что позволительно говорить только ему одному и на что подчинённый не только не обижается, но воспринимает, как некое отличие.

— Покололи, — улыбаясь и в то же время выпрямляясь и даже несколько вытягиваясь, сказал Пушин.

— От других отставать не захотел?

— Вроде, что так.

Бахтин между тем, усевшись на постели, раскрыл маленький чемодан и вынул из него небольшой кожаный несессер на молнии. В несессере был бритвенный прибор, мыло, зубная щётка, зубная паста, полотенце.

— Ну что ж, — сказал Бахтин, — почиститься да спать ложиться.

— Пожалуйста, — сказал Сутырин, — по коридору вторая дверь — умывальник.

— Найдём, расположение известное, что «Керчь», что не «Керчь», верно ведь? — ответил Бахтин и быстрым взглядом обвёл каюту.

— Пока вы будете мыться, мы здесь немного приберём, — предупредая просьбу Бахтина, поспешно сказал Сутырин.

— Вот именно, как на плакате написано: чистота — залог здоровья. Так ведь? А, боцман?

— Так оно и есть, — улыбаясь, ответил Пушин.

Когда на следующее утро Сутырин поднялся в рубку, Бахтин уже был там. Чисто выбритый, сразу помолодевший и посвежевший, он сидел на задней скамейке и разговаривал с капитаном и с несшим вахту Мелковым.

Теплоход шёл вверх по Волге. Приближались к Золотому. Кругом расстилались пустынные берега. Голые скаты гор, низкие, изрытые ручьями, образовывали своими далеко выступающими в воду мысами длинную цепь, однообразную, бескрайнюю. Иногда виднелись отары овец и опять низкие, однообразные горы, без лесинки, без дерева. Утёс Степана Разина казался совсем маленьким.

— Как в песне-то поётся? — сказал Бахтин. — «И утёс великан...» Великан? А вот он какой, на него и ребёнок залезет.

— Так уж люди сочинили, — ответил Воронин, — народ...

— Вот именно, — неожиданно подхватил Бахтин, — народ! Не может народ представить Степана Разина на маленьком утёсе. Раз человек великан, значит и место, на котором он стоит, — великан! «И утёс великан...» Вот как!

— Эти места дикие, тут размечтаешься, — заметил Воронин.

— Дичь-то, она скоро кончится, — поглядывая на берега, возразил Бахтин.

— Бывали, значит, в наших местах? — спросил Воронин.

— Бывал...

— По речному делу служите?

— И по речному, — засмеялся Бахтин.

— Так, так, — проговорил Воронин, понимая, что Бахтин не хочет рассказывать о себе. Но ему было ясно, что Бахтин имеет отношение

к водному транспорту, и Храмцов это сказал, и бумажка у него от самого министра... да и в деле, видно, разбирается. Только не поймёшь: из учёных он или из партийных работников. И без формы...

Маленький баркас тянул дошаник. На палубе — домашний скарб, на носу — корова, на корме — женщина с ребятишками.

— Должно, бакенщик на новое место перебирается, — сказал Мелков.

— Нет, однако, — возразил Воронин, — это из рыболовецкого колхоза, дошаник-то промысловый.

— Кто бы там ни был, а с насиженного места тяжело сниматься, — сказал рулевой Ярцев, — там и дом и хозяйство... Вот, помню, в сорок пятом демобилизованные не могли до пристани дотерпеть, вплавь прямо с парохода бросались. Дом — он великое дело.

— Что ж поделаешь, раз должность такая, — вздохнул Мелков. — Вот и наша жизнь. Один год зимуем под Горьким, второй — под Куйбышевом, третий — под Сталинградом, в общем, куда припишут. Так и не видишь жизни.

— Жизнь наша здесь, — сказал Воронин, — здесь живём, здесь и погрём.

На дальнем горизонте показались массивы домов Саратова, огромное здание управления железной дороги, высокие трубы ТЭЦ, мощные элеваторы, краны порта и новостроек.

— Хорошо, что в Саратов нам не заходить, — вздохнул Мелков, — вторая после Сталинграда кузница простоев.

— А в каком порту быстрее всего обрабатывают? — спросил Бахтин.

— В каком? Пожалуй, что в Горьком, — отвечает Воронин. — Да и там иной раз постоишь. Когда примут на причал, то быстро погрузят. Но вот пока примут — наждёшься, особенно если затор в порту.

— Всё же горьковчане доказали, что такой вот теплоход можно обработать за полтора дня и даже за сутки, и только за счёт умной, продуманной организации, — сказал Бахтин.

— Дело они, конечно, хорошее делают, — сказал Воронин, — только нам от него пока польза малая. Грузят они быстро, а пока на причал примут — постоишь. Вот и выходит: в целом для флота ещё мало эффекта. Какая нам разница, где стоять — на причале или на рейде?

— Верно, — согласился Бахтин, — только уж это вина пароходства: плохо организуют движение.

— Кто б там ни был виноват, а дело всё на той же точке, — сказал Сутырин.

— Искать надо, искать виновных, — с усмешкой сказал Бахтин, — всем прощать — и дела не видать. И что плохо? Ведь большое дело начала инженер Воронина, а её не в ту сторону ведут. Какой у них недостаток? Они поставили задачу — добиться скоростной обработки судов. А к этому надо было добавить одно слово: и вагонов... Скоростная обработка судов и вагонов. Вот тогда будет правильно. А никто не подсказал.

— Вагоны — это уже другое ведомство, — заметил Сутырин.

Бахтин повернулся к нему.

— Ведомство у нас одно: Советский Союз.

— Воронина-то Екатерина Ивановна — дочка ихняя, — сказал Мелков, оборачиваясь и кивая на капитана.

Бахтин поднял свои рыжеватые, выгоревшие брови.

— Вот как? А ведь действительно. Оба Воронины.

— У речников семья большая, — сказал Воронин, — корень один — волгари!.. А вы давно были в Горьком?

— Не был ещё, вот собираюсь. Побуду в Куйбышеве, а уж оттуда в Горький.

— Таким же, значит, манером, на пароходе?

— Да, уж придётся, — засмеялся Бахтин.

И вдруг Воронин вспомнил Бахтина. Эту фамилию называла ему Катя, он слышал её в пароходстве, да и в газетах встречал не раз.

Не глядя на Бахтина, своим спокойным голосом он спросил:

— Извините, конечно, за любопытство. Вы не в политуправлении работаете?

— Вот именно, — ответил Бахтин, — там и работаю.

Глава двадцать седьмая

Воронин, конечно, жалел теперь, что не дал Бахтину каюту. В красном уголке было шумно. Свободные от вахты люди играли в шахматы, шашки, домино, отчаянно стучая костяшками по столу. Дети хлопали дверьми, радио шумело непрерывно.

Но предлагать теперь Бахтину каюту было поздно и неудобно: это значило подчеркнуть, что капитан встретил его недружелюбно и поместил не туда, куда следовало. Да и до Куйбышева оставался всего день пути.

Просить людей меньше докучать Бахтину тоже было бесполезно. Наоборот, все ещё больше лезли в красный уголок: посторонний человек на грузовом судне всегда событие.

Успокаивало капитана то, что сам Бахтин, видимо, не только не чувствовал неудобства своего положения, но, казалось, был особенно доволен им. Общение с людьми доставляло ему удовольствие, и он сам стремился к этому общению. Со всеми он как-то очень быстро перезнакомился и сразу очутился в курсе всех больших и малых событий в жизни теплохода. Весь день Бахтин с кем-нибудь да разговаривал, и это мешало капитану самому поговорить с ним. А Воронину нужно было и хотелось поговорить с ним один на один: когда ещё приведётся встретить у себя на судне такого человека.

Тогда он пригласил Бахтина к себе в каюту обедать, хотя и не знал, понравится ли Бахтину этот простой обед из общего котла. Но готовить отдельный обед Воронин не велел. Только сказал коку:

— Там тарелки, вилки... Не мешает иногда и почистить.

Обычно с капитаном обедал Сутырин, одиночка, как и сам капитан. Пришёл он и на этот раз.

За столом Бахтин шутил, смеялся, расспрашивал Воронина о делах судна. Воронина удивило его умение из всей массы дел выбрать именно те, которые для команды были самыми острыми и злободневными.

— Если плохо идёт дело, — сказал Бахтин, — одни неувязки да неполадки, тогда люди нервничают и начинаются конфликты: между штурманом, — он кивнул на Сутырина, — и между механиком, между нижней командой и верхней, между теми, кто хочет зимовать в Горьком, и теми, кто хочет зимовать в Куйбышеве.

— Так оно и есть, — согласился Воронин, — да разве мы не хотим наладить настоящую работу? Только не от нас это зависит. Конечно, против старого работаем мы не в пример лучше. Раньше как было? Пригонит купец баржонку в Нижний на ярмарку, и стоит эта баржонка всю ярмарку, пока он товар не распродаст. Вот как было! Если сгоняет посудину раза два в Астрахань и обратно — уже хорошо.

Бахтин поморщился.

— Всё на дедов и прадедов оглядываемся, пора бы уже и перестать. Нечего нам себя со старой, с купеческой Волгой сравнивать.

— К слову пришлось, так уж, по-стариковски. Плаваем мы аккуратно, без поломок и аварий, в рейсе часы экономим, а в портах стоим. И что удивительно: есть порты хорошо работают, быстро грузят, вон зерно нас за шесть часов погрузили, а проканителились мы в Красноармейске сутки, до этого в Сталинграде — семь суток... И не поймёшь: почему так происходит?

— Организация дела плохая, — сказал Бахтин, — техника у нас отличная, люди знающие, а организация дела отстаёт.

— То-то и оно, — заметил Воронин, — а уж это от нас не зависит. Больше от начальства.

Бахтин посмотрел на Воронина.

— Начальство — это мы с вами, начальство — это народ, он ставит и сменяет начальников, а потому народ за всё и отвечает: и за государство, и за страну, и за дело, и за судьбу свою. А на отдельных начальников оглядываться нечего. Не по месту человек, а по человеку место. Иной с холмика всю округу видит, а другой на горке никого, кроме себя, не замечает...

— Хорошие слова и во-время сказаны, — пробормотал Воронин, — только на практике не всегда так получается.

— Что главное, — сказал Сутырин, — соревнуемся мы с «Полтавой». Только она от нас и мы от неё никак не зависим. И не видим мы этой «Полтавы». А вот порты и флот друг без дружки никуда, а всё разделено. А если бы мы с портом по-настоящему соревновались, то могли бы с них спросить: почему не грузите? Они нас: почему не по графику прибыли? Тогда бы и чувствовали друг перед другом ответственность. В порту бы думали: ага, «Керчь» на подходе, готовься, ребята! И мы в рейсе: готовься, команда, подходим к Горькому! Всё это и надо в одно увязать.

Воронин пояснил слова Сутырина:

— Тут такое дело. Вот проводим мы собрание, обсуждаем, принимаем, а в то, что выполним, не верим. Потому что условий нет. Каждый год пишем: «Работать по графику...» Меня матрос или там, допустим, моторист на собрании спрашивает: «Иван Васильевич! Как мы можем такое обязательство брать, когда не от нас оно зависит? Ведь не дают нам порты по графику работать?» Что я ему должен ответить? Так команда к этим обязательствам и относится: всё равно, мол, не выполним. И получается одна формалистика.

— Людям надо правду говорить, — сказал Бахтин.

— Какая же она — правда?

— Надо сказать: у нас, на речном транспорте, ещё много беспорядка. А навести порядок должны мы сами. Больше никому. Если бы ваша дсч рассуждала так, как вы, то она тоже ничего не добилась бы.

— Девица толковая, — не без гордости за дочь улыбнулся Воронин.

Бахтин повернулся к Сутырину.

— А насчёт соревнования вы правильно говорите. В нём много казённости, формализма, парадности... Вот вызовите на соревнование порты. Скажем так: теплоходы, работающие на линии Горький—Сталинград, вызывают на соревнование порты Горьковский и Сталинградский.

— А не попадёт нам за такое самоуправство? — усмехнулся Воронин.

— Не попадёт, — усмехнулся и Бахтин, помолчал и вдруг с неожиданной жёсткостью в голосе, ударяя по столу своим большим, поросшим рыжими волосами кулаком, сказал: — От кого это вам попадёт? Кто эти руководители, которые не уважают вашего труда, ваших стремлений? Давайте их сюда...

Он перевёл суровый взгляд с Воронина на Сутырина, потом с Сутырина на Воронина и вдруг совершенно неожиданно откинулся на спинку стула и расхохотался.

— Смех один, честное слово! Верхняя команда — нижняя команда! Флот — берег! Река — железная дорога! Клиенты — транспорт! Делятся, не разделяются! Откуда это? Чьё это? Ваша дочь — умный человек, а что рядом лежит — не видит. Воеет с железной дорогой, а дело общее, дело одно. Вот увидите её, посоветуйте: не воевать надо с железной дорогой, а объединять усилия... Соревноваться надо с железной дорогой; не только суда, но и вагоны надо разгружать по-скоростному...

Несколько обидевшись за дочь, Воронин сказал:

— Всё-то сразу не осилишь.

— Правильно, — согласился Бахтин, — только всегда надо главное искать. А главное — это не просто график, а единый график. Чтобы и порт, и флот, и железная дорога имели бы единый график. А для этого надо думать не только о своём, но и о том, что рядом, да и о том, что подальше... Как, правильно я говорю?

И он обвёл собеседников вопросительным взглядом.

— Так уж чего правильнее, — сказал Воронин...

В Куйбышеве Воронин вызывал пловучую лавку. Бахтин объявил, что он перейдёт на эту лавку, доедет на ней до порта, вызывать специальный катер не надо.

— Какой разговор! — сказал Бахтин. — Перейду на лавку, а уж они меня на берег высадят. Вот всем и удобно.

С утра радист радировал в Куйбышев о подходе «Керчи» и просил выслать пловучую лавку. Куйбышев подтвердил приём.

К Куйбышеву стали подходить в пятом часу вечера. Воронин с беспокойством вглядывался в берег, ища глазами пловучую лавку и подавая сигналы.

Город широко раскинулся на левом, отлогом берегу. За много километров потянулись утопающие в садах дачи, дома отдыха, пионерские лагери. За ними вставали бесчисленные фабричные трубы, громадные массивы заводских корпусов и посёлков, жилых зданий.

«Керчь» двигалась мимо центра города. Непрерывной вереницей шли пляжи, водяные станции, пристани, причалы, речные вокзалы, дебаркадеры. По реке сновали пароходы, баркасы, моторные лодки... Но лавки не было.

— Вот уж лавка так лавка, — шутил Бахтин, стоя рядом с капитаном в рубке, — ничего себе торгует...

Воронин приказал сбавить ход. «Керчь» шла медленно, подавая гудки.

— Может, пристанем? — предложил Воронин. — Могут и не выслать лавку, прокатим вас до Горького.

— Прокатить нельзя, у меня дело, — со своей обычной шутливостью ответил Бахтин, — но и приставать не надо. Обязаны они выслать лавку по вашему требованию?

— А как же, люди-то останутся без продуктов, некормленные.

— Значит, всё в порядке. Где-нибудь ниже подойдёт.

Воронин с сомнением покачал головой. Он хорошо знал порядки на реке.

— Всякое бывает, могут и не подослать.

— Посмотрим, — коротко ответил Бахтин.

Но Куйбышев уже остался позади. Опять потянулись красные и белые здания дач, маленькие дебаркадеры дачных пристаней.

— Ну вот, — сказал Воронин, — надо было в городе приставать, здесь уже не пристанем.

Бахтин указал на нагоняющий их речной трамвай.

— Подзовите «москвича»!

По правилам в случае необходимости срочной высадки пассажира можно подзывать проходящее судно. Воронин дал катеру сигнал «Прощу подойти к борту» и совсем сбавил ход.

Катер подошёл. Суда ударились бортами. Мостики очутились рядом.

— Товарищ из политуправления, — сказал Воронин, — прошу принять на борт. Надо в Куйбышев.

— Идём в Ставрополь, — ответил капитан катера. — Обратно в Куйбышев придём через три часа.

— Я на первой пристани сойду и доеду трамваем, — сказал Бахтин.

— Тогда переходите, только побыстрее.

Бахтин подхватил свой маленький чемодан и по наброшенному трапу перешёл на катер.

Смеркалось, туман заволакивал реку.

Катер дал сигнал, медленно отвалил от «Керчи» и, набирая скорость, пошёл по косой линии к берегу. «Керчь» тоже двинулась вперёд.

Обернувшись, Бахтин снял фуражку и помахал ею теплоходу. Воронин и Сутырин, стоя на мостике, тоже сняли фуражки и помахали ими на прощание Бахтину.

— В самую точку смотрит человек, — сказал Сутырин.

— В точку-то в точку, — ответил Воронин, — да ещё получится ли по его.

Глава двадцать восьмая

При свидании Катя и Леднёв не назначали дня следующей встречи, оба были заняты и не знали, когда будут свободны. Обычно Катя ждала его звонка. Но иногда, томясь ожиданием, она находила повод позвонить ему сама, прибегая к одной из тех женских уловок, смешных и трогательных, которые он сразу разгадывал и над которыми они оба потом смеялись.

Они встречались в редкие свободные вечера, обычно в субботу или в воскресенье. Их излюбленным местом была дальняя сторона откоса, там, где они сидели в день первого своего свидания. Толпа гуляющих не доходила туда, и только шум её долетал, как напоминание о кипящей вокруг жизни и как свидетельство их обособленности от всего мира.

Они всё больше и больше узнавали друг друга, научились понимать один другого без слов, без взгляда. В театре, в кино, на улице, увидев что-нибудь, они думали одно и то же и с удивлением говорили: «Я подумал то же самое», «И мне в голову пришло то же самое». Им нравилось так, они это понимание превращали в игру, в испытание одинаковости своих мыслей и ощущений. Они смотрели друг на друга:

— Что вы подумали?

— А вы?

— Скажите первый, тогда я скажу...

Вся она была наполнена им. Ей казалось, что она думает о нём неотступно. Она переживала любое упоминание о Леднёве, её волновало всё, что хоть в самой малой степени касалось его. Её огорчал каждый плохой отзыв о нём и радовал хороший. При каких-либо осложнениях в пародстве она волновалась: ей казалось, что к нему будут несправедливы, потому что большинство людей видит его с другой, даже ей неприятной стороны и не знает того настоящего Леднёва, которого знает она.

Где-то в глубине души она чувствовала и его недостатки. Эта настоявшая её фраза: «Как мы будем выглядеть...» Но его недостатки

казались Кате оборотной стороной его достоинств, делали более близким, родным, человеческим, казались естественными недостатками человека большого, широкого, человека с размахом и сильной волей. Кате казалось, что недостатки Леднёва и то, что она их видит, — всё это даёт ей какую-то тайную власть над ним, делает его более слабым, чем она, дают ей право тактично влиять на него и исправлять — извечное стремление любви создавать любимого...

Катя ни разу не была у Леднёва. Он не приглашал её. Катя понимала: он не знает, как познакомить с ней дочь, и эта нерешительность трогала её как свидетельство его доброты и порядочности. Но сама она часто расспрашивала его о дочери. И судьба этой девочки, воспитанной без матери, его дочери, трогала её, так же как трогали её те заботы, которые ему, занятому мужчине, приходится нести по воспитанию дочери.

Ей хотелось заботиться о нём, быть ему нужной, её беспокоило в нём всё, вплоть до мелочей его туалета. Она увидела в магазине красивые мужские носовые платки и купила дюжину, хотя и знала, что это плохая примета — дарить носовые платки, и понимала, что проявление заботы о вещах чисто практических невыгодно представляет её самоё, точно она уже считает себя вправе заботиться о такого рода делах. Но, подумав, она сочла такие опасения мещанством — и купила ему эти платки. Передавая их Леднёву, она сказала:

— Вам ведь некогда ходить по магазинам. Так вот, я купила эти платки.

— Ну зачем же? — сказал Леднёв. — Я мог бы и сам.

— Они бывают редко. — Катя посмотрела на Леднёва. — Вы не считаете это покушением на вашу независимость?

— Катя!..

— Вот и хорошо.

Ей было приятно узнавать его привычки, она по-женски изучала его. Впервые ей открылся незнакомый ей мужской мир, это пришло поздно, тем острее воспринимала она это. Леднёв был сформировавшийся, сложившийся в своих жизненных привычках человек. И эти привычки были частью его самого, частью его существа, близкого и дорогого ей. Она пыталась угадывать его желания, и если это удавалось ей, то она была счастлива. Если не угадывала, то огорчалась.

Они мало разговаривали о делах служебных. Но Катя знала, что он в курсе всего. В конце июля, после того, как экипаж «Керчи» вызвал участок на соревнование, Катя провела на участке производственное совещание. И Леднёв пришёл на это совещание, хотя Катя и не приглашала его и даже не говорила ему о том, что это совещание должно состояться.

Широкие ворота машинного парка были открыты настежь. Рядом маневрировал паровоз. Его свистки и шипение заглушали голоса выступавших, белые клубы пара стлались по асфальтовому полу.

Люди пришли после смены. От их одежды, от возбуждённых, загорелых лиц пахло рекой, лесом, цементом, углем, той смесью запахов, которая стоит в порту. Грузчицы почти все были в белых косынках, грузчики — в майках, у многих на обнажённых руках, плечах и груди синела татуировка. Крановщики и крановщицы, водители электрокаров и автопогрузчиков, приёмо-сдатчики, нормировщики, дежурные помощники, механики слесари, техники, начальники причалов, береговые матросы — все толпились у вывешенных на стене таблиц с данными хронометража. Потому что любая работа зависит от крана. Кран — ведущий механизм порта.

Руководя собранием, Катя всегда стремилась уловить настроение его участников — по их реакции на выступления, репликам, смеху, одобрительному или неодобрительному гулу, напряжённому молчанию, которое

выражает заинтересованность и внимание, нетерпеливому движению, глухому шуму, наконец, по выражению лиц: возбуждённых, заинтересованных, безразличных, скучающих... Но всегда было несколько человек, по которым она особенно остро чувствовала состояние всей аудитории. Одним из таких людей сейчас была для неё Дуся Ошуркова.

Дуся сидела в заднем ряду. Сзади неё был высокий верстак с выпирающими тисками. Видно было, что эти тиски мешают ей откинуться назад, ей приходится сидеть прямо, даже чуть наклонившись вперёд, и эта поза ей утомительна и неудобна. Но на лице её не было обычного выражения равнодушия и замкнутости. Она напряжённо прислушивалась ко всему, что сегодня говорили. Катя несколько раз перехватывала её вопросительный взгляд и понимала: Ошуркова хочет, но не решается выступить. Такая нерешительность в этой грубоватой и вызывающей женщине тронула Катю, и она ободряюще улыбнулась ей.

Дуся никогда не выступала на собраниях. Но сегодня, впервые в своей трудовой жизни, она почувствовала, что получила какое-то право на то, чтобы сотня сидящих здесь людей слушала её.

В хронометражной таблице её фамилия стояла где-то посередине. У неё было не рекордное, но и не худшее время: на цикл — полторы минуты. Её даже удивило, что названная Ворониной средняя цифра по участку почти точно равнялась её времени. Но, в отличие от лучших и от худших крановщиков, её время внутри цикла было ровным по всем операциям. У неё не было такой быстроты, как у того же Николая Ермакова по повороту стрелы, у Сизова по стропке или у Умняшкина по переключению, но и не было такого низкого времени по другим операциям, которое было даже у этих прославленных крановщиков, её работа была ровной и гармоничной, она старалась освоить все операции и приёмы, а не какой-нибудь один... И она знала, что хотя хронометраж закончился всего дней десять—пятнадцать назад, его данные уже устарели: она работает теперь гораздо быстрее. И теперь, когда она увидела, у кого ей надо учиться и чьи приёмы ей надо перенимать, она знала, что будет работать ещё быстрее.

Когда Воронина объявила, что на днях начнут работать школы по обмену опытом, где лучшие крановщики будут обучать других своим приёмам, Дусе захотелось встать и сказать, что это, конечно, хорошо, но недостаточно. Она вот чувствует, что работает быстрее, но не знает, так ли это, а хотелось бы знать и надо бы продолжить наблюдение, и что (ей говорил об этом Сутырин) есть такой аппарат, который механически записывает время операции, и, будь на кранах такие аппараты, можно было бы всё время следить за своим временем и совершенствовать его. Всё это хотелось ей сказать, но она похолодела при мысли, что ей придётся говорить здесь, перед всеми, и все будут смотреть на неё и слушать её... И такая во всём решительная и смелая, она ничего не сказала, продолжая сидеть и слушать выступающих. И всё то, что говорили выступающие, казалось ей правильным и умным. Она удивлялась тому, что о том же, о чём говорят здесь, часто думает и она, но ей никогда и в голову не приходило говорить об этом. А вот люди говорят, и получается дельно и к месту.

Дуся, может быть, и не выступила бы. Но когда Катя ободряюще улыбнулась ей, Дуся совершенно произвольно кивнула головой. Она тут же спохватилась, но было уже поздно: Воронина что-то записала на лежащем перед ней листочке бумаги — наверное, её, дусину, фамилию. И когда она поняла, что в любую минуту Воронина на весь зал может объявить её фамилию и ей придётся встать и говорить и все будут смотреть на неё, её охватил безотчётный и никогда раньше неведомый страх. Если бы даже она хотела уйти с этого собрания, то не смогла бы

этого сделать, не смогла бы сдвинуться с места... И она с замирающим сердцем ждала, когда кончит говорить выступавший грузчик Сердюков.

Слово получил Николай Ермаков, и она облегчённо вздохнула. Николай говорил гладко, чётко, и все его слушали. Иногда завернёт и лишнее, но на то он и записной оратор порта, всегда выступает. Когда Николай кончил говорить, Дуся снова заволновалась, но слово дали шофёру автопогрузчика Веселкову, и Дуся немного успокоилась... А может, её и не заставят выступать, слово-то она не просила. Мало ли, что переглянула с Ворониной... Эта мысль ободрила её, она уже спокойно слушала, что говорит Веселков, но конец его речи не дослушала, сидевшая рядом фельдшерница участка о чём-то спросила её, и потому, когда сидевшая с другой стороны крановщица Абросимова толкнула её и взглядом указала на Воронину, Дуся удивлённо осмотрелась по сторонам, не понимая, в чём дело...

— Говорите, Ошуркова, — снова сказала Воронина.

Дуся встала и, с удивлением прислушиваясь к далёким звукам собственного голоса, сказала:

— Вот Екатерина Ивановна говорила насчёт школ... Так вот, я хотела сказать, что это, конечно, хорошо...

Она говорила, не поднимая головы, ей казалось, что все смотрят на неё, но никто не слушает, потому что странный шум в голове мешал ей самой слушать.

— ...Конечно, хорошо... Только ведь чувствуешь, что работаешь быстрее, а не знаешь: может, только кажется, что быстрее...

— Что ж теперь: нормировщиков всё время держать? — перебил её кто-то, но кто — она не разобрала.

— Нет, — сразу осмелев и поднимая голову, ответила Дуся, — зачем же нормировщиков? Вот говорят — не знаю, правда, нет ли, — есть такой аппарат, ставят его на кран, он сам и записывает время, каждую, в общем, операцию...

— Ты где такой аппарат видела? — опять крикнул тот же голос.

Дуся с раздрожением посмотрела в тот ряд, откуда раздался этот неприятный, пронзительный, почему-то незнакомый голос.

— Я-то не видела, а слыхала, что есть, люди говорят, которые знают... — Она никак не могла вспомнить мудрёное название этого аппарата и упрямо повторила: — Раз говорят, значит есть...

— Осциллометр, — подсказала Катя.

— Вот именно, — продолжала Дуся, — так он и называется. Будь на кранах такие аппараты, время было бы видно: на чём выигрываешь, на чём проигрываешь. — Помолчав, она добавила: — Вот это я и хотела сказать.

И села. Ей казалось странным, что никого не удивило её выступление, ничего особенного не произошло, точно так и должно было быть, и люди продолжали выступать, не ругая и даже не вспоминая о ней, и её соседки даже головы не повернули, когда она села.

Глава двадцать девятая

Леднёв появился на собрании неожиданно, войдя вместе с Елисеевым и главным инженером порта Бугровым прямо в ворота. Выступавшая в это время электрокарщица Смылова замолчала. В зале задвигались, разглядывая вошедшее начальство. На лице у Леднёва было то выражение, которое бывает у человека, знающего, что его появление на собрании произведёт замешательство, и потому как бы говорит: «Не обращайтесь на меня внимания, товарищи, продолжайте работу. Вот я только сяду в уголок, а вы продолжайте, продолжайте...»

Пока они усаживались, Смылова молчала. Леднёв поднял на неё глаза. Он ничего не сказал, не сделал никакого жеста, но потому, что он посмотрел на неё, Смылова поняла, что ей можно продолжать говорить.

Смылова — бойкая чернявая девушка — первая в порту перешла на обслуживание трёх электротележек-каров: пока у крана разгружали одну тележку, в складе в это время нагружали вторую. На третьей она передвигалась.

К приходу Леднёва Смылова кончила говорить о своих карах, но она не села на место, а бойко продолжала:

— Теперь, товарищи, я хочу сказать насчёт общежития. Вот к нам сюда пришли товарищи из пароходства и товарищ Елисейев, здесь и товарищ Бугров, — она повернулась к скамье, где они сидели, — а вот у нас в общежитии мало бывают. А пора бы уже прийти товарищу Елисейеву, да и товарищу Леднёву не мешает: мы ещё ни разу у себя генералов не видели... За восемь часов в порту наломаешься, а в общежитии ни покою, ни отдыха, детишки, шум, гам. Одна спать хочет, другая читать, одной свет нужен, другой он мешает. От работы мы не отказываемся, но и об человеке подумать надо. Люди-то живые...

Главный инженер порта Бугров — тучный человек — сидел молча и неподвижно. На его канительной должности люди долго не держались, но Бугров работал в порту уже давно. Долголетняя, сложная и хлопотливая работа выработала в нём своеобразное спокойствие, которым он, как щитом, загораживался от всех служебных неприятностей. Он молча слушал выступления, никак не реагируя на упрёки, потому что знал: и раньше его ругали и всегда будут ругать, и если на всё реагировать, то тебя самого не хватит.

Елисейев, наоборот, всем своим существом откликнулся на происходящее, поминутно наклоняясь к Леднёву и шёпотом объясняя, кто выступает, и комментируя эти выступления. Если он соглашался с тем, что говорили, то одобрительно кивал головой, если не соглашался, то разводил руками или изображал на своём лице недоумение.

Леднёв сидел, чуть опустив голову, внимательно ко всему прислушиваясь. Когда Елисейев наклонялся к нему, лицо его хмурилось, точно он был недоволен тем, что тот мешает ему слушать. И он нетерпеливо кивал головой, показывая, что всё слышал сам и всё понял тоже сам. Иногда — при чьей-нибудь шутке или остром слове — он улыбался едва заметно и сдержанно. И Кате казалось, что он держит себя слишком по-хозяйски и, следовательно, неуважительно по отношению к собранию. Усмехнувшись про себя, Катя несколькими репликами подзадорила выступавших: пусть немного поберут Леднёва.

Мария Спиридоновна говорила медленным поучающим голосом, строго поглядывая на шумевших грузчиц, и они под действием её взгляда старались сидеть тихо. Марии Спиридоновны побаивались.

— Грузила вчера бригада Плахова трансформаторы, — Мария Спиридоновна отыскала глазами тех, о ком собиралась говорить, — бросали эти трансформаторы — страшно смотреть. Неужели душа не болит? Государственное добро... Со стороны глядеть — сердце кровью обливается! Теперь, обратно, насчёт соревнования с флотом. Невмоготу дальше так работать, товарищ Леднёв! Соревнование — это правильно, только ведь для него условия надо создать, а условия эти от вас зависят, от пароходства. Наладьте нормальное движение! До каких же пор будут суда пачками подходить — неужели не в наших силах это? Ведь не такие дела наша страна решает. И обратно, железная дорога, вагоны эти несчастные, разве железнодорожникам самим не интересно лучше работать? Разве они с полной душой не пойдут нам навстречу? Конечно, пойдут. Надо только меньше сутяжничать друг с другом, а делать общее дело.

Катя успевала одновременно тщательно записывать, что говорили выступавшие, и следить за Леднёвым: ей интересна была его реакция. Но на его спокойном, бесстрастном лице ничего нельзя было прочесть. А люди всё говорили и говорили.

Плохо поставлена информация о работе («Я знаю, что делается в Коре, а что у себя в порту — не знаю»). Женщины жалуются на грузчиков («Очень безобразно ругаются, работать невозможно»). Нужны кожаные рукавицы, брезентовые быстро рвутся («Дай милиции в них движение регулировать, и то не выдержат»). Грузчиков во время смены переключают с одной работы на другую («Как начнут гонять из угла в угол, так за смену ничего не заработаешь»). Одним грузчикам всё время дают выгодную работу, а других держат на невыгодной. Молодые грузчики боятся крана («Нужно поворачивать ношу, а он от неё»). Нет машины, которая бы развёртывала проволоку, и на это теряется много времени. Не хватает ломов, багров, пил. Нужна лебёдка для передвижки вагонов, а то паровоз уходит и жди его целый час... Грузчику Ахметуллину дали сорок четвёртый номер ботинок вместо сорокового.

Всё, что сказал Леднёв в своём выступлении, было, конечно, правильно, но показалось Кате слишком общим. Такую речь он мог произнести в любом порту, и всюду это было бы справедливо. Но и там было бы лишено той прикреплённости к фактам конкретной жизни, знакомой и волнующей слушателей.

— На водном транспорте, — сказал Леднёв, — ежедневно лежит и проходит грузов на четыре миллиарда рублей. Нужны они в народном хозяйстве? Конечно, нужны! Наша задача — быстрее доставить их. Поэтому мы и говорим: самое главное — скоростная обработка флота...

Катя любовалась его представительной наружностью, приятным голосом, которым он хорошо владел, манерой держаться. Он стоял, опираясь руками на спинку стула, не делая никаких лишних движений, почти не изменяя, не повышая голоса. И вместе с тем Катя не могла не заметить в его речи оттенка подлаживания к аудитории, желания вызвать симпатию к себе, попытки поставить себя на одну доску с аудиторией — качества, которые для неё всегда олицетворяли барское снисхождение к простому человеку.

— У вас есть ещё неполадки, будем их изживать, — говорил Леднёв, — все эти вопросы нужно смело ставить перед руководством порта (он строго посмотрел на Елисеева и Бугрова). Если у себя не добьётесь порядка, приходите ко мне, и мы постараемся эти вопросы решить...

Но то, чем кончил Леднёв свою речь, не могло не польстить Кате.

— С самого начала навигации вы ввели твёрдый порядок обработки флота, твёрдую технологию и добились успеха, который все мы видим. Этот успех позволил вам теперь поставить новую задачу — убыстрить работу кранов. Без того не было бы этого. Теперь на обработке судна кран не простаивает — значит, есть смысл убыстрять его работу. И паромство твёрдо уверено, что ваш участок ещё не раз покажет всем портам, как нужно по-настоящему работать.

Хотя по установившейся традиции после руководителя паромства говорить больше не полагалось, Катя всё же не могла закончить это собрание такой общей речью. Закрывая собрание, она сказала:

— Всё, что здесь говорилось, правильно. Всё это записано, и мы стараемся устранить недостатки. Товарищ Леднёв в своё время обещал наладить подход судов и договориться с железной дорогой о подаче вагонов. Я думаю, товарищ Леднёв не откажется от своего обещания.

Она посмотрела на Леднёва, и тот утвердительно кивнул головой. Но, как показалось Кате, по лицу его пробежала тень недовольства такой назойливостью. Ничего, пусть пообещает перед всем народом!

— Значит, товарищи, теперь всё зависит только от нас самих. Вагоны, суда будут подходить равномерно, остановка только за нами. Всё наше производство мы должны подтянуть к новому, у́быстрённому циклу кранов. Мы доказали, что судно можно грузить за тридцать шесть часов, теперь докажем, что его можно грузить за двадцать четыре. Мы только хотим, чтобы государство имело от этого реальную пользу. Поэтому мы ещё раз просим пароходство: наладьте движение флота по графику, обеспечьте своевременную подачу вагонов!

Глава тридцатая

Катя думала, что Леднёв будет говорить с ней об этом собрании. Но он только добродушно заметил: «А порядочным бюрократом вы меня представили». Он сказал это без малейшей обиды, со снисходительностью большого человека, понимающего, что его должны критиковать и будут критиковать, и принимающего эту критику как нечто неизбежное.

В сущности, в этом тоже звучало то несколько барское снисхождение к малым сим, которое почувствовала Катя в поведении Леднёва на собрании. Но на него нельзя было сердиться. Всё это были недостатки Леднёва, недостатки, которые она в нём знала, которые собиралась тактично исправлять, и её собственное поведение на собрании казалось ей направленным именно к исправлению Леднёва.

В душе она восхищалась его выдержкой и уверенностью в себе. Только один раз уловила Катя на лице Леднёва выражение озабоченности. Это было перед поездкой Леднёва в Куйбышев, куда вызывал его Бахтин.

Она взяла его руку и участливо спросила:

— В Куйбышеве очень плохо?

— Нет... Обычное положение вещей... Да ведь всем сразу вынь да положь.

Леднёв приехал через неделю и тут же позвонил Кате. Она была счастлива снова услышать его голос. За эту неделю особенно соскучилась по нему, беспокоилась о нём. Голос его был спокойный, как всегда, весёлый и приветливый. Было это в субботу, и Катя с нежностью подумала о том, что он, наверно, специально поторопился приехать в этот день, чтобы увидеть её.

— Вы свободны сегодня вечером? — спросил Леднёв.

— В общем — да!

— Мы тут думали собраться с моими друзьями... Так я часиков в девять заеду за вами.

— Не знаю, — нерешительно ответила Катя, сразу подумав, что если будут посторонние люди, то надо соответственно одеться, а у неё ничего не готово...

— Почему же вы не знаете?

— Я не знаю, что за люди там будут... А где это, куда мы поедем?

— Соберёмся или у моих друзей или поедем в какой-нибудь ресторанишко.

— Вот видите... Ведь надо одеться, а у меня ничего не готово.

Леднёв засмеялся.

— Это ерунда.

— Но всё ж таки ресторан...

— Ну и что же?! Будьте в том, в чём вы со мной встречаетесь. Почему для других вы хотите сделать исключение? Я обижен... Так, значит, в девять часов я заеду.

И тихо, прикрыв трубку рукой, добавил:

— Целую...

Катя приехала с работы пораньше, наскоро пообедала и начала собираться к вечеру. И чем больше она собиралась, тем больше нарастало неожиданное, странное и незнакомое возбуждение. Она уже давно привыкла к форменной одежде и когда сейчас надела шерстяное платье, сшитое два года назад и с тех пор ни разу не надетое, и посмотрела на себя в зеркало, то вдруг увидела себя красивой, эффектной, молодой, хотя платье было коротковато и, наверное, уже далеко не модно...

Она начала выпускать юбку, увлеклась своим туалетом, несколько раз меняла причёску, волновалась при мысли, что не успеет всё сделать к приезду Леднёва. И это волнение, давно не испытанное, точно пришедшее от давних лет юности, ощущение своей красоты, о которой она так мало думала, эти приготовления, мелочи туалета — всё это наполнило её желанием быть красивой, быть лучше всех. Ей казалось, что сегодня между ней и Леднёвым должно произойти объяснение, которое решит их судьбу, ведь он впервые вводит её в круг своих знакомых, это, конечно, исполнено глубокого, только ей одной понятного смысла... И вместе с тем боялась, что она, отвыкшая от общества, не сумеет, может быть, там держать себя и в своём не совсем уже модном платье будет выглядеть смешной.

Уже в машине Леднёв сказал, что его приятели ждут их теперь в загородном ресторане.

— Посмотрим, как там, — добавил Леднёв, — понравится — останемся, не понравится — куда-нибудь уедем. Ресторанчик так себе, но стерлядку готовят, умеют...

Ресторан представлял собой низкий, хотя и вместительный зал. Вдоль двух его стен шли кабинеты, устроенные из тяжёлой материи вишнёвого цвета. Середина зала была уставлена квадратными столиками под белыми скатертями. Перед эстрадой пустела небольшая площадка для танцев.

В вестибюле к ним подошёл официант, дожидавшийся Леднёва. Катя удивилась тому, что он совсем ещё молодой человек; ей почему-то всегда казалось, что ресторанные официанты обязательно пожилые мужчины или девушки... С подчеркнутой ловкостью лавируя между столиками, он провёл Катю и Леднёва в один из кабинетов, то отставая, то забегая вперёд, и в конце своего путешествия картинно отдёрнул занавеску.

В кабинете уже сидели мужчина и женщина. При появлении Леднёва и Кати мужчина поднялся им навстречу. Это был высокий жилистый человек в пенсне, подтянутый, суховатый, в элегантно сером костюме, похожий на состарившегося спортсмена. Знакомясь с Катей, он произнёс фамилию, которую Катя не разобрала.

— Воронина, — твёрдо и внятно проговорила Катя, протягивая руку.

— Третьякова Сима, — с интересом рассматривая Катю, представилась женщина, одна из тех женщин, возраст которых увеличивается по мере того, как вы их разглядываете. Полная, нарядная, она по обилию красок в лице и в костюме была полной противоположностью своему спутнику. Белые обнажённые руки, рыжие волосы, крашенные и оттого тёмные у корней, сильно, с фиолетовым оттенком, намазанные губы, крупные жёлтые янтарные бусы на шее, ослепительно белые зубы, которые она всё время обнажала в не сходящей с лица улыбке. По тому, как она держалась, смеялась, разговаривала, было видно, что это весёлая, компанейская женщина, из тех, которых называют «артельными бабами». И, глядя на её чистый, без единой морщинки, лоб, Катя подумала, что никакие особенные заботы не обременяют эту женщину. Но её простота и естественность, какая-то чисто женская доброжелательность понравились Кате,

тем более, что она не без удовольствия увидела: Сима гораздо старше её, не так красива, как она, и одета чересчур крикливо.

— Костя,— закричала Сима,— разреши наш спор с Юрой...

— Какой такой спор? — добродушно произнёс Леднёв, беря в руки и раскрывая карточку меню.— В чём вы на этот раз не поладили?

Перегнувшись через стол, Сима выхватила у него из рук карточку.

— Это потом! Ты скажи: о ком больше пишут, о мужчинах или о женщинах?

Леднёв удивлённо поднял брови.

— То есть что значит «пишут»? Кто пишет, куда пишет, о чём пишет?

— Ах, как ты не понимаешь!.. В романах, в пьесах. В общем, вопрос стоит так: кому искусство уделяет больше внимания, мужчине или женщине?

Леднёв засмеялся...

— В этих делах я не специалист...

Он снова взял в руки меню, но Сима опять вырвала его.

— Нет, вот ты, как рядовой зритель, скажи!

Леднёв подумал и сказал:

— Пожалуй, больше о мужчинах.

И теперь уж окончательно взял в руки меню.

Сима подняла маленький пальчик и укоризненно сказала Юрию Михайловичу:

— Вот видишь, все так говорят, а ты споришь.

Она повернулась к Кате.

— А вы как думаете, Екатерина Ивановна?

— Я тоже думаю, что больше о мужчинах, — улыбаясь, ответила Катя, заражаясь настроением этой женщины и всей весёлой атмосферой ресторана, тем более для неё неожиданной и интересной, что она почти никогда не бывала в ресторанах.

— Ну вот, раз все так думают, значит правильно, — заключила Сима.

Снова появился официант и начал расставлять приборы. Леднёв и Сима обсуждали ужин. Сима — с увлечением, останавливаясь то на одном, то на другом блюде, Леднёв — спокойно, по-хозяйски, спрашивая то Симу, то Катю, то Юрия Михайловича, но всё делая по-своему. И официант внимательно и подобострастно слушал всех, но записывал только то, что говорил ему Леднёв.

Юрий Михайлович снял и протёр пенсне. Без них глаза его сделались совсем маленькими, красноватыми, беспомощными, как и у всех близоруких людей, когда они остаются без очков. Обращаясь к Кате, он сказал:

— А я всё же буду отстаивать своё мнение. В искусстве нет настоящих мужчин. Парадоксально, но факт. В наш мужественный век искусство обходит мужчину.

— Вот уж не думала никогда, — удивилась Катя, подымая брови и оглядываясь на Леднёва. — Мне всегда казалось наоборот: о мужчинах только и пишут, а женщину забывают.

— Да, — сказал Юрий Михайлович, — в литературе, в искусстве вы встретите мужчин: прекрасных хозяйственников, новаторов, героев, политических деятелей, учёных, наконец. Но мужчину в его взаимоотношениях с женщиной не встретите. Благородного, обаятельного, которым женщина могла бы по-настоящему увлечься. Смотрите, как у того же Толстого мужчины благородны в их отношениях к женщине: Левин к Китти, Болконский и Пьер к Наташе, Николай Ростов к Марии Болконской, в конце концов Нехлюдов к Катюше Масловой. Да не только у Толстого. Дубровский к Маше, Гринёв к Маше.

— А ведь Юра правильно говорит, — сказала Сима, — смотрите, пожалуйста... Ведь правильно! Нет настоящих мужчин, и влюбиться не в кого...

Катя серьёзно сказала:

— Я назову вам десяток героев нашей литературы, в которых я, как женщина, могла бы влюбиться, встретив их в жизни. Мересьев или лейтенант Травкин в тысячу раз обаятельнее Гринёва. Правда, они не спасают женщину, но они спасают родину... И если уже на то пошло, то Николай Ростов совсем не по-рыцарски поступил с Соней. Если называть вещи своими именами, то не женился он на Соне по очень некрасивому мотиву — приданого не было.

— Что, брат Юрий Михайлович, получил? — усмехнулся Леднёв.

— Нельзя это так примитивно понимать, — поморщился Юрий Михайлович.

Кате было приятно, что Леднёв внимательно слушал её и доволен тем, что, по его мнению, она, повидимому, переспорила Юрия Михайловича.

— Ну хорошо, — сказала Сима, — всё это хорошо. А что в жизни?

— Я не знаю, что вы видите в жизни, — ответила Катя, улыбкой смягчая насмешливость этого замечания, — каждый видит в жизни разное: кто плохое, кто хорошее... В общем, кому что попадётся.

— Рыцарей не вижу, — капризно произнесла Сима, — благородных поступков не вижу.

— Никто не хочет собой жертвовать, — насмешливо посочувствовал Леднёв.

Сима вздохнула.

— Не хочет.

— Так и запишем, — сказал Леднёв, — ну, а теперь приступим.

Мужчины и Сима выпили водки, Катя — сухого вина. Юрий Михайлович выпил свою рюмку в два приёма, запивая каждый раз лимонадом. Кате нравилось, как пьёт Леднёв, так пили люди, среди которых она жила: сразу, одним махом, ничем не запивая. Только потешно сморщился и понюхал корку хлеба. И вообще, как Леднёв вёл себя, нравилось Кате. По какому-то поводу Сима захотела рассказать анекдот, но Катя перехватила предупреждающий взгляд, который бросил на неё Леднёв, и поняла, что анекдот этот неприличный и Леднёв не хочет, чтобы он был рассказан в катинном присутствии.

В ресторане становилось всё шумнее. Официант с бесстрастным лицом менял тарелки. За занавеской слышался громкий пьяный разговор. Оркестр играл что-то знакомое, но на свой, ресторанный лад.

Сима отодвинула край занавески. В зале танцевали.

— Пошли танцевать, — закричала Сима, вставая и дёргая Леднёва за руку. — Костя! Юра, пошли! Я хочу танцевать.

Леднёв улыбнулся добродушной, немного пьяной улыбкой.

— Нет, уж с мужем танцуй, с мужем...

Откинувшись вместе со стулом назад и придерживаясь рукой за край стола, Юрий Михайлович тоже смотрел в зал на танцующих.

— Не бойся, — с той же полупьяной улыбкой подбивал его Леднёв, — чего боишься? А ещё артист!

Не меняя своего брезгливого выражения, Юрий Михайлович оглядывал зал. Сима, взяв его за локоть, увлекла на площадку перед оркестром.

Глава тридцать первая

Придерживая рукой занавеску, Катя смотрела на танцующих.

— Вот тебе и старичок Юрий Михайлович, — сказал Леднёв, подсаживаясь к Кате, — смотрите, как отплясывает... Вы их, наверное, знаете, только забыли... Это Юрий Михайлович Шмальгоцкий, дирижёр опе-

ры, главный дирижёр... А Симочка — его жена, актриса драмтеатра, Серафима Леонидовна Третьякова... Оч-чень славные люди...

Катя продолжала смотреть на танцующих.

Леднёв взял её за руку и спросил:

— Вам скучно?

— Нет, почему же...

— Мы думали у них собраться. Но там девочка старшая, Наташа, десятилетку кончает, экзамены. Вот и решили ей не мешать, поехали сюда. Правильно сделали?

— Правильно, — поворачиваясь к Леднёву и улыбаясь, сказала Катя.

— Вот и хорошо, — поглаживая её руку, сказал Леднёв, и она снова услышала в его голосе те интонации, которые так волновали её. — А раз хорошо, то выпьем за хорошее настроение. Выпьем?

— Выпьем!

— Может быть, водочки? — спросил Леднёв.

Она секунду колебалась. Ей не хотелось ему отказывать. Всё же она сказала:

— Нет, лучше вина.

— Вина так вина!

— Ну, как в Куйбышеве, что Бахтин? — спросила Катя.

Леднёв сразу помрачнел, как и тогда, перед отъездом.

— Да так, ничего...

Он вдруг налил полную рюмку водки, поднял её — ваше здоровье! — и залпом выпил. Потом, не глядя на Катю, глухим голосом произнёс:

— С Бахтиным у меня плохо всё складывается, очень плохо...

Музыка смолкла, и Катя с волнением подумала, что сейчас вернутся Сима и Юрий Михайлович и Леднёв не успеет досказать. Но в зале раздалась жидкие аплодисменты, и через минуту музыка заиграла снова.

Леднёв облизнул сухие губы.

Катя с нежностью и состраданием смотрела на Леднёва — он мучился, и ей было жаль его.

— Неприятности? — спросила Катя и положила свою руку на его.

— Да нет, — усмехнулся Леднёв. — Только вот не понимаю: почему Бахтин так настроен против меня?

— Вот уж не знаю, стоит ли об этом думать, честное слово, — сказала Катя. — Бахтин не один на белом свете. Есть объективная правда, и ничем её нельзя замазать.

— Вы, может быть, думаете, что я его боюсь? — мрачно спросил Леднёв и впервые за всё время этого разговора посмотрел на Катю.

Катя засмеялась. Эта мальчишеская обидчивость понравилась ей.

— Вот ещё! Я думаю, вас не так легко напугать.

— То-то, — всё тем же мрачным голосом, но уже улыбаясь, проворчал Леднёв. — Ну, всё это ерунда! Давайте-ка лучше выпьем... Да, кстати, он и вашими делами интересовался.

— Да, ну и что?

— Успехи, конечно, признаёт, против них и возразить нечего: почти все суда разгружены досрочно. Но... — Леднёв по своему обыкновению многозначительно поднял одну бровь, — понимаете — «но»...

— Что же «но»? — спросила Катя.

— А вот угадайте, что за «но»...

Катя пожала плечами.

— Я не знаю... Возможно, это «но» заключается в том, что, хотя на участке суда грузятся досрочно, они всё же долго стоят, ожидают погрузки и, следовательно, никакого эффекта нет.

Леднёв отрицательно замотал головой.

— Нет! Про это он ничего не говорил. И не мог говорить. Вы своё дело делаете, а за других вы не отвечаете. Он недоволен другим. У нас, — многозначительным взглядом он подчеркнул это слово и повторил его, — у нас скоростная погрузка судов, а он говорит: надо и судов и вагонов! Вот как!

Катя усмехнулась.

— Для начала хотя бы с судами справиться.

— Вот именно, — подхватил Леднёв, — а я что говорю?! В чём беда? В том, что хотят всё сразу. Вот, говорят, график движения. Разве это так просто? По всей Волге! Легко вам даётся один участок? А тут река! Десятки портов, сотни участков, тысячи судов...

Катя сидела задумавшись. Суждение за глаза, если в нём содержится какая-то доля критики, всегда представляется недоброжелательным. Неужели это один из тех руководителей, мнение которых зависит от случайной оценки, неточной, недоброжелательной или односторонней информации? Это тем более печально, что его мнение было очень важно для Кати. Не для похвалы. А для признания и помощи.

Леднёв тронул Катю за руку и, точно угадав её состояние, сказал:

— Ну ничего. Мы ещё всем докажем нашу правоту. Без борьбы ничего не даётся, правда? Вот и выпьем за борьбу и за победу...

Несмотря на бодрый тон, которым это всё было сказано, Катя уловила за ним тревогу и поняла, что свидание с Бахтиным было неприятно для Леднёва. И в эту минуту она с особенной силой почувствовала в Леднёве не только человека, на которого опирается она, но и человека, который может опереться на неё, который нуждается в её помощи и поддержке. Ей хотелось защищать Леднёва, вступить за него, бороться с тем неведомым, который хочет ему зла. Блестящими глазами она посмотрела на Леднёва и подняла свою рюмку.

— Вот чем они занимаются! Попались, соколики! — закричала Сима, входя в кабинет. — Мы честно танцуем, а они водку пьют... Нет! Теперь ваша очередь, — она начала тормозить Леднёва, — идите, идите, приглашайте свою даму.

Растерянно улыбаясь, Леднёв вопросительно смотрел на Катю.

— Да идите же вы! — Сима подтолкнула Катю и заставила её встать.

Когда Катя шла между столиками, ей казалось, что все смотрят на неё и на шедшего за ней Леднёва. Играли вальс... Леднёв обнял Катю за талию... С первых же тактов она почувствовала, что он умеет танцевать, но сейчас держится не совсем уверенно потому, что, может быть, давно не танцевал, или потому, что выпил.

Катя сжала плечо Леднёва и сама повела его. Её снова охватило уже знакомое чувство власти над этим человеком. И теперь, после того, что он рассказал ей, и после его мальчишеской улыбки, это чувство стало ещё сильнее. Она видела его улыбку, покорную и требовательную, она чувствовала, что этот человек принадлежит ей и она принадлежит ему, что они любят друг друга...

Было раннее утро, когда они шли по пустынной набережной Волги.

Рассвет вставал над рекой. Фонари горели молочно-белым, уже никому не нужным огнём. На воде сверкала рябь, по-утреннему свежая, блестящая, студёная. Где-то на деревьях пересвистывались невидимые птицы.

Сима влезала на металлическую ограду парапета; требовала, чтобы её пустили выкупаться, просила старика-рыбслова продать ей улов, и он, обернувшись, молча и бесстрастно смотрел вслед этой хорошо одетой, но, повидимому, пьяной женщине.

Потом её шумное веселье сменилось нежностью к Кате.

— Ведь вы милая, хорошая, правда? — говорила она. — Славная, добрая...

Этот пустой и naïвный лепет волновал Катю... И то, что сзади шли их мужчины, симин муж, Юрий Михайлович, и её, катин, Леднёв, создавало между ней и Симой близость, располагало к откровенности и доверию.

— Костя хороший человек, — говорила Сима с тем одновременно общническим, категорическим и деловым видом, с которым говорят о подобного рода вещах женщины её возраста, — очень хороший... Но он одинок... Безумно одинок. Сорок лет — не шутка! Ему обязательно надо жениться, а то, знаете, от него уже холостяком начинает отдавать, ей-богу!.. И привычки такие развиваются и раздражительность... Выходите за него, Катюша, честное слово, выходите...

Катя рассмеялась.

— Вы говорите так, будто он сделал мне предложение.

— Катенька, милая, всё это зависит только от вас, честное слово... Вы же умница. И специальность у вас одинаковая, общие интересы. Вот увидите — он будет прекрасным мужем... Он простой, добрый... И красив, правда, красив?

Солнце быстро, на глазах, подымалось из-за горизонта. Сначала это был красный огненный шар. Затем, начиная с верхней половины, он постепенно белел, принимая цвет раскалённого металла.

Пропыхтел первый хлопотливый утренний баркасик. Прошли мальчики с удочками. Юноша, торопясь со свидания, простучал каблуками по асфальту набережной. Грохоча и вызванивая, начали свой трудовой день землечерпалки... Мир пробуждался, весь в тихом, ослепительном и радостном сиянии...

Сима объявила, что она устала. Начали останавливать свободные легковые машины. Смешно было смотреть на Леднёва в его генеральской форме и на сухопарого Юрия Михайловича, пытающихся уговорить шофёров подвезти. Леднёв делал это с напускной фамильярностью, Юрий Михайлович — даже с некоторым подобострастием...

Наконец им попался маленький крытый пикап. Никто не захотел садиться в кабинку, и все полезли в кузов. Задний борт не откидывался. Мужчины подымали женщин, подсаживая их в кузов. Леднёв посадил Катю, и она ощутила силу его рук.

В кузове стояли ящики, было тесно и неудобно. Леднёв сидел против Кати, колени их соприкасались, и он держал её руки в своих руках. Пикап качало и бросало по мостовой, но всем было весело. Юрий Михайлович острил, Сима смеялась, Леднёв добродушно подшучивал над ними...

Потом так же неожиданно, как она потребовала ехать, Сима объявила, что ей неудобно, у неё затекли ноги. Она застучала шофёру, тот остановил машину. Все вылезли и пошли пешком.

Юрий Михайлович принимал капризы своей жены безропотно, видно привык к ним, только иногда недовольно морщился, но больше по привычке, и Сима не обращала на него никакого внимания. Леднёв и Катя были в том состоянии, когда всё кажется прекрасным, забавным и милым.

Они подходили к дому Кати. Сима, громко болтая, шла впереди с Юрием Михайловичем. Катя об руку с Леднёвым — сзади. Они почти ни о чём не говорили, но она чувствовала нежное прикосновение его руки и, когда повёртывала голову, видела его улыбку, и она отвечала ему такой же улыбкой.

Перед катиным домом все остановились, и Сима объявила, что сейчас все они пойдут к Кате.

— Напоите нас чаем, и всё, — твердила она, — посидим и уйдём.

— Выдумки, — сказал Юрий Михайлович, — глупости.

— Но ведь всего полчаса, — упрямо твердила Сима, — ну, право, Катюша, пустите нас.

— Пожалуйста, — ответила Катя, краснея оттого, что говорит неправду и все понимают, что она говорит неправду. Она хорошо представляла, какой переполох начался бы в доме.

— Нет, нет, — решительно сказал Леднёв, целуя её руку, — не надо, идите, Катюша, отдыхайте.

— Такси! Юра, такси! — закричала вдруг Сима и, увлекая за собой Юрия Михайловича, побежала навстречу машине...

Катя и Леднёв остались одни...

— Вы довольны сегодняшним вечером, Катюша? — спросил Леднёв, не выпуская катиной руки и заглядывая ей в глаза.

— Очень. А вы?

— Вам не следует этого спрашивать...

— Вы говорите правду? — тихо спросила Катя...

— Неужели вы мне не верите?

Она оглянулась. Улица была тиха и пустынна. Катя прижалась к Леднёву и поцеловала его.

— Что вы завтра делаете? — спросил Леднёв, обнимая Катю.

— Пойду на участок.

— Ведь воскресенье?

— Надо посмотреть, что делается. Должны отправить «Якутию».

— Мне хотелось бы вместе с вами закончить сегодняшний день, — сказал он одновременно просительным и требовательным голосом, который был так ей знаком.

Она провела рукой по его редким мягким волосам.

— А куда мы пойдём?

— Может быть, вы наконец заедете ко мне?

Она взглянула на него.

— Но ведь вы ещё не познакомили меня с вашей дочерью.

— Я вас познакомлю. Правда, не сегодня. Ирина уехала в дом отдыха...

Она опустила руки и прошептала:

— Мне не хотелось бы, Костя...

Он снова притянул её к себе.

— Ты мне не веришь, Катя, — сказал Леднёв, впервые называя её на ты.

— Я верю, — тихо сказала Катя, — но мне не хотелось бы так войти в твой дом.

— Ты войдёшь так, как ты этого хочешь.

— Ну хорошо, — сказала она, освобождаясь из его объятий. — Приезжай ко мне в пять часов.

(Продолжение следует)



С. МАРШАК

★

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Грянул гром неожиданно, наобум —
Яростный удар и гул протяжный.
А потом пронёсся лёгкий шум,
Торопливый, радостный и влажный.

Дождь шумел негромко, нараспев,
Поливая двор и крышу дома,
Шёпотом смиряя буйный гнев
С высоты сорвавшегося грома.

* * *

О том, как хороша природа,
Не часто говорит народ
Под этой синью небосвода,
Над этой бледной синью вод.

Не о закате, не о зыби,
Что серебрится вдалеке, —
Народ беседует о рыбе,
О сплаве леса по реке.

Но, глядя с берега крутого
На розовеющую гладь,
Порой одно он скажет слово,
И это слово: — Благодать!

* * *

Вечерний лес ещё не спит.
Луна восходит яркая.
И где-то дерево скрипит,
Как старый ворон каркая.

Всё этой ночью хочет петь,
А неспособным к пению
Осталось гнуться да скрипеть,
Встречая ночь весеннюю.

Как поработала зима!
Какая ровная кайма,
Не нарушая очертаний,
Легла на кровли стройных зданий.

Вокруг белеющих прудов —
Кусты в пушистых полушубках.
И проволока проводов
Таится в белоснежных трубках.

Снежинки падали с небес
В таком случайном беспорядке,
А улеглись постелью гладкой
И строго окаймили лес.

Текла, извивалась, блестела
Река меж зелёных лугов,
А стала недвижимой и белой,
Чуть-чуть голубее снегов.

Она покорила оковам.
Не знаешь, бежит ли вода
Под белым волнистым покровом
И вёрстами крепкого льда.

Чернеют прибрежные ивы,
Из снега торчат тростники,
Едва намечая извивы
Пропавшей под снегом реки.

Лишь где-нибудь в проруби зыбко
Играет и дышит вода,
И в ней красноперая рыбка
Блеснёт чешуёй иногда.

Сколько раз пытался я ускорить
Время, что несло меня вперёд,
Подхлестнуть, вспугнуть его, пришпорить,
Чтобы слышать, как оно идёт.

А теперь неторопливо еду,
Но зато я слышу каждый шаг,
Слышу, как дубы ведут беседу,
Как лесной ручей бежит в овраг.

Жизнь идёт не медленней, но тише,
Потому что лес вечерний тих,
И прощальный шум ветвей я слышу
Без тебя — один за нас двоих.

* * *

Дана лишь минута любому из нас.
Но если минутой кончается час —
Двенадцатый час, открывающий год,
Который в другое столетье ведёт, —
Пусть эта минута, как все, коротка,
Она, пробегая, смыкает века.



ЕВГ. ПЕТРОВ, Г. МУНБЛИТ

★

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Кинокомедия

Сценарий ныне покойного Евг. Петрова и Г. Мунблита написан в 1940 году, вскоре после выхода на экран комедий «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится», поставленных по сценариям тех же авторов.

Экранизации «Беспокойного человека» помешала война.

Круглый светлый, солнечный зал. Скамьи, расположенные амфитеатром. На стенах — портреты великих учёных.

В зале готовятся к началу торжественного выпускного акта. Старик-сторож расставляет на столе президиума графины, колокольчик, стаканы и прочее.

Зал наполняется молодыми людьми.

У открытого окна стоит девушка. Она смотрит вниз. Внезапно ударяет кулачком по подоконнику.

Внизу — грузовик, с которого два человека сгружают кирпич.

Они стоят на платформе грузовика и небрежными, ленивыми движениями сбрасывают кирпичи на землю.

Многие кирпичи, падая один на другой, ломаются.

Девушка резко поворачивается и бежит к двери.

В этот момент в зал входит процессия профессоров. Старик-сторож открыл перед ними дверь и пропускает их мимо себя.

Девушка сталкивается с очень старым и очень толстым профессором. Делает попытку протиснуться мимо него. Профессор пытается уступить ей дорогу, но толщина мешает ему быть галантным, и он сконфуженно подкручивает сивый ус.

Сторож в отчаянии — торжественный выход испорчен.

Профессор наконец проходит. Девушка устремляется в коридор.

С т о р о ж (ей вслед). Ну, куда тебя понесло, беспокойный ты человек!

Профессора рассаживаются за столом президиума.

П р е с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Дорогие товарищи! Наступил день, о котором мы мечтали пять лет. Позвольте поздравить вас. Теперь вы люди с высшим образованием. Но следует помнить, что высшее образование накладывает на вас высокие обязательства перед обществом...

Двор. Грузовик. Два громадных грузчика с добродушием гулливеров смотрят вниз, на девушку, которая стоит перед ними с обломком кирпича в руке.

Д е в у ш к а. Вы понимаете, что вы делаете?!

Г р у з ч и к. Бросьте, гражданочка, кирпичик. Испачкаетесь!

Смеются.

Девушка. Нет, вы понимаете, что вы делаете?! (В ярости смотрит на грузчиков. Внезапно стаскивает одного из них за ногу вниз.)

Грузчик (смущенно). Вы кто такая? Откуда?

Девушка. Откуда! Откуда! Вам обязательно надо знать откуда, потому что вы думаете, не начальство ли я. А думать надо не об этом, а вот о чём! (Тычет ему в лицо обломок кирпича.) Как вы думаете, сколько стоит каждый кирпич?

Грузчик. А кто его знает.

Девушка. Не знаете? А сколько стоит пол-литра вы, небось, знаете?

Грузчики сконфуженно смеются.

Девушка. Почему не складывать кирпичи вот так? Вы, товарищ, стоите здесь, а вы тут... (Показывает.)

Голоса. Наташа! Наташа!

Девушка поднимает голову.

Из окна второго этажа высовываются несколько голов и рук.

Юноша в очках (из окна). Наташа! Это скандал! Сию минуту иди сюда!

Наташа. Иду-у! (Грузчикам.) Я вас очень прошу, товарищи, не бейте кирпич. (Обольстительно улыбается.)

Грузчик (дружелюбно). Платье надо почистить, хозяйка, а то замуж никто не возьмёт!

Наташа машет рукой и убегает.

В зале заминка. Председательствующий с листом бумаги в руках, улыбаясь, смотрит на дверь.

Лица студентов, обращенные к двери.

Вбегает Наташа и останавливается, смущенная общим вниманием. Её белое платье — в кирпичной пыли. Лицо перепачкано.

Председатель (обращаясь к Наташе). Мы можем продолжать?

Общий смех. Такой бывает во всех учебных заведениях, когда сострит преподаватель.

Наташа совершенно растеряна.

Председатель. В числе отличников, окончивших в этом году философское отделение, мне хотелось бы назвать первым имя Натальи Касаткиной.

Зал и президиум аплодируют.

Наташа стоит у двери, растерянная и счастливая, не решаясь поднять глаза. Она счастлива так, как может быть счастливо в самый радостный день своей жизни существо женского пола, достигшее двадцати трёх лет.

Аплодисменты становятся громче.

Наташа поднимает глаза.

Студенты ей улыбаются.

Она переводит взгляд.

Президиум ей улыбается.

Сердитый старик-сторож улыбается ей.

Она смотрит вверх.

Великие учёные ласково улыбаются ей из своих золочёных рам.

Во дворе у грузовика. Грузчики методично и бережно укладывают кирпичи в штабель.

В палисаднике перед зданием института на скамейке сидит человек с большим пышным букетом. Человеку лет пятьдесят. Он мужиковат. В очках. Элегантен.

Перед ним брюхом кверху лежит толстолапый дворовый щенок.

Человек водит палкой по его плюшевому брюху.

Человек. До чего ты смелый пёсик, как я на тебя погляжу. Человек с палкой, а тебе не страшно. Ты ничего не боишься. Ты дьявольски храбр. Почему? Законный вопрос! А вот я тебе сейчас объясню. Просто тебя никто никогда не обижал. Но настанет день, и ты, как всегда, доверчиво и нахально положишь лапы кому-нибудь на белые брюки. Тебя огреют палкой. Тогда ты подождёшь хвост и превратишься в нормальную, недоверчивую дворнягу. И это, братец ты мой, будет первым твоим уроком в школе житейского опыта. Понятна тебе моя мысль?

Щенок потягивается и сладко зевает.

Человек смотрит в сторону, улыбается и встаёт.

Навстречу ему по лестнице сбегает Наташа в щебечущей толпе студентов и студенток. Рядом с Наташей идёт юноша в очках. Это Павлуша Барабанов, или, как его зовут друзья, Барабан.

Наташа. Ну, конечно, мой папа с цветами!

Бросается отцу на шею. Потом выхватывает из его рук букет.

Барабанов. Андрей Иванович, ну, скажите хоть вы Наташке!.. Ну, посмотрите вы на неё.

Андрей Иванович вытирает платком наташин перепачканный нос.

Андрей Иванович. Опять совала нос не в своё дело?

Наташа. Я сегодня сберегла государству по крайней мере сотню рублей. Барабан, ты видел, как они стали работать после того, как я с ними поговорила?

Барабанов молчит, задумчиво глядя себе под ноги.

Наташа (дёргает его за рукав). Барабан!

Барабанов (очнувшись). Я всё слышал, Наташенька. Ты абсолютно права.

Наташа (ледяным тоном). Что ты слышал? Пусть он скажет, что он слышал.

Барабанов (неожиданно плачущим голосом). Не мучай меня, Наташа! Ну, я не слышал. Я в это время думал...

Наташа. Ах, ты думал? Тогда расскажи нам, о чём ты думал!

Барабанов. Теперь ты меня сбила, и я уже не помню, о чём я думал.

Андрей Иванович. Наташа, не мучай Павлушу. Он настоящий философ, и он постоянно думает. Так и должно быть. Так было, вероятно, и с Демокритом. Но я вас ещё не поздравил. Итак, дорогие мои, теперь вы люди с высшим образованием. Но вам не следует забывать, что высшее образование накладывает...

Наташа. Знаем, знаем. Накладывает высокие обязательства перед обществом. Так?

Андрей Иванович. Так.

Наташа. Эту великолепную фразу нам только что сказал ректор в своей яркой и содержательной речи.

Андрей Иванович. Так вот какой ты философ? Серьёзные разговоры с тобой немыслимы! Тогда я просто поведу вас в шашлычную.

Барабанов (внезапно оживляясь). В шашлычную? Глубокая мысль!

Наташа. Папа, обрати внимание! Когда дело касается еды, Барабан всё прекрасно слышит!

Барабанов сконфужен.

Андрей Иванович. Что ж, двинемся в путь.

Берёт под руку Наташу и идёт к воротам. Павлуша Барабанов следует за ними, глаза по сторонам. Они выходят на шумную летнюю улицу.

Громадная дубовая дверь с большой медной ручкой и колоннами по сторонам. Над дверью большая аляповатая вывеска:

РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ имени 1-го МАЯ

Вход украшен скреплёнными крест-накрест линиями флажками и высохшими хвойными гирляндами. Над вывеской прибит оторвавшийся в нескольких местах кумачовый транспарант:

ПРИВЕТ ВОСЬМОЙ РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ГОСТОРГОВЛИ!

Всё здание и вход в него производят впечатление запущенности. Здание, великолепное само по себе (это новый, хорошо выстроенный клуб), обезображено флажками и гирляндами — олицетворением управдомовского представления о красоте и праздничной пышности.

Дверь открывается. Выходит швейцар в валенках и фуражке с галунами. Он несёт табуретку, молоток и кусок фанеры.

Швейцар прибывает к двери фанеру, на которой кривыми буквами выведено:

ХОД СО ДВОРА

Покончив с этим делом, швейцар удаляется.

По тротуару мимо клуба проходят в это время Андрей Иванович, Наташа и Барабанов. Они, жестикулируя, спорят о чём-то. Наташа останавливается и топает ногой.

Н а т а ш а. Я просто не желаю вас слушать!

А н д р е й И в а н о в и ч. Ты можешь не слушать, но ведь нельзя же запретить нам говорить? Тем более, что мы оба, не сговариваясь, утверждаем одно и то же. (Раздельно, отчеканивая каждое слово.) Ты должна перестать вмешиваться не в свои дела.

Н а т а ш а. Ну хорошо, вообразите себе...

Внезапно глаза её устремляются в одну точку, и она замолкает.

Фанера с надписью «Ход со двора».

Н а т а ш а (решительно). Вообразите себе, что мы пройдем сейчас мимо, а это свинство будет существовать ещё целый год. И целый год люди будут по непонятной причине ходить в клуб со двора.

А н д р е й И в а н о в и ч. Ну, дорогая моя, вообрази себе, что там происходит ремонт и дверь заколочена именно по этой причине.

Н а т а ш а. А мы сейчас выясним.

А н д р е й И в а н о в и ч. Наташа, ты этого не сделаешь!

Наташа, не слушая его, убегает.

Андрей Иванович в смятении смотрит на Барабанова. Пауза.

Б а р а б а н о в (внезапно оживляясь). А вы знаете, Андрей Иванович, я обдумал этот вопрос. Кажется, Наташа права.

Снова впадает в задумчивость.

Комната перед кабинетом директора Дворца культуры. Пишущая машинка, множество предупредительных надписей, вроде: «Не курить», «Уходя, туши свет», и печатные «Правила внутреннего распорядка» в рамочке под стеклом.

За столом возле обитой клеёнкой двери директорского кабинета сидит секретарша. Она завтракает, положив локти на выдвинутый ящик стола. Это пугливая особа, вздрагивающая от каждого шороха. Даже ест она деликатно и боязливо, как кролик.

В комнату входит швейцар с молотком.

Секретарша вздрагивает. При этом изо рта у неё выпадает кусок хлеба.

Швейцар. Пусти-ка меня к Ивану Семёновичу.

Секретарша торопливо обтирает губы, потом со страхом подходит к двери с табличкой:

ДИРЕКТОР И. С. ГУСАКОВ

Она открывает дверь и впускает швейцара в кабинет.

Кабинет. Конечно, необозримый письменный стол, конечно, приставленный к нему перпендикулярно длинный стол для заседаний, конечно, кожаные кресла, предназначенные для вдумчивых бесед с посетителями, и, конечно, особый столик с телефонами и кнопками.

За столом, в кресле, сидит Гусаков. Он в пиджаке, из-под которого видна украинская рубашка, и в тяжёлой мохнатой кепке на бритой голове. На лацкане пиджака — эмалированный флажок, похожий на те, какие бывают у депутатов.

Гусаков старательно, высунув язык, делает бумажную птичку. К тому времени, как в комнату входит швейцар, птичка готова и её можно пускать. Гусаков тщательно разглаживает птичку, но, увидав швейцара, быстро накрывает её папкой.

Гусаков. Прибил? Давай молоток!

Берёт у швейцара молоток и прячет его в стол.

Швейцар (с убеждением). Всё равно сорвут, Иван Семёнович. Вот увидите. Ведь у нас в клубе как... Сегодня прирёшь — завтра сорвут, сегодня подметёшь — завтра насорют, сегодня починишь — завтра сломают. (Тяжело вздыхает.)

Гусаков (поглядывая на кончик бумажной птички, выглядывающий из-под папки). Давай, давай, товарищ Котов, видишь — человек работает.

Выпроваживает швейцара из комнаты, поспешно хватая птичку, становится на стул и собирается запустить её.

В этот момент в дверях появляется Наташа с букетом в руках.

Гусаков делает вид, что поправляет инвентарный номерок, висящий на люстре.

Наташа. Могу я видеть директора?

Гусаков. Я директор.

Наташа. Скажите, пожалуйста, почему у вас заколочена входная дверь?

Гусаков. А вы откуда?

Наташа. Я ниоткуда. Просто мне хочется знать.

Гусаков. Я спрашиваю, вы от какой организации?

Наташа. Ни от какой. Я просто проходила мимо, и мне захотелось узнать.

Гусаков. От стройконторы?

Наташа. Да нет, я просто увидела, что у вас забита парадная дверь и люди должны ходить со двора. И я решила узнать, почему?

Гусаков (слезая со стула). Так вы что ж, от райсовета?

Наташа. Да нет, товарищ, вы меня не поняли. Меня никто не посылал. Я сама пришла. Просто сама.

Гусаков. Как так просто?

Наташа. Ну, вот представьте себе, вы идёте по улице и видите — что-то не так. Вы ведь заинтересуетесь? (Молчание.) Ну, вот вы как депутат... (Всматривается в надпись на флажке, украшающем грудь Гусакова.)

На флажке надпись: «1-е Мая».

Гусаков (испуганно). Вы депутат?

Наташа (плачущим голосом). Да нет же! Я не депутат. Меня никто не посылал. Я ниоткуда. Я вас спрашиваю просто, по-человечески: почему вы забили входную дверь?

Гусаков. Забили — значит надо было. (Вдруг припадочным голосом.) Тебе какое дело? Кто ты? Откуда? Ходят... Бегают... Кто такие? Почему? Бегают. Ходят. Кто пустил? Тут вещи лежат!

Оттесняет Наташу к двери.

Последние возгласы Гусакова доносятся до секретарши. У неё изо рта опять выпадает кусок бутерброда.

Андрей Иванович и **Барабанов** стоят на тротуаре, там, где мы их оставили. Молча ждут.

Из ворот выходит Наташа с букетом. Она идёт, опустив голову, чувствуя на себе взгляды отца и Барабанова.

Но они смотрят друг на друга и как бы молчаливо уславливаются ничего у Наташи не спрашивать.

Наташа взглядом благодарит их за это.

Снова в кабинете Гусакова. Он стоит на стуле и запускает бумажную птичку.

Шашлычная. Играет кавказский оркестр. За столиком сидят наши друзья. От их недавнего смущения не осталось и следа. **Андрей Иванович** и **Барабанов** потирают руки при виде графинчика водки, который ставит перед ними официант в запятанном кителе.

Наташа наливает себе сидро.

Делает глоток и с отвращением ставит недопитый стакан на стол.

Наташа. Тёплое, как суп! (Обращаясь к официанту, который принёс в это время блюдо с шашлыком.) Скажите, товарищ, вы что, подогревали это сидро, что ли?

Официант. Какое дали — такое принёс. (Уходит.)

Андрей Иванович. Наташа, перестань, я категорически этого требую!

Наташа, закусив губу, замолкает и принимается раскладывать по тарелкам шашлык.

Барабанов (**Андрею Ивановичу** шёпотом, боязливо поглядывая на Наташу). Шашлык совершенно холодный.

Наташа швыряет салфетку и молча подымается.

Андрей Иванович и **Барабанов** (хором). Наташа, ты этого не сделаешь!

Наташа машинально хватается букет — в этот момент она, очевидно, воспринимает его как оружие — и, не оглядываясь, убегает.

Размахивая букетом, она идёт между столиками.

Маленькая дверь с надписью:

ДИРЕКТОР

Наташа на мгновение останавливается у двери, тяжело вздыхает, потом решительно открывает её.

Навстречу ей в крошечном кабинетике подымается из-за стола пожилой человек свирепого вида в кавказской рубашке.

Директор (с лёгким грузинским акцентом). Чем могу служить?

Наташа (прижимая к груди букет). Понимаете, нам подали тёплое, как суп, сидро и совершенно холодный шашлык. И дело не в том, что так подали именно нам. Из-за этого я не стала бы вас беспокоить...

Директор. Понимаю вас, но трудно поверить. В нашем ресторане такие курьёзы невозможны.

Н а т а ш а. Уверяю вас. Пойдёмте, я вам покажу.
За столиком. Андрей Иванович и Барабанов ждут с тем же тоскливым видом, с каким они ждали Наташу возле клуба.

К столику подходят Наташа и директор.

Д и р е к т о р. Попрошу прощения. От вашего стола поступила жалоба. Андрей Иванович. Дело в том, что моя дочь...

Д и р е к т о р. Один момент.

Наливает в стакан немного сидра и пробует. Потом съедает кусочек шашлыка. Лицо его мрачнеет.

Д и р е к т о р. Абсолютно верно. (Знаком подзывает официанта.) Датику, знай: холодный шашлык — это позор для нашего ресторана. (Обращаясь к Наташе, пока официант убирает со стола.) Очень вам благодарен. Очень. (К Андрею Ивановичу.) Ваша дочь, наверно? Счастливейший отец!

Все облегчённо вздыхают. Наташа в восторге. Она протягивает директору букет.

Директор с поклоном отстраняет букет, выдёргивает из него один цветок и, прижимая его к груди, уходит.

Н а т а ш а. И никогда, понимаете, никогда не мешайте мне вмешиваться в то, что вы называете не моим делом!

Улица.

У тротуара — такси, в котором дремлет шофёр.

К автомобилю подходит потный пожилой человек, нагружённый вещами. С ним мальчик лет двенадцати со связкой книг, которую он обнял двумя руками и придерживает подбородком.

Человек (искательным тоном). Товарищ водитель, нельзя ли нам с сыном на вокзал? Очень, знаете, торопимся.

Ш о ф ё р. Поспешишь — людей насмешишь.

Человек (ему не до шуток). Жену с дочкой отправил, понимаете, вперёд, а вот мы с Димой, так сказать, двое мужчин...

Пытается втиснуть чемодан в машину.

Ш о ф ё р. Не повезу.

Человек. Как не повезёте? Вы же свободны.

Ш о ф ё р. Не по дороге.

Человек (ему хочется завывать и, может быть, даже схватить своего мучителя за горло, но он подавляет гнев). Ну, пожалуйста, мы очень вас просим. Мы с Димой так мечтали найти такси. Нам на дачу, жена там одна. Ну, просто вы нас очень обяжете... Что вам стоит?

Д и м а. Папа, не унижайся.

Ш о ф ё р. Ладно, в трамвае доедешь, не рассыплешься.

Грязное стекло шофёрской кабины медленно ползёт кверху.

Отец с сыном снова берутся за свой багаж и бегут куда-то, сослепу спотыкаясь, роняя и подбирая рассыпающиеся книги.

По тротуару идут наши друзья.

Подходят к тому же самому такси.

Андрей Иванович открывает дверцу.

Ш о ф ё р (угрожающе). Куда?

А н д р е й И в а н о в и ч. К новым домам, потом на Первомайскую.

Ш о ф ё р (захлопывая дверцу). Не повезу.

Н а т а ш а. Как так не повезёте?

Ш о ф ё р. Объясняют вам, нет бензину. Кажется, понятно?

Наташа берётся за ручку двери шофёрской кабины.

Андрей Иванович хватается Наташу за руку.

А н д р е й И в а н о в и ч (драматическим шёпотом). Я тебя умоляю!..

Наташа вырывается, заглядывает в кабину и, торжествующе указывая пальцем на счётчик бензина, весело и дружелюбно говорит оторопевшему от неожиданности шофёру.

Н а т а ш а. Ну, вот видите, я так и знала. У вас полный бак.

С этими словами она открывает дверцу машины и ставит ногу на подножку.

Шофёр нажимает стартер.

Машина, зарывчав, неожиданно трогается. Наташа падает и некоторое время остаётся сидеть на тротуаре, растерянно глядя на отца и Барбанова.

Комната в квартире Касаткиных. Это кабинет Андрея Ивановича. В углу — стеклянный шкафчик с хирургическими инструментами, на письменном столе — стетоскоп, фотографии в рамках. В комнате много толстых книг с пышными корешками и медицинских журналов. У стены — клеёчатая докторская кушетка. У стола — два тяжёлых кожаных кресла.

Наташа сидит в кресле.

Андрей Иванович ходит по комнате.

А н д р е й И в а н о в и ч. Наташечка, девочка, ты пойми, я ничего не требую, я не хочу навязывать тебе свои взгляды на жизнь. Я хочу только доказать тебе, что ты неправа. Это совершенная бессмыслица — то, что ты собираешься сделать. Блестяще кончила философский факультет, задумала интереснейшую кандидатскую диссертацию — и бросить всё это! Ради чего? Ради того, что ты именуешь практической деятельностью. А разве это практическая деятельность? Эта суета, вроде сегодняшней...

Н а т а ш а (сухо). Всё, что ты считаешь суетой, по-моему — правильное и необходимое дело государственной важности.

Андрей Иванович смеётся.

Н а т а ш а. Смейся, смейся. А что такое твоя хирургия, как не ежедневная практическая деятельность? Назови мне хоть одного великого медика, который, двигая вперёд науку, одновременно не вскрывал бы опухолей, не лечил переломов, не ампутировал ног. А от меня ты требуешь, чтобы я равнодушно проходила мимо хамства, невежества, коснодёти, с которыми я считаю своим долгом бороться, как ты борешься с гангреной.

А н д р е й И в а н о в и ч. Дорогая моя, ты забываешь, что больные, которых я лечу, сами приходят ко мне в больницу. Я их оперирую, когда они меня просят об этом, а не кидаюсь с ножом на незнакомых людей.

Н а т а ш а (запальчиво). Значит, ты плохой врач. Если ты знаешь, что человек болен и что ты можешь его спасти, ты обязан добиться, чтобы он согласился лечь на операционный стол, то есть, выражаясь твоими же словами, да, да, да, кидаться с ножом на незнакомых людей!

А н д р е й И в а н о в и ч. Ну, знаешь... Поговорим лучше о твоём будущем.

Н а т а ш а. Всё уже решено. Я получила ответ.

Протягивает Андрею Ивановичу бумажку, которую она перед тем вертела в руках.

Крупно: бумажка в руках Андрея Ивановича.

«В ответ на Ваше заявление сообщаем, что решением от 23.VI с. г. Вы направляетесь на работу в качестве директора районного Дворца культуры им. 1-го Мая.

Зав. отд. кадров (подпись).

Секретарь (подпись)».

А н д р е й И в а н о в и ч. Ты шальная, беспокойная девчонка! Я..? я не могу одобрить твоего поступка. Один раз, случайно, ты на минуту забежала в скверный клуб, и тотчас же тебя охватило какое-то детское желание всё там переустроить своими руками... Надо же! Побежала в райком, подняла там целую историю, и вот — допрыгалась! Я знаю все твои аргументы. Всю твою философию малых дел. Стране нужны не маленькие подвиги добрых девочек, а сотни тысяч образованных людей, занимающихся своим делом. Слышишь ты — своим делом! Тебя учили не для того, чтобы ты торчала в клубе в качестве директора, прибывала к мебели инвентарные номерки или, в лучшем случае, воевала с поваром из-за украденного шницеля.

Наташа рассеянно перебирает фотографии в рамках. По фотографиям можно проследить всю наташину жизнь. Традиционный голый младенец на традиционной подушке, крошечная девочка с мячом в руках, девочка лет десяти — на ручке кресла, в котором сидит молодой черноусый Андрей Иванович, отец и дочь, стоящие рядом.

Г о л о с А н д р е я И в а н о в и ч а. Государство обучало тебя самой высокой из наук — философии. А ты растрачиваешь это богатство на пустяки.

Н а т а ш а. Это не пустяки. Это вопрос о том, построим ли мы коммунизм. Сделать самолёт — это была половина работы. Нужно ещё научить людей летать на нём. Мы этого добились. Построить отличный клуб, комфортабельный жилой дом или отделанный мрамором ресторан — этого мало. Нужно добиться, чтобы в новом клубе людям было приятно и удобно, чтобы в новом доме не разводили клопов и тараканов, а в новом ресторане пьяные командировочные не дрались портфелями. Вот этого нам ещё предстоит добиться. И это не пустяки.

А н д р е й И в а н о в и ч. Как ты не понимаешь! Мы строим заводы, клубы, дома, мосты, дороги, города, одним словом, всё, что только возможно построить. Это в нашей власти. Но сразу же добиться того, чтобы люди не дрались портфелями и не забивали входных дверей в новых домах, — невозможно. Это придёт само через тридцать или пятьдесят лет. Человеку свойственно привыкать к хорошему. Придёт время — и он привыкнет.

Н а т а ш а. А сегодня ты предлагаешь мне читать книжки, писать диссертацию о французских просветителях и не бороться с людьми, которые портят нам жизнь и мешают двигаться вперёд?

А н д р е й И в а н о в и ч. Оставь ты в покое этих людей. В конце концов они не так уж плохи. Люди есть люди. Предоставь их самим себе...

Н а т а ш а. Подумай, что ты говоришь! Ты хочешь, чтобы я не замечала людей, которые меня окружают, отстранилась от них...

А н д р е й И в а н о в и ч. А по-твоему, ты внимательна к людям? Ты уверена, что, когда ты вступаешь в перебранку с шофёром, ты проявляешь внимание к человеку?

Н а т а ш а. Да. Уверена!

А н д р е й И в а н о в и ч. Было бы лучше, если бы ты проявляла внимание к людям, среди которых ты живёшь, к близким, к друзьям.

Н а т а ш а. Не понимаю...

А н д р е й И в а н о в и ч. Вот в том-то и дело, что ты не понимаешь. В том-то и дело. Ты добрая, горячая и, кажется, неглупая девочка, но ты ясно видишь только то, что удалено от тебя. Какая-то странная душевная дальноркость!

Н а т а ш а (запальчиво). Дальноркость в политике гораздо лучше, чем близоркость.

А н д р е й И в а н о в и ч. В политике! Какая там политика! Четыре года просидела в университете на одной скамье с человеком, который в тебя без памяти влюблён, и умудрилась этого не заметить!

Н а т а ш а (она смущена). Как не заметить? Погоди-ка... Я... (С внезапной уверенностью.) В меня никто не влюблён!

А н д р е й И в а н о в и ч. Так вот. В тебя влюблён Павлуша Барабанов! Уже очень давно. И все вокруг видят это. И только ты одна...

Н а т а ш а. Нет, папа, ты ошибаешься. Павлуша? Этого не может быть!

А н д р е й И в а н о в и ч. Понаблюдай за ним — и ты увидишь сама.

Н а т а ш а. Павлуша? Барабанов? Я у него спрошу.

А н д р е й И в а н о в и ч (с ужасом). Наташа, ты не сделаешь этого!

Н а т а ш а. Непременно сделаю. Ничего не вижу в этом плохого.

Сквер. По дорожке идут Наташа и Барабанов. Наташа несёт папку, завернутую в газету.

Н а т а ш а. Нет, я нисколько с ним не поссорилась. Просто он считает, что мне не надо было соглашаться на это назначение! А я чувствую, я уверена, что поступаю правильно. Правда?

Барабанов молчит. Он задумался.

Н а т а ш а (дёргает его за рукав). Барабан!

Б а р а б а н о в (очнувшись). Я всё слышал, Наташенька, ты всесторонне и абсолютно права.

Наташа хочет что-то сказать, потом машет рукой и смеётся. Барабанов тоже смеётся.

Наташа вдруг делается серьёзной. Она останавливается и, взяв Барабанова за обе руки, поворачивает его к себе.

Н а т а ш а. Павлуша, папа сказал мне, что ты в меня... ну, в общем, что ты меня любишь. Это правда?

Б а р а б а н о в (грустно). Да. Правда.

Зал клуба. Урок балльных танцев. Дело это известное. Толстощёкий человек в дивно выглаженных брюках, с туго обтянутым задом и балетной улыбкой, застывшей на губах, демонстрирует со своей усталой партнёршей па вальса. Несколько десятков пар, готовых пуститься в пляс, напряжённо следят за его ногами.

У ч и т е л ь т а н ц е в. Начали. Два-три!..

Пианист ударяет по клавишам. В это мгновение рядом с ним появляется человек в кавказской рубашке, но с абсолютно некавказским круглым, белёсым, плутоватым лицом. В руке у него молоток. Не обращая внимания на происходящее в зале, он принимается прибавать к боковой деке фортепиано инвентарный номерок. Как явствует из его действий, это комендант клуба.

Ужасный стук молотка.

Музыка замолкает. Танцующие останавливаются.

Комендант (его фамилия Драпкин) в полной тишине, под ненавидящими взглядами присутствующих заканчивает свою работу. Любуется делом своих рук.

Д р а п к и н (обращаясь к пианисту, бодро). Шибко играешь. Разобьёшь инструмент, а отвечать кто будет?

П и а н и с т (пласиво). Вы бы лучше, товарищ Драпкин, отпустили средства на настройку инструмента. Танцующие обижаются. Просим, говорят, просим...

Д р а п к и н. Стыдно просить. Работать надо.

Уходит, строго поглядывая по сторонам.

У ч и т е л ь т а н ц е в (тяжело вздохнув). Начали. Два-три!..

Комендант идёт по коридору, открывая все двери и хозяйственно заглядывая в каждую из них.

В одной из комнат, склонившись над досками, сидят шахматисты. На стене плакат: «Ударим шахматами по хулиганству». Драпкин, войдя в комнату и не говоря ни слова, тушит все лампочки, кроме одной.

Дружный вой шахматистов. Один из них, пожилой человек с висячими усами, подбегает к коменданту.

Шахматист. Ничего же не видно! Не разберёшь, где чёрные, где белые!

Драпкин. Разберёшь! За перерасход электроэнергии кто отвечать будет?

Идёт дальше по коридору. Входит в библиотеку. Библиотекарша в этот момент протягивает стоящему у стола человеку толстую книгу в дорогом переплёте.

Драпкин (кладёт руку на книгу). Стоп! Не выдавать.

Библиотекарша. Почему, товарищ Драпкин?

Драпкин. Сколько раз говорил: дорогие книги на руки не отпускать. Пропадёт книга — кто отвечать будет? И так по библиотечному фонду перерасход.

Уходит. Библиотекарша и посетитель оцепенело глядят друг на друга.

Драпкин подходит к двери с табличкой: «Замдиректора И. С. Гусаков». Приоткрывает её и заглядывает внутрь.

Гусаков, сидя у своего стола, дремлет с открытым ртом. Кепка на его стриженной голове выглядит так, будто он не снимает её ни днём, ни ночью.

Гусаков (открывая глаза). Прибил?

Драпкин. Прибил, Иван Семёнович.

Гусаков. Давай.

Берёт из рук коменданта молоток и прячет его в стол.

У входа в клуб. Подходят Наташа и Барабанов. Тихо. Безлюдно. Пусто. На двери всё тот же кусок фанеры с надписью «Ход со двора».

Наташа. Прощай, Павлуша.

Барабанов. Прощай, Наташенька... (Пауза.) Да... И потом я хотел тебе сказать... Если тебе когда-нибудь, вообще говоря, понадобится друг, настоящий друг, то ты помни, что я...

Наташа. Ну, конечно. Спасибо, Павлуша, я никогда и не сомневалась. Ты всё-таки не сердись на меня.

Барабанов. Ну, что ты! За что ж на тебя сердиться!

Наташа. Ну, до свидания.

Барабанов. Прощай, Наташенька.

В бильярдной. Здесь два стола. Один из них полуразрушен, свет над ним не горит. Сукно на нём изорвано. Другой ещё держится, хотя и производит безотрадное впечатление. Вокруг него — небольшая кучка людей. Все они одушевлены страстным желанием поиграть. Но желание это несбыточно, потому что стол занят Васькой Гусаковым и его компанией.

Человек из толпы. Вася, имей совесть! С утра играешь.

Васька. Клади пятёрку в лузу — сыграем! (Партнёру.) Режу туза в среднюю.

Входит Драпкин.

Человек из толпы. Товарищ комендант, это что ж получается?

Драпкин. А что получается?

Человек из толпы. А то получается, что люди ждут два часа, а Вася гусаковский никого не подпускает.

Васька. Я очередь занял. С кем хочу — с тем играю.

Второй человек. Безобразие какое! Ведёт себя здесь, как хозяин. Всем хочется сыграть.

Драпкин (участливо). Поиграть хочется? Ай-ай-ай, какой любитель биллиарда! Другого развлечения не нашёл! А кажется, человек интеллигентный!

Васькина компания хохочет.

Драпкин. А вы бы, гражданин, прошлись по клубу, плакаты бы почитали на стенках. Для вас вешали. Там наверху у нас установлена интересная агитпирамида. Три тысячи стоила. Пошли бы полюбовались, чем здесь толпиться.

Первый человек (обращаясь к остальным). Называется комендант! К нему обращаешься за порядком, а он...

Драпкин (закатив глаза). Идите, идите, граждане! И так биллиард поломали. Отвечать кто будет? Идите, идите, сейчас уборка начнётся...

Вытесняет посетителей. Остаётся только Васька с компанией.

Драпкин (обращаясь к Ваське). Ну!..

Васька. Чего «ну»?

Драпкин. Гони монету. Сколько наиграл сегодня?

Васька. На, держи десятку. За два дня будет. (Презрительно.)
Комендант!

Драпкин (берёт у Васьки деньги. Слюнявя пальцы, считает мятые рубли и трёшки). Набросали здесь, накурили, пожар мне ещё устроите. А отвечать кто будет? Драпкин? Кто вчера на лестнице стекло разбил? Смотри, Васька, папаше скажу.

Васька (очень спокойно). Тогда уж скажи, как ты у нас деньги берёшь.

Драпкин. А ну вас!

Уходит.

Вестибюль. Драпкин выходит из биллиардной и пальцем подзывает швейцара, стоящего у окна с газетой.

Драпкин. Где шатаешься, борода? Постереги, пока там молодёжь занимается, а то кто-нибудь посторонний зайдёт.

Швейцар. Освободите, товарищ Драпкин. Не швейцарское это дело. Швейцарское дело — двери отворять.

Драпкин (хватает швейцара за грудь). Я тебе покажу швейцарское дело!

В вестибюле появляется Наташа. Увидев её, Драпкин отпускает швейцара.

Драпкин. Двери за собой надо закрывать, гражданка. Швейцаров за вами нету!

Наташа. А это разве не швейцар? (Смеётся.)

Драпкин. Ах, скажите, какая барыня! Пожалуйста! Товарищ Котов, створите им все двери, коврик им постелите! Шляются тут!

В продолжение этой тирады Наташа, поёжившись, проходит мимо коменданта. Поднимается по лестнице.

У двери кабинета Гусакова. Наташа подходит и стучит. Не дождав-шись ответа, заглядывает в кабинет. Там — всё то же. Гусаков спит, разинув рот. Наташа минуту колеблется, потом прикрывает дверь, отходит от неё и медленно идёт по коридору, разглядывая надписи на стенах:

Крупно — табличка с надписью:

УВАЖАЙТЕ ТРУД УБОРЩИЦ!

В углу под ней — переполненная урна для окурков. Рядом — груда мусора.

Наташа идёт дальше. Поперёк коридора протянут транспарант:
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАЗНЫМ ВОПРОСАМ!

Дверь. На двери надпись:

КОМНАТА КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ

Наташа входит. В комнате пусто и грязно. Посредине стоит стол, покрытый кумачом. Стены увешаны надписями, воззваниями и фанерными щитами с наклеенными на них вырезками из газет. В центре — большой плакат:

ПОДНИМЕМ КЛУБНУЮ РАБОТУ НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ!

Рядом — несколько запретительных надписей и воззваний:

НЕ ЛОМАТЬ, НЕ ПОРТИТЬ КУЛЬТИНВЕНТАРЬ!

НЕ НАРУШАЙ ТИШИНЫ!

ТЯЖЕЛУЮ АТЛЕТИКУ — В МАССЫ!

УДАРИМ ПО СРЫВЩИКАМ КЛУБНОЙ РАБОТЫ!

НЕ ВЫВЕРТЫВАЙ ЭЛЕКТРОЛАМПЫ, НЕ ЛОМАЙ МЕБЕЛЫ!

Наташа очень тяжело вздыхает и выходит из комнаты. В коридор доносится музыка из танцевального зала. Полутемно, безлюдно. Наташа смотрит на часы, висящие в коридоре. Они показывают девять часов.

Буфет. За стойкой — буфетчица. Это жена Гусакова, Олимпиада Григорьевна, или попросту Липа. Она из тех, которые скандалят в очередях, злобно грызутся в трамваях, никому никогда не верят и глубоко убеждены, что земной шар населён жуликами.

Липа перетирает стаканы. Рядом с ней, грациозно облокотившись на прилавок, стоит Драпкин.

Л и п а. Мой дурак спит?

Д р а п к и н. Дрыхнет. Чего ему делать!

Л и п а. Меньше бы дрых, давно бы директором назначили. А то старого директора выжил, а сесть на его место не хватило ума. Так и остался заместителем.

Д р а п к и н. Я так предполагаю, Олимпиада Григорьевна, что ваш супруг, извините меня, — идиот.

Л и п а. Прямо как подумаю, что могут назначить нового директора, так у меня в груди что-то — щёлк! Как подумаю, так сразу — щёлк!

К стойке подходит Наташа. Над стойкой плакат:

ПРОЗБА РУК О СКАТЕРТИ НЕ ВЫТЕРАТЬ

Наташа оглядывается и видит несколько колченогих столиков, ничем не покрытых.

Н а т а ш а. Можно у вас попросить стакан чаю?

Л и п а (продолжая беседовать с Драпкиным). Подождёшь!

Наташа рассержена. Она готова вступить в борьбу. Но в этот момент откуда-то доносятся страшные крики.

Биллиардная. Васька Гусаков и его партнёр, конопатый мальчик, схватившись за кий, стараются вывернуть его друг у друга из рук. Остальные биллиардисты из васькиной компании криками подбадривают дерущихся.

К о н о п а т ы й м а л ь ч и к (нудным голосом). Шо ты мне рюки крютнишь?

В а с ь к а. Проиграл — клади деньги!

Конопатый. А кто шара переложил, пятнадцатого? Думаешь, я не видел?

В бильярдную вбегают Наташа, Драпкин и Липа со стаканом и полотенцем в руках.

За ними проникают в бильярдную несколько изгнанных перед тем любителей бильярдной игры и швейцар Котов.

Васька. Проиграл — плати!

Конопатый (обращаясь к вошедшим). Он мне рюки крутит!

Васька отпускает конопатого мальчика.

Наташа. Где тут комендант?

Драпкин. А ты кто такая?

Наташа (указывая на Ваську и Конопатого, спокойно). Этих двоих надо вывести из клуба.

В круг врывается Гусakov в кепке.

Гусakov. Кто кричал? Граждане, очистите помещение! Товарищ Драпкин, почему не обеспечил?!

Драпкин. Обыкновенное дело, Иван Семёнович, молодёжь балуется, а вот эта гражданка скандалит.

Гусakov. Кто такая? Откуда?

Липа (гладит Ваську по голове). Напала на ребёнка. Такая нахалка.

Гусakov. Кто пустил? Какое право? Ходят... Инвентарь ломают.

Наташа (указывая на Ваську). Вот этих нужно сейчас же убрать отсюда.

Гусakov (истерически). А ты что за командирша? Какой организации? Товарищ Драпкин, удалите гражданку.

Наташа. Я назначена директором этого клуба.

Протягивает бумагу.

Здесь происходит немая сцена, совсем как в гоголевском «Ревизоре», с той только разницей, что там после немой сцены занавес опускается и актёры идут разгримировываться, здесь же надо жить дальше и что-то предпринимать.

Гусakov. Ага. Так, так. Ага. Товарищ Драпкин! А? Обеспечьте товарищу. Липочка, чайку организуй для директора. Граждане, ничего тут нет интересного. Ничего... Ничего интересного... Не надо, не надо стоять. Не на улице. Васенька! (Наташе.) Это сынок мой, шустрый мальчик. Иди, Васенька, пока я тебе уши не оборвал. А выводить... а-а-а... не надо. Вы, товарищ директор, его на первый раз... а-а-а... извините. Его и так из школы выгнали. А если что ещё, вы мне скажите, я сам. Васька, пошёл домой! Липочка!.. Это моя жена. По совместительству. Буфетчицей. Как бы сказать, движение жён. Боевая подруга. (Хлопает Липу по жирному плечу.)

Липа. А мы так ждали нового директора, думали, он какой-нибудь старик. А он, оказывается, женщина. Вы, извиняюсь, партийная?

Наташа. Да.

Липа. Такая молоденькая и уже партийная. Мой тоже партийный.

Драпкин (рявкает). В части порядка, может, будут какие-нибудь приказания, чтоб обеспечить бесперебойную работу?

Наташа (обращаясь к Гусakovу). Вы ведь, кажется, заместитель директора?

Гусakov. А-а-а. Заместитель.

Наташа. И давно вы здесь работаете?

Гусakov. Второй год.

Наташа. А раньше где работали?

Гусakov. А-а-а... тут, в продмаге номер 68. Заведующим.

Наташа. А ещё раньше?

Гусаков. А-а-а... в стройканализации. В отделе снабжения... Тоже заведующим.

Наташа (Драпкину). А вы?

Драпкин (бодро). А мы вместе с Иван Семёновичем. Куда он — туда я.

Липа (разъясняет). Куда он — туда он.

Наташа. Но я думаю, вы всё-таки чувствуете большое удовлетворение, работая в таком учреждении, как Дворец культуры?

Липа. Какое тут удовлетворение? Вот когда в продмаге работали, там, конечно, было удовлетворение. А тут...

Драпкин наступает на ногу Липе.

Драпкин. Конечно. Культура. Ничего не скажешь.

Наташа. Ну, я пойду. Завтра встретимся. Очень рада была с вами познакомиться, товарищи. (Оглядывается вокруг. На какое-то мгновение в её глазах появляется выражение тоски, но она тотчас же берёт себя в руки.) Что ж, товарищи, я думаю — мы сработаемся. Дружно возьмёмся, все вместе, потянем и вытянем! (Пытается улыбнуться.) Знаете, как в сказке — дедка за репку, бабка за дедку?

Ни тени улыбки не появляется на лицах наташиных собеседников...

Наташа. Ну, до свидания! Да, товарищ Гусаков. Я оставляю вам экземпляр моего плана. Я тут набросала план перестройки работы в клубе. Почитайте, подумайте, с чего начать. Спокойной ночи!

Пожимает руки Гусакову, Липе и Драпкину. Они провожают её до дверей.

Некоторое время смотрят ей вслед.

Драпкин (передразнивая Наташу). Рада была познакомиться... Дедка за репку!.. Ну, Иван Семёнович, с вас на пол-литра. Это прямо подарок, а не директор. Мы такую на котлеты рубить будем.

Столовая в квартире Касаткиных. У стола сидит Андрей Иванович с газетой. На столе — два прибора, электрический чайник. Рядом с прибором Андрея Ивановича лежат часы.

Входит Наташа. По всему видно, что она предпочла бы пройти в свою комнату, не разговаривая с отцом. Но он останавливает её.

Андрей Иванович. А ужин как же?

Наташа. Я не буду ужинать, папа. У меня голова болит.

Уходит.

Андрей Иванович очень серьёзно смотрит ей вслед.

Комната секретарши директора клуба.

Секретарша, встав на цыпочки, вытаскивает из стеклянной таблички, приколоченной к директорской двери, узкую картонку с надписью «И. С. Гусаков» и вставляет другую, на которой значится: «Н. А. Касаткина».

Быстро входит Наташа. Она полна утренней бодрости и оптимизма.

Останавливается за спиной секретарши.

Наташа (весело). Что это вы затеяли?

Секретарша вздрагивает и роняет картонку. Наташа поднимает её и читает...

Крупно: «И. С. Гусаков».

Секретарша. Вы меня так испугали. Я такая нервная. (Доверчиво.) К нам назначили нового директора, и вот я меняю ихние кабинеты. Для зама у нас другой кабинет.

Подходит к двери напротив и вставляет в табличку «Замдиректора» картонку с надписью «И. С. Гусаков».

Наташа с любопытством заглядывает в эту дверь.

Секретарша. А вы, товарищ, по какому делу?

Вынимает из стола бутерброд и начинает его есть.

Наташа. А я и есть тот самый директор, для которого вы тут старались.

Кусок застревает в горле у секретарши.

Наташа. Скорей смотрите на потолок!

Бьёт секретаршу ладонью по спине.

Секретарша (отирая слёзы). Я так ждала нового директора и так обрадовалась, что он — женщина... И вот подавилась. Ужасно всегда переживаю!

Наташа открывает дверь главного кабинета.

Наташа. Здесь сидит товарищ Гусаков?

Секретарша. Да, Иван Семёнович. Пока не было директора. А теперь, значит, вы здесь будете.

Наташа. Зачем? Пускай он здесь и сидит. Он, вероятно, привык. А я буду в маленькой комнате. Ведь это не может повлиять на работу.

Секретарша (уклончиво). Не знаю. Директору всё-таки полагается. (С неудовольствием меняет картонки.)

Наташа. И прекрасно. А теперь созовите мне всех работников клуба.

Секретарша. Общее собрание?

Наташа. Да нет, просто поговорим, познакомимся.

Секретарша (успокоенно). Значит, общее собрание. Сейчас.

Уходит.

Наташа входит в маленький кабинет.

Осматривается. Садится за письменный стол, делает строгое лицо, потом выдвигает ящики. Они пусты. Берёт телефонную трубку, на секунду задумывается, потом набирает номер.

Наташа. Райком? Соедините меня, пожалуйста, с товарищем Поповым. Говорит Касаткина. Откуда? Из Дворца культуры имени Первого мая. Степан Михайлович? Это Касаткина. Да, я уже отсюда и звоню. Спасибо, Степан Михайлович. Нет, лучше теперь я к вам заходить не буду. Я сама. Думаю, справлюсь. Наверное, сработаемся. Ну, спасибо, Степан Михайлович. Извините, что оторвала вас от работы.

Кладёт трубку. Вскрикивает и начинает передвигать стол так, чтобы свет был с левой стороны.

В кабинет входят сотрудники, вносят с собой стулья, рассаживаются. В комнате становится тесно. По мере того, как люди появляются, Наташа здоровается с каждым из них, каждый раз называя свою фамилию.

Наташа (подождав, пока все рассядутся). Не знаю, товарищи, как у вас было заведено раньше часы, я думаю, мы устроим так: каждый из вас в любое время может прийти ко мне со своими вопросами, мыслями, предложениями. Будем работать дружно. Жалко, здесь нет товарища Гусакова. Впрочем, у него есть копия моего плана. Значит, о плане... (Вынимает из портфельчика аккуратную папку, раскрывает её.) Какова основная задача всякого производственного коллектива? Ясно видеть и понимать цель своей работы. Скажем, на часовом заводе. Цель в том, чтобы выпускать на рынок такие часы, которые не отставали бы, не спешили, служили достаточно долго и красиво выглядели. Или трамвайный парк. Как можно больше вагонов, никаких аварий, регулярные рейсы, вежливый персонал. Цель? Перевезти как можно больше людей и чтобы им при этом было как можно удобнее. Ну, а клуб? Вот наш Дворец культуры. Конечно, все вы знаете, какова у нас цель. Воспитывать людей в коммунистическом духе. Но это гораздо труднее, чем сделать часы. Люди научились делать часы задолго до Октябрьской революции. А клубов, таких, как у нас, не было никогда. Их надо было изобретать, строить на

пустом месте. И не удивительно, что в клубах у нас множество недостатков — они скучны, неудобны, пропаганда в них ведётся примитивными средствами, людей без конца убеждают в том, в чём они уже давно убеждены... Вместо того чтобы дать возможность нашим посетителям выбрать хорошую книгу, показать им хороший спектакль и помочь разобраться в нём, организовать интересный доклад, привить людям вкус и умение обставить своё жилище, внушить им любовь к спорту, хорошо и вкусно их накормить, дать им возможность встретиться с друзьями в приятной и удобной обстановке, — словом, вместо того чтобы сделать клуб необходимым для человека, мы встречаем этого человека грязью и пыльными транспарантами. Вот у вас над входом висит: «Привет восьмой районной конференции работников госторговли!» А ведь эта конференция была в прошлом году.

Смех.

Комната Гусаковых.

Васька в подтяжках, но уже гладко прилизанный, подкручивает патефон, из которого несутся звуки песни «Раскинулось море широко...» в исполнении Леонида Утёсова и его джаз-оркестра.

Липа в папильотках сидит в кровати, мечтательно слушая музыку.

Гусаков, в кепке, завязывает перед зеркалом галстук.

Гусаков (грустно подпевает). «Напрасно старушка ждёт сына домой...»

Вестибюль клуба. Вниз по лестнице бежит Драпкин.

Открывает дверь в комнату Гусакова.

Липа с визгом закрывается одеялом.

Драпкин. Липа Григорьевна, пардон, я не смотрю! Иван Семёнович, собрала общее собрание. Речь говорит. (Смотрит на патефон, умиляется и, полузакрыв глаза, мечтательно подпевает.) «А волны бегут и бегут за кормой...» Ну, пошли, пошли!

Гусаков поспешно натягивает пиджак.

Оба выходят.

Снова кабинет Наташи.

Наташа. ...Всё это, товарищи, привело к тому, что в клубе у нас никто не бывает. За последние десять дней было зарегистрировано сто сорок два посетителя. Да и то они приходят главным образом на уроки танцев. Почему это произошло? Потому, что люди, придя к нам в клуб, находят в нём пустоту, скуку, темень, духоту, грязь и вздорные назидательные плакаты на стенках. Чего, например, стоят эти обращения: «Уважайте труд уборщиц»? Я подсчитала. Их у нас в клубе висит сорок пять штук. А уважать в нашем клубе уборщиц не за что. Они плохо работают.

Уборщица (с места). Это почему же уборщицы виноваты?

Наташа. Я сейчас кончу говорить и дам вам слово. Так вот... Если мы дружно возьмёмся за дело, мой план перестройки работы можно будет легко выполнить. Уверю вас, товарищи. Была бы охота.

Пауза.

Наташа. Кто хочет говорить?

Библиотекарша. Можно мне? Вы поверите, товарищи, когда я слушала нового директора, мне хотелось плакать. За много лет, что я здесь работаю, к нам наконец ворвался свежий ветер.

Человек бухгалтерского вида. Правильно!

Библиотекарша. Ну, конечно, правильно. И не о чем тут говорить. Прекрасный план, продуманный, смелый, простой. И если мы его проведём, у нас будет лучший клуб в городе.

Г о л о с а. Правильно! Правильно!

Б и б л и о т е к а р ш а. Ну, конечно, правильно. И я на этом кончаю.

У б о р щ и ц а. А теперь я скажу. Нас, уборщиц, здесь пять: Дуся, Катя, Нюра, ещё Нюра и я.

Ш в е й ц а р (усмехаясь). Тоже Нюра.

У б о р щ и ц а. Тоже Нюра. И сколько мы все ни работали на разных местах, никогда у нас не было такого, между прочим, поганого места.

Д у с я. Ты скажи про спецодежду.

У б о р щ и ц а. Я про всё скажу. Почему уборка плохая? Потому, что мы не на клуб работаем, не на государство, а на замдиректора, товарища Гусакова. (Движение в зале.) Только за тряпку возьмёшься, сразу начинается музыка: Нюра, беги на огород, рассаду полей. Нюра, беги, свинья зашла в гараж, бензину напьётся, сдохнет. Что это за клуб такой? Свиньи, голуби, куры, ути, чисто единоличное хозяйство. Я всё скажу. И жена замдиректора, Липа Григорьевна. И ихний Васька. Дохнуть не дают. Только на них и работаем. Я про всё скажу. Пусть будет самокритика.

Г о л о с а. Захватили две лучшие комнаты в клубе и там живут.

— Ковров себе наташили.

— Нюра, ты про сад расскажи, расскажи про сад.

У б о р щ и ц а. Ну, так слушайте, товарищ новый директор. Был у нас в клубе сад...

Входит Гусаков в сопровождении Драпкина. В кабинете воцаряется тишина.

Г у с а к о в. Почему шум, а драки нету? (Глупо смеётся. Драпкин усердно вторит ему.) Ничего, ничего, товарищи, продолжайте, продолжайте. Я здесь постою. В уголочке.

Н а т а ш а. Продолжайте, товарищ Зайкина.

Уборщица молчит.

Н а т а ш а. Что же вы?

Уборщица неожиданно садится. Пауза.

Н а т а ш а. Кто ещё хочет слова?

Молчание.

Н а т а ш а. Что же вы, товарищи?

Молчание.

Г у с а к о в. Давайте я скажу. Я коротенько. По новому плану. Значит, зачитал я план. Что ж, товарищи, в части плана товарищ новый директор неплохо придумала. Неплохо, товарищи, неплохо. Надо прямо сказать. Многое мы не обеспечили, недостаточно развернули, не подняли ещё работу на должную высоту. Лично я, товарищи, недостаточно уделял внимания разным вопросам. И это надо прямо сказать. Со всей прямо-той. Но вот тут товарищ новый директор в своём плане пишет насчёт летнего сада. Так вот в части летнего сада. Я так думаю, товарищи, не обеспечим мы этого дела, не подыдем. Вложения произведём, а сад себя не оправдает. Возьмём эстраду. Надо строить? Надо. Возьмём, дальше, скамейки. Надо? Надо. Кинобудку надо? Надо, товарищи.

Р о б к и й г о л о с. Была кинобудка.

Г у с а к о в. И про кинобудку скажу. (Вдруг припадочным голосом.) Что ты мне будку тычешь? Перебивают! Не дают говорить! Не буду я так говорить! (Пауза. Гусаков как бы приходит в себя.) Значит, товарищи, в части сада. Электропроводку надо? Надо. Песок, товарищи, надо привезти? Надо. Сколько машин? Вот вы, товарищ новый директор, наверно, не знаете. А я вам скажу. Да, скажу... Тридцать пять машин. Да. Тридцать пять. Машин, товарищи. А народная копейка? Её беречь надо, товарищи, беречь. А если трудящимся, как правильно сказала товарищ новый директор, нужны летние условия, пускай за город едут. Нам не расши-

ряться надо, товарищи, а, товарищи, углублять. (Глаза Гусакова сверкают, рука его со свистом рубит воздух. Теперь это оратор во всём своём блеске.) Надо, товарищи, более! Смелее двигать борьбу за включение в работу по поднятию нашего, товарищи, клуба на высшую ступень. Работать надо, товарищи, а не болтать. Я кончил.

Наташа выходит из ворот клуба.

У тротуара стоит машина. Дверца открывается. Высовывается Андрей Иванович.

А н д р е й И в а н о в и ч. Садись, мышка.

Н а т а ш а (усаживаясь рядом с отцом). Как хорошо, что ты за мной заехал.

А н д р е й И в а н о в и ч (указывая на заколоченный подъезд). Что ж ты не распорядилась открыть парадную дверь?

Машина трогается.

Н а т а ш а. Оказывается, папа, нельзя всё сразу. В нашем клубе, понимаешь, не всё так уж просто.

А н д р е й И в а н о в и ч. Хорошо, что ты это поняла.

Н а т а ш а. Есть у нас двое таких довольно тяжёлых людей — Гусаков и Драпкин. Так вот, папа, боюсь, что мне придётся с ними повоевать.

А н д р е й И в а н о в и ч. А вот это напрасно. Воевать всякий умеет. Ты научись действовать мирно. Я уверен, что и этот твой Гусаков и тот другой...

Н а т а ш а. Драпкин. Он комендант.

А н д р е й И в а н о в и ч. ...что они, вероятно, знают своё дело, и если ты в общении с ними сразу же возьмёшь верный тон, дружелюбный, безукоризненно вежливый, я бы сказал, товарищеский,— вы сможете отлично сработаться, и они во многом тебе помогут.

Н а т а ш а (задумчиво). Может быть, ты и прав.

В биллиардной клуба Васька с компанией режутся в американку.

Появляется швейцар.

Ш в е й ц а р. Другие дети как дети. В школу ходят, играют в разные игры, там футбол, городки, воздухом дышат. А эти с утра в биллиардной, в дыму, в грязи...

Васька, нацеливаясь в шар, как бы нечаянно ударяет швейцара тяжёлым концом кия.

Ш в е й ц а р. Ты что делаешь? Подымаешь палку на старого человека. Ой, Вася, директорский сынок! Другие в твоём возрасте на аэропланах летают.

В а с ь к а. Ты у меня полетишь отсюда. Скажу отцу — духу твоего здесь не будет.

В кабинете Наташи. Здесь Наташа, Гусаков, Драпкин. Они стоят у окна.

Н а т а ш а (Драпкину). Я вас вчера просила, товарищ Драпкин, вызвать на двенадцать часов садовода. Сейчас половина первого.

Д р а п к и н. Докладываю, что никак не возможно. Далеко живёт. Все курьерши в разгоне были. Сами знаете, послать некого.

Н а т а ш а. Тогда сделаем вот что, товарищ Драпкин. Пошлите сейчас же за ним машину, чтобы через полчаса он был здесь.

Д р а п к и н. Докладываю, что никак не возможно. Автомашина в ремонте. Покрышки сдали. Надо делать вулканизацию.

Слышен автомобильный сигнал. Наташа смотрит в окно.

Из ворот гаража выезжает автомобиль, в котором сидит Липа, окружённая корзинками и кошёлками.

Гусаков и Драпкин переглядываются.

Наташа (вздыхает). Иван Семёнович и вот вы, товарищ Драпкин. Мне кажется, что в наших отношениях что-то неладно. Может быть, вам не нравится мой план перестройки работы? Тогда скажите прямо. Я ведь человек неопытный, мне ваша помощь очень нужна. Мне очень хочется жить с вами в мире. Мы ведь делаем общее дело. Но есть между нами что-то неуловимое, чего я не могу объяснить, но очень хорошо чувствую. В чём тут причина?

Гусаков (переглянувшись с Драпкиным). Что-то ты нам загадки загадываешь, Наталья Андреевна. Ты нам по-простому скажи, а так мы не понимаем, среднего образования не получили.

Наташа (хочет сказать что-то резкое, но сдерживается). Ну хорошо, оставим это. Я только хотела сказать, что за три дня моей работы в клубе не выполнено ни одно из моих распоряжений. Я понимаю, сразу сделать всё трудно, но ведь не сделаны даже мелочи, которые можно сделать буквально в пять минут.

Гусаков. Как? Почему? Кто сказал? Товарищ Драпкин, почему не обеспечили? Где дисциплина?

Драпкин. Докладываю, Иван Семёнович. Все распоряжения выполнены.

Наташа. Как вы можете так говорить, товарищ Драпкин? А мебель в гостиной? А книги? А пианино настроить?

Гусаков (говорит, как с ребёнком). Про это и я скажу. В части мебели — очень просто. Обобьём мы её новой обивкой, а сейчас лето — выцветет... а-а-а... выцветет. Не по-хозяйски. В части книг товарищ Драпкин мне докладывал. Неправильно рассуждаете, не по-хозяйски. У нас какая публика? Растащат книги, а кто отвечать будет? А? Теперь в части пианино. Это мне тоже товарищ Драпкин докладывал. Я разрешил. Вот отпустят дополнительные средства в третьем квартале, тогда — пожалуйста. Настраивайте. Играйте. Я ничего не имею.

Наташа. А этот притон в бильярдной? Сколько раз вы обещали мне, товарищ Драпкин, прекратить это?

Драпкин. Всё сделано согласно полученного распоряжения.

Наташа. Вы говорите неправду, товарищ Драпкин. Сегодня утром швейцар сообщил мне, что они попрежнему там. И не пускают в бильярдную посетителей.

Драпкин. Это клевета со стороны швейцара Котова. Такого швейцара, я извиняюсь, давно надо гнать по шеям.

Наташа. Ну, пойдёмте посмотрим.

Идёт впереди. Гусаков и Драпкин нехотя следуют за ней.

Наташа открывает дверь в коридор. Становится слышно тихое пение. Где-то репетирует хоровой кружок.

Наташа, Гусаков и Драпкин идут по коридору.

Наташа останавливается у таблички «Уважайте труд уборщиц». На полу, как и прежде, — переполненная урна и груда мусора.

Наташа. Надо снять эту глупую надпись.

Драпкин. После выходного снимем.

Наташа. Нет, снимите сейчас. Я вас очень прошу.

Драпкин вопросительно смотрит на Гусакова.

Гусаков (после зловещей паузы). Надпись-то политическая.

Наташа (смеётся). Милый Иван Семёнович, ну кто же в нашей стране уважает плохую работу? А хорошую у нас уважают и без надписей. Снимите, снимите, ничего не произойдёт. Я вам ручаюсь. И вон ту штуку снимите. (Показывает на плакат, висящий поперёк коридора.) Ну, что это значит: «Больше внимания разным вопросам»? Снимите, пожалуйста.

Гусаков. Конечно, вы здесь хозяйка и можете делать согласно своего решения. Но я со своей стороны возражаю.

Наташа. Тогда я сама попробую.

С трудом дотягивается до плакатика и пытается сорвать его со стены. Но он крепко приклеен, и ей удаётся оторвать от него только узенькую полоску бумаги. Со смущённой улыбкой она оборачивается к Драпкину.

Наташа. Вот видите, это не так просто сделать. Бумагу нужно будет соскоблить со стены. Вы, пожалуйста, сегодня же пошлите кого-нибудь это сделать. (Гусакову.) А ответственность я беру на себя. Ну, пойдёмте.

Они входят в большое фойе, отделяющее входную лестницу от зрительного зала.

В центре фойе висится трёхметровое странное сооружение, напоминающее по форме сырную пасху. Это — чудовищное по безвкусице нагромождение пыльных кумачовых тряпок, фанеры, искусственных цветов и крашенных электрических лампочек. В центре монумента из фанеры вырезана звезда, подклеенная изнутри папиросной бумагой. Всё это великолепие испещрено разнообразными надписями. Разобрать их совершенно невозможно. В глаза бросаются только многочисленные: «Ударим!», «Подыдем!», «Достигнем!», «Новая ступень» и тому подобное.

Гусаков подводит Наташу к сооружению и жестом опытного гида поворачивает выключатель. Сооружение освещается изнутри и снаружи, отчего становится ещё безобразнее.

Гусаков. Агитпирамида. Дорогая вещь. Три тысячи потянула. Поверите, ночей не спали. Художник семь раз проект переделывал по моим личным указаниям. Всё, дурак, не мог понять, что мне нужно. Зато прямо надо сказать — красиво получилось. Из других клубов приходят посмотреть.

Хозяйственно поправляет какую-то фанерную загогулину.

Наташа (мнётся). Скажите, Иван Семёнович, правду мне говорил швейцар, что здесь внутри фонтан?

Гусаков. Ну да, фонтан. Сырости от него было... А пользы никакой. Весь вид портил.

Наташа. Мне кажется, вы неправы, Иван Семёнович. Это здание строил хороший архитектор. Посмотрите, как хорошо и умно всё здесь было придумано. Помимо того, что вода всегда красива сама по себе, она ведь ещё очищает воздух. Я бы не стала закрывать фонтан. Знаете, откроем его опять. Только вы не огорчайтесь.

Гусаков (отшатываясь, как Борис Годунов, увидевший кровавых мальчиков). Чего? Куда открыть? А это... а-а-а... сломать? На помойку? Три тысячи народных рубликов? Вот до чего договорились. Делайте, делайте, всё ломайте, всё на помойку! Только я на это смотреть не могу.

Уходит расслабленной походкой.

Наташа. Вот как мы сделаем, товарищ Драпкин. Сейчас начнём снимать эту штуку, а к вечеру пустим воду. Пожалуйста, распорядитесь.

Драпкин. Распорядиться можно, товарищ директор, и воду пустить можно. Только она не пойдёт.

Наташа. Не понимаю.

Драпкин. Чего тут не понимать? Кажется, ясно. Трубы поржавели, вся установка попортилась. Пустишь воду, а завтра инспекция придёт, кто отвечать будет? Драпкин?

Наташа. Ну, тогда завтра постарайтесь всё устроить, а теперь пойдёмте.

Спускаются по лестнице. Подходят к входной двери, забитой изнутри доской.

Наташа. Сколько раз я вас просила, товарищ Драпкин, открыть наконец входную дверь. Уж кажется, что может быть проще?

Драпкин. Надо бы согласовать. Как-никак, товарищ Гусаков распорядился забить дверь. Он ведь вон где живёт. А здесь ходить начнут, сквозняки устраивать. Всё-таки живой человек. Надо уважить.

Наташа. Вы, вероятно, шутите, товарищ Драпкин. Или, может быть, вы меня неправильно поняли. Я директор, и я прошу вас, коменданта клуба, открыть эту дверь. Знаете, сделайте-ка это сейчас, при мне.

Драпкин. Сделать недолго. Только без молотка не выйдет. Третий день ищу молоток, не могу найти. Тут ведь гвозди какие? Трёхвершковые. Голой рукой не вытащишь!

Наташа. Я просто не понимаю. (Она готова заплакать.)

В этот момент из биллиардной раздаётся страшный крик.

В кадре появляется швейцар Котов. Он в полном смятении. Его швейцарская тужурка разорвана на спине сверху донизу.

Швейцар. Товарищ директор, сами видите, чего делают подлецы.

Наташа (Драпкину). И вы продолжаете утверждать, что в биллиардной наведён порядок.

Драпкин. Не должно быть. Я приказывал.

Наташа. Товарищ Котов, кто там в биллиардной?

Комендант делает ему знаки.

Швейцар (махнув рукой, грустно). Все там. Вся шайка-лейка.

Наташа. Знаете что, товарищ Драпкин, позовите их сюда. Я с ними поговорю.

Драпкин смеётся. Даже совершенно растерянный швейцар и тот хихикает в кулак.

Швейцар. Разве они понимают разговор? Их разрывная пуля и та не возьмёт.

Наташа. И всё-таки позовите их.

Драпкин, пожимая плечами, уходит в биллиардную.

Швейцар, вооружившись шваброй, нерешительно двигается за ним.

Чрез мгновение из двери вылетает шапка Драпкина и падает к ногам Наташи, потом оттуда вырывается клуб дыма, и, наконец, пятясь, появляются комендант и швейцар. За ними, размахивая горячей газетой, следуют конопатый мальчик и остальные члены биллиардного сообщества. Очутившись в вестибюле, Драпкин и швейцар перестраивают свои ряды и с криком бросаются в контратаку. Некоторое время они гоняются за мальчиками по вестибюлю, причём швейцар успевает огреть Конопатого шваброй по спине, и вся компания устремляется на улицу.

Из биллиардной появляется Васька. Он меланхоличен и нагл. Идёт вразвалку. Проходя мимо Наташи, глядит на неё с непередаваемым презрением.

Наташа. Подождите, Вася. Давайте поговорим.

Васька. Язык зачесался?

Наташа. Знаете, Вася, очень нетрудно сказать грубость. Вы бы могли меня и выругать. Я бы нисколько не удивилась. И даже ударить, потому что вы ведь сильнее меня.

Васька (с гордостью). Я женщин не бью.

Наташа (сдерживая улыбку). Ну, вот видите, какой вы благородный. Вам ещё остаётся научиться не бить мужчин, не играть на деньги, не затевать скандалов — и тогда из вас получится настоящий рыцарь.

Васька. Ничего смешного.

Наташа. А я и не смеюсь. Я серьёзно думаю, что, если вы будете продолжать свои художества, вы можете очень плохо кончить. Мне вас жаль, и именно поэтому я попробую устроить вас обратно в школу. Вы думаете, мне легко будет уговорить вашего директора?

В а с ь к а. Никто не просит.

Н а т а ш а. Ну ладно, не будем об этом говорить. А теперь, Вася, у меня к вам очень серьёзная просьба. Пожалуйста, не устраивайте больше этих сборищ в биллиардной. Я вас очень прошу.

В а с ь к а. Теперь просите. А раньше грозилась вывести.

Н а т а ш а (подходит к Ваське и кладёт ему руку на плечо). А теперь, видите, прошу.

Дверь из квартиры Гусаковых открывается. В неё просовывается голова Липы.

Л и п а. Васька, домой! (Обращаясь к Наташе.) А вам, гражданка, довольно стыдно.

Васька уходит, не оборачиваясь. Дверь квартиры Гусаковых с грохотом захлопывается.

Наташа совершенно растеряна.

Мимо проходит комендант с молотком в руках.

Н а т а ш а (оправившись от смущения). А, товарищ Драпкин, нашли молоток? Прекрасно. Я думаю, сначала следует оторвать эту доску, а потом...

Д р а п к и н. Некогда мне этим заниматься.

Н а т а ш а. Нет, всё-таки вам придётся заняться этим сейчас.

Д р а п к и н. Товарищ Гусаков не велел.

Н а т а ш а. В конце концов кто здесь директор? Я вам приказываю открыть дверь!

Д р а п к и н. Товарищ Гусаков прикажет — сделаю.

Столовая в квартире Касаткиных. Повторение уже однажды показанной сцены. Андрей Иванович ждёт Наташу к ужину. Наташа входит. Опять, как прежде, хочет пройти в свою комнату, уклонившись от разговора с отцом. Он понимает это и не останавливает её. Некоторое время колеблется. Потом встаёт и подходит к двери наташиной комнаты.

У окна, спиной к двери, стоит Наташа. Голова её опущена. Плечи вздрагивают.

Андрей Иванович тихо прикрывает дверь.

Сад при Дворце культуры имени Первого мая. Вернее, бывший сад. Тут есть ещё несколько десятков деревьев, следы аллея, полуразрушенная, заросшая травой раковина для оркестра, но всё это приобрело до такой степени деревенский вид, что большие дома, да и весь городской пейзаж, окружающий сад, кажутся странными. Повсюду роются куры, шипят гуси, громадная свинья, обложенная поросятами, важно лежит в солнечном квадрате. Развешано для просушки бельё. Клубные уборщицы с подоткнутыми подолами носят ящики с рассадой, поливают грядки. Гусаков, без пиджака, но, разумеется, в кепке, копает землю. Потом перестает копать, вытирает пот и, взглянув в сторону, злобно сплёвывает. Судя по всему, он увидел нечто до последней степени неприятное.

Другой угол сада. Наташа, швейцар Котов и пожилой человек с карандашом за ухом и записной книжкой в руках производят какие-то измерения.

Котов, разматывая ленту рулетки, бежит в другой конец сада и натягивает её.

Незнакомец что-то записывает.

Н а т а ш а. Вы знаете, я только сейчас вижу, как всё это великолепно получится. Зелени здесь достаточно, эстраду мы починим, выкрасим, будет как новенькая, сделаем беседки, аллеи посыплем песком, знаете, таким жёлтым-жёлтым, разобьём клумбы... Как вы думаете, ещё не поздно посадить махровые левкой?

Садовод (улыбаясь). Я бы вам посоветовал ещё красные флоксы, громадную клумбу из одних красных флоксов. Это очень красиво. Понимаете? Только один тон. Никакой пестроты.

Наташа (с увлечением). Правильно. Никакой пестроты. Наш клуб очень хорошо выстроен, и, если бы он не был так запущен, к нам приходили бы тысячи людей.

Садовод. Н-да, знаете...

Наташа. Вы не думайте, что я всего этого не понимаю. Но сквозь запустение, безвкусицу и непроходимую скуку я уже вижу тот клуб, который здесь будет. И сад я вижу очень отчётливо. Почему-то вечером. В тёплую чёрную ночь. В такую ночь особенно сильно светят лампы. И мотыльки вокруг. Люди в белом. И музыка.

Садовод. Не знаю, как с музыкой, а сад я вам сделаю отличный.

На крыльце появляется Липа с ведром в руках. Она выливает перед крыльцом содержимое ведра и кричит:

— Цып-цып-цып, ути-ути-ути!

Наташа вздрагивает.

Липа с ненавистью смотрит на неё, передёргивает плечом и удаляется, с треском захлопнув за собой дверь.

Наташа. Ну, давайте работать. Товарищ Котов, пройдите вон в тот конец. (Садоводу.) Здесь мы сделаем главную аллею.

Швейцар, пятясь, тянет за собой ленту рулетки. Он подходит теперь совсем близко к Гусакову.

Внезапно он спотыкается о свинью и падает. Раздаётся ужасающий поросчатый визг. Потревоженные поросята разбегаются в разные стороны.

Гусаков с яростью вытаскивает в землю лопату и угрожающе направляется к Наташе и садоводу.

Гусаков. Кто такие? Зачем пришли? Зачем поросят? Кто пустил? Почему такое? Нечего тут мерять, всё измерено. Без вас измеряли. Идите, идите отсюда, гражданин. Вас тут не нанимали по чужим дворам шляться. Тут люди работают. Инвентарь лежит.

Садовод (с удивлением глядя на Наташу). Я не понимаю.

Наташа. Иван Семёнович, ну, нельзя же так.

Гусаков (наступая на садовода). Идите, идите, гражданин, пока добром просят. Взяли себе моду. Землемеры. Ты согласуй сначала, а потом меряй.

Теснит садовода к калитке.

Наташа идёт за ними, всё время пытаясь что-то сказать. Наконец, у самой калитки, ей удаётся вставить несколько слов.

Наташа. Простите меня, что так получилось. Я вам буду звонить. Садовод, разводя руками, уходит.

Гусаков. Развалить легко, а ты сделай. Ты читала, чего теперь пишут? Всемерно развивать подсобное хозяйство. Про поголовье слышала? Агроминимум! Поговорим с тобой на бюро.

Наташа (прижимая руки к груди). Иван Семёнович, это же не подсобное хозяйство, это сад Дома культуры!

Гусаков. А человек, а? Человека забыла? Где забота о человеке?

Наташа. Иван Семёнович, нам с вами надо серьёзно поговорить. Гусаков поворачивается к ней спиной и идёт к своей грядке.

Швейцар осторожно кладёт рулетку на землю и, пригнувшись, выбирается из сада под прикрытием кустов.

Наташа делает несколько робких шагов вслед за Гусаковым.

Наташа. Иван Семёнович...

Потом останавливается, растерянно прикладывает руку ко лбу и вдруг стремительно выбегает из сада.

Ей вслед смотрят уборщицы, сокрушённо покачивая головами.

Наташа быстро взбегаёт по лестнице.

В комнате кружковой работы на столе сидит Драпкин. Перед ним стоит Васька с эмалированной кружкой в руке. Драпкин вынимает из бокового кармана пиджака бутылку водки и наливает в кружку. Васька уже пьян.

Драпкин. А она по тебе сохнет, дурак ты.

Васька (уныло). Она не такая.

Драпкин. Такая. Все такие.

Васька пьёт из кружки.

Наташа бредёт по коридору, сосредоточенно глядя себе под ноги. Из комнаты кружковой работы вываливается Васька и, почти падая на Наташу, хватается за неё.

Наташа. Что с вами, Вася?

Васька. Ты меня не бойся, не бойся.

Пытается её поцеловать.

Наташа, отшатнувшись, даёт ему звонкую пощёчину.

Всю эту сцену видит Липа, идущая по коридору.

Липа. Змея! Приваживала ребёнка, а теперь бьёшь?!

Наташа, не говоря ни слова, бежит к своему кабинету.

Двери на её пути открываются одна за другой, и в них показываются привлечённые криком люди.

Библиотекарша закрывает лицо руками, будто оскорбление нанесено ей самой.

Липа (продолжая преследование). Смотрите какая! Не любит, когда правду говорят! Уличные и те себе такого не позволяют!

Наташа пробегает мимо секретарши, которая от неожиданности подавилась куском бутерброда и делает судорожные глотательные движения.

За Наташей захлопывается дверь кабинета. На двери табличка:

ДИРЕКТОР Н. А. КАСАТКИНА

К двери подбегает Липа и пробует открыть её. Дверь заперта.

Липа. Тоже! Директор! Тьфу на тебя!

Плюёт на табличку. Внезапно успокаивается и, как человек, выполнивший свой долг, торжественно выходит в коридор.

Здесь её подхватывает под руку Драпкин.

Драпкин (разъясняя положение любопытствующим). Какая неприятность для мамыши. Это прямо скандал. Понимаете, как ударит его по морде, прямо у меня в глазах помутилось. Интеллигентная женщина, с высшим образованием. Подите тут разберитесь.

К подъезду клуба подъезжает автомобиль. Из него выходит Андрей Иванович.

Что-то сказав шофёру, он направляется к парадному входу.

На дверях всё та же неизменная фанера с приглашением ходить со двора.

Андрей Иванович, поглядев на неё, сокрушённо покачивает головой. Идёт во двор.

Липа и Драпкин спускаются по лестнице. Они поддерживают совершенно пьяного Ваську.

Навстречу им поднимается Андрей Иванович.

Андрей Иванович. Будьте добры, как мне пройти к директору?

Липа и Драпкин молчат. Васька смеётся идиотским пьяным смехом.

Андрей Иванович удивлённо смотрит на них и проходит мимо.

У странного сооружения в фойе он замедляет шаги и пожимает плечами.

По коридору он идёт быстро и останавливается только у входа в комнату секретаря. Прочтя надпись, он открывает дверь и входит.

А н д р е й И в а н о в и ч. Будьте добры. Мне нужен директор.

С е к р е т а р ш а. Вам товарища Гусакова?

А н д р е й И в а н о в и ч. Нет, Касаткину.

С е к р е т а р ш а. Не знаю, удобно ли. Если по делу, то лучше обратитесь к товарищу Гусakovу.

А н д р е й И в а н о в и ч. Нет, мне по личному делу. Я её отец.

С е к р е т а р ш а. Ах, как хорошо, что вы пришли... Пожалуйста, пожалуйста.

А н д р е й И в а н о в и ч (встревоженно). А что случилось?

С е к р е т а р ш а. Ах, знаете, у нас такая атмосфера...

Открывает дверь кабинета и впускает Андрея Ивановича.

За письменным столом, выпрямившись, сидит Наташа. По её лицу текут слёзы.

А н д р е й И в а н о в и ч. Пойдём домой, девочка.

Наташа отрицательно качает головой.

Андрей Иванович подходит к ней. Гладит её по голове.

А н д р е й И в а н о в и ч. Ты думаешь, я не понимаю? Пойдём. Ты мне всё расскажешь. Пойдём, мышка.

Н а т а ш а (не меняя позы, деревянным голосом). Папа, я не могу уйти отсюда. Я на работе.

А н д р е й И в а н о в и ч. Ну, мне это надоело. Когда человек тонет, его не спрашивают, хочет ли он, чтобы его спасали, или не хочет.

Хватает Наташу за руку, вытаскивает из-за стола и ведёт к выходу. Первое мгновение она не сопротивляется. Потом пытается вырвать у него свою руку.

У выхода в коридор она успевает обернуться к секретарше и крикнуть ей:

— Я уйду по делу! Если будут звонить...

Наташа не кончает фразы. Дверь за ними захлопывается.

По коридору отец и дочь почти бегут. В фойе на гладком полу Наташа делает последнюю попытку вырваться, упирается изо всех сил ногами, и Андрей Иванович попросту везёт её за собой.

У агитпирамиды стоят Гусаков и Драпкин. Они улыбаются с отвратительной снисходительностью.

Андрей Иванович тащит Наташу вниз по лестнице. Она цепляется за перила.

Внизу швейцар Котов, когда они проносятся мимо него, снимает свою фуражку с галунами.

Ш в е й ц а р (сокрушённо). Сняли с работы. Пропал ты теперь, Котов.

Андрей Иванович вталкивает Наташу в автомобиль.

В вестибюле клуба.

Швейцар всё ещё стоит с фуражкой в руке, задумчиво почёсывая затылок.

По лестнице спускаются Гусаков и Драпкин.

Если представить себе состояние кролика, пущенного в клетку с двумя удавами, то оно будет в точности соответствовать виду и поведению швейцара в эту минуту.

Удавы приближаются.

Д р а п к и н. Я так думаю, Иван Семёнович, что таких типов надо гнать из аппарата железной метлой под зад.

Г у с а к о в. Бегал. Вот этот. С галунами. Рулетку носил. Землемер. Поросят мне перепугал, зараза!

Д р а п к и н. У тебя отец кто был? Поп?

Швейцар (хмуро). Из беднейшего крестьянства.
Гусakov. Придётся о швейцаре Котове поставить вопрос. Придётся. Вопрос поставить. Вопрос. Поставить.

Швейцар. За что же вопрос? Граждане! Это что ж получается? Что я, убил или украл чего?

Гусakov (устало). Ладно. Где надо — разберутся. Разберутся. Где надо.

Андрей Иванович и Наташа в автомобиле.

Андрей Иванович. Теперь слушай. В жизни каждого человека бывает такой период, когда он, как доверчивый толстолапый добрый шенок, всюду тычется, ко всем ласкается. Ему кажется, что его окружают такие же добрые существа, как и он сам. Он ничего не боится. Он дьявольски самоуверен. И наступает минута, непременно наступает минута, когда он получает пинок ногой или обжигает лапы о горячую плиту и вдруг начинает понимать, что на свете есть не только добрые силы. Он становится осторожным, приобретает житейский опыт.

Наташа (медленно). Нет, папа, я не похожа на такого щенка. (Обращаясь к шофёру.) Будьте добры, остановитесь здесь, у этого дома.

Андрей Иванович. Ты куда?

Наташа. В райком.

Андрей Иванович. К Степану Михайловичу?

Наташа. Да.

Андрей Иванович. Вот и хорошо. Он умный мужик. Он поймёт.

Наташа. Так ты, папа, меня не жди. Я приду прямо домой.

Наташа выходит из машины.

Андрей Иванович смотрит ей вслед, потом делает знак шофёру ехать дальше.

Кабинет секретаря райкома.

За столом секретарь — Степан Михайлович Попов. Это человек лет тридцати пяти. Когда он улыбается, лицо его делается добрым, даже обаятельным; когда он серьёзен, вряд ли кому-нибудь придёт в голову шутить с ним.

Перед столом в кресле — Наташа.

Наташа. ...Мало того. За всё это время они не выполнили ни одного моего распоряжения.

Степан Михайлович. Неужели ни одного?

Наташа. Да. По существу ни одного. При этом, поверьте мне, я всеми силами стараюсь избегать столкновений. Но вот передо мной какая-то стена.

Степан Михайлович. И вместе с тем они не выступают против вашего плана?

Наташа. В том-то и дело, что не выступают. Они как бы на всё соглашаются и в то же время...

Степан Михайлович. ...не дают вам ступить ни шагу? По форме получается у них правильно...

Наташа. Да, да, да. А по существу — издевательство!

Степан Михайлович. А почему вы позволяете над собой издеваться? (Неожиданно улыбается.)

Наташа. Я не позволяю. Впрочем...

В комнату входит человек с бумагой в руке.

Человек с бумагой. Степан Михайлович, тут группа рабочих с 32-го завода пишет, что в механическом цеху выделили агитатором человека, у которого у самого девять выговоров за опоздания. Он им,

понимаете, говорит о борьбе с прогулами, а они смеются — ты сам, говорят, такой.

Степан Михайлович (становится очень серьёзным). Давай-ка. (Читает бумагу.) Ты позвони туда, чтобы агитатора заменили, только позвони сейчас же, а секретаря парторганизации вызови на завтра ко мне. (Человек с бумагой идёт к двери.) Да, подожди. Непременно расскажи об этом случае Емельяновой. Пусть использует сегодня этот факт на собрании агитаторов.

Человек с бумагой уходит.

Степан Михайлович. Да, так я вас слушаю, товарищ Касаткина. Вы говорили, что вы не позволяете над собой издеваться, и всё-таки... В чём же тут дело?

Наташа. Нет, я вам сказала не совсем правильно, Степан Михайлович, тут я, кажется, чего-то не понимаю.

Степан Михайлович. Что ж, давайте думать вместе.

Входит помощник секретаря, тот, что раньше входил с бумагой.

Человек с бумагой. Степан Михайлович, Бутылкин пришёл.

Степан Михайлович. А секретарь парторганизации?

Человек с бумагой. Он тоже здесь.

Степан Михайлович. Давай их сюда. И дай мне протокол партсобрания.

Человек с бумагой. Вот он.

Помощник уходит. Степан Михайлович проглядывает бумагу.

Наташа. Степан Михайлович, я вам не мешаю?

Степан Михайлович (отрывается от бумаги, секунду думает). Нет, не мешаю, оставайтесь.

В комнату входят Бутылкин (в его лице есть что-то гусаковское) и секретарь парторганизации.

Степан Михайлович (стоя за своим столом). Вот у вас тут в протоколе партсобрания написано: «За систематическую клевету на членов парторганизации, а также беспартийных сотрудников товарищу Бутылкину А. Н. объявить строгий выговор». Это вы Бутылкин А. Н.?

Бутылкин. Это я, товарищ Попов, и я вам скажу одно (складывает руки на груди): если райком не снимет с меня выговор, то у меня один путь — в воду!

Степан Михайлович (секретарю парторганизации). Ну, а вы что по этому поводу думаете?

Секретарь. Как сказать, товарищ Попов... С одной стороны, факт клеветы установлен, а с другой стороны, товарищ Бутылкин на партсобрании признал свою ошибку...

Бутылкин. Товарищ Попов, я ж признал, чистосердечно признал. За что ж строгий выговор? (Обращаясь к Наташе.) Я ж всё признал! Наташа, кусая губы, не отрываясь, смотрит на Степана Михайловича.

Степан Михайлович. Значит, вы считаете, что клевета на честных людей — это ошибка?

Секретарь. Так ведь товарищ Бутылкин признал...

Степан Михайлович. Немедленно передать дело прокурору! (Бутылкину.) Можете идти.

Выходит из-за стола и, как бы вытесняя из комнаты Бутылкина и секретаря, идёт за ними до двери.

Степан Михайлович возвращается к своему месту. Он снова спокоен.

Степан Михайлович. Значит, на чём же мы остановились? Вы говорили, что вы чего-то не понимаете. Чего же вы не поняли, товарищ Касаткина?

Наташа (подымаясь с места). Нет, вы знаете, Степан Михайлович, я уже всё поняла. (Пауза.) Я даже знаю, что вы мне сказали бы.

Степан Михайлович. Вот как?

Наташа. Да, да! Что я не сумела взять в свои руки дело, которое мне поручили.

Степан Михайлович. Что ж, пожалуй, это самое я бы вам и сказал.

Столовая Касаткиных. Андрей Иванович сидит за столом.

Входит Наташа.

Андрей Иванович. Ну как? Говорила с Поповым?

Наташа. Говорила.

Андрей Иванович. Ну, вот и прекрасно. И я очень рад, что это так быстро произошло. Мы сделаем так. Ты поедешь куда-нибудь в дом отдыха, отдохнёшь, поправишься. Потом напишешь свою диссертацию. Может быть, это — суетное желание, но мне бы ужасно хотелось, чтобы моя дочь была доктором философии. А клубом пусть себе руководит товарищ Гусаков. Он, вероятно, не первый год занимается этим делом, вероятно, знает его, любит...

Наташа смеётся. Хочет что-то сказать, но смех мешает ей. Она машет руками. Потом бросается отцу на шею.

Наташа. Знаешь, какой ты?

Андрей Иванович (целует её). Какой, мышка?

Наташа. Знаешь, бывают такие... (показывает руками) толстолапые, добрые. Которым кажется, что их окружают такие же добрые существа, как они сами...

Звонит будильник. Наташина рука нажимает кнопку. Будильник замолкает.

Наташа приподымается на постели. Прислушивается.

Тикают часы. Тишина.

Сквозь шторы пробивается сильный солнечный свет.

Наташа в платье. Причёсывается перед зеркалом. Потом берёт туфли и в одних чулках, на цыпочках, выходит из комнаты.

Крадучись, проходит столовую.

В передней она надевает туфли и осторожно открывает парадную дверь.

Утро в спальне Гусаковых.

Гусаков в подтяжках и кепке. Надевает пиджак.

Липа ещё в постели. Она полулежит, приподнявшись на локте.

Липа. Так прямо им и скажи. Десять лет, мол, работаю. Копейки не украл. Поднял на высоту. Пускай назначают директором. А Драпкина — заместителем.

Гусаков. Ворюга твой Драпкин. Подведёт меня под статью.

Липа. Много ты понимаешь. Пропал бы ты без него!

В спальню врывается Драпкин.

Драпкин. Липа Григорьевна, пardon, я не смотрю. Иван Семёнович! Пришла!

Гусаков. Кто?

Драпкин. Она.

Гусаков. Ну?

Драпкин. Ей-богу.

Липа. Такая нахальства! Нет у людей совести!

Гусаков. Липочка, как же её теперь, а-а-а?..

Липа. Драпкин, как же теперь?

Драпкин. А что как же! Заложим в мясорубку, покрутим ручку, и нет её. Обыкновенный способ.

Липа. Слышал, что умные люди говорят?

Гусаков. Слава богу, сам не дурак.

Уходит решительными шагами.

Липа (протягивает к Драпкину толстые голые руки). Драпкин, ты меня замучил, проклятый!

Драпкин. Спокойненько, Липа Григорьевна, будем держать себя в рамках. Видите, человек на работе.

Уходит вслед за Гусаковым.

Гусаков входит в кабинет Наташи.

Крупно: Наташа низко склонилась над столом. Она что-то пишет.

Гусаков. Что, барышня, надавал папаша по мягкому месту?

Наташа поднимает голову и некоторое время смотрит на Гусакова, как бы видя его впервые. Гусаков не выдерживает её взгляда, смотрит в сторону, потом под ноги.

Наташа. Немедленно снимите шапку. Вы в комнате.

Гусаков. Чего в комнате? Почему шапку? Что такое?

Наташа. Перестаньте кривляться. Теперь это не поможет. Ну! Что я сказала? Немедленно снять шапку!

Хватает со стола тяжёлое пресс-папье и с силой ударяет им по столу.

Зловещая пауза.

Гусаков медленно поднимает руку и стаскивает кепку, обнажая квадратную бритую голову.

Наташа с яростью нажимает всей ладонью на кнопку звонка.

Крупно: пронзительно звонящий звонок.

Секретарша вскакивает и бежит на зов.

Наташа. Я перехожу в свой кабинет. Перенесите туда дела и переберите таблички!

Быстро выходит из комнаты. Гусаков плетётся за ней.

В кабинете Гусакова.

Наташа открывает ящики стола. В одном из них обнаруживает целую гору бумажных птичек. Выбрасывает их на пол. Отшвыривает ногой.

Гусаков оторопело глядит на неё.

Наташа снова пронзительно и долго звонит.

Вбегает секретарша с кипой бумаг. Она возбуждена и полна энергии.

Наташа. Принесите машинку.

Секретарша убегает и сейчас же возвращается с пишущей машинкой.

Наташа. Пишите. Приказ. С новой строки. Пункт первый. Заместителю директора Гусакову И. С. объявить строгий выговор за систематическое невыполнение моих распоряжений.

Входит Драпкин.

Драпкин (бодро). Кто звонок испортил? Отвечать кто будет?

Наташа (не глядя на Драпкина, диктует). Пункт второй. Комендант клуба Драпкин... Как имя, отчество?

Гусаков (поспешно). Фёдор Матвеевич.

Наташа. Написали Драпкин? Инициалы Ф. М. Сего числа за нарушение дисциплины и развал работы увольняется без выходного пособия. Подпись: директор Дворца культуры, секретарь. Написали? Давайте сюда.

Подписывает приказ.

Наташа. Вывесите его на видном месте.

Гусаков. За что же выговор? Наталья Андреевна...

Наташа. Я ещё поставлю о вас вопрос на бюро.

Гусаков (нудным голосом). За что ж вопрос? Что я, ограбил кого или украл?

Наташа (Гусакову). У меня нет времени с вами разговаривать. (Драпкину.) А вы зачем здесь стоите? Уходите отсюда.

Драпкин (всё ещё не понимая, что произошло). Это по какому праву? Скажите какая!

Наташа (секретарше). Пожалуйста, позовите товарища Котова.

Гусаков (угодливо кидаясь к двери и распахивая её). А он тут.

В открытую дверь видна толпа любопытствующих сотрудников. Впереди — Котов. Он нерешительно входит в комнату.

Наташа (секретарше). Пишите. Приказ. С сего числа товарищ Котов... Инициалы?

Гусаков (Котову). Тебя как звать? Слышишь, спрашивают?

Швейцар. Кузьма Иваныч.

Наташа. Написали? Товарищ Котов К. И. освобождается от должности швейцара и назначается комендантом Дворца культуры. Давайте. Подписывает приказ.

Гусаков (вкрадчиво). Так он же неграмотный, Наталья Андреевна.

Котов. Это кто неграмотный? Я вышена начальное кончил. Я газеты читаю. А ты что кончил?

Драпкин (с гусаковскими припадочными интонациями). Это что ж такое! Граждане! Я не согласен!

Наташа (указывая на Драпкина). Товарищ комендант, удалите этого гражданина.

Котов. Куда удалить?

Наташа. Куда хотите. Чтобы я его здесь не видела, в клубе!

Котов (берёт Драпкина за руку). Пойдём, что ли.

Драпкин (пытаясь вырваться). Это что ж делается? Товарищ Гусаков, обратите внимание!

Котов. Иди, иди, где надо разберутся.

Позади толпы сотрудников, взобравшись на стул, привстав на носки и стараясь увидеть происходящее в кабинете, стоит Липа.

Котов выводит Драпкина из кабинета.

Наташа подходит к двери и обращается к сотрудникам, заглядывающим в кабинет.

Наташа. Входите, товарищи.

Сотрудники входят в кабинет.

Вестибюль. Котов подводит Драпкина к заколоченной двери.

Котов. Открывай!

Суёт ему в руки молоток. Сам берёт топор.

В одно мгновение доска отодрана и дверь открыта.

Котов. Пожалуйста, ваше благородие.

Драпкин. Смотри, швейцар, плохо тебе будет.

Котов толкает его, и Драпкин вылетает на улицу. Котов, скрестив на груди руки, смотрит ему вслед, потом грозит пальцем.

В вестибюль врывается Васька.

Васька. Кто разрешил открывать? Почему не спросили?

Котов. Ах, ах, забыли. Может, заявление вам написать, а вы резолюцию положите?

Поворачивается к Ваське спиной, делает несколько шагов. Потом, обернувшись, небрежно говорит.

Котов. Между прочим, заберите ваших свиной-утей, будем ликвидировать ваше единоличное хозяйство.

Кабинет. Наташа продолжает диктовать.

Н а т а ш а. Пишите дальше. Приказ. Сего числа увольняется, как не справившаяся с работой, заведующая буфетом Гусакова Олимпиада... Г у с а к о в (запинаясь). Григорьевна...

Н а т а ш а. Григорьевна.

Слышен грохот.

Липа с криком падает со стула.

Н а т а ш а. Заведующей буфетом назначается... назначается... (Ищет кого-то взглядом.) Нюра! Да, да, да, это я вам, Нюра! Идите сюда.

Подходит та самая Нюра, которая выступала на собрании.

Н а т а ш а. Справитесь?

Н ю р а (тряхнув волосами). Почему же не справлюсь? Справлюсь.

Н а т а ш а. Значит, заведующей буфетом назначается товарищ Зайкина Анна Спиридоновна.

Н ю р а (бойко). Наталья Андреевна! Я думаю, буфет мы закроем, а откроем столовую (глотает слюну), ресторан. (Поспешно, боясь, что её перебьют, вываливает свои идеи.) Помещение — лучше не надо. Столы, стулья, посуда, скатерти — всё есть. Кухня — лучше не надо. А повар, Архипов, он же шефом был, ну буквально всё умеет готовить. И штату прибавлять не надо. Чем в гусаковском саду копаться, пусть люди полезное дело делают.

Г у с а к о в (подхалимским голосом). Правильно товарищ Нюра говорит.

Н ю р а. Теперь правильно, а кто довёл буфет до состояния? Вы не поверите, Наталья Андреевна, такими бутербродами торговали, что кошке стыдно дать. (Поспешно.) И ещё у меня есть одно предложение...

Б и б л и о т е к а р ш а (перебивает). Смешно сказать, Наталья Андреевна, у нас нет литературного кружка. А если б вы знали, какая тяга, какая тяга! Среди читателей, особенно молодёжи, есть такие любители, прямо таланты. И вот я мечтаю, чтоб они собирались, чтоб были литературные вечера, чтоб читали стихи... Или вот, я слышала, живописцы жалуется, что им негде выставить картины. А у нас стены пустуют. Надо устроить выставку картин!..

У ч и т е л ь т а н ц е в. В нашем клубе происходит прямая недооценка балльных танцев. Многие даже называют их бытовыми танцами, с чем лично я не согласен. Между тем танец — это явление первостепенной важности. Танец воспитывает в молодёжи вежливость, умение себя держать. А в какой, мягко выражаясь, обстановке происходят у нас занятия?.. И потом дети. Есть очень способные дети, и однажды я пытался их собрать. И что же? Товарищ Гусаков...

Ч е л о в е к б у х г а л т е р с к о г о в и д а (страшным басом). Возьмите бухгалтерию. Нет, вы бухгалтерию возьмите. Пора, давно пора навести у нас в бухгалтерии большевистский порядок.

Н а т а ш а (смеётся). Подождите, товарищи, нельзя так сразу!

В котельной Дворца культуры, на фоне величественных отопительных механизмов, среди кранов и труб, новый комендант Котов держит речь персоналу.

Перед ним стоят истопники, водопроводчики, дворники и ночные сторожа.

К о т о в. Возьмём, товарищи, например, обыкновенные часы, карманные или там ходики. Сколько в них всяких винтиков, гаечек, колёсиков, шайбочек! А люди что? Делают их уже без малого тысячу лет. Даже ещё буржуазия умела делать часы. А вот рабочий клуб оборудовать — этого буржуазия никогда не умела. Мы это первые делаем в мире. А это что означает? (Истопнику.) А это означает, что если ты топишь, то топи так, чтоб не запарить людей и чтоб холодно не было. А чтоб было цело-

веку приятно. Чтоб ему, может, снова захотелось прийти в клуб, полюбоваться, как тут хорошо топят. Понятно?

Дверь директорского кабинета. Дверь открывается, и из кабинета поспешно расходятся в разные стороны возбуждённые сотрудники.

Сидя за своим столом, Наташа вытирает платком счастливое утомлённое лицо.

Тёмный экран. Начинается музыка. Под эту музыку, становящуюся всё громче и веселее, появляются один за другим сменяющиеся наплывами кадры.

Открываются окна. Одно, другое, третье.

Уборщицы, стоя на подоконниках, протирают стёкла.

Котов с водопроводчиком разбирают агитпирамиду. Из-под неё возникают очертания фонтана.

Рука, срывающая плакатик с приглашением уважать труд уборщиц.

Нога полотёра, работающего щёткой. Сверкающий паркет уходящего вдаль коридора.

Из открытых ворот клубного сада с ужасным хрюканьем, гоготаньем и кудахтаньем выбегают гусаковские свиньи, гуси и куры. Их гонит метлой уборщица.

В воротах, с растопыренными руками, как ведьма из «Вия», которая левила Хому Брута, стоит Липа.

В буфете. Нюра срывает плакат «Прозба рук о скатерти не вытерать». Официантка покрывает скатертями столики.

Настройщик разбирает фортепиано. Отодрав инвентарный номерок, прибитый комендантом, он полирует испорченное место.

В какой-то комнате два человека разбирают фанерные перегородки, разделявшие комнату на несколько клетушек. По испорченному лепному потолку можно судить о том, что перегородки архитектором не были предусмотрены и были возведены в эпоху Гусакова.

Новый швейцар старательно начищает медную ручку главного входа. Отходит, чтобы полюбоваться своей работой.

В ворота клуба въезжает автомобиль, нагружённый книгами. В нём сидит счастливая библиотекаряша.

В саду клуба укатывают дорожки. Сажают цветы. Красят раковину для оркестра. Наташа в халатике, с перепачканным лицом, объясняет что-то маляру.

И вот уже в большой комнате занимается кружок авиамоделлистов. Здесь царство гуммиарабика, картона, всяких проволочек, колёсиков, аккуратных дощечек, маленьких механизмов, словом, всего того, что обожают мальчишки. С особенным усердием клеит что-то конопатый мальчик; он высунул язык и деловито сопит.

Чья-то рука снимает с двери табличку с надписью «Комната кружковой работы». Рука полирует то место на двери, где висела табличка. Дверь начинает блестеть, становится прозрачной. В просторной, чистой, со вкусом убранной комнате в низких креслах сидят люди. Перед ними у карты, с указкой в руках, стоит лектор.

В комнате шахматного кружка. На столиках — шахматные часы. Над ними — яркие лампы. Теперь это подлинный рай для шахматистов.

Мастер натягивает на бильярдный стол новое сукно.

Гардероб, оборудованный по последнему слову гардеробной техники. На крючках множество пальто и шляп.

Секретарша, похорошевшая и помолодевшая, с цветком в волосах, надписывает пригласительные билеты и вкладывает их в конверты.

Крупно: пригласительный билет.

«Клуб имени Первого мая приглашает вас на торжественное открытие летнего сада. Большой концерт. Танцы. В зимнем помещении открыта выставка картин».

Десятки рук, распечатывающих конверты с пригласительными билетами.

Наплывом сменяющиеся кадры. Люди принаряжаются перед выходом из дому.

Музыка достигает наибольшей силы и торжественности.

Вечер. Освещённое здание клуба.

Широко раскрытая входная дверь. Люди входят в неё, поднимаются по лестнице.

Переполненное фойе, здесь выставка картин.

В центре, на месте агитпирамиды, бьёт фонтан. Он очень красиво освещён.

В светлой раковине клубного сада симфонический оркестр исполняет увертюру к «Руслану и Людмиле».

Андрей Иванович быстро проходит по комнатам клуба, оглядываясь по сторонам. Он кого-то ищет.

Выходит в сад. Осторожно пробирается за спинами людей, слушающих концерт.

Подходит к небольшому павильону летнего буфета. На площадке перед павильоном — столики.

Внезапно Андрей Иванович останавливается в крайнем удивлении.

Наташа, в переднике и беленькой косынке, несёт на подносе бутылку и несколько стаканов. Она подходит к столику, за которым сидит компания посетителей, расставляет на столе принесённое, отвечает на какой-то вопрос, улыбается и уходит.

Наташа в павильоне. Снимает с себя передник и косынку и передаёт их официантке.

Н а т а ш а. Видели? Ничего нет трудного. Главное — правильно запомнить заказ, быстро сосчитать деньги и не раздражаться. Ни в коем случае не раздражаться, что бы ни произошло.

Н ю р а (стоящая рядом). Ты не робей, Валя.

Наташа выходит из павильона и сталкивается с отцом.

А н д р е й И в а н о в и ч. Ну, показывай, показывай!

Наташа ищет кого-то глазами.

А н д р е й И в а н о в и ч. Ты думаешь, я не знаю, кого ты высматриваешь?

Н а т а ш а. Никого я не высматриваю. Просто смотрю.

А н д р е й И в а н о в и ч. Просто смотришь? Так, так. А хочется, чтобы он был здесь, посмотрел на твоё торжество?

Н а т а ш а (по-дамски). О ком ты говоришь? (Упрямо потрянув головой.) Нет, я знаю, о ком ты говоришь. О Павлуше Барабанове? Правда?

А н д р е й И в а н о в и ч. Какая догадливая!

Н а т а ш а (просто). Да. Мне без него очень скучно. И очень печально, что ты встречаешься с ним за моей спиной.

А н д р е й И в а н о в и ч. Сама виновата, матушка. Не надо было так прямолинейно пускаться в объяснения с ним. У него натура сложная, я бы сказал, тонкая, нежная.

Н а т а ш а. Я тебя, папа, насквозь вижу. Ужасно ты хочешь выдать меня замуж за хорошего человека. Правда?

А н д р е й И в а н о в и ч (разводя руками). Ну, знаешь!

У фонтана прогуливаются Гусаков и директор соседнего клуба.

С о с е д. Что ж, товарищ Гусаков, хорошо. (Одобрительно поглядывает вокруг.) Светло, красиво, чисто. А самое главное — народу много. И программа содержательная. В общем, здорово. Прямо-таки уходить не хочется.

Г у с а к о в. Сейчас-то оно здорово, а как вспомнишь, сколько трудов положено, сколько ночей не спал. Во всё приходилось вникать. А-а-а... Вникать. Приходилось. Вот чего я хотел тебя спросить, Максимыч, какая медаль главнее: за трудовую доблесть или за трудовое отличие?

С о с е д. Да. Хорошо у вас тут. Хорошо.

Мимо проходит Наташа со своими спутниками.

С о с е д. Энергичный у вас директор. Посмотришь на неё — совсем девочка. Прямо не верится. Какая молодёжь растёт!

Г у с а к о в. Правильно ты сказал, Максимыч, растёт... а-а-а... молодёжь. Растёт. Медали получает... а-а-а... ордена. Только ведь разная есть молодёжь. Я тебе скажу, к этой... а-а-а... Касаткиной надо присмотреться. Присмотреться надо. Присмотреться.

С о с е д. А что такое?

Г у с а к о в (таинственно). Есть, понимаешь, факты. (Вдруг заметив что-то и внезапно встревожившись.) Пойдём, Максимыч, я тебе покажу летнюю эстраду.

Уходят.

По фойе, шатаясь, движется вдребезги пьяный Васька. Его сопровождает небритый, опустившийся Драпкин. Он трезв и осторожен.

Пересекая фойе, Васька наталкивается на фонтан. Это препятствие его не смущает, он лезет в воду и переходит фонтан вброд.

Публика, сначала расступавшаяся перед Васькой, начинает опасно расходиться.

Слышен звонок ко второму отделению концерта.

Оставляя за собой мокрые следы, Васька подходит к стене, на которой висят картины.

Драпкин останавливается в отдалении.

Васька начинает раскачивать на шнуре небольшую картину.

Наташа с отцом сидят за столиком в саду.

А н д р е й И в а н о в и ч. Смотри, директор, если ситро окажется тёплым...

Н а т а ш а. Ты меня уведёшь домой за руку?

А н д р е й И в а н о в и ч. Вот злопамятная.

Входит официантка в переднике и косыночке и, улыбаясь, как это ей показывала Наташа, разливает сидро по стаканам.

Крупно: запотевший стакан, который Андрей Иванович поднимает перед собой.

В кадр врывается Котов. Он ужасно взволнован.

Наклоняется к Наташе и что-то шепчет ей на ухо.

Наташа вскакивает.

А н д р е й И в а н о в и ч. Что такое опять?

Н а т а ш а. Сейчас я вернусь.

Стремительно убегает.

Фойе. Здесь теперь только один Васька. Он сидит на перилах, спиной к лестничному пролёту. В руках он держит снятую со стены картину и, покачиваясь, разглядывает её с пьяной сосредоточенностью.

Из-за колонны выглядывает Драпкин.

В фойе вбегают Наташа, оглядывается. Видит Ваську. Быстро подходит к нему.

Н а т а ш а. Сейчас же отдайте картину!

Пытается вырвать у Васьки картину.

В а с ь к а. Ну, ну, без рук!

Тянет картину к себе. Вырывает её из рук Наташи и, покачнувшись, падает в пролёт лестницы.

Наташа вскрикивает, прижимая руки к груди.

Вбегают Котов.

Из-за колонны появляется Драпкин.

Наташа бежит вниз по лестнице.

Д р а п к и н (Котову). Видал?

К о т о в. Чего видал?

Д р а п к и н. Как она его столкнула.

К о т о в. Кого?

Д р а п к и н. Ваську гусаковского. Пропал теперь парень. Наделали делов со своей директоршей.

Бежит вниз по лестнице. Котов — за ним.

Вестибюль. На полу лежит Васька. Наташа — рядом, на коленях. Поддерживает его голову.

Собирается толпа.

Н а т а ш а (Котову). Скорей, голубчик. Там в саду мой отец. Он доктор.

Котов убегает.

Наташа отирает васькин лоб платком.

Сквозь толпу продирается Гусаков.

Д р а п к и н (Гусакову шёпотом). Сама столкнула, а теперь комедию играет. Уголовное дело, Иван Семёнович.

Гусаков опускается перед Васькой на колени. Отталкивает Наташу.

Г у с а к о в (с ненавистью глядя на Наташу). Пусти! (Ваське.) Васьенька! Сыночек...

К Ваське быстро подходит Андрей Иванович. Бегло осматривает его.

А н д р е й И в а н о в и ч. Машину!

Н а т а ш а. Машина готова.

Ваську поднимают и несут.

Навстречу бежит Липа.

Л и п а. Убили! Убили!!!

Комната Гусаковых.

На обеденном столе сдвинута скатерть. Гусаков, по обыкновению в подтяжках и кепке, высунув язык, сочиняет донос. Делается это при

помощи на редкость невинных орудий — тоненькой школьной ручки и чернильницы-невыливайки.

За спиной Гусакова стоят Липа и Драпкин.

Драпкин. Теперь пишите, Иван Семёнович, пункт шестнадцатый... А также проявляла барски-пренебрежительное отношение к низшему персоналу. Теперь подписывайте.

Гусаков (подписывая). А ты?

Драпкин. А мне чего подписывать? Я беспартийный. (Пауза.) Теперь давай пиши от васькиного лица... И Васька пускай подпишет.

Больничная палата. На койке лежит Васька с перевязанной головой. К койке прислонены костыли.

В палату входит Гусаков. Он в халате, с портфелем.

Сиделка уходит. Гусаков садится на стул у кровати.

Гусаков (достаёт из портфеля узелок). Возьми вот. Мамаша. Пирожки испекла.

Васька (хмуро). Спасибо.

Гусаков. Вот какое дело, Вася... (Роется в портфеле, достаёт из него кипу бумаг, чернильницу-невыливайку и ручку. Одну из бумаг протягивает Ваське.) Подпиши вот тут. Внизу.

Васька (прочтя бумагу). Она ж меня не толкала. Я сам упал.

Гусаков. Что сам? Почему сам? Ты пьяный был. Что ты можешь помнить? Люди видели. Люди. Ты что, не понимаешь, чего делается? Если не мы её кончим, она нас слопаёт. Давай подписывай. А то домой не приходи. Не пуцу.

Васька. А ну вас всех! (Подписывает бумагу.)

Гусаков (пряча бумагу в портфель). Десятого на активе порубим её на котлеты.

Васька молча поворачивается к стене.

Гусаков, потоптавшись на месте, уходит.

Кабинет директора клуба.

Наташа и секретарша сидят на диване.

Секретарша (испуганно озираясь). Вы только не выдавайте меня, Наталья Андреевна, но сегодня мне говорил один человек, что Гусаков ему говорил, что он собрал на вас какой-то материал и... и что вы от нас скоро уйдёте.

Наташа. Знаете, Антонина Петровна, вы напрасно мне это говорите. Не сердитесь на меня, но я очень не люблю сплетен.

Секретарша. Это не сплетни, Наталья Андреевна. Вы не представляете, что они про вас говорят.

Наташа. А я не хочу знать, что они про меня говорят.

Секретарша (поджимает губы). Конечно, если так... (Замолкает.)

Входит Котов.

Котов. Пакет принесли. Говорят, срочный.

Уходит. Наташа вскрывает конверт. Читает.

Текст повестки с приглашением явиться к партследователю.

В кабинет снова входит Котов.

Котов. Ещё вам пакет, Наталья Андреевна. Опять срочный.

Наташа вскрывает пакет. Читает.

Текст повестки из народного суда с предложением явиться на слушание дела о незаконном увольнении гражданина Ф. М. Драпкина.

Пока Наташа читает эти документы, секретарша не сводит с неё глаз.

Наташа поднимается с дивана и, проведя рукой по лбу, выходит из кабинета.

Навстречу ей идёт милиционер с разносной книгой.

М и л и ц и о н е р. Кто тут гражданка Касаткина?

Н а т а ш а. Я Касаткина.

На заднем плане секретарша шепчется о чём-то с Котовым.

М и л и ц и о н е р. Повестка от следователя.

Текст повестки от следователя с предложением явиться для дачи показаний.

М и л и ц и о н е р. Ещё тут распишитесь, гражданка.

Н а т а ш а. Что это?

М и л и ц и о н е р. Подписка о невыезде.

Наташа пожимает плечами и подписывает.

Входит в свой кабинет. Садится на подоконник. Вскрикивает. Подходит к дивану. Садится. Закрывает лицо руками. Снова вскрикивает. Подходит к столу. Кладёт руку на телефонную трубку. Колеблется. Потом решительно снимает трубку и набирает номер.

Н а т а ш а. Это ты, Павлуша? Да, это Наташа...

У телефона Барабанов. Телефон висит на стене в передней коммунальной квартиры. Стена исписана номерами. На крючке болтается карандаш на верёвочке. Барабанов очень взволнован.

Г о л о с Н а т а ш и. Помнишь, ты мне сказал, что если мне когда-нибудь понадобится друг...

Б а р а б а н о в. Ты из дому говоришь?

Г о л о с Н а т а ш и. Нет, я на работе.

Б а р а б а н о в. Я сейчас!

Не глядя, вешает трубку на воображаемый крючок (трубка, конечно, падает и повисает на шнуре), напяливает пальто на одну руку, спотыкается о велосипед, который с грохотом падает, и выскакивает за дверь.

В котельной клуба.

Котов разговаривает со своим персоналом.

К о т о в. И главное — никто не видел. Я прибегаю, а Драпкин говорит: столкнула. Ну, разве можно в это поверить, товарищи? А теперь, говорят, Васька сам бумагу на неё подписал. И Драпкин — свидетель. Свидетель! Кто? Драпкин! Тьфу! (Пауза.)

В о д о п р о в о д ч и к. Боюсь, засудят нашу Наталью Андреевну, и тогда всё сначала начнётся.

К о т о в (кричит). До Верховного Совета дойду!

Наташа и Барабанов сидят на диване в директорском кабинете.

Б а р а б а н о в. Так ты говоришь, что, кроме тебя, никого в этот момент не было?

Н а т а ш а (сквозь слёзы). Я и Драпкин.

Б а р а б а н о в. А Драпкин, по-твоему, безнадёжен?

Н а т а ш а. Просто уголовный тип.

Б а р а б а н о в. А Гусаков? Может быть, можно на него как-нибудь повлиять?

Н а т а ш а. Скорее можно повлиять на эту вот стенку.

Б а р а б а н о в. А сколько лет этому самому Ваське?

Н а т а ш а. Семнадцать.

Барабанов задумывается.

Н а т а ш а. Павлуша!

Барабанов молчит.

Н а т а ш а (грустно улыбаясь). Барабан! (Дёргает его за рукав.)

Б а р а б а н о в (очнувшись). Ну, до свидания!

Встряхивает руку Наташи и выбегает из комнаты.

Больничная палата. Андрей Иванович в белом халате и колпаке заканчивает осмотр Васьки. Рядом с ним сестра и сиделка.

А н д р е й И в а н о в и ч. Ну, горлопан, через неделю пойдёшь домой.

В а с ь к а (грустно). На костылях?

А н д р е й И в а н о в и ч. Через месяц в футбол играть будешь! Небось, футболист?

В а с ь к а (с просветлённым лицом). Правый средний.

А н д р е й И в а н о в и ч. Вот и будешь играть правого среднего.

Гладит Ваську по голове, потом поднимается и уходит. Сестра следует за ним.

С и д е л к а (кивает вслед ушедшим). Если б не он, ходить бы тебе на костылях всю жизнь. Он тебя второй раз на свет родил.

В а с ь к а. Видать, хороший человек.

В палату входит Барабанов.

Б а р а б а н о в. Мне нужно Василия Гусакова.

С и д е л к а. А вот он лежит. Футболист. (Уходит.)

Б а р а б а н о в (садится рядом с Васькой). Мне нужно с вами поговорить. Вы знаете, кто этот человек — доктор Андрей Иванович, который вас вылечил? Это отец Натальи Андреевны Касаткиной.

Васька приподнимается на локте.

Зал клуба. Облокотившись на трибуну, Драпкин произносит речь.

Д р а п к и н. ...И что мы видим, товарищи? Я человек прямой. Я скажу прямо, что мы видим. Мы видим на сегодняшний день провал клубной работы. Пусть товарищ Касаткина нам ответит, подавал я сигналы своевременно или не подавал? Пусть скажет. Пусть здесь скажет...

Наташа слушает речь Драпкина. Лицо её совершенно спокойно.

Д р а п к и н. ...Молчи-ит! Не любит самокритики. Потому и уволила. Товарищи, я человек беспартийный. Но в части советской копейки кто был на высоте? Я был на высоте, а не, товарищи, партийная Касаткина. Возьмём электроэнергию, возьмём, товарищи, мебель, возьмём в части текущего ремонта или в части обыкновенной воды! Недавно захожу в клуб — я уже тогда не работал, — смотрю на водомер, и у меня прямо душа заболела — такой перерасход воды! И чтобы не быть, товарищи, голословным, я прямо перейду к оглашению цифр. (Читает по бумажке.) За три месяца товарищ Касаткина выбросила кошке под хвост восемьдесят тысяч народных рубликов.

Г у с а к о в (с места). Правильно.

На лице Гусакова благостная улыбка. Он одобрительно кивает головой. Липа что-то шепчет ему на ухо.

Входит Степан Михайлович и, никем не замеченный, садится на стул в уголке. Смотрит на часы. Вздыхает.

Г о л о с Д р а п к и н а. ...А что, товарищи, плохо было в клубе до прихода товарища Касаткиной? Хорошо было. Я человек прямой. Если бы было плохо, то я бы так и сказал — плохо. А я как говорю? Говорю — хорошо. А благодаря кого?

Здесь Драпкин почти поёт, мерно взмахивая обеими руками.

Д р а п к и н. Благодаря... товарища... Гусакова... Но его работа и так достаточно всем известна, и не нужно перечислять. Мы лучше вернёмся обратно к товарищу Касаткиной. И я вас спрошу, как по-вашему, что она сделала, как только меня уволила из клуба? Вот не угадаете! Ну, тогда я скажу...

Все поворачиваются к Наташе.

На неё с сочувствием смотрят сидящие в президиуме библиотекарша и человек бухгалтерского вида.

На неё с ненавистью смотрят Гусаков и Липа.

С тайной симпатией и страхом смотрят на неё уборщицы, Нюра, Котов, секретарша и ещё какие-то люди.

Г о л о с Д р а п к и н а. ...Я, товарищи, всё скажу, я человек прямой. Она посрывала со всего инвентаря — ну, что бы вы думали? — инвентарные номерки установленного образца, стационарно прибитые прежним руководством. (Драпкин переводит дыхание.) А зачем, спрашивается? Может, товарищ Касаткина вам скажет — для большей красоты. А я скажу по-простому — для удобства хищения.

Г у с а к о в. Правильно.

Д р а п к и н. Теперь скажу в части столкновения подростка Василия Гусакова с лестницы с переломом рёбер и ноги последнего. Конечно, советский суд скажет об этом деле своё авторитетное слово. Но я тоже хочу сказать своё авторитетное слово, поскольку я видел всё своими собственными глазами. Вот так я стою, товарищи. Вот так она стоит. (Показывает.) Вот так сидит на перилах малолетний Василий Гусаков, отдыхает, смотрит картины, никого не трогает. И вот так она толкает его двумя руками. И он падает. И я хочу вас спросить, товарищи: что это значит? А это значит, что нам открылось кое-какое лицо и этого лица надо выжигать калёной метлой. И я кончил, товарищи.

Ч е л о в е к б у х г а л т е р с к о г о в и д а (он председательствует). Кто ещё хочет высказаться?

В больничной палате. Васька, опираясь на костыли, подходит к двери. Прислушивается. Потом идёт к окну, открывает его, смотрит вниз. Внизу стоит Барабанов. Васька выбрасывает из окна костыли, затем, повиснув на руках, опускает ноги на тротуар. Барабанов его поддерживает.

С нова собрание.

На трибуне — Гусаков. Его основной ораторский приём заключается в том, что во время речи он поднимает и переносит с места на место стул, стоящий на возвышении.

Г у с а к о в. ...Как мы видели, этого вопроса уже достаточно коснулся в своей яркой и содержательной речи товарищ Драпкин. И я накоротке уже сказал об этом достаточно. Достаточно. Достаточно. И-и-и, как сказать... (поднимает стул) штука здесь не в том. В чём же тут штука, товарищи? А в том тут штука, что товарищ Касаткина (медленно несёт стул вдоль эстрады) ...проводила. Неправильную. Политическую. Линию. (Ставит стул и пробует его устойчивость.) Возьмём, так сказать, агитпирамиду. Все вы её, конечно, знаете. Всем известно, что членская масса училась на агитпирамиде. Училась. На пирамиде. Усиливала свои профзнания, углубляла свой идейный багаж. Членская масса. А что мы имеем на сегодняшний день? Пущена вода. Вместо учёбы — вода. На чью мельницу вода? Как это понимать, товарищи? (Испытующе смотрит по сторонам.) Или вот мы писали: «Клубным активом ударим по срывщикам клубной работы». Снята надпись. Кем снята? Товарищем Касаткиной. А кому такая надпись может не понравиться? Я так думаю, товарищи, что срывщикам. Да. Срывщикам. Или возьмём другие политические ошибки. В отношении низшего персонала. Висит плакат «Уважайте труд уборщиц». Подходит Касаткина и хочет срывать. Конечно, подаю сигнал. Было это, товарищ Касаткина?

Все смотрят на Наташу. Наташа молчит.

Г о л о с Г у с а к о в а. Было это. Подал сигнал, по-товарищески подал. А она что? Сорвала плакат. С вредным смехом.

Д р а п к и н. Позор!

Г у с а к о в (припадочным голосом). Это что ж? Как назвать? Барски-пренебрежительное? Уборщица, значит, не человек? (Внезапно успокаивается и поднимает стул.) Пойдём дальше. (Идёт со стулом.) Берём мас-совую работу. Была у нас в клубе комната кружковой работы. Вели работу. Вовлекали людей. Что делает Касаткина? Снимает табличку «Комната кружковой работы», разбазаривает культинвентарь и открывает там, стыдно сказать, гостиную. (Ставит стул.) Что к нам, гости ходят, что им нужна гостиная? Ой, рано, рано, товарищ Касаткина, ты завлекаешь нас отдыхать, размагничиваешь, демобилизуешь! Не бароны, чтоб отдыхать. Не бароны! Не графы! (Вытирает платком лоб.) Пошли дальше. (Берёт стул и снова идёт с ним.) Теперь в отношении планирования программы. Остановимся на этом вопросе. (Ставит стул.)

Барабанов усаживает Ваську в такси. Васька в больничном халате, и прохожие с удивлением на него оборачиваются.

Снова собрание.

Г у с а к о в. На что же это курс, товарищи? Этот курс вам известен. Это курс на голое развлекательство. И я вам скажу, товарищи, это не наш курс. Не наш. Курс. А чей это курс? Пусть товарищ Касаткина нам скажет.

Наташа попрежнему молчит.

Г о л о с Г у с а к о в а. Теперь молчит. А раньше она не молчала, товарищи. Только её и слышно было. Крики. И даже удары. Не секрет, товарищи, что она и детей хлестала по лицу. Не хочется о себе говорить. Но надо, товарищи, надо. Надо. Меня пыталась вывести из строя. Стучала на меня разными предметами. (Пауза.) Не вышло. Своевременно дал по рукам. И была у меня одна ошибка. Недостаточно дал. Проявил интеллигентскую мягкотелость. И вот этими самыми руками она хватает моего сына Василия. Отличник. Учёбы. И кидает его вниз.

Н а т а ш а. Это ложь!

Г у с а к о в. А-а-а! Заговорила! Это я вру? (Вынимает из кармана бумагу и протягивает её председателю.) Тогда пожалуйста документик. Собственноручная подпись. Моего больного сына Василия. Факт? Факт. О чём говорит этот факт? О том, что вся линия товарища Касаткиной была в корне гнилая. Кривая была линия. Кривая. И надо из этого сделать соответствующие выводы. Надо, товарищи, более! Надо обеспечить усиление! Надо двинуть вперёд! Поднять выше! Добиться внедрения! Вот что нам нужно, товарищи, а не фонтаны!

В комнате полная тишина. Гусаков идёт к своему месту.

Председатель искоса поглядывает на членов президиума.

В тишине очень отчётливо раздаётся голос Наташи.

Н а т а ш а. Какой дурак!

Движение в зале. Визг гусаковской клики.

Д р а п к и н. Позор! Удалить её!

Г у с а к о в. Распоясалась! Лицо показала!

Л и п а. Змея какая!

Председатель звонит в колокольчик.

П р е д с е д а т е л ь. Товарищ Касаткина, против вас выдвинуты обвинения, и вам следует ответить на них, а не ругаться.

Н а т а ш а (поднимаясь с места). Я назвала этого человека дураком вовсе не для того, чтобы выругать его. Слово «дурак» я прошу рассматривать в данном случае не как ругательство, а, если хотите, как политическое обвинение.

Выходит на трибуну.

Н а т а ш а. Демагогия Гусаковых имеет одну особенность — она лишена какого бы то ни было смысла. Есть только видимость слов, а за этими словами — полная пустота. Это очень серьёзное и очень болезненное явление нашей жизни. Но, прежде чем говорить о нём подробно, я отведу на те обвинения, которые были выдвинуты против меня. Сначала о гражданине Драпкине. Он обвинил меня в том, что за три месяца я израсходовала на реорганизацию клуба восемьдесят тысяч рублей. Он ошибся.

Д р а п к и н (с места). Следы заметаешь!

Н а т а ш а. На самом деле за это время израсходовано больше — девяносто две тысячи. Но за это же время число посетителей в клубе выросло во много раз. И благодаря этому увеличились наши доходы. Таким образом, перерасхода у нас нет. (Пауза.) Что касается инвентарных номерков, то их действительно сняли, потому что они были прибиты на самых видных местах и уродовали мебель. Мы их прибили к невидным местам. В этом очень легко убедиться.

Председатель заглядывает под стол.

П р е д с е д а т е л ь. Номерок есть.

Н а т а ш а. Ну, вот видите. В сущности, это всё, о чём говорил гражданин Драпкин. Он упоминал ещё об экономии воды и электричества. Так вот. Этот злополучный фонтан обходится нам в день ровным счётом в тридцать восемь копеек, а электрическую энергию мы расходует в пределах нормы, как и все другие клубы. Теперь об увольнении Драпкина. Я уволила его не потому, что боялась его критики, которой, кстати, никогда и не было, а потому, что он устроил в клубе игорный притон и брал за это деньги с подростков.

К о т о в. Обязательно брал с них деньги: по десятке, по пятёрке, как когда.

Н а т а ш а. Ну, вот видите. Кроме того... Аким Акимыч! (Обращается к человеку бухгалтерского вида.) Вы взяли с собой документы?

Б у х г а л т е р. Взял, Наталья Андреевна. (Показывает бумагу.)

Н а т а ш а. ...Оказалось, что в прошлом году гражданин Драпкин имел неосторожность растратить восемьсот шестьдесят два, выражаясь его словами, народных рублика. Мы передали это дело в прокуратуру.

Драпкин осторожно выбирается из комнаты.

Н а т а ш а. Куда же вы? Сядьте!

Драпкин испуганно садится.

Н а т а ш а. Теперь о тяжёлых политических обвинениях, выдвинутых против меня Гусаковым. Они так же глупы и бессмысленны, как и обвинения этого негодяя. (Показывает на Драпкина.)

Драпкин быстро, быстро моргает глазами.

Барабанов и Васька в такси.

В а с ь к а. Куда ж я денусь потом, после больницы? Ведь отец меня домой не пустит.

Б а р а б а н о в. Переедешь ко мне. Как-нибудь перебьёмся.

Снова в зале.

Н а т а ш а. Я действительно уничтожила целый ряд самых разнообразных надписей, которыми были оклеены стены нашего клуба. И распорядилась убрать этот странный, пыльный и безобразный предмет, который Гусаков горделиво называет агитпирамидой. Всё это я сделала сознательно и по соображениям действительно политическим. Потому что нет ничего вреднее для пропаганды коммунизма, чем вульгарное опошление этой пропаганды. Я сохранила один транспарант. Вот он. Помогите мне, товарищи, развернуть его.

Разворачивает кумачовую полосу, на которой написано:

ПОДНЯТЬ КЛУБНУЮ РАБОТУ НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ!

Н а т а ш а. Прочли, товарищи? На первый взгляд правильно. А если вдуматься — совершенный вздор. Посетителям клуба предлагается делать то, что должны делать мы, работники клуба, и что должен был делать он, Гусаков. Вместо того чтобы действительно поднимать клубную работу на высшую ступень, он вывешивал плакаты с призывами сделать это. Он не работал, прикрывая своё безделье криками о том, что нужно работать.

Гусаков сидит с независимым лицом, пожимая плечами. Судя по всему, он совершенно не понимает, о чём идёт речь.

Г о л о с Н а т а ш и. Я начала свою речь с того, что считаю глупость при некоторых обстоятельствах политически опасной. Вот почему я это сказала. Лозунг, программа, директива есть руководство к действию. Их нужно понимать и осуществлять. А Гусаковы вместо этого занимаются тем, что повторяют их до тех пор, пока они не теряют свой смысл. Вот Гусаков развесил по всему клубу призывы уважать труд уборщиц, а в клубе была непроходимая грязь. То есть, вместо того чтобы добиться чистоты, он уцепился за фразу о чистоте. И фраза заслонила для него дело.

Г о л о с а. Правильно.

Аплодисменты.

Г у с а к о в. Ты лучше расскажи, как ты Ваську моего с лестницы сбросила!

Н а т а ш а. Вот единственное обвинение, которое я не могу опровергнуть.

Движение в зале.

Н а т а ш а. Поверьте мне, я этого не делала. Это клевета.

Входят Васька и Барабанов. Наташа не замечает их.

Н а т а ш а. Гусакову удалось каким-то способом заставить сына подписать показание о том, что я будто бы столкнула его с лестницы.

В а с ь к а (кричит). Неправду я подписал! Он меня из дому грозился выгнать! Ничего она меня не толкала. Я сам упал. Нечего врать людям!

Ковыляет к столу президиума.

Г у с а к о в (припадочным голосом). Что вы, не видите, что он психический? Разве это ребёнок, как все ребята? Хоть кого спросите! Это же хулиган! Его вся улица знает! Его давно в тюрьму надо!

В ответ Гусакову раздаётся оглушительный хохот. Смеются все, кроме Гусакова, Липы и Драпкина.

Смеющийся председатель звонит в колокольчик, с трудом водворяет спокойствие.

П р е с е д а т е л ь. На этом, товарищи, я думаю, мы закончим наше сегодняшнее собрание.

Люди встают со своих мест и идут к дверям. Выходя вместе со всеми, Наташа сталкивается со Степаном Михайловичем.

Наташа и Степан Михайлович.

С т е п а н М и х а й л о в и ч. А у вас, знаете, появилась твёрдость. Тон взяли правильный. Но вот некоторые слова. Дурак! Зачем же так резко? А? Слово, может быть, нужно было выбрать другое? Как вы думаете?

Н а т а ш а. Трудно мне было сейчас выбирать слова.

С т е п а н М и х а й л о в и ч. Что ж. И это можно понять... Ну, мне пора. До свидания.

Наташу окружают товарищи по работе, поздравляют её, жмут ей руку.

Наташа, Андрей Иванович и Барабанов идут по улице. В центре — Наташа.

Н а т а ш а (Барабанову). Папа мне все уши прожужжал о том, какой ты хороший.

Б а р а б а н о в. А я и есть хороший.

Н а т а ш а. Знаешь, ты, кажется, даже лучше, чем сам думаешь. Правда, папа?

А н д р е й И в а н о в и ч. Много тебе понадобилось времени, чтобы это понять. Ну ладно, не буду тебя сегодня мучить. Как говорится — победителей не судят. Но если ты хочешь хоть раз в жизни меня послушаться, перестань наконец совать нос не в свои дела. Хорошо, мышка?

Заглядывает ей в глаза. Но Наташа его не видит. Взор её устремлён куда-то вперёд.

К остановке подходит трамвай.

Очень маленький мальчик повис на трамвайном буфере.

А н д р е й И в а н о в и ч. Наташа, ты этого не сделаешь!

Наташа вырывается и бежит.

Н а т а ш а (подбегает к мальчику). Слезь, сейчас же! Слышишь?

Мальчик и ухом не ведёт.

Трамвай трогается.

Наташа, помедлив секунду, бежит за ним.

А н д р е й И в а н о в и ч (разводит руками). Беспокойный человек! (Пауза.) И кажется, именно за это я её особенно люблю. (Барабанову.) А вы?

Б а р а б а н о в. Я её люблю и за это и вообще за всё.

Наташа бежит по мостовой за трамваем всё дальше от аппарата. Стаскивает мальчика с буфера и, жестикулируя, в чём-то его убеждает.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

☆

СЛЕЗЫ

У горя много слёз. О них, солёных,
Я умолчу, чтоб не смущать влюблённых,
Которых вы застали бы одних
На той скамье, в конце глухой аллеи.
Есть слёзы и у радости; от них
Лицо любимой женщины светлеет.
Пускай к рассвету
Холодней роса,
Прозрачнее сияет мирозданье,—
Светлее звёзд блестят в слезах глаза,
В слезах любви, горячего признанья.
Пускай не замутят их чистоту
Те слёзы, что сжигают красоту.

МОЙ СТИХ

Чтоб как-то с временем поспорить
И твёрже стать в правах своих,
Будь нужным в радости и в горе,
Мой скромный, неболтливый стих.

Ты в трубачи не взят эпохой,
Но приняли б тебя века,
Когда б с последним чьим-то вздохом
Слетела с губ твоя строка.



АРКАДИЙ РЫВЛИН

★

ОБИДА

Человека обидели.
Боль не сгладить никак.
Он закуривать начал,
Но просыпал табак.
И, не глядя на лужи,
Под огнём фонарей
Он шагает с работы
В старой куртке своей.

Он ошибся впервые,
Он исправит,
 учтёт...
Но его упрекнули,
Что не любит завод.
Что завод он не любит, —
Он, кто плавил металл,
Кто три четверти жизни
Заводу отдал
И кто в трудные годы,
Не страшась умереть,
Мёрз на ржавом железе,
Чтоб завод свой согреть...

Человека обидели.
Всё не так, как всегда.
Даже отдых — не отдых.
И еда — не еда.
И уснуть он не может.
Но, скорее всего,
Тот, кто в этом виновен,
Не поймёт ничего
И на общем собрании
Будет вновь, может быть,
О внимании к людям
Целый час говорить.

В НАШЕМ ДОМЕ

За целый день устав, конечно,
Не торопясь, он входит в дом,
В спецовке,
Пахнувшей кузнечным
Горячим цеховым дымком.

А на посуде — солнца россыпь.
Пол вымыт. Комната светла.
Но хочется ему без спросу
Ворваться в женские дела

И, взявшись по-мужски неловко
За всё, чем занята жена,
Помочь ей, быстро сняв спецовку,
Помочь,
Хоть помощь не нужна.

А если постучится кто-то,
Он сразу отойдёт, смущён,
Как будто немужской работой
Совсем случайно занят он.

МАЛЬЧИШКА И СОЛНЦЕ

Ещё лежал туман голубоватый,
А нам хотелось увидеть восход.
Мы вышли к морю из рыбацкой хаты.
Рыбак-мальчишка
Молча шёл вперёд.

Он разбудил нас, кажется, в четыре,
Чтоб на рассвете,
Шлях пройдя степной,
Нам показать,
Как солнце всходит в мире,
Омытое солёною волной.

Стал бронзовым кусочек небосклона,
Но солнце всё не шло,
И оттого
Мальчишка поглядел на всех смущённо,
Как будто извинялся за него.

Мол, вышла там
Какая-то заминка.
Оно вот-вот покажется, сейчас.
Мальчишка молча вышел на тропинку,
На цыпочки всё время становясь.

Он солнце ожидал над гладью синей,
И так вздыхал,
И так переживал,
Как будто за восход его отныне
Он перед миром
Лично отвечал.



ГОВАРД ФАСТ

★

САЙЛАС ТИМБЕРМЕН

*Роман **

Глава четвёртая

ПРОТЕСТ

Четверг, 2 ноября 1950 года.

В среду, первого ноября, накануне студенческого митинга в защиту Айка Амстердама, Сайлас допоздна засиделся над конспектом своей завтрашней речи. Он с удивлением подумал о том, что, постоянно читая лекции студентам, ни разу в жизни не выступал публично, и ему стало немножко стыдно. Перебирая в уме все свои опасения, Сайлас вдруг понял, что чуть ли не больше всего его страшила необходимость возвысить голос за стенами его твердыни — университетской аудитории. Жажда мирного убежища была исконной потребностью его жизни, и, пожалуй, большую часть её он провёл в поисках такого убежища — убежища от бурь, бушевавших там, в мире, вдали от него, Сайласа, убежища от жестокостей, которые люди чинили друг другу, убежища от голода и холода, убежища от тёмных и неясных страстей, которые люди звали политической. Университетская аудитория и была для него таким убежищем; в ней он был владыкой; студенты его слушали, а сам он, профессор Тимбермен, всегда был тем, кто знает чуточку больше других.

Но на этот раз Сайлас совсем не был уверен в том, что знает больше других; с трудом подбирая слова, которыми он должен был выразить своё негодование по поводу того, что случилось с близким ему человеком, он, казалось, ни на шаг не продвигался вперёд. Если говорить начистоту, он писал свою речь скрепя сердце, ибо, несмотря ни на что, ему попрежнему хотелось жить в мире со всем светом и чтобы ни одна рука не поднялась против него. Он оглядел свой маленький кабинет и подумал: вот оно всё, чего поистине может желать человек, — привычный уют, удобный дубовый письменный стол, полки с книгами от пола до самого потолка — маленькие хранилища мудрости веков, книги, прочно связанные друг с другом нитями традиций и родством культуры; каждая из них приоткрывала ту или иную грань человеческой мысли, а для того, чтобы легче было узреть заключённый в них свет, кругом стояли старинные лампы под зелёными абажурами. Он смотрел на покойные кресла, на гравюры, которые они с Майрой выбирали так тщательно, на вязаный ковёр на полу, где были изображены несущийся на всех парусах красивый корабль и латинское изречение: «*Нотум сум: humani nihil a me alienum puto*». Сколько раз ему хотелось проверить, не у Цицерона ли взяты эти слова, и сколько раз он

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

произносил их про себя: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»¹. Хорошо сказано, гордо сказано! Эти слова как бы выражали смысл того уюта, которым он был окружён; но вдруг Сайлас подумал: «Неправда, вся надёжность твоего убежища так же бессодержательна, как те сосуды, в которых плоды давно уже высохли и лишь твёрдые семечки бренчат в звонкой пустоте». Сайлас поглядел на аккуратную стопку бумаги — три законченные главы своей рукописи, которую он условно озаглавил «Марк Твен и страна, которую он воспел», и вдруг его охватило томительное отчаяние: он понял, какая всё это ложь и как он мало знает о настоящем Марке Твене, о человеке, который умел ненавидеть, возмущаться и негодовать, а ещё меньше знает он о стране, которую тот воспел.

Сайлас снова поглядел на свои книги, на это множество дорогих его сердцу книг, и ему вспомнились писатели древнего Египта; скованные окостеневшей культурой, они всю свою жизнь прилежно переписывали труды ещё более древних авторов, уверяя себя, будто заново творят утраченное искусство литературы.

Ему стало легче, когда в комнату вошла Майра; она поглядела на него, как умела глядеть только она одна, — не то насмешливо, не то с любопытством.

— Дети спят, — сказала она. — Как ты думаешь, есть на свете что-нибудь прелестнее, чем спящие дети? Я принесла дров и затопила камин, теперь мы можем посидеть у огня и подержать друг друга за руки. Разве я плохо придумала? Как твои дела?

— Неважно. Я написал только два абзаца.

— Прочти.

— Они никуда не годятся. Послушай. «Я знаю Айка Амстердама двадцать лет. И все эти двадцать лет он был мне другом и учителем...» Ерунда! Никуда не годится. Совсем не то, что я хочу сказать.

— А что ты хочешь сказать?

— Сам хорошенько не знаю. Знаю только, что мне хочется закричать во всё горло о том, какие у нас творятся мерзости и безобразия, о том, что нас разъедает проказа и от всего этого до небес воняет гнилью и разложением!

— И ты молчишь потому, что твой вопль сочтут бестактным, пристрастным и невоздержанным...

— Язвительность тут не поможет.

— А я и не собираюсь язвить. Я ведь тоже над этим думаю, Сайлас. Кстати, мне хочется спросить у тебя одну вещь. По-моему, с этого-то всё и началось. Почему ты подписал воззвание против атомной бомбы?

— А почему ты его подписала?

— Я ведь спрашиваю тебя. А ты потом спросишь меня.

— Ладно, постараюсь ответить. Разве легко объяснить, почему ты что-нибудь делаешь? Ведь людям вроде нас с тобой почти никогда не приходится объяснять свои поступки.

— Да, во всяком случае не часто.

— Тогда с этим воззванием ко мне обратился Алек Брэди, и знаешь, Майра, стоило ему открыть рот, как я сразу понял, кто он такой.

— В каком смысле — кто он такой?

— Я сразу понял, что он коммунист.

Майра невольно взглянула на дверь, и Сайлас закричал резким и злым голосом:

— Вот видишь! Почему ты туда посмотрела? Господи боже мой, да неужели даже это слово нельзя произнести без страха? Что за кошмар, что за благопристойный, цивилизованный и тем более чудовищный кош-

¹ Из комедии Теренция. (Примеч. перев.)

мар, в котором мы живём? Я всё время повторяю себе, что я свободно-рождённый, независимый гражданин Соединённых Штатов Америки, но стоит мне произнести слово «коммунист», как мне уже угрожает опасность, а моя жена пугается, не услышал ли кто-нибудь того, что я сказал!

— И услышит, если ты будешь так орать.

— Но ведь здесь у нас штат Индиана, а не гитлеровская Германия!

Майра сидела очень спокойно, сложив руки на коленях, и разглядывала Сайласа с любопытством, которое испытывают к новым и ещё не очень понятным знакомым.

— Ну хорошо,— сказала она негромко.— Ты понял, что Алек Брэди — коммунист. Может, ты мне скажешь, из чего ты это заключил?

— Я знаю, почему я понял, но вряд ли смогу объяснить. Ты спрашиваешь, зачем я подписал это проклятое воззвание. Видишь ли, я поглядел на Брэди и спросил себя: ради чего он возится с этим воззванием? И пойми, моя дорогая, моя милая, бесценная и обожаемая жена, мы с тобой живём в таком беспринципном мире — в мире, настолько лишённом интереса к чему бы то ни было, кроме собственной шкуры, в мире, который так напоминает мне наш проклятый холодильник, который только давит у нас на кухне, словно домовой, что я сразу же понял: Брэди только потому возится с этим воззванием, что он член коммунистической партии. Знаешь, я его даже об этом спросил.

— И что же он тебе ответил? — поинтересовалась Майра.— Если ты, конечно, можешь сказать.

* * *

Дело было в начале июня прошлого года, за несколько дней до каникул; Сайлас и Брэди сидели на одной из каменных скамеек у опушки густой дубовой рощи, которой так справедливо славился университетский городок Клемингтон. Было около пяти часов; тени летнего дня удлинились, и сумерки медленно и неслышно одевали окрестности в свой покров. Всё это вместе взятое, вспоминал теперь Сайлас, пробуждало в нём ту неодолимую грусть, которую он всегда испытывал в конце учебного года. Брэди сказал Сайласу, что хочет с ним поговорить, вот они и пришли сюда, болтая о том, о сём; Сайласу нравилось общество Брэди — этот человек был ему по душе, хотя он и не совсем его понимал; ему нередко хотелось отгадать, что у того на уме. Говоря по правде, Брэди вызывал у Сайласа не только симпатию, но и некоторую опаску — да и не он один: Сайлас чувствовал, что и другие люди, которые ему здесь нравятся, вызывают в нём какое-то недоверие; ему всегда казалось, что он чем-то хуже их, и, боясь, что его могут оттолкнуть, держался от них на отлёте. Но с Брэди ему почему-то было легко. Вытянутое и, пожалуй, некрасивое лицо Брэди было чем-то привлекательно, а рыжая бахрома, обрамлявшая лысину, делала его похожим не то на мудреца, не то на клоуна; как и у многих ирландцев, голос у него был звучный и приятный.

Отношения их отнюдь не были близкими, но их объединяла привязанность к Айку Амстердаму, причём отчуждённо держался скорее Сайлас, чем Брэди. Несколько вечеров, которые они провели вместе, Сайлас вспоминал с огромным удовольствием; он был покорён жёсткой и беспощадной оценкой, которую этот рослый человек давал тому, что творилось в мире и теперь и в прошлом, и в то же время именно это Сайласа от него и отталкивало. Сайлас чувствовал себя неловко с людьми, чьи познания носили специальный характер, а суждения были резкими и бескомпромиссными. К тому же он не раз придирчиво спрашивал себя: а чего ради Брэди, с которым я так люблю бывать, ищет общения со мной?

Он спрашивал себя об этом и теперь, испытывая маленькое удовлетворение от того, что Брэди явно что-то от него было нужно. Брэди дал ему

воззвание, осуждающее атомную бомбу ныне и во веки веков, но оно как-то не вязалось с этим трезвым человеком. Сайлас прочёл воззвание — а оно было совсем кратенькое — и помолчал; мысли его громоздились в мозгу без особенной связи; вдруг он решил, что Брэди — коммунист. «Да неужели именно Брэди?..» — спросил он себя, сразу же забыв о воззвании и наслаждаясь тем, что его озарила такая удивительная догадка, хотя в самом факте в общем-то не было ничего удивительного. С характерной для него прямоотой он сразу же спросил собеседника:

— Вы коммунист?

— Почему вы спрашиваете? — поинтересовался Брэди.

Об этом разговоре Сайлас рассказал Майре теперь, пять месяцев спустя. Люди ни с того ни с сего не дают друг другу таких воззваний. Они сами изобрели огромный атомный котёл, и в этом котле каждый должен вариться сам по себе; какое было дело Сайласу, что его сосед, жена или дети его соседа или миллион других людей, где-нибудь в Тимбукту, будут испелены? Люди теперь были хорошо обработаны; их не могла испугать подобная перспектива, и Сайлас был обработан не хуже других. Поэтому он и сказал Брэди:

— Зачем в противном случае вы стали бы предлагать мне подписать это воззвание?

— Ну и невесело же вы смотрите на нас и на нашу жизнь!

— Да, если подходить ко всему с вашей точки зрения.

— А у вас есть какая-нибудь другая точка зрения?

— Вы же понимаете, о чём я говорю. Если бы я мог верить, как верите вы, что за русской загадкой кроется что-нибудь хорошее, помимо бессмысленного насилия и муштры...

— Почём вы знаете, во что я верю? Вы действительно не сомневаетесь в том, что я коммунист?

— Кажется, нет. А вы коммунист?

— Раз вы всё равно в этом не сомневаетесь, к чему мне удовлетворять ваше любопытство? — с улыбкой заметил Брэди. — Ну, а воззвание вы всё-таки подпишете?

— Разве вы предложили бы мне его подписать, если бы заранее не были уверены, что я его подпишу? — ответил Сайлас не без грусти.

— Да нет, наверно бы не предложил.

— А какой смысл в вашем воззвании? Может быть, разница между мной и вами, Алек, в том и состоит, что я этого не понимаю. Я не верю, что такая бумажка принесёт какую-нибудь пользу.

— Если много людей выскажет определённое мнение, к нему надо будет прислушаться.

— Много? — Сайлас поглядел вдаль, на университетский городок.

— Дело ведь касается не одного Клемингтона. Во всём мире люди тоже хотят жить. Людям надоело, что ими так бессовестно пользуются...

— Насколько я понимаю, весь вопрос в том, кто ими пользуется умнее других. Я слышал, что идея этого воззвания принадлежит русским, правда?

— Не стану с вами спорить, хоть это и неправда. Важно то, что мы пытаемся положить конец этому проклятому кошмару, прежде чем он станет явью.

— Если я подпишу, — сказал Сайлас, перечитывая воззвание, — если я его подпишу, как вы думаете, мне будут грозить неприятности? Я ведь не меньше других боюсь подписываться под разными петициями. Иногда я получаю их по почте и не подписываю, даже когда считаю справедливыми. Я, как и другие, живу самообманом. Я живу в свободной стране, однако я боюсь подписать воззвание и в оправдание моего страха убеждаю себя в том, что меня хотят использовать в неблагоприятных целях,

что это — жульничество, заговор... — Он поднял глаза на Брэди. — Вы ведь именно так рассуждаете, не правда ли?

— Нет, это вы так рассуждаете, — ответил Брэди.

— Всё равно я, кажется, не подпишу. Почему вы решили, что я подпишу?

— Вы ведь сами мне только что объяснили. Мы живём с вами, Сайлас, в плохое время. Вы можете говорить сейчас о России всё, что вам вздумается, но все ваши разговоры ни на йоту ничего не изменят. Дело в том, что мы живём с вами в чертовски плохое время и на нашу страну опускается непроницаемая завеса страха; люди напуганы и боятся себе в этом признаться, они заморожены, подавлены... Учителей травят, учёным запрещают думать то, что они думают, а писателям — писать то, что они пишут, и жгут их книги, если они «не соответствуют». «Соответствовать» — вот основной закон нашей эпохи. У нас в Америке принято было говорить, что патриотизм — надёжное прикрытие для проходимцев, а сейчас патриотизм у нас стал прикрытием и для трусов тоже. Но вы поймите, с человечеством такие вещи случаются не впервые, и Америка — не первое место на земле, где они происходят. И всё равно ничего не выйдет. Нельзя согнать сто шестьдесят миллионов людей, щёлкнуть бичом и приказать им прыгать через обруч. Всегда найдутся люди, которые не захотят прыгать, люди, которые настаивают на своём праве думать, оценивать действительность, люди, которые считают, что именно это и делает их людьми, и они никому не пожелают уступить своего права быть людьми. Потому-то я думаю, что вы подпишете воззвание, даже если вы и решили, что я в самом деле коммунист и что вся эта затея — ловушка, расставленная коммунистами.

В конце концов Сайлас всё-таки подписал воззвание. И теперь он рассказал об этом Майре.

* * *

Он не сразу понял, почему она задала ему этот вопрос, — как обычно, вопрос позабылся, пока он на него отвечал. Сам он, Сайлас Тимбермен, представлял собой два отдельных явления, двух разных людей, две жизни, два самосознания. Одной жизнью он жил, другая была сознанием, оторванным от поступков, если, конечно, его не вынуждали действовать, как, например, тогда, когда все Соединённые Штаты и большая часть остального мира прочли со смесью удовольствия, тревоги, а может быть, и ужаса о том, что одному из профессоров университета Среднего Запада было запрещено читать лекции о творчестве Марка Твена.

— Пойдём, у меня всё равно ничего не выходит, — сказал он Майре; они прошли в гостиную и сели на кушетку против камина.

Майра украдкой наблюдала за Сайласом, чутьём угадывая, какая у него в душе царит сумятица, как одна мысль борется с другой, такой же беспокойной мыслью. Так ей по крайней мере казалось, но она сама удивилась, применив слово «беспокойный» к Сайласу, который всегда ей представлялся олицетворением спокойствия. И вот сидит с ней рядом этот человек, с которым она так прочно связала свою жизнь, — высокий, сухощавый, урколицый, скорее робкий...

Можно было подумать, что он угадал её мысли. Сам он в это время мысленно оценивал и Алека Брэди, и Айка Амстердама, и самого себя.

— Знаешь, а я ведь трус, — сказал он Майре и посмотрел на неё почти с вызовом.

— Наверно, большинство людей в большинстве случаев жизни трусы, — согласилась она.

— Я не хочу завтра выступать. Не могу. Не могу выйти перед всеми этими студентами и произнести речь. Не могу, Майра.

— Наверно, и правда не можешь.

— Что же мне делать?

— Они ведь сейчас верстают «Фулкрум»... Поезжай туда, сделай заявление, объясни, как тебя подвели, а раз ты уверен в том, что Алек Брэди — коммунист, у тебя есть прекрасный выход: ты можешь сказать им, что студенческий митинг — это дело рук коммунистов...

— Отличный совет!

— А что бы ты хотел от меня услышать, Сайлас? Я вот всё время думаю: так ли уж мы не похожи на прочих наших соотечественников или, наоборот, не слишком ли мы на них похожи? Наша прославленная просвещённость ничем не отличается от их мракобесия, не так ли? Ты трус, и я тоже. Раньше я просто кокетничала нашей трусостью, но в глубине души я знала, что мы и на самом деле трусы. Я боюсь и не знаю, как же я стала бояться. Не могло ведь это случиться за последние несколько недель! Нет, не могло.

— И когда ты ищешь моей помощи, тебе не на что опереться?

— Как тебе сказать...

— Что же с нами такое? — спросил он беспомощно. — Мне сорок лет, а у меня нет ничего за душой. Бывало, я спал как убитый, а теперь вороочаюсь с боку на бок и думаю о том, как мало мне осталось жить. Я просто заблеваю от одной мысли о смерти.

Майра ничего не ответила; она смотрела в огонь, и отсветы пламени играли на её лице — красивом лице сильной женщины, настолько же полной жизненных соков, насколько сухощав был он сам.

— Ты когда-нибудь жалела, что вышла за меня замуж?

— Иногда.

Ей мучительно хотелось, чтобы он разозлился, взволновался, пришёл в ярость, но она знала, что этого не будет.

— Мне всегда чего-то недоставало, правда, а? Не богатый, не бедный. Не злодей и не герой...

— Давай-ка лучше пойдём спать! — сказала она вдруг с горечью.

* * *

«Таймс» писала: «Высокий, нескладный, близорукий, до удивления напоминающий старомодную карикатуру на учителя, профессор Сайлас Тимбермен едва ли похож на человека, занимающегося подрывной деятельностью...»

Утром, когда Сайлас проснулся и увидел, что идёт дождь — мелкий, холодный и противный дождь, который будет нескончаемо лить, подгоняемый внезапными яростными порывами ветра, — он сказал себе: «Слава богу, митинга не будет». Но к тому времени, когда ему надо было выйти из дому, дождь прекратился; осталось лишь холодное, серое, исхлётанное ветром небо.

«Трибюн» была встревожена, но не слишком. «Нас утешает мысль, что подобная чепуха — не новость для Америки. Противодия надо искать в смехе. Следует, однако, помнить, что такие истории вряд ли способны оказать услугу подлинной борьбе с подрывными элементами».

По дороге Сайлас встретил Сьюзен Аллен.

— Ну, разве не замечательная погода? — закричала она ещё издали. — И разве вашей душе не хочется взлететь вдогонку за этим сумасшедшим ветром? Люблю такие дни. Сегодня мне, кажется, больше всего на свете хотелось бы быть чайкой.

— Вы с Бобом придёте на митинг? — спросил её Сайлас.

— Конечно. Хотя я и ненавижу коммунистов, но, как подумаешь о бедном профессоре Амстердаме — ведь я его знаю столько лет, — невольно начинаешь злиться и хочется как-то выразить своё возмущение.

«Сент-Луис пост», выходящая неподалёку от места происшествия, высказала более мрачный взгляд на это дело:

«Мы лично считаем, что слухи о политической неблагонадёжности Марка Твена сильно преувеличены. Однако, вне зависимости от литературных взглядов клемингтонской администрации, трудно согласиться со снятием студента Алвина Морзе с поста редактора газеты «Фулкрум». Эта газета завоевала себе почётную известность среди других университетских газет, и не один вполне уважаемый журналист дебютировал на её страницах. На самый худой конец, Морзе можно обвинить в недостатке осторожности, однако свобода студенческой прессы даёт право её редакторам на ошибки и на исправление этих ошибок».

Когда Сайлас вошёл в свой кабинет, Лоуренс Кэплин был уже там; он заметил, что вид у Сайласа не очень-то весёлый.

— Наверно потому, что я повздорил с Майрой,— сказал Сайлас; он был настолько выведен из равновесия, что изменил своему всегдашнему обыкновению не делиться подобными вещами с кем бы то ни было.— Мне кажется, что я её всё меньше и меньше понимаю.

— Мы год от году всё хуже и хуже понимаем женщин, на которых мы женаты, а они нас. Не сочтите мои слова пошлой остротой, Сайлас. Как и в других областях, мы пожинаям то, что посеяли. С нетерпением жду вашей сегодняшней речи. Надеюсь, что народу на митинг соберётся много — так много, чтобы можно было положить конец этой подлости.

— И сколько же, по-вашему, нужно для этого народу?

— Гораздо больше, чем соберётся,— грустно улыбнулся Кэплин.

Самая крупная газета в округе, выходящая в Чикаго, не могла скрыть своей радости:

«Можно только порадоваться тому, как молниеносно справился президент Клемингтонского университета Антони Ч. Кэбот с ситуацией, которая в противном случае могла вызвать крайне неприятные последствия. Заявление, опубликованное им в первом номере газеты «Фулкрум», выпущенном уже новой редакцией, о том, что он приветствовал бы получение подписки о лояльности от всех преподавателей Клемингтона, сильно раздражит атмосферу. Мы давно были сторонниками того, чтобы подписки о лояльности были даны всеми преподавателями всех учебных заведений, включая сюда и такие, не облагаемые налогом университеты, как Клемингтонский. Утверждение, что подписка о лояльности якобы несовместима со свободой образования,— чистая клевета. Человек, который отказывается принести клятву в лояльном отношении к своей стране и клятвенно опровергнуть своё участие в какой бы то ни было подрывной организации, недостойн обучать наше юношество».

«Сколько времени уже прошло? — спрашивал себя Сайлас, машинально читая лекции, машинально ведя свои семинары.— Две недели, неужели только две недели!»

В коридоре он встретил Эда Лундфеста; оба на секунду приостановились и, ещё не поздоровавшись, молча поглядели друг на друга. Они должны были поздороваться, ведь они жили в цивилизованном обществе!

— Здравствуйте, Эд,— в конце концов произнёс Сайлас.

Лундфест кивнул головой и прошёл мимо.

— Чёрт знает что! — сказал ему вслед Сайлас и улыбнулся в первый раз за весь день.

«Миррор», газета Восточных штатов, высказалась чётко и прямолинейно: «Мы никогда не стояли за коммунистов, а ещё меньше хотим мы их видеть в наших школах. Дети не могут научиться у коммунистов ничему,

что им полезно было бы знать, и чем скорее коммунистов вышвырнут из нашей системы образования, тем лучше, даже если при этом и поморщится кое-кто из людей, слишком чувствительных. Что же касается Марка Твена, ручаемся, что он это переживёт!»

Такая прямота в выражениях не очень отличалась от тона писем, которые в последнее время получал Сайлас, — совершенно непривычных для него писем, обильно уснащённых словами, какие можно прочесть лишь на заборах, а не на бумаге. Сайлас читал эти письма с ощущением, что он делает это в бреду. Некоторые письма были из Индианополиса и напоминали ему, что национальный штаб Американского легиона находится недалеко; другие — из самого Клемингтона, но все они были без подписи, и Сайлас тщетно старался себе представить, что за странные существа их писали и что за болезненное удовольствие они от этого получали. В одном из писем, посланных из Индианополиса, было сказано почти дословно то же, что в газете «Миррор»:

«Тебе нечему учить, и лучше всего катись подобру-поздорову к себе в Россию, где всем вам, вонючие коммунисты, место. А если не поедешь, мы тебя хорошенько, по-американски, проучим — вставим кол в задницу или подвесим на верёвке куда следует. Вместе с сукой, на которой ты женился».

Сайлас не показывал этих писем ни Майре, ни даже Брэди. Он уничтожал их, как нечто постыдное; ему казалось, будто, прочтя их, он и сам покрывается грязью.

Когда он в два часа дня вышел из Уиттир-холла, у дверей его встретила Майра. Она ему улыбнулась, и по лицу его в ответ расплылась широкая улыбка; внезапно он почувствовал, что снова молод, влюблён и в целом мире не видит и не слышит ничего, кроме своей любимой.

— Мне показалось, что тебе одному будет скучно, — сказала она.

— Правда?

— Ага. Как твоя речь? Ты что-нибудь написал?

— Нет. Обойдусь и так. Скажу несколько слов, и всё будет в порядке. Я так рад, что ты пришла.

Он взял её под руку. Дождь уже больше не шёл, но на улице было попрежнему холодно и ветрено; небо над головой казалось свинцовым. Опавшие листья покрывали газоны и дорожки; взмокшие от дождя, они устлали землю влажным ковром, а поверху носились ещё сухие листья, только что сорванные ветром. Даже отсюда, с порога Уиттир-холла, им было видно, как в другом конце городка к памятнику Жертвам Гражданской войны на Юнион-плаза стекаются студенты; однако сотни других студентов расходились в разные стороны с видимым безразличием, и Сайлас понял, что события, игравшие такую важную роль в его жизни, оставляют множество живущих подле него людей холодными и равнодушными. Неужели то же самое происходит по всей стране, и каждый в одиночестве переживает свою маленькую трагедию?

«Они не видят и не желают знать, по ком звонит колокол», — подумал он, а потом вспомнил, что и сам ещё несколько недель назад так же мало интересовался подобными вещами, как и они: «Я пашу мою борозду, а ты паши свою».

Майра заметила тоску у него в глазах, и её словно кольнуло в сердце.

— Сайлас!

— Ничего, — сказал он, улыбнувшись, и улыбка не была деланной.

В прежние времена его душевное состояние было куда более ровным, однако с недавних пор его так выбило из колеи, что настроение у него беспрерывно менялось.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила его Майра.

— Хочешь, я скажу тебе, как я себя чувствую? Я себя чувствую так, словно мы только что встретились и я в тебя влюблён, но боюсь, что любовь моя останется безответной. Вот как я себя чувствую!

— Это самое приятное, что ты мне сказал за долгое, долгое время, Сай.— И всё же она смотрела на него с тревогой.— Прости меня за вчерашнее. И ты за меня не бойся. Уж не думаешь ли ты, что я тебя брошу? Не брошу, нет.

Они шли через городок под руку, а ветер становился всё холоднее и всё яростнее.

— Нехорошо для митинга, что сегодня такая погода, правда?

— Не знаю,— ответил он, потому что и в самом деле очень мало знал о всяких таких вещах, не знал он и чего можно было ожидать от митинга протеста на открытом воздухе; однако ведь существовал же целый мир, где ничего не давалось легко и без боли, где за каждую вещь приходилось драться и где люди снова и снова вставали плечом к плечу, потому что у них не было другой силы, кроме своей численности, кроме множества сомкнутых, ничем не вооружённых рук, кроме яростных глоток.

Когда Сайлас и Майра подошли к толпе студентов, собиравшихся на митинг, у Майры вдруг стало легко на сердце, её словно подхватила дикая, первозданная одержимость неба и ветра и наполнила молодой силой, гордостью и удивительным счастьем, поэтому рука её крепче обхватила руку Сайласа, а тело теснее прижалось к его телу. Его же, наоборот, отвлекли куда-то далеко от неё воспоминания детства, какие-то мимолётные видения: маленький, плохо защищённый от непогоды домик неподалёку от лесопилки, где работал отец, потом другие домики, в которых они жили, когда, оголив от деревьев землю, лесопилки стали закрываться одна за другой и у высохшего, изнурённого трудом, сгорбленного и разбитого отца не осталось много достояния, кроме гордости за сына, который, даст бог, будет черпать из сокровищницы знаний, а не надрываться в поте лица своего...

* * *

Он поднялся на широкий гранитный постамент памятника Жертвам Гражданской войны, и бородатый человек из камня — большой, добрый и не искушённый в умствовании лукавом — остался у него за спиной, поддерживая каждой рукой по раненому мальчику и напоминая, что в войнах всегда гибнут главным образом мальчики; когда Сайлас поднялся, чтобы произнести свою речь, он уже знал, что скажет, хотя ещё мгновение назад не отдавал себе в этом отчёта. Он стоял у микрофона, глядя на тысячу обращённых к нему лиц, и вначале очень нервничал, держа руки в карманах и чувствуя, как его ладони и воротник становятся влажными; но потом волнение куда-то ушло, и он стал совершенно спокоен. И Майре и многим другим, глядевшим на Сайласа, высокого и такого доброго по виду человека, резко выделявшегося на фоне каменного памятника и рваных облаков ветреного неба, он и прежде, чем заговорил, казался фигурой драматической и даже больше — незабываемой, казался как бы олицетворением человеческой мольбы о трезвом, разумном устройстве мира в эпоху, когда трезвость и разум доживали свой век; для самого же Сайласа сейчас существовала лишь его решимость выбраться из смущавших его противоречий, и поэтому, заговорив, он похоронил прошлое, хотя и понимал, что будущее ещё туманно и никак не завоёвано.

Он заговорил медленно и негромко, довольный тем, как разнесится его голос, усиленный микрофоном, который установили для него студенты; но по мере того, как он продолжал свою речь, голос его креп и становился всё твёрже, всё жёстче. А начал он говорить очень мягко.

— До сегодняшнего дня я чувствовал себя довольно одиноким. Рядом со мной всегда было несколько друзей, однако их было мало для того, чтобы избавить меня от чувства одиночества. Но больше одиночества не будет. Не знаю, чем кончится эта позорная история, но, даже если в нашем городке никогда больше не будет такого многочисленного собрания, всё равно я буду знать, что у сотен наших студентов есть сердце, которое чувствует, и голос, чтобы выразить их чувства.

Вчера вечером я думал, что буду говорить с вами о моём друге профессоре Амстердаме, которого я ценю, люблю и уважаю и который удостоил и меня своей дружбой, однако я понял, что мне не пристало защищать его. Он не нуждается в защите — благородным людям не нужны свидетельства о честности. Вместо этого я хочу поговорить с вами о том, что кроется за всей этой историей, — о той тёмной, мертвенной пелене страха, которая обволакивает всю нашу страну.

Ну, не странная ли это форма тирании — тирания, которую большинство из нас отказывается признать и поэтому не может встретить лицом к лицу? А впрочем, тиранию эту не так уж трудно перенести, ибо единственное, чего от вас требуют, — отказаться от разума и совести, а мне кажется, что мы быстро идём к тому, чтобы презирать разум и пользоваться самыми дикарскими представлениями о совести. Я говорю обо всём этом с чувством глубочайшего унижения, ибо всего лишь несколько недель назад я и сам принадлежал к тем, кто начисто отрицал существование какой бы то ни было тирании, и лишь событие, о котором вы знаете и теперь уже, к нашему стыду, знает весь мир, открыло мне глаза на действительность.

Ну что ж, уволен старый, почтенный преподаватель. Я знаю, как изобретательно человечество, выдумывая всё новые и новые жестокости для своих ближних, поэтому публично выгнать и обесславить учителя — не самое худшее наказание, которому можно подвергнуть человека. Но подумайте, что это значит. Они убили в нём какую-то частицу его «я», может быть, самое высокое, чем он обладал, они убили в нём то, что он отдавал другим и что делало его жизнь осмысленной и полезной. И, конечно, наивно думать, что такой вот уволенный преподаватель, на котором лежит пресловутое «морально-политическое клеймо», получит работу в каком-нибудь другом учебном заведении. Нет, не получит. Правда, если он человек обеспеченный, он может сделать вид, что пишет воспоминания или заново переводит Горация. Если же он человек не обеспеченный, — а какому преподавателю удаётся нажить состояние? — ему придётся хлебнуть немало горя, если даже кто-нибудь и захочет в конце концов взять его на работу.

Я узнал всё это недавно. Я узнал это в последние две мучительные недели, но узнал досконально и с полным правом говорю вам, что такая угроза висит над каждым преподавателем в Америке. Мы живём в страхе и работаем, обуреваемые страхом, и большинство из нас кричит всё громче и громче, что нам нечего бояться. Вот наш щит, но, поймите, щит этот картонный, и он не может нас уберечь. Всё, что мы знали о гитлеровской Германии...

Тут его прервали. В этом месте его речи кто-то крикнул пронзительно и визгливо:

— А как насчёт Советской России?

Сайлас замолчал, течение его мыслей было прервано, тело окаменело, словно в параличе; это ощущение покинуло его не сразу, а лишь постепенно и не без боли. Всё остальное, что он хотел сказать, улетучилось, кроме нескольких слов:

— Я ничего не знаю о Советской России и, оказывается, так мало, так чудовищно мало знаю об Америке...

Майра сказала ему потом, что он произнёс хорошую, очень хорошую речь, ясную, прямую и по существу дела, к тому же короткую, как все хорошие речи. Но её слова не могли поколебать его глубочайшего убеждения в том, что он потерпел неудачу. Он сказал слишком мало и сказал плохо. Он не обратился с призывом восстановить Айка Амстердама, хоть и намеревался это сделать в конце речи, и ни слова не сказал об Алвине Морзе. И словно мысль его обладала магической силой, к нему из толпы стал протискиваться сам Морзе в сопровождении Хартмана Спенсера и каких-то двух студентов.

— Я хочу сказать вам спасибо, — начал Морзе; лицо его было серьёзно и искренне. — Для такой речи надо было иметь мужество.

Сайлас никогда раньше не думал, какой Морзе маленький и шуплый, словно мальчик из романа Диккенса, с закинутой назад головой и вытянутой шеей, совсем как на одной из старинных иллюстраций Крюикшенка. Вид у него был отнюдь не располагающий, и надо было хорошенько в него взглядеться, чтобы заметить, как горят его глаза, как он весь подобран и полон энергии; тогда вдруг возникало желание ему понравиться. Подумать только: ведь у Сайласа сперва было такое же чувство к Леноксу, а вот теперь оно возникло и к Морзе, и Сайлас вдруг подумал, что за все годы, проведённые им в Клемингтоне, он так и не узнал своих студентов, не узнал их как следует, близко. Он принялся объяснять Морзе, почему он ни словом не обмолвился о его снятии с поста редактора «Фулкрум», но Морзе нетерпеливо замотал головой.

— Да что вы, это было бы совсем некстати, сэр. А то, что вы сказали, было очень кстати. Мне-то не грозит никакой опасности, она грозит вам.

Глава пятая

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Воскресенье, 11 ноября 1950 года.

Дней десять спустя, в воскресный вечер, когда Сайлас и Майра кончали ужинать, в передней раздался звонок. Точнее — послышался перезвон колокольчиков. Когда кто-нибудь нажимал кнопку звонка, в доме звучали четыре ноты: «та-да-да», а затем ещё на одном «да» звук внезапно обрывался. Этот перезвон не нравился Сайласу ещё тогда, когда они с Майрой покупали дом; он сразу же сказал себе, что заменит звонок на обыкновенный, старомодный, но так и не решился потратить деньги на удовлетворение пустой прихоти и, попрежнему ненавидя колокольчики, даже окружил их чем-то вроде поэтического ореола: они стали для него символом маленьких неудач и мелочных стремлений.

В тот вечер, когда раздался звон колокольчиков, Сайлас и Майра ужинали позже обыкновенного — они иногда разрешали себе такую вольность по воскресеньям; в этот день они поздно завтракали, а к вечеру отправляли детей спать прежде, чем сами сажались за стол. Единственный раз в неделю они ели вдвоём, без детей, если не считать редких случаев, когда у них бывали к обеду гости или они сами обедали в гостях; ужин вдвоём был для них особенным удовольствием, и они старались его продлить, болтая обо всём, что накопилось за неделю, даже о пустяках, если они могли служить пищей для разговора. Вот почему воскресный ужин был им так дорог; они как раз принялись за кофе и сладкое, и Сайлас так и сиял от довольства всем на свете, Майрой и самим собой, когда благодущие его нарушила эта неожиданная помеха; его разозлил звонок, и он воскликнул:

— Какого чёрта там принесло? Разве кто-нибудь собирался к нам вечером?

— Мне об этом ничего не известно,— сказала Майра.

Тогда он пошёл к двери и отворил её. На пороге стоял человек, которого он никогда прежде не видел; человек спросил негромко, растягивая слова, не он ли профессор Сайлас Тимбермен.

— Да, это я,— ответил Сайлас.

— Видите ли, я сотрудник сенатской комиссии по внутренним расходам и должен вручить вам повестку, так что давайте приступим к делу.

С этими словами он передал Сайласу сложенный лист бумаги.

Мгновение Сайлас безмолвно глядел на бумагу с чувством самого настоящего страха — вот она, злая судьба, которая так долго охотилась за ним и наконец настигла его. Сайлас почувствовал, как сердце его торопливо забилося, грудь сдавило, а в висках застучали маленькие молоточки. Без всякой связи он подумал о колокольчиках, стараясь припомнить, почему он их, собственно, не влюбил; мысли его никак не были связаны ни с тем, что происходило, ни с одолевавшим его ужасом; он сделал усилие, чтобы овладеть собой и сосредоточиться на том, что случилось. Потом ему удалось немножко успокоиться, и он спросил:

— Что вы хотите сказать? Что это за бумага?

— Повестка.

— Мне? О чём? Вы не ошиблись адресом?

— Поглядите сами, профессор. Здесь указана ваша фамилия.

К двери подошла и Майра. Она почувствовала, что он испуган,— словно самый воздух вокруг пропитался страхом,— и зажгла свет в передней.

— В чём дело, Сайлас? — спросила она.

— Не знаю.

Сайлас развернул повестку, и они прочитали её вместе. В ней чёрным по белому было написано, что ему предлагается предстать перед сенатской комиссией по внутренним расходам для дачи показаний в среду, 14 ноября 1950 года, в 10 часов утра. Неявка будет рассматриваться как оскорбление власти. Вот и всё, что было сказано в повестке; её спокойный тон и деловитость рассеяли его страх. Он положил Майре руку на плечо, чтобы ободрить её, и спросил человека, который принёс повестку:

— А что такое эта сенатская комиссия по внутренним расходам? Что им от меня нужно?

— Я ведь не выписываю повесток, профессор, я их только вручаю,— ответил тот.

Затем он вежливо пожелал им спокойной ночи и пошёл к своей машине.

Сайлас и Майра вернулись на кухню, и Сайлас снова уселся за стол; они действовали машинально, стремясь укрыться в том убежище, которое одно только и могло прийти им на ум. Кофе остыл. Майра вылила его и снова наполнила чашки из кофейника.

— Ничего не понимаю,— сказала она.

— Сенатская комиссия по внутренним расходам...

— Зачем ты им понадобился?

— Не знаю... Может быть, в связи с этой дурацкой чертовщиной...

— Но при чём тут сенатская комиссия по внутренним расходам?

— А не комиссия ли это сенатора Брэннигена?

— Не знаю. С одной стороны, как будто нет ничего страшного, а с другой стороны, всё-таки страшновато. Я-то думала, что уже перестала бояться. Ты тоже испугался, Сай?

— Больше, чем ты.

— Что ж ты будешь делать?

— Пожалуй, позвоню Айку Амстердаму,— сказал Сайлас.

— Сперва допей кофе,— посоветовала ему Майра.

* * *

Амстердам подошёл к телефону и, узнав голос Сайласа, сказал с ехидным смехом:

— Добро пожаловать. Значит, и вы вступили в нашу компанию?

— В какую компанию? Чёрт возьми, Айк, бросьте валять дурака! Мы с Майрой оба очень расстроены. Только что какой-то тип вручил мне повестку от сенатской комиссии... по каким-то там расходам.

— По внутренним расходам. Мне принесли повестку ещё в семь часов вечера. Харту Спенсеру тоже. Только что звонил Брэди, и он получил свою повестку. Федермен и Кэплин уже идут сюда. А Эдна Кроуфорд была как будто первой в списке.

— Что всё это значит, Айк?

— Это значит, что начинается очередная серия грязных расследований и что на сей раз выбор пал на Клемингтон. Я бы сказал — к чести для всех нас. Мне кажется, Сайлас, что вам тоже следует ко мне прийти. Остальные уже в пути. Дело в том, что мне удалось раздобыть адвоката из Индианополиса, Мак-Алистера, — он парень хороший во всех отношениях. Мак-Алистер пообещал приехать к нам сразу же, хотя, может, немного и задержится. Какая дата указана в вашей повестке?

— Кажется, десять часов утра в среду.

— Как и у остальных. Значит, у нас остаётся очень мало времени. Придётся выехать послезавтра.

— Выехать?

— Ну да, в Вашингтон.

— А я ещё не уверен, хочу ли я ехать в Вашингтон или куда бы то ни было, — заметил Сайлас с раздражением.

— Давайте не спорить по телефону. Идите-ка лучше сюда.

Сайлас вернулся на кухню и сказал Майре:

— Он хочет, чтобы я пришёл к нему.

— Думаю, что тебе следует пойти.

— Зачем? Чёрт бы их подрал, Майра, ведь, кроме меня, вызывают ещё шестерых... Что-то мне всё это не нравится... Я не хочу, чтобы меня впутывали в какую-то историю!

— Не говори глупостей, Сайлас. Тебя уже давно и безнадёжно в неё впутали, — рассудительно заметила Майра.

— Но во что?.. Во что? Скажи хоть ты мне, бога ради!

— Не кричи на меня.

Она поднялась, подошла к нему сзади и обняла за плечи.

— Сай, Сай... Неужели мы будем терзать друг друга всякий раз, когда что-нибудь случится? Я знаю, что у тебя на душе. У меня на душе не лучше. Мы ведь не трусы, просто мы никогда не ожидали ничего подобного. Мы никогда не слыхали ни о чём подобном. Ты же видишь, что у нас творится!

Он молча покачал головой. В глазах его были слёзы; ему хотелось уткнуться лицом в стол и заплакать. Он чувствовал себя, как маленький ребёнок, заблудившийся в лесу, где ему на каждом шагу грозили напасти и несметные беды.

Майра сказала ему тихо и ласково:

— Дай я попробую высказать это словами. Нет никого на свете, кто бы знал тебя лучше, чем я. Даже ты сам себя так не знаешь. Я знаю, во что ты всегда верил, — ты верил в простые, хорошие вещи; я иногда даже злилась на тебя за это: господи, говорила я себе, как мне надоел этот мальчишеский идеализм! Ох, как я злилась, временами мне хотелось, чтобы ты закричал на меня, выругался, даже ударил меня, но где-то в душе я была рада, что ты такой, как есть. Я была рада, что ты веришь в то, что ты делаешь, даже если это и самообман, что ты веришь, будто на

свете все люди — хорошие люди, будто мы живём в стране, где царят равенство и демократия, где добро всегда торжествует над злом, где право не на стороне силы, а на стороне справедливости... и будто в нашем университете честные люди учат истине. Как странно, Сай, а может, наоборот, совсем не странно, что именно ты так думаешь, а не я — ты, который с такими муками выбрался из бедности и нужды, в то время как я с моего рождения жила так, словно сыр в масле каталась... Но, может быть, именно поэтому тебе и нужно во всё это верить. И вот теперь твои иллюзии рушатся у тебя на глазах. Мне легче. Я столкнулась с подлостью, как только начала думать. Я видела, как лжёт, плурует, жульничает мой отец, и очень рано поняла, что единственный бог для него — это зелёная шуршащая долларовая бумажка. Я видела, как он продаёт дома без водопровода и с такой дырявой крышей, что она пропускает даже туман, клянясь при этом беднякам, едва понимающим по-английски, что в этих самых домах только что проведён водопровод и положена новая крыша. Свой первый стакан вина я выпила в день их торжества — моего отца, председателя муниципалитета, и банкира Тома Рандольфа; они сложились и дали взятку в тридцать тысяч губернатору и ещё чётырём членам законодательного собрания, чтобы те разрешили им скупить за бесценок земли по соседству с будущим водохранилищем; в конце концов каждый из них прикарманил по полмиллиона долларов общественных денег... Это был только первый шаг, робкое начало... И хотя я ещё мало тогда знала жизнь, я всё поняла о моём отце, о моей матери и обо всех их друзьях. Но ты ведь ничего такого не знаешь, Сай, а если даже и узнаешь, то откажешься верить... Разве ты не видишь теперь, что всё, во что ты веришь, очень дорого стоит? Всё, милый, всё: порядочность, честность, прямота, демократия, справедливость — всё, о чём мы так бойко болтаем... Ты за всё это держишься, и тебе придётся расплачиваться дорогой ценой. Пора тебе это понять!

— Я и стараюсь понять,— горестно сказал он.

— Только не думай, что ты ни в чём не виноват... только не думай так, дорогой, не то ты сойдёшь с ума. Ты ищешь правду. Ты стоишь за свои убеждения. Ты упорствуешь в своей честности. Ты подписал воззвание — ты считал, что так нужно. Когда Антони Ч. Кэбот спросил, кто тебе дал подписать воззвание, ты не захотел стать доносчиком. Когда тебе предложили не учить тому, чему ты учишь,— ты не захотел лгать ни себе, ни другим. Ты принял участие в митинге протеста. Ты бросил вызов Лундфесту. Ты постоял за Айку Амстердама. А в наши дни всё это — преступления, Сайлас... понимаешь, преступления!

Он встал и поглядел ей в лицо. Сейчас она сделала то, чего никто для него никогда не делал: она помогла ему осознать себя и почувствовать — пусть на время,— что он доволен собой. И всё же ему пришлось задать ей тот вопрос, который один только и мог покончить с терзавшими его сомнениями.

— Я люблю тебя, Сайлас,— ответила она,— больше, чем когда бы то ни было. Неужели ты боялся, что я переменюсь?

— Немножко.

— Да нет же... нет,— сказала она, медленно качая головой и улыбаясь.— Нет. Мы ведь ещё только встретились друг с другом. Перед нами длинная, длинная жизнь, Сайлас Тимбермен.

* * *

Он ехал к дому, где Аик Амстердам жил со своей экономкой, двумя сиамскими кошками и тысячами книг, но мысли влекли его далеко назад, в тридцатые годы. Однажды он отправился с двумя другими преподава-

телями в Чикаго, просто так, за компанию,— день в Чикаго приятно нарушал монотонное течение жизни. Приятели высадили его в центре города, он решил позавтракать, полез в карман и обнаружил, что забыл дома бумажник; при нём не оказалось даже мелочи — ни единого гроша, а в Чикаго не было ровным счётом никого, кто бы его знал или к кому он мог обратиться, чтобы взять взаймы хотя бы цент, пять центов или доллар,— разве что он решился бы просить милостыню на улице. В те дни он был преисполнен сознания собственного благополучия — ведь жалование молодого преподавателя составляло целых пятьдесят два доллара в месяц! — и вдруг он неожиданно оказался на самом дне, во власти нищеты и страха. Дело было совсем не в том, что прежде он не знал ни нищеты, ни голода, ни безработицы,— он их знал; но переход от благоденствия к нищете совершился с такой ошеломляющей быстротой, что он почувствовал свою полную беспомощность. Правда, потом с ним не случилось ничего чрезвычайного. Пришлось порядком пройти пешком, а под конец его подобрал и доставил в Клемингтон попутный грузовик. Но этот припомнившийся ему случай странным образом перекликался с тем, что он испытывал сейчас. Несмотря на все рассуждения Майры, он продолжал думать, что остался жертвой случайного недоразумения, неблагоприятного стечения обстоятельств, и скоро всё придёт в норму, выяснится и даже повестка у него в кармане потеряет свой зловещий смысл, стоит только почтенным сенаторам, которые займутся его делом, понять, как искренне, горячо и честно любит он свою страну и уважает её учреждения.

Но как только он остановил машину у дома Амстердама, надежды его лопнули, словно мыльный пузырь. Так будет с ним ещё не раз: иллюзии будут рождаться и исчезать, как дым, даром ведь он старается осознать самый сложный и противоречивый опыт всей своей жизни. В тот раз, когда он очутился без денег в Чикаго, с ним действительно произошла простая случайность, и всё разрешилось так же просто, хотя ему и пришлось пережить несколько минут отчаяния; тогда ему всего-навсего нужно было вернуться к исходной точке, чтобы вновь обрести источник своего благополучия — нетронутый и неизменный; ему и теперь хотелось вернуться к исходной точке, найти дорогу назад. Снова и снова он мысленно будет делать всё ту же попытку, но всякий раз всё менее уверенно; и сейчас, когда он позвонил у двери Айка Амстердама, надежды его тотчас же растаяли.

Амстердамы поселились в этом домике вскоре после того, как последний из троих детей женился и переехал в Эмпорию, штат Канзас; домик был небольшой, деревянный, покрашенный в белую краску, с зелёными наличниками и покатою крышей, низко опущенной на каменную веранду; в нём было четыре комнаты. Такие дома встречаются всюду, особенно много их на улицах небольших городков Среднего Запада; домик Амстердамов стоял на склоне холма, на самой окраине Клемингтона. Этот район теперь уже не пользовался хорошей славой; когда-то здесь селились люди среднего достатка; теперь же тут жили рабочие и сдавались меблированные комнаты с пансионом; впрочем, такое соседство несколько не смущало Амстердамов. Сайлас отлично помнил миссис Амстердам — милую женщину с белоснежными волосами, всецело поглощённую заботами о муже, о его малейших прихотях и никогда не высказывавшую собственного мнения; Сайласа даже удивило, как тяжело переживал Аик Амстердам её смерть; он словно окаменел от горя и очень долго не мог прийти в себя. В одну ночь он стал совсем стариком и потом уже больше не старел, а, казалось, напротив, молодел по мере того, как ослабевало горе. Тогда Сайлас впервые подумал о том, что либо ему, либо Майре тоже придётся когда-нибудь пройти через такое испытание. Теперь Амстердам жил в своём доме один; обслуживала его приходящая экономка. Как-то раз он

вскользь заметил Сайласу, что никуда уже больше не намерен переезжать, потому что дом устраивает его во всех отношениях.

Дверь открыла Эдна Кроуфорд.

— Здравствуйте, Сайлас, — сказала она. — Вы седьмой и последний, все семеро грешников в сборе, чтобы разделить трапезу... Помните, откуда это? Впрочем, неважно. Знаете, что я сказала молодому человеку, вручившему мне повестку? Я сказала ему: «Молодой человек, как вам не стыдно заниматься таким ремеслом?» «Я выполняю свои обязанности», — ответил он. «Обязанности? — переспросила я. — Свинство, а не обязанности! Вы мальчик на побегушках у Томаса Брэннигена — и да будет вам стыдно!»

Сайлас вошёл в кабинет, усталый потёртыми персидскими дорожками, заставленный видавшей виды мебелью времён королевы Виктории и заваленный книгами, газетами, журналами и безделушками. Аик Амстердам сердечно пожал ему руку и показал на стул. Федермен улыбнулся ему, глаза маленького калеки блестели; не в пример остальным, он, казалось, наконец-то очутился в своей стихии — теперь он мог повоевать. Брэди откинулся в качалке, дымя трубкой, — повидимому, его, как всегда, не покидало созерцательное настроение, а Хартман Спенсер сидел за старинным пианино и, глядя в потрёпанные ноты, выступивал мотив «Цыганской тропы». Кэплин чувствовал себя менее свободно, чем остальные, его больше тревожило будущее; он молча листал журнал, уставясь в него невидящими глазами. Эдна Кроуфорд налила Сайласу пива.

— А может быть, вы хотите чаю? — спросила она. — Я как раз подумала, не заварить ли чай.

— С удовольствием выпью пива, — сказал Сайлас, неожиданно почувствовав себя совсем непринуждённо и очень покойно.

Он знал их уже много лет, но никогда не ощущал с ними такой близости — впрочем, прежде он ни с кем не был близок так, как вот с этими людьми сейчас. Теперь они были связаны с ним неразрывно. Все они вместе несли древнюю, как мир, ношу, объединявшую человека с человеком, — беду, и Сайлас подумал, что несут они свою ношу достойно. Беда выявляет в человеке скрытые качества. Чуть не четверть века, не считая военных лет, он встречал в университетском городке Эдну Кроуфорд — высокую, чопорную и сдержанную старую деву, — вот уж о ком никто бы не подумал, что она может оказаться в таком положении! Но вот она здесь, с ними, спокойно, деловито принимает случившееся, одаривая каждого из них долей своего самообладания. То же он мог бы сказать и о Федермене; прежде они только раскланивались — его всегда отгораживала от Федермена жалость, которую испытываешь к калеке; но сейчас и речи не могло быть о жалости. Казалось вполне естественным, что именно Федермен говорит о Брэннигене, рассказывает его биографию, описывает его прошлое и взгляды, словно он только вчера изучал этого человека. Сайлас прислушался. Вчера Брэнниген был для него только именем, ничего не значащим именем; сегодня он вошёл в его жизнь... а какое место он в ней займёт, Сайлас скоро узнает.

— Харт прав, говоря, что Брэнниген не является председателем комиссии, — говорил Федермен. — Брэнниген — республиканец, и если республиканцы не победят на выборах пятьдесят второго года, он и не будет председателем. Но не надо его недооценивать. Он рассчитывает получить председательское место и мало ли ещё что другое и твёрдо идёт к своей цели. В значительной мере поэтому-то нас и включают в игру. Имейте в виду, что Брэнниген в некотором смысле уникален, — по крайней мере в наше время американская политика не знает другой такой карьеры. Он был демобилизован из армии при весьма подозрительных обстоятельствах, а после войны стал мелким торговцем порнографической и

антисемитской литературой самого низкого пошиба. Говорят, он для начала где-то раздобыл пачку так называемых «Протоколов сионских мудрецов». Он приобрёл также право на прокат одного из эротических фильмов. Казалось бы, с такими данными карьера в сенате будет для него нелегка, но там явно нуждались в человеке с его индивидуальными особенностями, вот его и посадили в конгресс в сорок шестом году, а в сенат — в сорок восьмом. Можно только догадываться, как обделяются такие делишки и кто за ними стоит; важно то, что Брэнниген не разочаровал своих покровителей. Он пробрался в комиссию по внутренним расходам, силой и шантажом продолжил себе путь к одному из руководящих постов, а затем сделал полномочия комиссии такими растяжимыми, что теперь она может расследовать всё что угодно, всё, что так или иначе может пользоваться или пользовалось правительственными кредитами. Что касается Клемингтона, то здесь на средства Управления строительными работами общественного назначения были построены спортивный зал и стадион; они могли бы придаться и к тому, что университет освобождён от налогов.

— Или к тому, что у нас имеются лагеря для переподготовки офицеров запаса, — вставил Брэди. — Я с вами согласен: комиссия Брэннигена может заняться и нами, но я не думаю, что он сам остановил на нас свой выбор. Подозреваю, что Кэбот выписал семь имён и отдал нас на расправу. Я всё-таки думаю, что Брэнниген — только удобное орудие, кнут, чтобы хлестать им демократов, готовясь к выборам пятьдесят второго года... Однако до сих пор организованной охотой за ведьмами на поприще просвещения в основном занималась комиссия палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности.

— Ну да, вспомните, что творилось в Калифорнии и в Нью-Йорке, — подтвердил Спенсер. — При чём же тут Брэнниген?

— Нам придётся иметь дело с Брэннигеном, а Брэнниген — явление новое и куда более важное, чем комиссия по борьбе с антиамериканской деятельностью. Помните Хью Лонга? ¹ Так вот, Брэнниген и крупнее и мельче его, а времена у нас куда более подходящие для таких, как он. Брэнниген рвётся к власти и не остановится ни перед какими преградами. Он уже показал себя: клевета, насилие, шантаж, ложь, с каждым днём всё более и более наглая ложь, — вот его методы; он ведёт убийственную, сокрушительную и хорошо рассчитанную игру, которой ошеломил всех, даже своих покровителей. Когда он понял, что на антисемитизме далеко не уедешь, он слез со своего конька и помирился с евреями. Он не повторил ошибки Гитлера, но, как и тот, поставил свою главную ставку на борьбу с коммунизмом и решил играть на ней до тех пор, пока не станет первым человеком в стране.

— Пусть будет так, — заметил Амстердам, — но давайте не преувеличивать нашей собственной роли. Мы для него слишком мелкая рыбёшка — семеро никому не известных преподавателей из некоего учебного заведения на Среднем Западе. Нами ему трудно будет потрясти мир.

— Вряд ли можно сказать, что Сайлас сейчас никому не известен, — вставила Эдна Кроуфорд. — Они с Марком Твенном уже слегка потрясли мир.

— И всё-таки я никому не известен, — сказал Сайлас. — Такая история, как моя, живёт один день, не больше.

— Господи, помилуй! Вы все мне очень напоминаете того самого страуса, который спрятал голову в песок и думает, что его никто не видит, — рассмеялась Эдна Кроуфорд. — Никогда ещё не встречала шесте-

¹ Хью Лонг — бывший губернатор Луизианы, демагог, пытавшийся стать главарём американского фашизма. (Примеч. перев.)

рых мужчин, которые так горячо убеждали бы себя, что они ровно ничего не стоят, — я ещё не так стара, и могу оценить вашу редкую скромность. Только, знаете, нечего втирать очки: Клемингтон не просто некое учебное заведение Среднего Запада, а двенадцатый по величине университет Америки. Харт, Айк и Леон не просто никому не известные преподаватели, — они принадлежат к десятку крупнейших астрофизиков мира, а Лоуренс, говорят, считается знаменитостью и признанным авторитетом по английской литературе дочосеровского периода¹. Не стану расхваливать Алека — мы все его знаем; ну, а что до Сайласа Тимбермена, «Чикаго трибюн» вчера опубликовала третью редакционную статью по его делу. Чтобы чересчур не скромничать, могу вам сообщить: учебник по домоводству Эдны Кроуфорд выходит семнадцатым изданием. Ну вас всех! Я мало смыслю в политике, а что касается Брэннигена, то располагаю лишь не очень ароматными обрывками сведений, которые доходят до всякого американца, не гнушающегося газет. Но я знаю, что наше дело — совсем не пустяковое. Айк уже уволили, а когда мы вернёмся из Вашингтона, все мы будем в таком же незавидном положении. Почему же университет лишает себя семерых ведущих профессоров — или почему так поступает правительство? Попробуйте объяснить, Алек!

— Потому, что игра стоит свеч, — спокойно ответил Брэди.

— Я так просто не сдамся! — отрезал Федермен.

— Никто не намерен сдаваться. Но надо смотреть на вещи трезво.

— А я продолжаю утверждать, что всю эту историю подстроил Брэнниген с его страстью к саморекламе и жаждой власти.

— Так, да не так. В конце концов мы не первые. Да и Брэнниген в таких делах не первый — ведь то же самое уже происходило и в Нью-Йоркском, и в Колумбийском, и в Калифорнийском университете, не говоря о прочих. Я думаю, что мы должны защищаться, а не разгадывать загадки, — негромко продолжал Брэди. — Мы не можем знать, действительно ли нас выдал Кэбот, и каковы его цели, и что происходит в каких-то прокуренных комнатах самых различных учреждений, и какие пакости сняты по ночам Брэннигену, — стоит ли утруждать себя бесплодными догадками? Мы должны позаботиться о себе, а стало быть, о наших семьях, о наших друзьях, о других преподавателях и, в более широком смысле слова, — о своём народе. Кажется, это звучит напыщенно, но иногда полезно напомнить и общеизвестную истину. Чёрт побери, Айк, где же ваш адвокат?

Но адвокат Мак-Алистер приехал только через час, около одиннадцати, и приехал не один, а в сопровождении худощавого, смуглого человека с печальными чёрными глазами и усталым лицом; адвокат сказал, что его спутника зовут Майк Лесли, он председатель местного отделения профсоюза на заводе «Инстул», большом предприятии в Индианополисе, производящем радиоаппаратуру и телевизоры.

У Мак-Алистера, небольшого плотного весельчака с круглым краснощёким лицом, были непринуждённые манеры преуспевающего коммивояжёра. Извинившись за опоздание, он объяснил, что Лесли довёз его на своей машине.

— Я рад, что он приехал со мной; ему я доверяю, как самому себе, я ему доверил даже жизнь, хотя он и ездит, как полоумный... Вы не возражаете, если он останется и послушает?

Они сказали, что не возражают. Мак-Алистер уже знал Амстердама, Брэди и Федермена; он деловито и не теряя времени перезнакомился с остальными и, улыбаясь, говорил каждому по очереди:

¹ Чосер (1340—1400) — крупнейший английский поэт-гуманист XIV века. (Примеч. перев.)

— Рад познакомиться... Очень приятно... Почту за честь...

Амстердам, заметив, что Сайлас как-то с недоверием разглядывает адвоката, нагнулся к нему и шепнул:

— Всё в порядке, сынок. Он не только один из самых ловких адвокатов нашего штата, но и один из очень немногих честных людей, подвизающихся на этом поприще. Прослужил два срока судьёй уголовного суда на Севере. У него свои странности, но он чертовски хороший адвокат. Пусть ведёт себя, как хочет.

Тот как раз отвешивал церемонный поклон Эдне Кроуфорд.

— Боже мой,— говорил он,— знал бы я, что здесь дама, ни за что не осмелился бы явиться в столь поздний час.

— Хотите стакан пива? — спросила она решительно, сразу выбив у него из-под ног почву.

— Немножко виски, совсем капельку. Ведь мне придётся, наверно, говорить без умолку.

— Наверно,— кивнула она.

Мак-Алистер собрал все повестки, сравнил их и прочитал быстро, но внимательно. Потом он встал возле пианино, положил локоть на крышку и начал обстрел лаконичными, жёсткими вопросами; сперва им казалось, что он спрашивает наобум, но потом в его вопросах стала видна определённая последовательность.

— Простите, если я коснусь деликатной темы,— сказал он через некоторое время.— Вы, вероятно, знаете друг друга неплохо. И узнаете со временем ещё лучше. Теперь вы связаны одной верёвочкой. Вы будете стоять друг за друга?

Он обвёл их лица взглядом, и один за другим они утвердительно кивали.

— Это очень важно и решит дело. Я объясню вам, почему. А сейчас давайте посмотрим, что мы имеем. Для начала — семь повесток от одной из сенатских комиссий по расследованиям. Семь. Вы уверены, что у вас в городке больше никто их не получил?

— Насколько нам известно, нет,— ответил Айк Амстердам.

— Я заходил кое к кому,— сказал Брэди.— Конечно, мы не могли опросить всех преподавателей,— у нас их много; но если бы были получены и другие повестки, мы бы, наверно, знали.

— А может быть, как раз и нужно было, чтобы вы ничего не знали...

— Почему?

— Мы ещё к этому вернёмся.

Мак-Алистер допил виски, просительно поглядел на Эдну Кроуфорд, и она снова наполнила его стакан.

— Такая горечь во рту, когда много разговариваешь, сил нет! Ничего не поделаешь, словоблудие — наша профессиональная болезнь... Ладно, будем считать, что вас только семеро. Давайте посмотрим, что мы установили. У всех у вас левые взгляды того или иного толка. Все вы, в общем и целом, в приятельских отношениях друг с другом. Кое-кто из вас — близкие друзья, другие — просто товарищи по профессии, но вместе вы всё-таки составляете некую группу.

— Не совсем,— поправил Федермен.— Мы принадлежим к целому ряду групп. Было бы печально — даже для Клемингтона,— если бы только семеро преподавателей были повинны в преступной склонности к логике и мышлению. Кроме нас, есть и другие...

— И всё же вы составляете группу. Ведь никто бы не удивился, если бы Тимбермен, или Брэди, или Спенсер, или Кэплин пригласил вас всех в гости?

— Да нет... пожалуй.

— К тому же вполне определённую группу: все вы — люди либерально настроенные, непримиримые, специалисты главным образом в области точных наук, хотя среди вас и есть два профессора английской литературы и даже профессор домоводства; в вашей группе два еврея, остальные протестанты... Впрочем, я не спросил вас, Брэди: вы не католик?

— По рождению — католик.

— Придётся мне вести общий допрос, не могу же я тратить по целому дню на каждого из вас в отдельности. Я разрешу вам утаить ваши семейные тайны, а то и соврать мне, если понадобится, — в общем и целом это не имеет значения. Насколько я понял, никто из вас не является любимчиком Антони Ч. Кэбота; как и все на свете, я знаю о «деле Тимбермен — Лундфест». Замечу мимоходом, что Кэбот, несомненно, будет губернатором нашего штата, если республиканцы победят на выборах пятьдесят второго года, так что дело обстоит весьма серьёзно. Клемингтон — не исключение. В каждом крупном университете Америки имеется своё острое гнездо, где плодятся грязные политические махинации. Наряду с футболом политиканство стало у нас неременным доведением к высшему образованию. Насколько я понял, все вы отказались иметь дело с детищем Кэбота — его гражданской обороной. Вы не советовались друг с другом?

— Я говорил об этом с Сайласом, — сказал Амстердам.

— Господь бог, война и политика. — три предмета, насчёт которых я ни с кем не советуюсь, — огрызнулась Эдна Кроуфорд. — И мне не нравятся ваши намёки, мистер Мак-Алистер.

— Простите. Мне ведь приходится работать вслепую.

— К тому же не семеро отказались участвовать в гражданской обороне, а шестеро, — невесело сказал Лоуренс Кэплин. — Кажется, нам придётся иметь дело с идеями, убеждениями и прочее в этом роде, а они — вещь сложная; у одного человека больше убеждений и смелости, у другого — меньше. В тот раз Сайлас спросил меня, что я собираюсь делать, и я ответил, что вступлю в организацию Кэбота, что бы она собой ни представляла. Я признался Сайласу, что мне страшно. Бросить вызов Кэботу и Лундфесту было бы для меня всё равно, что подать в отставку. По мнению Сайласа, страхи мои не имели основания... боюсь, что он ошибался. Во всяком случае, я пошёл на уступки в вопросе гражданской обороны, вернее, заявил, что вступлю в неё; тем дело и ограничилось; похоже на то, что они затеяли всю эту историю только для того, чтобы пошуметь и сразу же о ней забыть.

— Может быть, так оно и есть, профессор Кэплин.

«Чёрт их побери, почему они избегают смотреть на него? — думал Сайлас. — Неужели они не понимают, как он себя чувствует или как себя чувствую я?» Но Эдна Кроуфорд глядела на Кэплина, смотрел на него и Алек Брэди, а горящие глаза Федермена были затуманены печалью. Мак-Алистер испытующе посматривал то на одного, то на другого, и его мясистое лицо хранило насмешливое и вместе с тем задумчивое выражение, а его приятель, профсоюзник, разглядывал их сосредоточенно, словно замороженный.

— Позвольте вас спросить, — сказал Мак-Алистер, — почему у вас такое странное отношение к пустой формальности, ведь единственный смысл всей этой затеи с гражданской обороной был в том, чтобы дать пищу для газетных заголовков и пополнить биографию мистера Кэбота?

— Я вовсе не считаю наше отношение странным, — ответила Эдна Кроуфорд. — Вы меня огорчаете, мистер Мак-Алистер.

— Видите ли, Мак-Алистер, — откликнулся Спенсер, — это объясняется и кое-какими личными причинами: мы здесь, в Клемингтоне, внесли свой

вклад в работу по исследованию атомной энергии, кое-кто из нас продолжает интересоваться этой областью — ведь среди нас есть и физики, так что сами понимаете...

— Быть может, обе стороны выиграют от нашего знакомства, Мак-Алистер,— вставил Амстердам.— Не надо недооценивать нас, преподавателей; нам уже пришлось выдержать небольшую схватку, и мы вели себя не так уж плохо. Правда, живём мы зажиточнее и легче многих других, но живём мы в странном мире — мире, где презирают науку, логику и силу человеческого разума. Вероятно, мы слишком много болтаем, зато большинство из нас не любит пачкать руки грязными делами,— а это больше, чем вы можете сказать о людях многих других профессий.

— Боже упаси меня обижать преподавателей!

— И всё же вас позабавило, что мы послушались голоса совести. Запишите ещё, что все мы подписались под воззванием о запрещении атомной бомбы, и объясните это нашим эгоизмом. А теперь скажите, какое местечко нам уготовили джентльмены из Вашингтона в том мире, который они так старательно сооружают?

— Не знаю,— задумчиво ответил Мак-Алистер.

* * *

Прошёл ещё час, а им ещё предстояло затронуть целую кучу вопросов, по которым нужно было договориться, и наметить линию поведения; Сайлас понял, какое тонкое и сложное дело согласовать действия семи человек, даже по одному частному поводу. В то же время он за один вечер больше узнал о шести остальных, чем за все годы своего знакомства с ними; мысленно он повторял себе: «Ну и странная компания!» Потом ему пришло в голову, что любые семь человек, очутившиеся в таком положении, тоже будут производить странное впечатление... и что, быть может, все люди странные. Он больше слушал, чем говорил, стараясь понять, в какое же они, в сущности говоря, попали положение. Что бы они ни предприняли, опыт таких дел показывал: их песенка в университете спета и каждому из них предстояло навсегда проститься с любимой профессией. Им роздали по клочку бумаги, и труд семи жизней оказался выброшенным на свалку. Сначала Сайлас пытался взглянуть на то, что с ними случилось, объективно, с философской точки зрения, раздумывая, не изменится ли хотя бы чуточку история Америки оттого, что студентам будет недоступен острый, как рапира, юмор Федермена, спокойная мудрость Эдны Кроуфорд, язвительные сентенции Айка Амстердама, мягкая рассудительность Лоуренса Кэплина, мастерской социальный анализ Алека Брэди, светлая мысль Хартмана Спенсера, так глубоко проникающая в сущность материи, не будут они знать и Сайласа Тимбермена... А что, кстати, будет с ним самим? Куда он пойдёт и что с ним станет? Он ведь тоже внёс свою малую лепту в науку, вникая в писания прошлых дней в поисках смысла и разума... а время разума гаснет, гаснет, и на всю страну опускается ночь, а он так устал, он сейчас пойдёт домой, в постель, к Майре, он прижмётся к ней...

— Сайлас!

Он ведь не дремлет, он слушает. Мак-Алистер как раз заметил, что хотя они и не бедняки, денег у них не много. Поэтому, если им угодно, он поедет с ними в Вашингтон, а его гонорар — пятьдесят долларов с человека плюс расходы.

— А не маловато? — заметил Сайлас.

— Из-за этого не стоит спорить,— бросил Мак-Алистер.— Самое важное — понять процедуру. Вам будут задавать вопросы; спрашивать будет главным образом Брэнниген: на этом деле он собаку съел. В его распоряжении будут кое-какие сведения — те, которыми его снабдит

министерство юстиции и услужливо доставят отсюда, из Клемингтона, Кэбот и другие; слухи и сплетни, толки и кривотолки, всякая ерунда и мусор... Вы ещё диву дадитесь от того, что он вам преподнесёт. А он знает, что делает, и мы должны знать, как дать ему отпор. Вы вступаете на арену цирка, на арену Колизея наших дней, но она оборудована телевидением, радио и всем прочим. Брэннигену захочется состряпать какую-нибудь сенсацию, чтобы поднять газетную шумиху по всей стране,— обнаружить шпионский заговор по указке Москвы, тайное общество, поставившее себе целью уничтожить просвещение и отравить сознание молодёжи, парочку иностранных агентов, язву мятежа на теле нашей прекрасной и свободной родины...

«Их жизнь и труд выброшены на свалку, а они безмятежно внимают всем этим рассказам»,— подумал Сайлас.

— Побойтесь бога, мистер Мак-Алистер,— взмолилась наконец Эдна Кроуфорд.

— Нет, нет, я не преувеличиваю. В чём же ловушка, подвох, в чём вся каверзность допросов, чинимых комиссиями конгресса? Наш добропорядочный американский обыватель говорит: «Конгресс должен иметь право производить расследования. Как же он без этого может издавать законы?» И по-своему он прав. Но Брэннигена вовсе не интересуют законы, его интересует только Брэнниген, а следовательно, — кричащие заголовки в газетах, разоблачение шпионов и коммунистов. Предположим, что здесь, в этой комнате, есть коммунисты. Сколько их и кто они — меня не касается; могу вас заверить, что мои предложения нисколько не изменятся, если каждый из вас поклянется на библии, будто он никогда не принадлежал ни к какой организации. Не интересует это и Брэннигена. Понятно?

— Боюсь, что не совсем,— признался Спенсер.— Вы хотите сказать, что Брэннигену наплевать, коммунисты мы или нет?

— Более или менее. Видите ли, комиссия конгресса — не суд. Она не имеет права судить или сажать в тюрьму, но и мы зато не обладаем правом судебной защиты или допроса свидетелей. И при всём том комиссия конгресса, действуя ловко и беспощадно, может подвергнуть гонениям и уничтожить человека. Закон гласит: свидетель должен ответить на всякий вопрос, относящийся к делу. Отказ равносителен оскорблению властей и наказуется штрафом в тысячу долларов, годом тюрьмы или тем и другим вместе, а Брэнниген считает, что к делу относится всё, от головы до хвоста.

— Но почему бы нам не ответить на все вопросы, которые он захочет задать? — поинтересовался Кэплин.— Нам нечего скрывать.

— Конечно, вам нечего скрывать. Но посмотрим, что произойдёт потом, профессор Кэплин. Вопрос номер один: является ли Икс членом коммунистической партии? Икс не является членом компартии и объявляет об этом во всеуслышание и даже с негодованием. Вслед за тем вызывают свидетеля Игрека, и тот клянётся, что он вместе с Иксом посещал партийные собрания.

— А кто же такой этот Игрек? — спросил Федермен.

— Понятия не имею, но опыт показывает, что там, где есть Икс, всегда найдётся Игрек.

— Но ведь я не член коммунистической партии,— заметил Кэплин.

— Докажите.

— А почему я должен это доказывать?

— Потому, что Игрек может доказать, что вы — член коммунистической партии.

— А всё-таки он ответил на вопрос,— возразила Эдна Кроуфорд,— и, значит, его нельзя обвинить в оскорблении властей.

— Допустим. С другой стороны, из показаний Игрека явствует, что Икс совершил клятвopепреступление: он солгал, будучи приведен к присяге. Наказание за лжесвидетельство достигает пяти лет тюремного заключения за каждый факт нарушения присяги. Если Игрек изболжит Икса во лжи пять раз, судья соответственно получит право приговорить Икса к двадцати пяти годам тюрьмы.

— Но это чудовищно! Я не так наивна, как некоторые другие, мистер Мак-Алистер, но и я не поверю, что подобное беззаконие возможно в Соединённых Штатах Америки.

— Тем не менее оно случалось, и не раз. Можно насчитать уже более десятка людей, обвинённых на политических процессах в лжесвидетельстве на основании показаний провокаторов; большинство из них было осуждено не меньше чем на пять лет тюремного заключения. Да вы и сами знаете такие случаи.

— Одно дело — знать о них, — заметил Федермен, — и совсем другое дело — самому очутиться на скамье подсудимых.

— Однако, — сказал Сайлас, — все ваши предсказания покоятся на том, что они найдут осведомителя, который сам совершит клятвopепреступление.

— А все осведомители так именно и поступают, — заметил Мак-Алистер. — Со времён Иуды «осведомитель» и «лжец» всегда были синонимами; вы не первый, кто с этим столкнулся. Про это знают и сам осведомитель и его хозяин, а в данном случае хозяином является правительство, которое и не подумает обвинять своих собственных провокаторов в клятвopепреступлении. Там ведь не сумасшедшие, не правда ли? Не платят же провокатору за лжесвидетельство для того, чтобы потом уличить его в клятвopепреступлении и посадить в тюрьму? Нет, друзья мои, быть уличённым в лжесвидетельстве в таких делах, как ваше, — удел честных людей...

— Я не хочу с вами спорить, мистер Мак-Алистер, — прервал его Сайлас. — Я тоже не так уж наивен, а за последний месяц прошёл целый курс обучения по части мелких подлостей. Но я всё же не могу согласиться с тем, что весь наш правительственный аппарат прогнил сверху донизу.

— Может быть, дело и не в аппарате, профессор Тимбермен, но многие из тех, кто им командует, до того разложились, что потеряли всякую совесть. Я говорю по опыту. Десять лет я провёл на политической помойке! Кто-кто, а я-то уж знаю! Я вовсе не пытаюсь вас огорошить. То, что с вами произойдёт в ближайшие дни, огорошит вас и без меня. В данное время я не очень-то преуспевающий адвокат, профессор Тимбермен. Ботинки мои поизносились и не чищены, а на брюках нет складки, потому что этот распроклятый материал больше не выдерживает глаженья. Но, тем не менее, я хороший адвокат, и я единственный адвокат в Индианополисе, который станет с вами сейчас разговаривать. Время позднее, ни у вас, ни у меня уже нет выбора. Я стараюсь подготовить вас, чтобы вы не шли на заседание сенатской комиссии, как овцы на заклятие. Вот и всё, чего я добиваюсь!

«А я не желаю, чтобы ты свёл меня с ума, — подумал Сайлас, глядя на маленького толстяка с обидой и раздражением. — За каким дьяволом он внушает нам весь этот бред? Пусть его слушают Федермен, Брэди и Амстердам — это их стихия, они чувствуют себя в ней, как рыба в воде, — но если человек не может сохранить хоть какие-то остатки здравого смысла и чувства реальности, ему лучше выйти в соседнюю комнату и пустить себе пулю в лоб».

— Видите ли, — говорил теперь Спенсер, — все наши разговоры о платных осведомителях — чистый домysel. Я не могу допустить даже

мысли о том, что у нас в Клемингтоне есть что-нибудь подобное. Мы самые обыкновенные преподаватели самого обыкновенного университета. Мы, может быть, слишком покорно следовали велениям нашей совести, но не более того. Здесь нет ни заговора, ни тайной организации, ни, к сожалению, даже попытки организовать преподавателей в профсоюз.

— Чёрт побери, тогда почему же вам прислали эти повестки?

— Не знаем,— сухо отрезал Амстердам.— Почему бы нам всё-таки не перестать доказывать, что мы лучшие католики, чем сам папа, и не послушать, что нам ещё скажет мистер Мак-Алистер? Не то мы просидим всю ночь.

— Наконец-то я слышу разумные речи,— встала Эдна Кроуфорд.

— Разумных речей у нас покуда не много, — улыбнулся Мак-Алистер.— Вот я уже сержусь на вас, вы сердитесь на меня, час поздний, а я раскаркался, как ворон. А ворон — нежеланный гость. Простите меня, друзья мои. Я-то вернусь к моей маленькой адвокатской практике... а вот куда денетесь вы — кто знает?

Он выпил ещё стакан виски, который налила ему Эдна Кроуфорд. Брэди спросил его:

— Вы уже рассказали нам об Иксе и об Игреке, Мак-Алистер. А как насчёт Зета, который и в самом деле коммунист?

Теперь все они, как один, устали сидеть на Брэди; он продолжал сидеть, как и весь вечер, непринуждённо откинувшись в калачки, и неторопливо потягивая трубку, разглядывал Мак-Алистера со смесью любопытства и дружеского расположения. Сайлас вдруг подумал, что он очень мало знает Брэди, и позавидовал человеку, который мог отнестись ко всему, что произошло, так спокойно и невозмутимо. Он, как и все остальные, задумался над тем, действительно ли Брэди коммунист; как себя чувствует человек, если он коммунист, и чем, собственно, Брэди отличается от всех остальных? А может быть, и другие не похожи на него, Сайласа,— вот хотя бы Федермен... Или, может быть, Амстердам, и он тоже? В чём разница? И почему он не может отнести Спенсера ни к той, ни к другой группе? Что их отличает — нерешительность или, наоборот, твёрдость, неуверенность или страх, сомнения, колебания? Неужели говорят правду, что существует группа беззаветных фанатиков, высокодисциплинированных заговорщиков, которые решили разрушить Америку и предать её развалины людям, сидящим в Кремле? «Слава богу,— сказал он себе,— у меня осталось хоть немного чувства юмора, даже в два часа ночи».

Лоуренс Кэплин взглянул на Сайласа и не понял, чему тот улыбается, а Сайлас в это время думал о том, что даже Кэплин разбирается лучше него во всём, что происходит. Смятение ума, неосведомлённость, страх, смесь правды с ложью и фантастические измышления — вот из чего состоял его политический багаж, а ведь он профессор американской литературы; как же тогда обстоит дело с другими, с великим множеством тех, у кого нет даже его слабенького желания разобраться, понять, отважиться на поиски истины?

— Давайте рассмотрим положение Зета,— согласился Мак-Алистер.— Зет — коммунист, и он заявляет об этом начистоту. Можно сказать, с гордостью. Вы коммунист, Зет? Да, я коммунист. А вы встречаетесь с другими коммунистами, Зет? Встречаюсь. Пожалуйста, назовите их. Так что, как видите, и у Зета положение пиковое: ему остаётся либо стать доносчиком, либо отправиться на год в тюрьму... И всё-таки дело обстоит не так безнадежно, как кажется. У нас есть кое-какое оружие. Начать с того, что я буду сидеть рядом с каждым из вас, когда вы будете отвечать на вопросы. Вы можете спросить у меня всё, в чём вы сомневаетесь. У нас есть некоторая надежда на защиту конституции,— нет, не

гарантии, а только надежда, но лучше иметь хоть маленькую надежду, чем не иметь её вовсе. По-моему, на вопросы вроде тех, о которых мы говорили, не следует отвечать совсем, и не только потому, что это ловушка, в которую вас хотят поймать, но и потому, что такие вопросы нарушают права, гарантированные нам конституцией. Я мотивировал бы свой отказ ссылкой на Первую поправку к конституции; она гласит, что конгресс не имеет права принимать законы, урезающие свободу слова или печати. Я сослался бы также на Четырнадцатую поправку, раздел первый, где говорится, что государство не может лишать кого бы то ни было жизни, свободы или собственности без соответствующего судебного разбирательства... Обе поправки нужно будет завтра перечитать, и вам, по-моему, необходимо как следует познакомиться с их применением и историей. Повидимому, есть основания возлагать надежды и на Пятую поправку, согласно которой никого нельзя заставить давать показания против самого себя.

— А ссылку на Пятую поправку нельзя истолковать как признание своей вины? — спросил Федермен.

— Они всё что угодно могут истолковать как признание вашей вины. Однако Пятая поправка была внесена в конституцию для защиты невинных, а не виновных, как гарантия против пыток и запугивания во время допроса. Разве не так, Алек?

— Она имеет целую историю, — откликнулся Брэди, — и сейчас слишком поздно, чтобы в неё вдаваться; происхождение Пятой поправки связано с борьбой протестантских еретиков в Англии против государственной церкви; она является защитой против следственной практики Звёздной Палаты; против признаний, вырванных силой и угрозами, а затем использованных в качестве доказательства виновности сознавшегося; другими словами, осуждённых вынуждали свидетельствовать против самих же себя. Кажется, на Пятую поправку ссылались недавно в ряде процессов?

— Свидетели ссылались на Пятую поправку для защиты от самооговора по меньшей мере на четырёх процессах; есть надежда, что Верховный суд станет на их сторону. Это особенно важно, если вспомнить, что свыше десятка писателей и преподавателей отбывают сейчас тюремное заключение потому, что они ссылались только на Первую поправку. Её недостаточно. После суда над руководителями коммунистической партии в Нью-Йорке судебные власти вынуждены рассматривать ответы на все вопросы, имеющие отношение к коммунистической или любой другой деятельности этого же рода, как самооговор. Для вас тут — выбор между тюрьмой и свободой. Но прибегнуть к защите Пятой поправки не так-то легко. Надо изучить её как следует и быть всё время начеку, чтобы сослаться на неё в нужное время.

— А мне всё-таки кажется, — медленно произнёс Сайлас, — что это равносильно признанию своей вины.

— Я пытался объяснить вам, что вы не правы, Сайлас, — сказал Брэди.

— Знаю... но история — одно, а мир, в котором мы живём, — совсем другое. Ссылка на Пятую поправку будет истолкована как трюк, как манёвр и увёртка от ответа на выдвинутые против нас обвинения.

— Но против нас не выдвигают никаких обвинений, Сайлас, — возразил ему Амстердам. — Бога ради, дружище, не забудьте, где вы живёте! Нас не отдали под суд, не арестовали и ни в чём не обвиняют, — нас просто пригласили участвовать в цирковом представлении.

— А я не хочу в нём участвовать.

— Предпочитаете отправиться в тюрьму?

— Если придётся.

— А как насчёт Майры и детей? Как насчёт вашей работы, насчёт всей вашей жизни?

Леденящий холод прошёл по спине Сайласа; у него нудно заныло под ложечкой; холод сковал его мозг, и мысли потекли тягуче и медленно.

— Не знаю;— сказал он наконец.

— Я понимаю Сайласа,— вмешался в разговор Брэди,— я отлично его понимаю. И не знаю, прав он или нет. Я рассуждаю иначе, но это отнюдь не значит, что прав именно я или прав Мак-Алистер. Мы пытаемся осмыслить за несколько часов вновь открывшийся перед нами мир с его новым страхом и новым набором доводов и ценностей. Так нельзя. Я не собираюсь критиковать вас, Мак,— обратился он к адвокату,— но у нас ещё остаётся завтрашний день, остаётся и вторник, если мы полетим на самолёте. Сейчас уже ночь, и мы ничего не соображаем. Мы слишком устали. По правде говоря, мы просто потрясены. Надо, чтобы потрясение хоть немного прошло...

Тогда впервые за весь вечер заговорил Майк Лесли. Он начал даже как-то застенчиво:

— Может быть, мне и не полагается здесь говорить что бы то ни было,— сказал он, словно извиняясь.— Я ведь здесь случайно, вот только подвёз Мака...

Сайлас совсем забыл, что Лесли находится в комнате. Он устроился в уголке, на низком диване; так он и просидел весь вечер, ссутулившись, уткнув острые локти в колени и подперев подбородок ладонями; его чёрные глаза мерцали из глубоких впадин на измождённом лице. Он заговорил, и голос его зазвучал сурово и резко, но этот голос захватил их, покори́л, и Сайласу вдруг захотелось, чтобы Лесли говорил дальше, о чём он ему и сказал.

— Уже очень поздно...

— Ничего,— сказал Сайлас.— Теперь некуда спешить.

— Впрочем, пять минут действительно не играют роли. Мак многое вам объяснил. Он хороший адвокат. Самый честный адвокат по профсоюзным делам в нашем городе. Мак любит скромничать, но он хороший адвокат.

— Мне не требуется рекомендаций посреди ночи.

— Ладно, Мак. Я ведь извинился заранее. Ты объяснил им всё, кроме одного: кто возбудил против них дело.

— Буду весьма благодарен, если ты мне это скажешь,— устало произнёс Мак-Алистер.

— Ты и сам мог бы сказать,— задумчиво продолжал Лесли, оглядев присутствующих,— если бы не так устал. У нас была забастовка, она продолжалась больше месяца, и вот хозяин позвонил в Вашингтон и добился, чтобы нашим ребятам прислали повестки. Когда он понял, что не может сломить забастовку в открытую, на самом заводе, он решил сломить её втихомолку, в одной из вашингтонских комиссий. Не знаю, кто у вас здесь хозяин...

— Мы-то знаем,— отозвался Федермен.

— Ну, так не забывайте о нём. Это может вам пригодиться.

У Сайласа сложилось впечатление, что Майку Лесли нравилось быть здесь, с ними, — он был чужой среди них и всё-таки не совсем чужой. Лесли очень хотелось хоть что-нибудь сказать им на прощание, но это было всё, что он мог им сказать. У Сайласа возникло желание поблагодарить его, но он тоже не знал, как это сделать.

Да и не за что было его благодарить, он ведь ничего им не дал... если не считать странного ощущения, овладевшего Сайласом, что некогда на жизненном пути все они что-то потеряли, может быть, часть своей

души. Сайлас вдруг почувствовал, что где-то там, в мире, есть ощущение надёжности, безопасности от сознания своей численности и силы — ощущение, знакомое Майку Лесли, но в котором им семерым до сих пор было отказано. Присутствие Майка Лесли словно подчёркивало их одиночество — всё в нём свидетельствовало о том, что он-то уж никогда не бывает одинок.

Кажется, это было сразу после войны, вспомнилось Сайласу, когда Брэди рассказал ему о профсоюзе учителей в Нью-Йорке; то была необычайная, почти романтическая история о преподавателях, которые объединились, чтобы вместе работать, вместе итти вперёд и вместе бороться. Разговор почти улетучился из памяти Сайласа, он помнил только, что улыбнулся тогда этой странной затее, такой же невероятной для тихого университетского Клемингтона, как, например, забастовка. Помнится, он сказал тогда Брэди:

— У нас это невозможно.

— А вы вступили бы в такой профсоюз, если бы он был создан? — спросил его Брэди.

— Может быть, и вступил бы, но ведь это нереально. Учебное заведение не фабрика, — ответил он.

В его полусонное сознание вторглась фигура Майка Лесли; она помогла сформироваться мысли о том, что другие преподаватели могут поддержать их семерых в предстоящих испытаниях. Забастовка преподавателей!

Прощаясь с Лесли, он улыбнулся ему как-то глуповато и подумал, что надо будет порасспросить Брэди насчёт этого удивительного профсоюза учителей.

Глава шестая

РАССЛЕДОВАНИЕ

Среда, 14 ноября 1950 года.

Самолёт лёг на крыло, развернулся и пошёл на посадку; ругая себя за беспечность, Сайлас виновато подумал, что приятное возбуждение, вызванное полётом, заставило его позабыть обо всех неприятностях. Целых пять лет он не был на востоке страны и куда больше пяти лет — в округе Колумбия. В послевоенные годы их путешествия с Майрой ограничивались скромными поездками в Висконсин и Миннесоту на время летнего отпуска; всякий раз они брали с собой и детей. Всё, что им удавалось отложить, предназначалось для долгожданного путешествия в Европу, которое они собирались совершить как-нибудь летом, когда хоть немножко подрастёт Брайан; в этом году, казалось, заветная мечта должна была осуществиться, и они наконец посетят места, где никогда ещё не были, увидят то, чего ещё не видели, утолят жажду всякого американца — поглядеть на страну, откуда приехали его предки, и на всё, что они там покинули.

Но если говорить правду, приятное возбуждение, которое овладело Сайласом, объяснялось ещё и тем, что с тех пор, как кончилась война, он ни на один день не расставался с Майрой и детьми; а вот теперь, попав в эту отчаянную переделку, он находился почти за тысячу миль от дома и входил в здание аэропорта, прислушиваясь краем уха к брюзжанию Айка Амстердама.

— Лечу в третий раз, и мне это не нравится, — говорил Амстердам. — «Прикрепите себя ремнём к сиденью...» Чёрта с два вам это поможет. Всё дело в том, что полёты на машинах тяжелее воздуха — признак нашей беспомощности. Когда-нибудь мы разработаем как следует магнитную теорию и покончим со всей этой ерундой и, уж если захотим летать

по воздуху, будем делать это разумно. А то, чем мы сейчас занимаемся, похоже на попытку приспособить к парусному судну паровой двигатель...

Айк продолжал брюзжать, но Сайлас его больше не слушал. Занятая подобралась компания, думал он: сам он наслаждается неожиданным путешествием; Амстердам рассуждает о проблемах земного тяготения; Спенсер и Федермен всю дорогу ожесточённо проспорили о роли протона в атоме; Брэди был погружён в книгу о средних веках и время от времени обменивался беглыми замечаниями со своим соседом Кэплином; Эдна Кроуфорд с жаром судачила с Мак-Алистером о чьих-то семейных делах и преимуществе лоскутных одеял перед всякими другими... А ведь все они шли к финишу, к развязке, к роковому концу и всё же вели себя как ни в чём не бывало... Сайлас подумал, что, видно, это характерно для сегодняшней Америки: людей уничтожают так спокойно и деловито, что и сами они забывают о своей судьбе.

Когда они выходили из самолёта, Мак-Алистер предложил им разбиться на две группы по четыре человека и взять два такси до здания сената. Часы показывали половину десятого утра, и времени у них ещё было достаточно.

— Я обещал Майре позвонить сразу же, как приеду,— сказал Сайлас.

Амстердам, Мак-Алистер и Брэди согласились его подождать. Остальные сели в такси и уехали. Трое попутчиков Сайласа решили, пока он будет звонить, выпить по чашке кофе в ресторане аэропорта; Сайлас запаса пригоршней мелочи, вошёл в кабинку и вызвал свой домашний номер. К телефону подошла Майра.

— И совсем я не нервничаю,— сказал он ей.— Надеюсь, родная, что всё обойдётся.

— Ну, конечно же, обойдётся!

Он рассказал ей, чем они занимались в самолёте, и удивился, почему ему не пришло в голову, как Майре, что в их поведении было немало рисовки.

— Жаль, что я не поехала с тобой,— сказала Майра.

Мак-Алистер заверил их, что правительство оплатит им дорожные расходы, и всё-таки среди них не было никого, кто не был бы вынужден считать каждый грош. Несмотря на многолетний труд, на громкие звания и титулы, в том странном обособленном академическом мирке, к которому они принадлежали, люди были бедны. А в недалёком будущем они, повидимому, станут ещё беднее... Он попрощался с Майрой, решил купить газету и возле газетного киоска встретил Боба Аллена.

Первым движением его души были естественное удивление и радость, какие обычно испытываешь, встречая на чужбине старого друга. Как ни странно, Боб Аллен тоже оказался здесь, в Вашингтоне; и только после того, как Сайлас тепло поздоровался с ним и пожал ему руку, он сообразил, что Аллен тоже, должно быть, вызван сюда повесткой. «Ну, конечно же,— сказал он себе.— Смешно, что такие вещи сразу не приходят в голову!» Однако молодой преподаватель как будто не очень удивился этой встрече и не слишком ей обрадовался, хотя всячески и старался изобразить на своём лице удовольствие.

— Но разве вы не знали, что весь Клемингтон засыпан повестками?— воскликнул Сайлас и только позже понял, что это известие не удивило и не обрадовало Боба Аллена, а скорее привело его в растерянность.— Боже мой, но когда мы уезжали, нам казалось, что об этом знает вся Индиана... Ведь тут и Айк Амстердам, и Хартман, и Федермен... целое клемингтонское землячество.

— Я получил повестку только вчера,— неуверенно отозвался Аллен.— С тех пор я больше ни о чём другом не мог думать.

— Ещё бы... я вас понимаю. Гнусная история, правда? У вас есть адвокат?

— Видите ли... и да и нет. Я кое к кому обращался, советовался... Кстати сказать, у меня как раз с ним назначена встреча... Мой адвокат здесь, в Вашингтоне, вернее, мне рекомендовали одного адвоката... Мы ещё увидимся, Сайлас!

— Почему бы вам не поехать в город с нами? — предложил Сайлас.— Кое-кто из моих спутников отправился вперёд, но Аик и Алек Брэди пьют кофе с Мак-Алистером. Они будут так рады вас видеть, да и вообще полезно бы собраться и поговорить...

— Я бы и сам рад, но не могу,— пробормотал Аллен в замешательстве.— Я и так уже опаздываю. Мы ещё встретимся потом.

И он поспешил удалиться, а Сайлас продолжал стоять с глупейшим видом, сознавая, что сваял дурака, хотя и не понимая, в чём именно; он направился в кафетерий, стараясь отмахнуться от мысли, которая напрашивалась сама собой... Он всё ещё отмахивался от неё, когда рассказывал остальным о своей встрече.

— Значит, это Боб Аллен,— сказал Амстердам; на его морщинистом лице появилось суровое и горестное выражение.— Кто бы мог подумать?

— Вам было бы приятнее, если бы это был отъявленный негодяй вроде Лундфеста? — заметил Брэди.

— Да. Обидно, когда подлеет молодой парень. Особенно обидно, если ты сам уже не молод.

— Не надо делать поспешных выводов! — запротестовал Сайлас.— Ведь он же объяснил, в чём дело; он и правда мог получить повестку только вчера. Не надо его осуждать, пока мы ничего толком не знаем.

— Боюсь, что тут нечего сомневаться,— сказал Брэди.

— Если не принимать в расчёт личность самого человека. Вы же не станете отрицать, что он, в сущности говоря, вполне приличный парень... с широкими взглядами... Бог ты мой, ведь он бывал у нас в доме несчётное число раз! Нельзя же ходить к людям в дом и позволять себе...

— Вы думаете?

— Господи, Алек, если мы начнём подозревать всех и каждого, жизнь станет сплошным кошмаром! Боб и Сью Аллен — мои друзья, близкие друзья. Он у меня учился, был моим студентом, и это я убедил его пойти по гуманитарной линии... Я делал всё, чтобы помочь ему; мы с Майрой уговорили Лундфеста взять его на работу. Нельзя же плюнуть за всё это в лицо! Будьте к нему справедливы!

— Не беспокойтесь, мы будем к нему справедливы,— вполголоса проговорил Брэди.— Мы не отказываем ему в справедливости. Теперь всё зависит от него самого. Что бы я о нём ни думал, теперь всё зависит от него самого.

— А что он всё-таки собой представляет? Расскажите-ка мне о нём,— потребовал Мак-Алистер.

Они говорили о нём по дороге в город, до самого здания сената, но никак не могли прийти ни к какому выводу... Впрочем, когда началось заседание комиссии, Боба Аллена в сенате ещё не было.

* * *

Заседание комиссии было не хуже и не лучше того, чего ожидал от него Сайлас; просто всё происходило совсем иначе. В его воспоминаниях Вашингтон сохранился как белый, ослепительно красивый город; почему-то в памяти его не запечатлелись ни труппы, ни ветхие, старые

здания, ни унылые улицы деловых кварталов, ни вереницы построенных на скорую руку доходных домов для размножающейся бюрократии; может быть, если бы он прибыл сюда при других обстоятельствах, он всего этого и вовсе бы не заметил. Сайлас помнил улыбающийся город, а город и не думал улыбаться, и нижний этаж сенатского здания, куда они попали сперва, был пуст и мрачен — лишь под потолком мерцали жёлтые лампы. Их направили этажом выше, в главную канцелярию комиссии, где розовощёкая молодая особа в пышной белой блузке, с ярко накрашенными губами и южным говором, приняла от них повестки и, то и дело поправляя обесцветенные перекисью локоны, объявила номер зала, где будет засесть комиссия, и сообщила, что после заседания им надлежит вернуться к ней за деньгами на покрытие дорожных расходов. Повидимому, остальные четверо клемингтонцев уже прошли в зал заседаний.

Первое знакомство с деятельностью правительственных комиссий отнюдь не потрясло Сайласа. Канцелярия комиссии помещалась в большой уродливой комнате, разделённой на клетушки раздвижными ширмами. Вся комната была заставлена вереницей картотечных шкафов, а на стенах, выкрашенных в нагонявший оскомину блёклозелёный цвет, висели литографии с изображением орла и Джорджа Вашингтона, а за письменными столами сидело множество девушек. Все они были в белых блузках и так похожи на ту, с которой Сайлас и его спутники беседовали внизу, что они вполне могли бы сойти за её сестёр; у всех у них были застывшие лица и пустые голубые глаза. На стульях, стоявших возле одной из стен, безмолвно сидели двое мужчин с квадратными подбородками; они явно старались подражать кому-то или чему-то виденному в кино или вычитанному в журнале; их нарочито ледяной взгляд был неотрывно устремлён на маленькую группу преподавателей.

«Вот она, земля обетованная отцов-пилигримов!», — подумал Сайлас и поглядел на своих товарищей: у Брэди был рассеянный вид, у Айка Амстердама — иронический, а у Мак-Алистера — деловой и расторопный, — ведь ему предстояла настоящая работа. Он вывел их из комнаты и повёл по длинному коридору в зал заседаний. В коридоре уже толпилось немало людей, среди них были Федермен, Кэплин, Спенсер и Эдна Кроуфорд. Федермен, повиснув на костылях, вёл оживлённую беседу со своими коллегами; он был всецело поглощён собственными рассуждениями и не обращал внимания на окружавших его посторонних людей. Поздоровавшись с Сайласом и тремя его спутниками, он заявил им звучным, глубоким голосом:

— Вот и остальные злодеи! А мы-то думали, что вас потеряли. Взгляните-ка сюда, настоящий цирк, да ещё трёхъярусный!

Сайлас заглянул в зал и не мог не согласиться с Федерменом. Зал заседаний имел около семидесяти футов в длину и тридцать футов в ширину; две трети его, отведённые для зрителей, были заполнены солидной, хорошо одетой публикой. Тут преобладали люди пожилые, преимущественно женщины, в большинстве своём — туристы, явившиеся сюда, чтобы поглазеть и потом долго вспоминать, как работает правительственная машина.

Казалось, что они чего-то ждут спокойно, терпеливо, с безучастным видом; такой же безучастный вид был и у кишевшей в зале целой армии кино- и звукооператоров, фотографов, электриков и осветителей; они соединяли провода, проверяли микрофоны и осветительную аппаратуру, внезапно то заполняя помещение ослепительными вспышками света, то

¹ Отцы-пилигримы — первые поселенцы, прибывшие в Америку из Англии. (Примеч. перев.)

снова погружая его в полумрак, который от этого казался ещё более тягостным. В зале стояли четыре огромные кинокамеры различной конструкции; их вращали, наводили на фокус и всячески проверяли; ассистенты ползали вокруг высокого полукруглого стола, стоявшего в том конце зала, где не было зрителей. Сайлас заметил, что это гигантское подобие стола водружено на подмости, а вокруг него расставлена дюжина кресел, из чего он заключил, что там, повидимому, и будут заседать сенаторы — повыше и подальше от свидетелей, — скорее судьи, чем члены комиссии. Осветители с приборами переходили с места на место, заботясь о том, чтобы ни один сенатор не остался в тени; потом они перешли к длинному столу красного дерева, отведённому для свидетелей, так же как и первый ряд стульев. Между этими двумя частями зала стояли столы для прессы, за которыми со скучающим и циничным видом рассаживались журналисты; почти все они были одеты в серые костюмы из шотландской шерсти. Стоило только Мак-Алистеру усадить своих семерых подопечных в первый ряд, как его тотчас же окружили репортёры с блокнотами и стали записывать имена и прочие нужные им сведения. Сайласу казалось, что Мак-Алистер очень умело с ними обходится — с должной долей уважения и небрежности.

Всё, что увидел Сайлас, так же мало соответствовало его прежним представлениям, и казалось ему таким же нелепым, как суд над Алисой, который учинили фигуры из карточной колоды, так мудро описанный в сказке Льюиса Кэрроля¹; желание во что бы то ни стало позабавиться сочеталось здесь с уже несколько пресыщенным интересом, грубая обыденность — с безудержной фантастикой. Федермен был прав: это был балаган, подмости, где сейчас будет разыграна дешёвая комедия со свойственной ей пошлостью и несвойственной силой; её будут исполнять невежественные и лишённые всякого вкуса актёры. А позади и над всем этим распласталось огромное знамя — яркое и прекрасное звёздно-полосатое знамя, задрапированное, как декорация для этого балагана и как занавес. При виде его Сайласу захотелось заплакать от жалости к нему и от гнева.

Мак-Алистер присел возле них, чтобы сказать напоследок ещё несколько слов, а в это время в комнату вступил и торжественно прошествовал известный всей стране молодой советник комиссии — низенький и пухлый, словно маленький петушок; брюки плотно облегли его круглые ягодицы, а приплюснутый нос и тонкие губы застыли в глумливой усмешке; вид его тотчас же напомнил Сайласу отпетых злодеев из книг его детства. «Так вот он каков, знаменитый Дэви Кэнн, — подумал он, — двадцатипятилетний вундеркинд, восходящая звезда на небосклоне министерства юстиции; вот она, правая рука Брэннигена!» И, как бы в ответ на мысли Сайласа, Кэнн обернулся и медленно обвёл своими маленькими глазками семерых преподавателей — по его мнению, взгляд этот бесспорно должен был выражать холодное, безжалостное осуждение.

Тем временем Мак-Алистер внушал им, чтобы они не выходили из себя, отвечали на вопросы обдуманно и помнили, что, когда их станут вызывать, он будет рядом.

— Спешить некуда, — твердил он. — Времени у нас сколько угодно. Думайте, прежде чем ответить, и помните про наше маленькое заседание, на котором мы обсуждали конституцию Соединённых Штатов. Запомните также, что выразить презрение к ним и сказать им всё, что вы о них думаете, — ещё не является оскорблением конгресса. Только отказ от ответа на вопрос, непосредственно относящийся к делу, может быть истолкован как оскорбление власти... А если у вас появятся сомнения,

¹ Речь идёт о популярной в США сказке «Алиса в стране чудес». (Примеч. перев.)

предоставьте мне решить, что относится к делу и что нет. Заметьте, что приятель ваш, Боб Аллен, отсутствует. Если он появится и станет давать показания в качестве «дружественного свидетеля» — так их называют, — не теряйтесь. Всегда ждуть худшего.

— Да, вот дурной сон, от которого не просыпаются, — заметил Кэплин с печальной улыбкой.

— Боюсь, что нет. Всё, что здесь произойдёт, будет передаваться на весь мир по телевидению и радио. Это входит в расчёты Брэннигена — раздуть дело в надежде на то, что свидетелей удастся запугать, а потом и разгромить у всех на глазах. Такова его игра, и играет он очертя голову — ведь ставка у него крупная. Ради всего святого, не поддавайтесь, дайте ему сдачи той же монетой! А вот и он. Коротенький, плотный человечек — это и есть Брэнниген. Рядом с ним — Кемплсон из Иллинойса, а позади — Джек Паттерсон из Калифорнии. Тот старик, что сидится слева в конце стола, — Эффинген д'Мэрси, председатель комиссии, но он предоставит вести всё дело Брэннигену. Вероятно, комиссия начнёт работать в этом составе, а остальные присоединятся попозже.

При первом же взгляде на Брэннигена Сайлас убедился, что он не очень похож на свои фотографии; в покое Брэнниген был точно снаряд, ещё не выпущенный из пушки; в движении — напоминал гладкое, лоснящееся, готовое к прыжку животное, которое не мог бы должным образом запечатлеть ни один фотограф; в нём чувствовалось то скрытое напряжение, которое порождает у хищника запах и вид добычи. Ширина его плеч указывала на физическую силу, голова крепко сидела на бычьей шее, лицо было широкое, с тяжёлым квадратным подбородком; редкие волосы тщательно приглажены, а бледноглубые глаза подёрнуты дымкой; отсутствующий, словно отрешённый от действительности взгляд удивительно не вязался с его грубой мужественностью. Общее впечатление, которое он производил, было неопределённым и двойственным и резко не совпадало с привычными представлениями о подобного рода людях. Фигура и лицо громилы странно сочетались в нём с глазами и манерами мечтателя или безумца. Он-то представлял собой комиссию, он, собственно, и был этой комиссией; к нему были прикованы все взгляды, поведение же других сенаторов явно указывало на то, что они предпочитают держаться в тени. Даже когда Эффинген д'Мэрси открыл заседание, стукнув молотком по столу и призвав присутствующих к порядку, все взоры были обращены не на него, а на Брэннигена. Сайласу захотелось проверить своё впечатление, и он оглядел присутствующих — догадка его оказалась правильной. Старики и старухи, туристы и зеваки — все не спускали глаз с Брэннигена.

— Кто будет первым свидетелем, господин советник? — спросил д'Мэрси у Дэви Кэнна.

Тот поднялся, по-женски вильнул бёдрами, раз-другой взглянул своими похожими на бусинки глазами на семерых преподавателей и коротко изрёк:

— Айзак Амстердам.

Голос его неприятно резал слух. Держался он напыщенно и крайне неприятно, тогда как у старого д'Мэрси, который тоже держался напыщенно, всё же было какое-то обаяние; голос его был звучен. — за долгие годы практики он научился им владеть, пользуясь всей гаммой звуков — от самого высокого до самого низкого, как это делают проповедники. Когда Амстердам и Мак-Алистер заняли свои места в конце стола из красного дерева, против Дэви Кэнна, его помощника и стенографа, д'Мэрси продолжал:

— Мистер Амстердам? Пожалуйста, поднимите правую руку. Клянитесь, что по делу, которое будет рассматриваться комиссией, вы

будете говорить правду, всю правду и только правду, и да поможет вам бог.

— Клянусь,— кивнув, сказал Айк Амстердам.

Теперь к делу приступил Кэнн; он то и дело крутил головой, следя за впечатлением, которое производят его вопросы на сидевших позади него сенаторов.

— Назовите, прошу вас, ваше имя и фамилию полностью.

— Айзак Олдингтон ван Доберман Амстердам,— ответил Айк с лёгкой улыбкой.

— Повторите, пожалуйста,— попросил стенограф.

Айк повторил, а потом ему пришлось повторить ещё раз, уже по буквам. Кэнн спросил:

— Вы преподаёте в Клемингтонском университете, мистер Амстердам?

— Я преподавал там до недавнего времени. Сейчас я уволен, что вам, без сомнения, хорошо известно.

— Пожалуйста, отвечайте на вопрос прямо, так, как он поставлен.

— Я буду отвечать так, как сочту нужным,— последовал неожиданный ответ. — А вам, молодой человек, положено задавать вопросы, вот и занимайтесь своим делом.

Вспыхнули юпитеры. Председатель застучал молотком.

— Я попрошу вас прямо отвечать на вопросы,— сказал председатель.

— Какую должность вы занимали, мистер Амстердам, пока не были уволены?

— Я был ординарным профессором астрофизики, мистер Кэнн...

— Пожалуйста, повторите по буквам,— попросил стенограф.

Амстердам повторил по буквам; наступила маленькая пауза, потом он серьёзно добавил:

— Это наука, исследующая различные явления и физические свойства небесных тел.

— А как долго вы занимали должность этого профессора?.. — Голос Кэнна замер: ему было трудно произнести учёное звание Амстердама.

— В разных должностях я прослужил в Клемингтоне тридцать два года. До этого, молодой человек, я проработал три года в Антиохийском и семь лет в Чикагском университете. Я намеренно вдаюсь в подробности. — хочу заставить вас призадуматься над тем, что значит посвятить долгую жизнь изучению наук и воспитанию молодёжи, а затем увидеть, как всё это брошено в помойную яму кучкой безответственных...

Застучал молоток председателя. Дэви Кэнн колотил кулаком по столу, как капризный ребёнок. Жужжали киноаппараты. И, перекрывая весь этот шум, в первый раз прозвучал голос Брэннигена; голос был хриплый, несколько ленивый, но вместе с тем необыкновенно вкрадчивый:

— Вы не на уличном митинге, профессор Амстердам. Если вы пришли сюда, чтобы произносить коммунистические речи, вам это не удастся!

— Я пришёл сюда потому, что меня вызвали повесткой, сенатор Брэнниген.

— Тогда постарайтесь вести себя, как подобает свидетелю и лойяльнoму гражданину нашей страны... если вы таковым являетесь.

— Я гораздо лойяльнее, чем многие из тех, кто проповедует лойяльность.

— И ваша лойяльность побудила вас вступить в коммунистическую партию, профессор Амстердам? Вы ведь член коммунистической партии?

— Я не стану отвечать на этот вопрос,— сказал Амстердам.— Ёе ваше дело, сенатор Брэнниген, и не дело вашей комиссии, к какой партии я принадлежу!

— Ради бога, сошлитесь на конституцию,— хриплым шёпотом напомнил Мак-Алистер.

— Вы ответите на мой вопрос, не то вы будете привлечены к ответственности за оскорбление власти, — сказал Брэнниген.

— Я не стану отвечать. У меня есть права, предоставленные мне конституцией, — права, гарантированные Первой и Пятой поправками.

— Значит, вы ссылаетесь на раздел конституции, предохраняющий от самооговора?

— Да, — ответил Амстердам, с трудом произнеся это слово; морщинистое лицо старика было страдальческим и гневным.

— Свидетель, вы свободны, — сказал Брэнниген, явно не считаясь с другими членами комиссии; Амстердам больше не представлял для него ни малейшего интереса.

Д'Мэрси, казалось, был несколько удивлён бесцеремонным поведением Брэннигена, но другие сенаторы не заметили в нём ничего особенного или оскорбительного, и Кэнн вызвал Эдну Кроуфорд. Сайласа поразили её спокойствие и самообладание. В отличие от Амстердама, она не сердилась, не нервничала и отвечала на вопросы точно и сухо. Когда она в первый раз сослалась на Пятую поправку, д'Мэрси изрёк:

— Должен заметить, мисс Кроуфорд, — я удивлён, что такая женщина, как вы, могла очутиться в подобном положении.

— Поверьте, я ещё больше удивлена, в каком нелепом положении очутились вы, сенатор д'Мэрси!

Публика впервые развеселилась, и даже на лице д'Мэрси мелькнуло подобие улыбки. Брэнниген не вмешивался в допрос, пока дело не дошло до воззвания о мире. Тогда он спросил:

— А вам не приходило в голову в июне прошлого года, мисс Кроуфорд, что так называемое воззвание о мире — коммунистическая проделка?

Он был обескуражен, услышав в ответ, что да, ей это приходило в голову.

— И всё-таки вы его подписали?

— А почему бы и нет? Ведь можно только огорчаться, что люди вроде меня не придумали его раньше коммунистов, — спокойно ответила она.

— И вы считаете, что достойны воспитывать нашу молодёжь?

— Я не привыкла судить о самой себе, сенатор Брэнниген. Может быть, вы этим и занимаетесь, а я нет. Соответствующие учреждения и учёные советы давным-давно рассудили, что я гожусь в воспитательницы, и моя биография как будто подтверждает правильность их суждения.

— Вот в этом можно усомниться. Вы считаете себя лойяльной американкой, мисс Кроуфорд?

— Да.

— И всё же вы с готовностью содействуете коммунистической партии — организации, поставившей себе целью насильственно ниспровергнуть наше правительство?

Помедлив, она спросила:

— Это что, вопрос?

— Да.

— Довольно каверзный вопрос, не правда ли? — улыбнулась она.

— Пожалуйста, отвечайте, мисс Кроуфорд.

Она подумала, а потом, наклонившись, шёпотом спросила Мак-Алистера:

— Как вы думаете: отвечать?

— На всякий случай, напомните о своих правах. Сошлитесь на Пятую поправку.

— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос в силу права, предоставленного мне Пятой поправкой.

— Значит, вы не хотите себя оговаривать?

— Да, не хочу.

— Вы понимаете, что ваш отказ содержит косвенное признание вины?

Она бросила взгляд на Мак-Алистера, чьё одутловатое лицо побледнело от ярости, а потом спокойно ответила:

— Понятия не имею, в чём вы меня считаете виновной.

— Вы член коммунистической партии, мисс Кроуфорд?

— Пожалуй, я не отвечу вам и на этот вопрос. Я много передумала о всяких таких делах и пришла к выводу, что не стану отвечать на подобные вопросы на том же основании, что и прежде, ссылаясь на Пятую поправку.

— Bravo! — шепнул Мак-Алистер.

— Я не могу заставить вас отвечать, — сказал Брэнниген с деланным смирением. На сей раз, прежде чем продолжить, он вопросительно взглянул на своих коллег: — Пока всё, мисс Кроуфорд. Разумеется, вы ещё остаётесь в нашем распоряжении.

— Что он хотел этим сказать? — спросила она Мак-Алистера, когда они возвращались на свои места.

— Что он может вас вызвать снова, попозже или вечером. Считается, что вы находитесь в распоряжении комиссии, пока она вас не отпустит на все четыре стороны или пока сессия конгресса не будет окончена. Только пусть это вас не беспокоит. Вы здорово с ним справились, просто отлично.

— Да они ничего особенного и не спрашивали.

— У них своя система. К чему-то они всё-таки клонят.

Они действительно к чему-то клонили. Следующим был вызван Сайлас.

Так же, как и Эдна Кроуфорд, Сайлас немало передумал о том, как себя держать; но, в отличие от неё, он так и не пришёл к какому-то твёрдому решению. Ему нужно было не только понять, что происходит, но и разобраться в себе самом. По мере того, как разрушались ценности, в которые он верил всю свою жизнь, ему всё больше и больше хотелось открыть какие-то другие ценности, не подверженные разрушению. Чем больше он думал о Майре, о детях, о доме, о своей работе, тем меньше он верил в возможность отстоять всё это; в глубине души он понимал, что ещё прежде, чем начался весь этот кошмар, их отношения с Майрой не крепили и не развивались, а скорее, наоборот, они оба всё больше и больше отходили друг от друга; что кажущееся благополучие их брака было лишь пустой оболочкой, которая становилась всё тоньше и тоньше по мере того, как текли годы. Теперь же оба они вдруг обрели нечто своё и драгоценное, и не потому, что его постигла беда, а потому, что в беде он нашёл не только себя, но и свою жену. Он покуда ещё смутно сознавал, что с ними происходит, но знал, что он во что бы то ни стало должен обрести свою цельность. Он был слишком прямым и простодушным человеком, чтобы путаться в противоречиях. Либо он будет цельным человеком, либо ничем.

Так текли его мысли, и временами он жил больше в них, чем в зале заседаний сената. Когда его вызвали, он понял это не сразу. Мак-Алистер сжал его руку, и он встал. Вдвоём они подошли к столу для свидетелей. «Неужели все испытывают страх в такую минуту? — спрашивал он себя. — Неужели мир разделён надвое, и одна его половина вовсе не знает страха, а другая пропитана им насквозь?» Он почувствовал, как внутри у него всё похолодело, голова закружилась; прямо перед ним высылся подковообразный помост, где сидели сенаторы — инквизиция, от которой не было спасения. Зажёгся свет, заработали телевизионные аппараты, и в какой-то частичке мозга промелькнула мысль, не смотрит ли на него сейчас Майра, но та же мысль ответила: нет, не смотрит, у неё

лекция. Ну, конечно, она на лекции. Её так мало беспокоит то, что он сейчас переживает, — она и не подумает отменить лекцию, чтобы разделить с ним беду.

Но тут на смену выдуманной обиде вступил в свои права разум. Сайлас дал присягу и ответил на положенные вопросы относительно своего имени, фамилии и работы. Голос его окреп, сердце билось гораздо медленнее. Он мог теперь разглядеть Дэви Кэнна поближе, и Сайласу вдруг захотелось взглянуть ему в круглые глаза, бегавшие под припухшими веками, но он обнаружил, что глаза эти тщательно избегают встречаться с его взглядом... Сайлас даже успел пофилософствовать о том, в силу каких странных обстоятельств этот уродливый и злобный, похожий на каплуна юнец получил власть судить и наказывать. Майра ему как-то рассказывала, что перед закатом Римской империи самые высокие посты в государстве императоры раздавали наложникам, сутенёрам, евнухам и сводникам; они вручали им неограниченную власть, которую те со всей садистской жестокостью своих извращённых натур могли обратить против всякого, кто вызывал у них ненависть или зависть...

Но Брэнниген задал первый вопрос, и все размышления Сайласа тотчас же улетучились. Он вдруг почувствовал ненависть, и ненависть сразу разрешила многие загадки, ставившие его в тупик. Он взглянул на Мак-Алистера, и внезапно у него появилось совершенно новое чувство к адвокату. Мак-Алистер был свой, близкий ему человек. Толстенный, краснощёкий Мак-Алистер был таким же, как он, и пришёл сюда ради него; эта мысль заставила Сайласа обернуться и поглядеть на своих товарищей; он увидел, с каким волнением, с какой тревогой они смотрят на него. Сердцем он потянулся к ним, и у него сразу пропал страх.

— Вы тоже подписали воззвание о мире, профессор Тимбермен? — спросил его Брэнниген.

— Вы же знаете, что подписал, не так ли? И ФБР знает, и вы знаете.

— Ваш ответ должен быть занесён в протокол.

— Да, подписал и подписал бы снова, если бы потребовалось, поэтому не трудитесь спрашивать, нет ли у меня угрызений совести.

— Благодарю вас, профессор Тимбермен. Считаете ли вы, что в то время, когда наша великая нация вступила в смертельную схватку с бессовестным и бездушным врагом, человек, занимающий ваш пост и не только ставший слепым орудием коммунистов, но и хвастающий, что, если ему представится возможность, он поступит так снова, — считаете ли вы, что такой человек годится в воспитатели нашей молодёжи?

Сайлас знал, что Мак-Алистер отчаянно старается привлечь его внимание; он знал, что стоит ему взглянуть на Мак-Алистера — и весь ход допроса изменится, и он станет отвечать разумно, трезво и осторожно. Вся свою жизнь он был таким разумным, трезвым и осторожным, почему же сейчас он не мог заставить себя взглянуть на Мак-Алистера, не мог вести себя сдержанно и осмотрительно?

— Я никогда не был орудием коммунистов, сенатор, — вспыхнул Сайлас. — К тому же дешёвая демагогия такого рода скорее к лицу обуреваемому жаждой власти проходимцу, чем члену высшего законодательного собрания нашей страны.

— У нас здесь не уличный митинг, профессор Тимбермен, — жёлчно заметил Брэнниген. — Вы не на Юнион-сквер¹. Вы не в университетской аудитории, где вы позволяете себе произносить коммунистические речи. Коммунистические речи нам здесь не нужны. Если вы не станете отве-

¹ Юнион-сквер — площадь в Нью-Йорке, где происходят массовые митинги и демонстрации. (Примеч. перев.)

чать на заданные вопросы, вы будете привлечены к ответственности за оскорбление власти. Понятно, профессор Тимбермен?

Сайлас сидел, как каменный, и молчал.

— Зачитайте мой вопрос по протоколу, — обратился Брэнниген к стенографу.

Но и после того, как вопрос был зачитан, Сайлас продолжал молчать.

— Поймите, профессор Тимбермен, такой вопрос допустим, хоть он вам и не нравится, — сказал д'Мэрсси, и в голосе его слышалась нотка сочувствия. — Отказ от ответа означает оскорбление власти. Если хотите, можете посоветоваться с вашим адвокатом.

Сайлас пожал плечами и не ответил.

— Отлично, — произнёс Брэнниген. — Каким образом вы подписали воззвание, профессор Тимбермен?

— Мне его показали. Я прочитал его, подумал, а затем решил подписать.

— Не скажете ли вы нам, почему вы его подписали, профессор Тимбермен? — Вопрос был задан сенатором Паттерсоном, и в голосе его звучал непритворный интерес.

Высокий, худой человек с утомлённым лицом, он казался наименее рьяным деятелем комиссии и держался скорее особняком, как заинтересованный зритель, получивший по чьей-то протекции хорошее место.

— Да... пожалуй, скажу. Воззвание давало возможность множеству людей, которых ужасает угроза атомной войны и которые боятся, что такая война уничтожит всю нашу цивилизацию, во всеуслышание сказать об этом. Я человек маленький, но и мне безразлична судьба цивилизации и судьба нашего народа. Вот почему я и подписал воззвание.

— Но, считая себя поборником цивилизации, вы, повидимому, вовсе и не собираетесь защищать её от группы лиц, которые являются заклятыми врагами цивилизации и поставили своей целью насильственно ниспровергнуть наше правительство? — заметил Брэнниген. — Ведь так, профессор Тимбермен?

— Я предпочёл бы, чтобы такое воззвание распространяли Дочери американской революции¹, — ответил Сайлас.

— Вы член коммунистической партии, профессор Тимбермен? — резко спросил его Брэнниген и тут же добавил: — Правда, кое-кто думает, что такой вопрос нарушает права, предусмотренные Пятой поправкой.

— Да, знаю. Я провёл вчера немало времени, изучая конституцию Соединённых Штатов...

— Я задал вам вопрос, профессор Тимбермен. И не желаю слушать ваших разглагольствований.

— Я и отвечаю на ваш вопрос, — невозмутимо ответил Сайлас. — Я знаю, что такой вопрос является нарушением так называемой «привилегии», предусмотренной конституцией. Я бы, правда, скорее назвал это не привилегией, а неотъемлемым правом противостоять попытке и запугиванию; мои коллеги сочли возможным воспользоваться этим правом. Я не осуждаю их за то, что они им воспользовались, но сам я не могу последовать их примеру. Я не член коммунистической партии, сенатор. Не член коммунистической партии и никогда им не был.

— Вы сознаёте, что находитесь под присягой, профессор Тимбермен?

Вот теперь Сайлас почувствовал, что Мак-Алистер рядом, — он услышал его хриплое дыхание, его немую мольбу. Сайлас спрашивал себя: почему такой человек, как Мак-Алистер, испытывает за него отчаянную тревогу? Что он за человек, этот Мак-Алистер, и что именно сделало его

¹ «Дочери американской революции» — женская реакционная организация в США. (Примеч. перев.)

таким? И почему он не сидит там, наверху, вместе с избранными, и что так резко отделяет подсудимого от его судьи? Все эти вопросы казались необычайно важными Сайласу; он только начинал их себе задавать, и пройдёт много времени, прежде чем он сумеет на них ответить; конечно, здесь было не место решать такие вопросы; но, хотя место и было неподходящее, он не мог не думать о том, что же такое это пресловутое братство людей доброй воли, исполненных уважения к человеческой личности и чувства единения друг с другом... и как же случилось, что и он вступил в это братство, и почему он не знал о нём целых сорок лет своей жизни?

И всё же он испытывал неодолимую потребность отделить себя от Мак-Алистера и самому найти свою дорогу.

— Сознаю, — сказал он.

— Кто предложил вам подписать воззвание, профессор Тимбермен?

Он подумал немного, а затем, в первый раз с самого начала допроса, поглядел на Мак-Алистера.

— Ну, вот я и попался, — тихо сказал он адвокату.

— Эх, если бы вы могли сослаться на свои права! — шепнул ему Мак-Алистер беззлбно и даже с какой-то необычной для него ноткой почтения. — Но вы от них отказались, ответив на предыдущий вопрос. Всё же у вас остаётся Первая поправка, Сайлас. — Он впервые назвал его по имени. — А потом я думаю, что он не имеет права задавать вам такой вопрос. Так и скажите.

Сайлас откинулся назад и посмотрел на Брэннигена, на его бычью шею, белёные глаза и отсутствующий взгляд. Брэнниген предавался мечтам. О чём мог мечтать такой Брэнниген? Как заглянуть во внутренний мир такого Брэннигена? Какие вопросы он имеет право задавать и какие — не имеет? Сайлас покачал головой. Он мог сказать: «Это не имеет отношения к делу, и вы не можете меня об этом спрашивать». Но за первым последуют и другие вопросы. Какая разница? Он всё равно попался.

— Нет, — сказал он, — нет. Вы ведь сами понимаете, сенатор, что я не отвечаю на ваш вопрос. Я вообще не стану отвечать на такие вопросы и называть какие бы то ни было имена. Не стану! — повторил он гневно.

Вот он и не стал доносчиком. Теперь осталось сделать следующий шаг. Когда он читал в газетах о сотнях запуганных, загнанных людей, представавших перед такими комиссиями, — людей, которые называли имена, оправдывались, извивались от страха и молили о пощаде, — он испытывал к ним отчуждённый интерес ботаника к флоре планеты Марс. Его мир был так далёк от их мира, они не вызывали у него живого любопытства, и он не принимал их судьбу близко к сердцу; но теперь их мир был его миром. Ему предложили стать осведомителем, и он отказался от этой чести. Вопрос показался ему до странности отвлечённым, даже академическим, и очень забавным; и ещё более странно было то, что он никак не связывал его с кем-нибудь конкретно — ни с Алеком Брэди, ни с Айком Амстердамом или с кем бы то ни было из остальных. Он касался только его одного. Он защищал только самого себя. Просто ему предложили сделать нечто такое, чего он не мог сделать, и это заставило его задуматься над тем, почему же он за последнее время не мог сделать так много вещей? Рано или поздно ему придётся поразмыслить и понять, почему всё-таки он их не мог сделать. Не сейчас. Не сейчас и не здесь, где сверкают прожекторы, а телевизионные аппараты превращают его в актёра на потеху тысячам или миллионам зрителей, глазеющим с удовольствием, с жадностью, с восторгом на то, как уничтожают человека, уничтожают благопристойно, вежливо, как это и подобает при американском образе жизни, подчёркивая превосходство этого образа жизни над звериными нравами, из-за которых стали позорной кличкой имена Гитлера, Муссолини и Франко.

— Решать, о чём спрашивать, будем мы, профессор Тимбермен, — сказал Брэнниген. — Вы же, если откажетесь отвечать, будете привлечены к ответственности за оскорбление власти. Здесь вам не коммунистическое собрание, а сенатская комиссия. А теперь скажите, правда ли, что в Клемингтонском университете было решено организовать гражданскую оборону от воздушных налётов?

— Правда.

— Что собой представляет эта организация?

— Спросите не меня, а её инициаторов. В университете объявили о создании такой организации — вот и всё, что я о ней знаю.

— Я полагаю, речь идёт о добровольной организации?

— Так её называют.

— А вам предлагали вступить в неё, профессор Тимбермен?

— Да.

— И вы в неё вступили?

— Нет, не вступил.

— Иными словами, в момент, когда наша страна находится в смертельной схватке с жестоким и безжалостным врагом, вы отказались сделать даже символический жест и вступить в гражданскую оборону для защиты той общины, где вы проживаете и которая даёт вам средства к существованию?

— Дело обстоит не совсем так, сенатор...

— Прошу вас, профессор, отвечайте на поставленный вам вопрос.

— А я и собираюсь на него ответить. Я провёл четыре года на военной службе, сенатор. Так что лучше вам не задавать мне каверзных вопросов. Я считал организацию гражданской обороны жульническим политическим ходом, уловкой, которая может лишь погубить всякую надежду на мир. Я и сейчас так думаю. Атомная бомба...

Д'Мэрс застучал молотком.

— Довольно коммунистических речей! — рявкнул Брэнниген, впервые повысив голос.

— ...атомная бомба не выбирает своих жертв, не кланяется вам и не извиняется. Защищаться от неё можно только одним путём — отказавшись её применять и научившись жить бок о бок с другими народами так, как порядочные, цивилизованные американцы живут бок о бок друг с другом. Всё это столь же сложно, как мои политические убеждения, или столь же просто. Вот почему...

— Отвечайте на вопрос, или я прикажу вас вывести!

— ...я отказался принять какое-либо участие в мошеннической проделке политиканов. Да, я за самооборону, сенатор... Я стою за жизнь на земле и за спасение цивилизации.

— Мы знаем, за что вы стоите, профессор Тимбермен. Нам совершенно ясно, за что вы стоите. Вы не делаете из этого секрета. Стоите ли вы также за насильственное ниспровержение правительства, профессор Тимбермен?

— Нет!

— И считаете, что такой человек, как вы, достоин воспитывать нашу молодёжь?

— Я уже ответил на этот вопрос. Позвольте добавить: я считаю, что такой человек, как вы, недостойн быть сенатором.

— Поберегите ваши остроты для «Дейли уоркер»¹. Вы посещаете коммунистические собрания в Клемингтоне, профессор?

— Я вообще не посещаю коммунистических собраний.

¹ «Дейли уоркер» — прогрессивная рабочая газета, издаётся в Нью-Йорке. (Примеч. перев.)

- А посещаете ли вы какие-нибудь другие собрания в Клемингтоне?
- Да, посещаю.
- Какие именно?
- Заседания кафедры, методические совещания, собрания Общества английского языка, факультетские собрания...
- Это всё?
- Иногда собрания Комитета американских ветеранов войны и собрания местного отделения Союза борьбы за гражданские свободы.
- А вам известно, что обе последние организации причислены к разряду коммунистических?
- Мне это неизвестно, и я этому не верю.
- А нам неинтересно, во что вы верите. Встречались ли вы с профессором Амстердамом и при каких обстоятельствах?
- Мы с ним друзья. Мы часто встречаемся друг с другом.
- На собраниях?
- И на собраниях факультета тоже.
- Профессор Амстердам — член коммунистической партии?
- Понятия не имею.
- А мисс Кроуфорд?
- Я никогда её об этом не спрашивал.
- Являются ли членами коммунистической партии следующие лица: Алек Брэди, Хартман Спенсер, Леон Федермен, Лоуренс Кэплин?
- Понятия не имею, кто из моих коллег является членом коммунистической партии. Позвольте к этому добавить, сенатор, что если бы я даже и знал это, я бы вам всё равно не сказал.
- Разрешите спросить — почему? — вставил сенатор Кемплсон.
- Потому, что выдавать людей могут лишь доносчики, а я презираю доносчиков.
- Относите ли вы к категории доносчиков и тех шпионов, которые состоят на службе вашей страны? Я спрашиваю вас как бывший военный служащий бывшего военнослужащего, — сказал Кемплсон.
- Сайлас помедлил с ответом. Он взглянул на Мак-Алистера, наклонился к нему, и адвокат сказал:
- Если не хотите, можете не отвечать.
- По-моему, сейчас уже всё равно.
- Пожалуй, что и правда всё равно, — пожал плечами Мак-Алистер.
- Сайлас ответил:
- Если они шпионят за честными людьми в своей собственной стране, если они сеют страх и губят человеческие жизни, если они подменяют разум бессмысленным террором, то таких людей я тоже отношу к категории доносчиков.
- Благодарю вас, — сухо сказал Кемплсон.
- Другими словами, — продолжал допрос Брэнниген, — ваш отказ служить своей стране в рядах гражданской обороны распространяется и на любой другой род войск?
- Я не говорил ничего подобного. Не приписывайте мне того, чего я не говорил.
- Мне незачем приписывать вам то, чего вы не говорите, профессор Тимбермен. Достаточно и того, что вы сами сказали. Отвечайте на вопрос.
- А я ведь не слышал вопроса. Вы сделали заявление — и только.
- Давайте, я поставлю вопрос иначе. В случае войны между Соединёнными Штатами Америки и Советским Союзом готовы ли вы воевать против Советского Союза?
- Я участвовал в одной войне. Если меня призовут снова, я, вероятно, буду служить, как и всякий другой американец. Ни одному нормальному человеку не хочется бросать семью и отправляться в армию, —

это не очень-то приятно, сенатор. Но я уже так поступил один раз и, наверно, мог бы поступить снова.

— Я бы предпочёл получить менее двусмысленный ответ, профессор Тимбермен.

— Вы хотите знать, буду ли я воевать против Советского Союза? Не кажется ли вам, что вопрос звучит немножко смешно? Я слышал, это один из ваших излюбленных вопросов...

— Довольно произносить речи! Отвечайте!

— Я и пытаюсь ответить. Но ведь сперва надо подумать, сенатор. Вы же немало думали, прежде чем сочинили ваши вопросы, дайте же подумать и тем, кто на них отвечает.

— Здесь не место речам, профессор.

— Конечно, не место.

И всё же речи следовали одна за другой, слова отстукивали у Сайласа в мозгу и торопливо перегоняли друг друга. И почему только он должен, извиваясь и корчась на глазах у всего мира, словно насекомое, насаженное на булавку, додумывать здесь до конца всё то, чего он не успел додумать? Бедный мир, подумал он, бедный, обречённый, искалеченный и затравленный мир; превратив в игрушку сокровенные тайны вселенной, он сейчас взорвёт себя ко всем чертям — ко всем чертям вместе со своим смехом и своими слезами, со своими радостями и горестями, со своими грешками и со своими святыми и великими грешниками — вот и с этой раздутой жабой Брэннигеном, с Брэннигеном, который не прочёл ни одной книги, не любил ни одного стихотворения, не слышал первого крика своего ребёнка и не задумывался над тем, где взять доллар, чтобы накормить детей... Новое высшее существо, Брэнниген был здесь олицетворением верховной власти, он был объявлен подвижником за свою ненависть к Советскому Союзу. Там, наверху, сидит Брэнниген, а здесь, внизу, — Сайлас Тимбермен — по какой-то непонятной причине главное лицо в этой нелепой комедии, доставленное сюда на крыльях из маленького сонного городка далеко в глубине страны, чтобы занять самое видное место на подмостках против сенатора Брэннигена. Человеческие судьбы переплетаются странным и причудливым образом... Вдруг Сайлас вспомнил, как Айк Амстердам однажды сказал ему, что в каждом городке и в каждой деревне Америки живёт по такому Сайласу Тимбермену, который тоже изо всех сил цепляется за остатки разума и бережёт их как зеницу ока, как зелёный росток в пустыне; он рассердился тогда на циничную выдумку старика... А теперь, ну-ка, сосчитай до десяти и отвечай на вопрос! Или скажи им, что ты находишься под защитой Пятой поправки, или Первой поправки, или какой-нибудь другой поправки, — впрочем, теперь уже, кажется, поздно, ведь ты же отказался от всей конституции оптом, — так иногда одной случайной обмолвкой навеки теряешь любимого человека... «Бедная конституция, — подумал он с улыбкой, — жалкий и такой ненадёжный карточный домик! Я жил в тебе, карточный домик. Я сам тебя построил. Поглядите на меня, господи, ведь я учёный. Я знаю, среди вас не место учёным. Убежище, в котором я жил, тоже было картонным, только не из карт, а из рукописей. Я хотел разобраться в том, чем же был Марк Твен и как он жил, и хотел написать об этом, но я никогда не давал себе труда разобраться в том, почему Сайлас Тимбермен был тем, кем он был, и как он жил...»

Вопрос требовал ответа — вопрос, стоивший тысячу долларов или года тюремного заключения. Как бы там ни было, они были куда терпеливее, чем он предполагал. Надо отдать им должное. По всей справедливости.

— Если бы мне задали такой вопрос вчера, — сказал он, — мне было бы легче ответить. Я никогда не был страстным поклонником Советского Союза. Мне не нравится, когда людям говорят, каких им нужно избегать мыслей, каких им не следует читать книг и каких книг им не надо писать. Мне всегда твердили, что так именно обстоит дело в Советском Союзе, а пословица гласит: нет дыма без огня...

— Довольно речей! Довольно коммунистических речей, профессор! Молоток председателя стучал дробно, как пулёмётная очередь, но Сайлас продолжал говорить:

— Разве не так? А ведь сколько было пущено дыма! Правда, я никогда не старался разузнать, что же кроется за этим дымом, но я ведь также не старался разузнать, что кроется за дымом, окутавшим Вашингтон. Не знаю, почему... может быть, из равнодушия. В этом — наше проклятие, а невежество ещё куда более страшный бич...

Брэнниген кричал на кого-то, кто был позади него, Сайласа. Сенатор Кемплсон стоя размахивал руками, — он что-то говорил, чего Сайлас не мог слышать; впрочем, он не был уверен, слышит ли кто-нибудь его самого, и всё же он продолжал говорить:

— ...А мне кажется, что я больше всего на свете ненавижу невежество, да ещё, пожалуй, тех негодяев, которые им пользуются, которые боятся разума, избегают логики, проклинают учёных, глумятся над ними, боятся правды пуще чёрта, вопят о коммунизме, о Советском Союзе и считают себя хитрее всех на свете потому, что научились спрашивать, будешь ли ты воевать против Советского Союза. Но поймите, наконец, сенатор Брэнниген, я хочу жить и хочу, чтобы жили мои дети, и ведь придёт же пора, когда такие, как вы, не смогут больше истошно вопить, словно пещерные люди, и посылать на смерть миллионы! Я не хочу умирать за Брэннигена! Я не хочу умирать, сэр, за то, что вы олицетворяете! Надо не воевать с Россией, а жить с ней на одной планете, жить с ней бок о бок, научиться её понимать, постичь её, изучить... Вот единственный известный мне выход, сенатор Брэнниген... единственный оставшийся нам всем выход... и вот тот единственный ответ...

Больше Сайласу не удалось сказать ни слова. Два судебных пристава Соединённых Штатов Америки схватили его за руки и то ли поволокли, то ли понесли к двери. Сайлас никогда не подозревал, что он может очутиться в таком положении, и не был к нему подготовлен; ему сперва показалось, что подобного унижения он не вынесет. Поэтому он сопротивлялся, лягал своих обидчиков, старался от них вырваться и кричал; вместе с ним кричала и вся толпа кругом. Он смутно слышал, как Мак-Алистер орёт на судебных приставов, как пытается вступить за него Брэди, как откуда-то доносится голос Брэннигена, — до его слуха долетали какие-то полные ярости звуки, шум и движение, а потом всё миновало, и он очутился за дверью, в коридоре, со вздёрнутым воротником пиджака, с оборванным рукавом, с очками, свисавшими с одного уха, а вокруг него теснились репортёры, и старый Айк Амстердам старался защитить его от них своим телом, но при этом почему-то ликующе смеялся с таким выражением любви и почтения на своём изборождённом морщинами лице, какого Сайлас у него никогда ещё не видел.

И, странное дело, Сайлас был совершенно счастлив.

* * *

За завтраком товарищи Сайласа всё ещё поглядывали на него с почти-тельным любопытством, но и не без тревоги. В нескольких шагах от здания сената они обнаружили небольшое кафе, где отлично и дёшево кормили; там, за общим столом, они делились впечатлениями об утренних событиях и пытались предсказать ход вечернего заседания.

— Сегодня вы были героем дня, Сайлас! Клянусь всеми богами, настоящим героем! — сказал Федермен.

Но Мак-Алистер смотрел на дело трезвее остальных: он сидел с озаченным лицом и морщил лоб.

— Я, кажется, сегодня выкинул номер? — спросил у него Сайлас.

Возбуждение утренней схватки несколько улеглось.

— Боюсь, что да.

— Дело дрянь? — спросил Брэди.

— Весьма. Впрочем, всё зависит от обстоятельств.

— От каких обстоятельств? — поинтересовался Сайлас.

Он вдруг почувствовал себя крайне глупо и подумал: «Хорошо, конечно, высказаться, когда тебя так долго душили слова, но какой ценой?»

— Видите ли, в известной мере всё зависит от вечернего заседания. Меня не так уж беспокоит обвинение в «оскорблении власти», Сайлас. Думаю, что Амстердам и мисс Кроуфорд отделались благополучно, но вас можно было обвинить в «оскорблении власти» по меньшей мере трижды. У вас были, конечно, основания так себя вести: вы не могли стать доносчиком и продолжать себя уважать, вы не желали марать той земли, по которой ступаете, но, пожалуй, вы могли бы выйти из положения при помощи Пятой поправки. Беда в том, что вы отказались прибегнуть к её защите в тот миг, когда ответили, что вы не коммунист.

— Я не мог иначе, — возразил Сайлас. — Мне очень жаль, но я не мог иначе; просто не мог.

— Повидимому, не могли. Но ваш моральный долг, как вы его понимаете, — одно дело. Мой долг — другое дело. Я ваш адвокат, и я до смерти боюсь обвинения в лжесвидетельстве. Лжесвидетельство — очень скверное обвинение. В честном суде его почти невозможно доказать, а в обезьяньем питомнике, каким сегодня является наш суд, его невозможно опровергнуть... А это означает пять лет тюрьмы, пять проклятых лет!

Эдна Кроуфорд, чопорно жевавшая кусочек орехового торта, вскинула на него глаза и произнесла не менее чопорно:

— Мы с Сайласом старые друзья. Он никогда не лжёт.

— Знаю, знаю, — устало махнул рукой Мак-Алистер. — Что вы из себя корчите — уж не бой-скаутов ли, упаси бог? Зачем вы мне говорите, что Сайлас не солгал? Если он коммунист, то я верховный судья инкогнито. Разумеется, он не лгал. Но где же ваш достопочтенный коллега Боб Аллен? Неужели вы никогда ничему не научитесь? А ведь вы провели всё утро в школе Брэннигена. Разве вы не слушали? Отчего же вы ничего не поняли? Где, по-вашему, Боб Аллен? Осматривает картинную галерею Меллона? Изливает свою душу памятнику Авраама Линкольна?

— Погодите минутку, Мак-Алистер... — начал было Брэди.

— Нет, нет, нет! Ну, как я могу не волноваться! Господи боже мой, Сайлас, почему же вы со мной не посоветовались прежде, чем вы ответили на тот вопрос? Ведь я же не имею права давать советы во время допроса, если меня не спрашивают. Почему вы не спросили?

— Да потому, что я знал, что вы скажете, — медленно ответил Сайлас.

— Значит, вы мне не верите? Ну да, я жёлчный, обтрёпанный, опустившийся адвокатишка! Господи, конечно, я видывал виды! — Теперь он уже кричал, и на них оглядывались все посетители ресторана; потом он добавил спокойнее: — Вы мне не верите, Сайлас?

— Я вам верю. Но я не мог вести себя иначе. Не мог, — настаивал Сайлас, и в голосе его слышалась мольба. — Не мог. Я бы потерял к себе всякое уважение. Я бы потерял всякое уважение к своей стране. Пред-

ставьте себе, вы говорите мужу, что его жена потаскуха, — он ведь вам не поверит! Я не могу вам поверить! Ведь она составляет со мной одно целое, ведь она — часть меня самого.

— А если муж убедится собственными глазами? — тихо спросил Мак-Алистер.

— Если он убедится собственными глазами... если он убедится... тогда упаси его бог!

Перевод с английского
Е. Гольшевой и Б. Изакова.

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ГРАДОВ

Кандидат архитектуры

★

ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ АРХИТЕКТУРЫ

Говоря о наглядных преимуществах советского строя, практических результатах мирного созидательного труда свободного народа, мы с заслуженной гордостью называем масштабы нашего промышленного, жилищного и культурно-бытового строительства.

Там, где веками лежали необжитые земли, теперь возникли крупные промышленные центры. На месте лесов и болот, в тайге и на пустырях выросли чудесные социалистические города и рабочие посёлки.

История человечества ещё не знала такого быстрого роста индустриального могущества государства, какой был достигнут в СССР в итоге великих революционных преобразований. Советские люди отлично понимают, что только при условии неуклонного развития основы основ социалистической экономики — тяжёлой промышленности — можно двигать вперёд все отрасли народного хозяйства, всё выше поднимать уровень благосостояния народа, обеспечивать неприступность границ нашей могучей державы.

Особенно возросли темпы и размах строительных работ в нашей стране в послевоенный период. Девятьсот миллиардов рублей израсходовало Советское государство за это время на капитальное строительство. Восстановлено, построено и введено в действие более восьми тысяч крупных промышленных предприятий. В городах и рабочих посёлках жилищный фонд увеличился на двести с лишним миллионов квадратных метров. В сельских районах построено около четырёх с половиной миллионов домов. В одном лишь 1954 году затраты на капитальные работы составили столько, сколько было израсходовано на эти цели за всю вторую пятилетку, а объём строительных работ в прошлом году увеличился в два с половиной раза по отношению к 1946 году.

По мере дальнейшего продвижения к коммунизму мы будем строить всё больше и больше заводов, шахт, электростанций и фабрик. Нам нужно поскорее преодолеть жилищную нужду, построить много новых детских садов и яслей, школ, больниц, магазинов, клубов, театров и других культурно-бытовых зданий. Новые, большой государственной важности проблемы встают сейчас перед нашей строительной индустрией.

Много неотложных задач предстоит решить и нам, советским архитекторам, многое надо переосмыслить по-новому. Об этом и будет идти речь в настоящей статье.

В ДОЛГУ ПЕРЕД НАРОДОМ

Партия и правительство указали на необходимость резкого улучшения архитектурно-строительного дела в нашей стране. Решающим условием этого является индустриализация строительства, тесная связь между архитекторами и строителями.

Выступая 7 декабря 1954 года на Всесоюзном совещании строителей, созванном ЦК КПСС и Советом Министров СССР, Н. С. Хрущёв говорил, что успех индустриализации, улучшение качества и снижение стоимости строительства в значительной мере зависят от работы архитекторов и конструкторов. Каждый архитектор должен глубоко вникать в экономику строительства, хорошо разбираться в современных строительных материалах и методах строительного производства. И вот тут-то оказалось, что для многих наших архитекторов это может быть достигнуто не иначе, как в результате

коренной перестройки своей практической деятельности, пересмотра своих творческих позиций.

Что же тормозит нормальное развитие архитектурно-строительного дела? В чём состоят ошибки многих архитекторов, где надо искать «корни зла»?

Партия всегда указывала, что в проектировании и строительстве различных видов зданий и сооружений городов и других населённых мест необходимо следовать главному принципу советского зодчества: сочетанию наилучших удобств для людей и высокого художественного качества с технической целесообразностью и наименьшими затратами на строительство и эксплуатацию сооружений.

Это значит, что художественная сторона архитектуры не должна быть самоцелью и её нельзя отрывать от материального содержания сооружений. Дальнейшее развитие промышленного строительства, обеспечение в короткий срок миллионов людей жилищами и общественными зданиями могут быть достигнуты только при условии, если способ строительства будет основан на совершенной технике, повышающей производительность труда, и если будет соблюдаться строжайшая экономия в расходовании государственных материальных фондов.

Между тем в строительстве нередко наблюдается прямое расточительство средств. Часто это происходит по вине архитекторов и архитектурных органов, допускающих излишества в отделке зданий.

Помпезность и вычурность чужды идеям советской архитектуры. Художественный облик зданий должен соответствовать назначению сооружения, быть целеустремлённым, радовать глаз простотой, логикой и изяществом форм.

Практика многих архитекторов показала их ошибочное представление о цели и характере нашей архитектуры, одностороннее, формалистическое понимание ими архитектуры как только декоративного искусства и недооценку технической целесообразности и экономичности.

Сказалось и некритическое освоение архитектурного наследия. Широкое распространение получило эпигонское копирование приёмов и форм архитектуры далёкого прошлого — древней Греции и Рима, итальянского Возрождения, барокко и классицизма. Водворился своего рода академический штамп, когда не только к общественным зданиям, но даже и к жилым домам начали приделывать ложноклассические портики, скопированные со старых увражей. Многие архитекторы увлеклись устройством бутафорских, практически неиспользуемых башенных надстроек, декоративных арок, громоздких карнизов, обелисков.

Разумеется, никто не будет возражать против красивых, привлекательных фасадов зданий. Но ведь достигается-то эта красота главным образом за счёт правильных пропорций, умелого использования фактуры и цвета облицовочных материалов, правдивого выявления основных элементов и деталей здания. Вспомним, например, такие здания и сооружения, как Мавзолей Ленина и Сталина, комплекс Днепрогэса, некоторые станции Московского метрополитена, стадион имени Кирова в Ленинграде, дом Верховного Совета УССР в Киеве и много других, в которых наряду с правильным решением утилитарных задач нашли своё воплощение новые принципы социалистической эстетики.

У нас получилось так, что некоторые архитекторы, проявляя излишне много заботы о внешней, показной стороне дела, в то же время чересчур мало работали над рациональной внутренней планировкой жилых домов и общественных зданий. Они забыли главное — создание удобств для населения, игнорируют нашу богатую индустриальную технику, рассчитывая свои проекты на кустарные, отсталые способы строительства. «Такие архитекторы, — сказал Н. С. Хрущёв на Всесоюзном совещании строителей, — стали камнем преткновения на пути индустриализации строительства». Они, «прикрываясь фразами о борьбе с конструктивизмом, на деле в угоду фасадам, т. е. в угоду форме, жертвуют удобствами внутренней планировки и эксплуатации зданий и проявляют тем самым пренебрежительное отношение к насущным нуждам людей».

Примерами претенциозной архитектуры, чуждой духу нашего общества, могут служить жилые дома в Москве на улице Горького (архитектор А. Жуков) и на улице

Чкалова (архитектор Е. Рыбицкий). В этих домах, фасады которых одеты в архаические монументальные формы, допущены крупные недостатки и излишества в планировке квартир. Стоимость одного кубометра этих домов более чем в два раза превосходит средний уровень стоимости строительства домов такого же типа.

Некоторые жилые дома, массовое строительство которых ведётся по типовым проектам, разработанным в Гипрогоре под руководством архитектора М. Парусникова, лишены, вероятно по «эстетическим соображениям», балконов, представляющих большое удобство для жильцов. В маленьких комнатах сделаны эркеры с широкими окнами, тогда как в больших комнатах, наоборот, устроены узкие окошки, недостаточные для естественного освещения помещений. Зато извне дома уснащены в изобилии пилястрами, фронтонами и гирляндами. Архитектурное оформление фасадов этих зданий никак не соответствует требованиям массового строительства, так как связано с производством сложных индивидуальных деталей.

Архаические формы в архитектуре, эстетскую бутафорию, потакающую мешанским вкусам, можно встретить во многих городах, курортных местах. Трудно представить себе, чем руководствовались люди, утверждая проект, по которому в Сталинграде построен родильный дом с двадцатью восемью колоннами; в Первоуральске в двадцати четырёх жилых домах сделано по двадцать колонн. Явно не думали об экономии средств, о рациональном строительстве архитекторы Козютин, Рыбицкий, Алхазов, Химшиашвили, когда разрабатывали в своих мастерских проекты сооружения санаториев в Сочи, Гагре, Цхалтубо. Иначе они должны были бы отказаться от совершенно ненужной отдыхающим здесь людям роскошной лепнины, росписи, громоздких подвесных потолков. И очень жаль, что в своё время этим архитекторам никто не указал на допущенные ими крупные недостатки в планировке зданий, на нарушение гигиенических требований. Строительство санаториев обошлось дороже в три—пять раз. Из-за расточительства в сооружении этих четырёх здравниц народ недополучил по крайней мере десять санаториев.

Примерно с таким же архитектурным «размахом» сооружались и здания вокзалов в Харькове, Смоленске, Одессе, Симферополе, Сочи. Во многих из них устроены обширнейшие залы, не используемые по прямому назначению, тогда как помещения, где больше всего скапливается пассажиров, затеснены.

Стоит поговорить и о нашем градостроительстве. Очевидно, что население заинтересовано не только в красоте внешнего облика города, но и преимущественно в максимальных удобствах и здоровых условиях жизни, в правильном решении вопросов коммунального хозяйства, городского транспорта. И, конечно, жителей не могут удовлетворить предложения тех зодчих, которые берут в основу плана города не эти жизненные требования, а надуманную, академическую схему ансамблей. Вряд ли трудящиеся согласятся с мнением иных архитекторов, доказывающих необходимость возвращения к эпохе классицизма. Ведь механическое перенесение в современные условия планировочных приёмов того времени, создание парадных магистралей, сложных очертаний кварталов неизбежно влечёт за собой недооценку требований элементарного благоустройства, разумной организации сети учреждений культурно-бытового обслуживания. И уж совсем бывает плохо, когда в интересах ансамблевого эффекта производится застройка только по контуру магистралей, где и располагаются дома с напыщенно украшенными фасадами. За этой, с позволения сказать, «ширмой» подчас можно видеть весьма неприглядные двory с ветхими строениями, оставшимися ещё с незапамятных времён.

Культ превосходства монументальной архитектуры перед так называемым «простым» строительством, бытующий среди некоторых архитекторов-эстетов, стремление проектировать только здания индивидуального характера во имя личной «славы» наносят большой вред массовому строительству по типовым проектам. А ведь типизация является важнейшим средством повышения темпов строительных работ, снижения стоимости и улучшения качества зданий. Только применение типовых проектов даёт возможность использовать полностью мощную строительную индустрию. Недопустимо поэтому пренебрежительное отношение к массовому строительству, как второсортному виду деятельности, которая якобы не даёт простора для творческой фантазии.

Формализм, архаика, эклектизм в творчестве значительной части архитекторов тормозят развитие и совершенствование социалистических типов сооружений, ориентируя наше строительство на отсталые методы возведения зданий. Прямым следствием такого рода направленности в архитектуре явилосьвольное или невольное противодействие внедрению новой техники, строительству крупноблочных и крупнопанельных зданий.

ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ НАУКЕ

Одной из важных причин неудовлетворительного состояния архитектурно-строительного дела является тот факт, что творческая практика нашего зодчества всё ещё недостаточно вооружена теоретически. В известной степени этим и объясняется отрыв архитектуры от насущных нужд строительства.

Партия и правительство создали все необходимые условия для плодотворного развития научной мысли. В 1934 году была учреждена Академия архитектуры СССР. Прямой её обязанностью являлась разработка теоретических основ советской архитектурной науки. Это помогло бы направить по правильному руслу, сделать более целеустремлённой и эффективной всю работу архитекторов и строителей.

Однако за двадцать лет своего существования академия не сумела подготовить ни одного полноценного теоретического труда по важнейшим проблемам советского зодчества. Более того, в обход прямых указаний партии и правительства о необходимости живой, органической связи архитектуры со строительным производством, о широком развёртывании творческой инициативы и новаторства, некоторые научные деятели ориентировали архитектурную практику на игнорирование вопросов экономики и технического прогресса, культивировали не критическое освоение классического наследия.

В послевоенный период, когда строительство в нашей стране развернулось с невиданной силой, перед советской архитектурой открылись новые возможности дальнейшего развития и расцвета. Ещё в конце 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны, была создана система государственных архитектурных органов. В те дни М. И. Калинин в своём письме председателю Комитета по делам архитектуры при СНК СССР А. Г. Мордвинову писал: «Сейчас советским архитекторам представляется редкий в истории случай, когда архитектурные замыслы в небывало огромных масштабах будут претворяться в реальном строительстве. И мы вправе ожидать, что наши архитекторы удовлетворительно справятся с выпавшими на их долю задачами. В противном случае тяжёлая моральная ответственность перед потомством ляжет на наше архитектурное руководство и на нашу архитектурную общественность».

Как же ответила на этот призыв архитектурная наука? Попыткой такого ответа был выпуск в 1945 году сборника «Архитектура» под общей редакцией А. Мордвинова. О том, какие «научные» установки давались в этой книге, говорил Н. С. Хрущёв в своей речи на Всесоюзном совещании строителей.

Вместо того, чтобы нацелить архитекторов на правильное понимание и решение первоочередных задач строительства, составители сборника включили в него статьи, авторы которых занимались отвлечёнными, подчас псевдонаучными рассуждениями об архитектуре древнего Рима и итальянского Ренессанса. В статье А. Мордвинова подчёркивалось, что назначение архитектуры заключается главным образом в удовлетворении эстетических потребностей народа, что «создание значительных архитектурных произведений требует строительных объёмов, не обусловленных прямой практической необходимостью (портки, монументальные залы, башни)».

В условиях нашей действительности это почти невозможно себе представить, но факт остаётся фактом — небольшая книжка объёмом около восьми печатных листов, путаная и вредная, на долгие годы оставалась единственным «теоретическим трудом», своего рода программой, которая потом последовательно проводилась в жизнь всей системой архитектурного руководства. Порочные тенденции, способствовавшие развитию формализма и эпигонства, появлению рецидивов космополитизма в архитектурной теории и критике, не только не встречали противодействия, но, наоборот, всячески поощрялись. В специальной периодической литературе на все лады перепевались сентенции из сборника «Архитектура». В то же время материалистически обоснованные критические

выступления старательно глушились представителями «ведущей» группы деятелей архитектуры.

На протяжении последних лет президиум Академии архитектуры СССР систематически игнорировал необходимость органической связи архитектуры и строительства, не рассматривал архитектуру всесторонне, в комплексе её многообразных проблем.

Иллюстрацией неверной направленности в архитектурной науке может служить также увлечение проблемами архитектуры уникальных сооружений. Объясняется всё это довольно просто — анализ таких зданий, строящихся по индивидуальным проектам, сводился обычно к разговорам преимущественно о художественной форме, в отрыве от рассмотренных «скучных» вопросов экономики строительства, бытовых удобств, технической целесообразности данного сооружения. В большинстве своём маститые архитекторы предпочитали создавать уникальные произведения, стремясь тем самым увековечить своё имя, и крайне слабо участвовали в типовом проектировании, призванном обеспечивать высококачественными образцами широкое строительство жилищ, культурно-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных сооружений.

Не случайно, что вопросы архитектуры производственных зданий в городах и сёлах занимали до сих пор ничтожно малое место в тематических планах Академии архитектуры СССР.

Противопоставление уникальной архитектуры массовому строительству получило даже некоторую теоретическую базу. В наиболее недвусмысленной форме это проявилось в работах доктора искусствоведения И. Маца. В своей статье «О природе и специфике архитектуры» он приходит, в частности, к такому выводу: «Архитектура есть исторически сложившаяся, качественно новая ступень простого утилитарного строительства... Следовательно, отождествлять архитектуру с простым строительством нельзя». Ещё более «чётко» формулирует И. Маца ту же мысль в сборнике «Архитектурное творчество» (Издательство Академии архитектуры УССР, Киев, 1953 год): «Возникает необходимость разграничить объекты простого строительства и произведения архитектуры».

Порочность «теории» И. Маца, с пропагандой которой он успел выступить и в Москве, и в Киеве, и в Риге, не требует каких-либо дополнительных доказательств. Конечно, такое понимание природы архитектуры не имеет ничего общего с нашей материалистической наукой, с мировоззрением советских людей. Эта лженаучная концепция оправдывает барски-пренебрежительное отношение известной части архитекторов к задачам массового (иными словами — «простого», не уникального) строительства, типового проектирования, освоения передовой строительной техники. А ведь требования народа предельно ясны: нужно, чтобы каждый жилой дом, как и любое другое сооружение, прежде всего отвечал своему назначению, был удобным, прочным, экономичным и одновременно радовал своим обликом, соответствующим художественным вкусам советского человека. Архитектор, если он действительно стремится отдать все свои знания, опыт народу, которому всегда был глубоко чужд буржуазно-эстетский «идеал красоты», — этот архитектор должен не только понять разумом, а всем сердцем своим почувствовать то, что требует от него наше социалистическое общество.

Значительная доля вины в недостатках, о которых говорилось выше, падает на Институт истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР, который не сумел как следует разобраться в борьбе двух направлений — материалистического и эстетского — в трактовке сущности советской архитектуры, своевременно не осудил пропаганду реставраторских взглядов и, таким образом, не заметил появления первых ростков того сорняка, который мы назвали бы формализмом нового типа.

В 1950 году вышла в свет книга «Памятники русского зодчества», в которой история отечественной архитектуры представлялась в явно искажённом виде. Достаточно сказать, что работа эта содержит около 700 ошибок (на 170 печатных страницах). Ошибки встречаются не только в тексте, но и в иллюстративной части. Так, например, вместо плана собора в Новом Иерусалиме под Москвой приводится план Иерусалимского собора в Палестине. Автором книги является М. Рзянин, директор Института истории и теории архитектуры.

Общественное обсуждение этой книги показало, что и ранее выпущенные труды М. Рзянина страдают серьёзными изъянами. Особенно этим отличалась книга «Архитектурные ансамбли Москвы и Подмосковья», которую институт, возглавляемый автором, представлял на соискание премии. Публично «покаявшись» и признав справедливость критики в свой адрес, автор, тем не менее, продолжал публиковать статьи, в которых неправильно освещались вопросы освоения классического наследия в советской архитектурной практике.

Явления формализма и эклектики в архитектуре — следствие не только идеалистических извращений в теории, но и монополизма в методах руководства в научных и творческих организациях, отнюдь не способствовавших развитию критики и самокритики, широкому обмену мнениями по наболевшим вопросам. Поэтому новое, прогрессивное зачастую не получало общественной поддержки.

Принципиальные ошибки, имевшие место в работе Союза архитекторов, явились результатом оторванности его руководства от основной массы советских зодчих. Само собой разумеется, что это не могло не привести к кастовой замкнутости, к забвению государственных интересов.

В многотысячном коллективе советских архитекторов, конструкторов есть множество людей, работающих действительно творчески. Они знают, что главным в их деятельности является забота о создании удобств для людей, и поэтому горят желанием внести как можно более полезного, рационального в архитектурно-строительное дело. Этот отряд — та главная сила, опираясь на которую советская архитектура неуклонно идёт вперёд в своём развитии и совершенствовании.

На Всесоюзном совещании строителей были глубоко вскрыты основные недостатки в области строительства, обобщён ценный опыт, определены пути и методы дальнейшего повышения темпов, улучшения качества и снижения стоимости строительства. Участники совещания подвергли суровой и справедливой критике многих архитекторов за их серьёзные ошибки и неверные позиции. Нет сомнения, что все деятели советского зодчества извлекут уроки из этой критики и добьются новых успехов в архитектурной и градостроительной практике.

Что же требуется предпринять теперь же, чтобы лучше и быстрее решить те большие народнохозяйственные задачи, которые партия и правительство выдвинули перед советскими архитекторами?

ТРЕБОВАНИЯ ЖИЗНИ

Для того, чтобы осуществить перестройку архитектурно-строительного дела и поднять его на более высокую ступень, быстрее вводить в строй здания и сооружения, строить более экономично, надо повести решительную борьбу с кустарными, отсталыми способами строительства, перейти на полную его индустриализацию.

Реальная возможность перехода на индустриальные методы обеспечивается достижениями нашей строительной техники. К ним относится в первую очередь применение прогрессивной технологии строительного производства, в частности поточно-скоростного метода, новых строительных материалов и изделий, прежде всего сборного железобетона, непрерывное совершенствование механизмов и машин. При правильной организации дела всё это может резко повысить производительность труда.

Новый этап в развитии советской строительной техники и архитектуры открывает расширение производства сборных железобетонных конструкций и деталей, то есть стеновых панелей, плит междуэтажных перекрытий, лестничных маршей и других элементов, изготовленных в заводских условиях.

Постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР, принятым в августе 1954 года, предусмотрено увеличить выпуск этих изделий в течение ближайших трёх лет в пять раз. Для этой цели в 1955—1956 годах будет сооружено дополнительно более четырёхсот заводов и двести площадок полигонного типа, продукция которых обеспечит строительство домов с жилой площадью свыше 14,5 миллиона квадратных метров, а также более 15 миллионов квадратных метров площади про-

изводственных зданий для промышленности и сельского хозяйства. Применение в строительстве сборного железобетона даёт значительную экономию. Так, например, при замене стальных конструкций железобетонными расход металла в одноэтажных промышленных зданиях уменьшается не менее чем вдвое; потребность в лесоматериалах при постройке жилищ сокращается на 20—25 процентов.

Большую экономическую выгоду даст переход к массовому строительству зданий из крупных стеновых блоков и панелей. Максимальная сборность строительных объектов, сосредоточение всех процессов по заготовке необходимых элементов на заводах, превращение строительной площадки в монтажную — вот путь, который может обеспечить резкое снижение стоимости и сокращение сроков строительства зданий.

Каким бременем на народное хозяйство ложится применение архаических архитектурных форм и устаревших конструкций и какой эффект в сокращении трудоёмкости может быть достигнут при индустриализации строительства, видно из следующих данных.

Вес многоэтажного жилого дома, приходящийся в среднем на один квадратный метр жилой площади при кирпичных стенах, облицованных плитами, с междуэтажными перекрытиями и перегородками обычного типа, составляет более четырёх тонн, тогда как при сборных, крупнопанельных конструкциях этот весовой показатель может быть снижен до двух тонн.

В нашей стране ежедневно перевозится свыше 300 тысяч тонн различных материалов и конструкций для строительства только жилых домов. По грузоподъёмности это составляет более 300 железнодорожных составов. Нетрудно представить себе, сколько будет сэкономлено материалов, как значительно разгрузится транспорт от излишних перевозок при переходе на новые методы строительства.

Приведу ещё такой разительный факт. Допустим, мы строим в многоэтажном доме комнату площадью в восемнадцать квадратных метров. Если при этом пользоваться индустриальными методами, то нужно смонтировать с помощью механизмов всего лишь пять панелей, изготовленных на заводе. А вот при «традиционных» способах строительства и при употреблении старых конструкций потребуются выполнить такую работу, причём вручную: уложить в стены три тысячи кирпичей, укрепить сорок облицовочных плит, установить десять деталей междуэтажного перекрытия и засыпать его шлаком, сделать настил из сорока досок, устроить более тридцати квадратных метров перегородок, уложить около тысячи клёпок паркета и произвести ряд других операций. Как видим, контраст между кустарщиной и возможностями современной советской техники весьма ощутительный.

Успехи, достигнутые сейчас в технике строительства крупнопанельных и крупноблочных зданий, далеко ещё не являются пределом. Перед архитекторами и строителями стоит проблема дальнейшего снижения веса сборных конструкций. Много ещё надо поработать над улучшением теплотехнических и звукоизоляционных качеств зданий. Необходимо организовать индустриальное производство предметов оборудования.

Требуется решительная перестройка проектного дела. Разработка типовых проектов и их широкое применение — неотложная задача в работе проектных организаций. Это в значительной мере упростит и улучшит строительство, повысит его культуру, предоставит возможность наиболее полно использовать в архитектуре новейшие достижения строительной техники.

В промышленном строительстве в ближайшее время будут внедряться новые типы универсальных производственных зданий, предназначенных, например, для размещения цехов самых различных предприятий — промышленности продовольственных товаров, товаров широкого потребления, электротехнической, радиотехнической и других отраслей нашей индустрии.

Огромные масштабы строительства в сельской местности, в частности в районах вновь осваиваемых целинных и залежных земель, требуют обеспечения типовыми проектами застройки колхозных сёл, посёлков совхозов и машинно-тракторных станций. Это — очень важное дело. Ведь только по Министерству городского и сельского строительства СССР объём работ нынешнего года на селе возрастает в семь раз по сравнению с прошлым годом.

Осуществляемая по типовым проектам массовая жилищная застройка будет фактически определять архитектурный облик наших городов, посёлков, сёл. Значит, неизменно повышается роль типового проектирования в решении не только утилитарных и технических задач, но и архитектурно-художественных вопросов градостроительства.

Новые проблемы встают и перед архитектурной наукой. Совершенно очевидно, что научная тематика должна исходить главным образом из непосредственных запросов практики. Отсюда вытекает необходимость повседневного творческого содружества учёных и производственников, более эффективного использования в практике строительства результатов научных исследований. Нельзя больше мириться и с параллелизмом в работе однотипных научно-исследовательских институтов, с распылением научных сил и средств. В этом отношении наиболее целесообразной была бы реорганизация существующих научных учреждений с целью создания Архитектурно-строительной академии СССР.

Ответственные задачи, поставленные партией в области строительства, могут быть наиболее успешно решены только на твёрдой основе материалистической науки. Сама жизнь подсказывает, что для преодоления отставания в архитектуре надо двинуть вперёд архитектурную теорию, которая сможет обобщить творческую практику, выявить её прогрессивные черты и слабые стороны, разработать основные положения творческого метода советской архитектуры. Несомненно, что наша архитектурная наука окажет большую помощь комплексному городскому и сельскому строительству.

В подъёме архитектурно-строительного дела важная роль принадлежит Союзу советских архитекторов. Очевидно, что деятельность этой организации должна быть в основном нацелена на оказание действенной помощи в выполнении государственных задач в области строительства. Добиться этого можно путём решительного улучшения всей работы союза и в первую очередь идейно-политического воспитания архитекторов, проявления повседневной заботы о росте их теоретической вооружённости и всестороннего профессионального мастерства.

Залог успеха архитектурно-строительного дела — в целеустремлённой, дружной, совместной работе архитекторов, инженеров и строителей. Рабочее место архитектора — не только в проектной мастерской, но и на заводе, где изготавливаются конструкции, детали и материалы, и на строительной площадке, где по его проекту сооружается здание.

Глубоко вникая в экономику, во все сложные процессы строительного производства, способствуя их непрерывному совершенствованию, работая в тесном творческом содружестве с инженером-конструктором, технологом, экономистом, производителем работ, наши архитекторы смогут уже в ближайшее время ликвидировать свой большой долг перед народом.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

И. АБРАМОВ

Кандидат технических наук

★

ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ

Коммунизм предполагает максимальное расширение всех отраслей материального производства — промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта.

Директивы исторического XIX съезда КПСС по пятому пятилетнему плану предусматривают дальнейшее совершенствование производственных процессов, новый рост производительности труда на базе достижений науки, на основе внедрения высшей техники.

В каких же основных направлениях осуществляется в нашей стране технический прогресс, обеспечивающий создание технической базы, необходимой для построения коммунистического общества?

Наша страна станет электрической.

Каждой социально-экономической формации присуща определённая энергетическая база. Для первобытной коммуны характерно использование мускульной силы человека. Рабовладельческое общество применяло наравне с физической силой раба также и силу животных. При феодальном строе основными двигателями были водяное колесо и ветряная мельница. Промышленный переворот связан с паровой техникой. Социалистическая экономика не может развиваться без широкого применения электрической энергии. Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, ука- зывал В. И. Ленин.

...В самых отдалённых уголках нашей страны через поля и леса тянутся линии высоковольтных электропередач. На многочисленных фабриках, заводах и шахтах, на строительных площадках и в мастерских вращаются миллионы электрических двигателей, приводя в движение подъёмники, станки, машины. Электроэнергия всё более внедряется в сельскохозяйственное производство. По железным дорогам мчатся электровозы, электрические поезда; неотъемлемой частью городского транспорта стали трамваи и троллейбусы; Москва обогатилась самым лучшим в мире метрополитеном.

Более четверти всей вырабатываемой в СССР электроэнергии расходуется на удовлетворение бытовых потребностей населения. В городах на бытовые нужды каждого жителя расходуется сейчас в семь-восемь раз больше электроэнергии, чем до Великой Октябрьской социалистической революции.

Всё больше становится в СССР районов сплошной электрификации и радиофикации.

В 1913 году выработка электроэнергии в России составляла около двух миллиардов киловатт-часов в год. А в 1954 году производство электроэнергии в СССР достигло свыше 145 миллиардов киловатт-часов. Это гигантский рост — более чем в 70 раз! В пятой пятилетке вступают в строй новые электростанции суммарной мощностью

свыше четырёх миллионов киловатт — в четыре с лишним раза больше, нежели мощность всех электростанций дореволюционной России.

В СССР строятся самые мощные в мире гидроэлектростанции — в Куйбышеве и Сталинграде. Каждая из них будет давать ежегодно по 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии — в пять раз больше того количества, которое дали в 1913 году все электростанции России.

Огромные потоки энергии волжских станций будут передаваться по высоковольтным линиям на большие расстояния. Для сравнения укажем, что самая мощная ныне в мире линия передачи в США передаёт энергию на расстояние в 430 километров током напряжением в 287 тысяч вольт. Строящаяся линия Куйбышев—Москва протяжением 900 километров будет передавать ток напряжением в 400 тысяч вольт, а из Сталинграда будет передаваться в Москву ток такого же напряжения, но на расстояние в тысячу километров. Такие линии сооружаются впервые в мировой практике.

Новые линии электропередач станут основным звеном единой высоковольтной системы, охватывающей в одно кольцо все тепловые и гидроэлектростанции европейской части Советского Союза. А в дальнейшем к этой системе присоединятся электростанции Урала и Сибири.

Советская энергетика развивается на основе технического прогресса энергомашиностроения. В СССР изобретены и используются на тепловых электростанциях прямоточные паровые котлы, дающие пар давлением в 100 атмосфер с температурой более 500 градусов, быстроходные паровые турбины мощностью в 150 тысяч киловатт, работающие на паре давлением в 170 атмосфер, перегретом до 580 градусов. Строятся гидротурбины нового типа — прямоточные, поворотнo-лопастные — мощностью до 126 тысяч киловатт. Такие турбины позволяют водяному потоку проходить через агрегат, не меняя своего направления, что значительно повышает коэффициент полезного действия машины. В отличие от обычных гидроэлектростанций, ротор генератора здесь смонтирован на ободе рабочего колеса. Новая гидротурбина может быть установлена непосредственно в теле водосливной плотины; это даёт возможность отказаться от строительства специальных зданий для электростанций.

Современная наука показала, что электричество является не только носителем энергии, источником света, но и прямым участником многих технологических процессов. Таковы плавка стали и ферросплавов в электрометаллургических печах, получение алюминия и магния в электролитических ваннах, электростатическая очистка дымовых газов в доменных цехах и на электростанциях, различные электрохимические реакции, обработка металлов с помощью электрической искры, применение токов высокой частоты и так далее.

Электрическая энергия находит всё новые области применения. Вот рабочий закрепил в станке стальную заготовку и включил рубильник. Установленный на станке диск из листового железа начинает быстро вращаться. Между ним и заготовкой жидкость — электролит. Диск не касается металла, но через несколько минут от заготовки отрезается нужного размера кусок. Станок работает по методу анодно-механического воздействия электрического тока на металл: вращающийся диск служит катодом, а сама заготовка — анодом. Этот метод получил широкое распространение. Специальные станки затачивают твёрдосплавные инструменты с помощью электричества значительно лучше, чем при обычной заточке абразивными кругами. На многих заводах внедрены сверление и долбёжка металлов с помощью анодно-механических станков.

При закалке стальных деталей советские учёные разработали новую технологию — применение для нагрева изделия токов высокой частоты. Небольшая медная спираль, по которой проходит электрический ток, заменяет громоздкую нефтяную нагревательную печь. Помещённые внутри спирали детали почти мгновенно нагреваются до необходимой температуры. Вместо десятков часов нагрев длится секунды.

Токи высокой частоты успешно применяются также для нагрева неметаллических изделий. Например, сушка древесины электричеством занимает несколько десятков минут, а при обычном способе в сушильных камерах на это уходит 350 часов. Токами высокой частоты стерилизуют молоко, консервируют продукты; их используют в радиосвязи.

В развитии отечественной техники большое значение приобретает тепловое применение электрической энергии. Изобретённая у нас электросварка по сравнению с клёпкой экономит много металла, заменяет литьё, снижает вес конструкций, ускоряет темпы производства.

На использовании электроэнергии основаны современные автоматические приборы, контролирующие производственные процессы, регулирующие и управляющие работой станков и машин, обеспечивающие защиту оборудования от аварий.

Важнейшие элементы автоматики — электронная лампа и фотореле — обладают поистине «волшебными» свойствами. Как известно, фотоэлемент — «электроглаз» — преобразует падающий на него свет в электрический ток. Это дало возможность приспособить фотоэлемент для выполнения множества тонких и сложных операций. С его помощью можно подсчитать количество выпущенной продукции. Он сортирует с высокой точностью листы железа по толщине, листья табака по цвету; бракует стальные шарики при наличии даже волосных царапин; контролирует ход химических реакций, через посредство автоматов меняет дозировку, температуру, давление.

В нашей стране из года в год растёт электрификация железных дорог. Значение её исключительно велико. Железнодорожный транспорт потребляет очень много топлива — почти треть всего добываемого у нас угля, между тем лишь шесть процентов этого количества паровозы превращают в механическую энергию. А вот что даёт электрификация: пропускная способность железнодорожного транспорта увеличивается примерно вдвое, экономия топлива достигает 60 процентов, в полтора раза ускоряется движение, на 30 процентов уменьшаются эксплуатационные расходы. В пятой пятилетке ввод электрифицированных железных дорог по сравнению с 1950 годом увеличится в четыре раза.

Так претворяется в жизнь идея В. И. Ленина: «...Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем электрической»¹.

Многообразие современной техники не ограничивается применением в качестве источника энергии одного лишь электричества. Совершенствуется и получает дальнейшее развитие паровая техника (использование сильно перегретого пара высокого давления). В производстве всё шире распространяется гидромеханизация, когда струя воды, подаваемая под большим напором, размывает и транспортирует грунт, добывает каменный уголь, торф, марганцевую руду и другие полезные ископаемые. Намного облегчают труд человека пневматические устройства, которые с помощью сжатого воздуха бурят шпур, куда закладываются взрывчатые вещества при ведении горных и землеройных работ; сжатый воздух применяют также в различных приспособлениях к станкам.

Всё большее применение находит газовая энергия. Речь идёт не только об использовании теплотворной способности горючих газов — естественных, искусственных (генераторных) и отходящих (доменных, коксовальных, нефтяных), но и об их двигательной силе, имея в виду газомоторы, газозаводовки, газовые турбины, реактивные двигатели и так далее. Необходимо также вспомнить о силе ветра: модернизированная на базе современной техники ветряная мельница становится в определённых условиях весьма ощутимым источником энергии. Создание усовершенствованных аккумуляторов позволит организовать бесперебойное снабжение потребителей даровой «воздушной» энергией при любой погоде. Советские учёные решают ещё одну важную проблему: дать стране неисчерпаемый источник энергии — лучи солнца.

Проблема превращения атомной энергии в могучую двигательную силу стала реальной в нашей стране. Советский Союз первым в мире использовал её для мирных промышленных целей. В июле 1954 года в СССР была пущена первая электрическая станция на атомной энергии мощностью в пять тысяч киловатт. Она уже даёт энергию промышленности и сельскому хозяйству близлежащих районов. На очереди — пуск более мощных станций: в 50—100 тысяч киловатт.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 370.

Поистине беспредельны перспективы, открывающиеся благодаря новой атомной энергетике. Дальнейшее изучение энергии атомного ядра позволит быстро строить гидротехнические сооружения, буквально в несколько минут прорывать крупные каналы, организовать искусственный подогрев почвы, что даст возможность собирать за год несколько урожаев сельскохозяйственных культур. Исчезнут тундры, субтропики поднимутся до центральной части страны, и на Колыме будет такой же климат, как, например, во Франции. Ранее безводные и пустынные земли удастся сделать обитаемыми и цветущими.

К комплексной механизации.

Одна из наиболее характерных черт технической реконструкции СССР — механизация трудоёмких процессов. Энерговооружённость труда, то есть количество энергии, затрачиваемой на один час рабочего времени, возросла в нашей стране за годы советской власти в несколько раз.

Особенно ярко проявилось это в добывающих отраслях. Так, например, механизированная добыча угля составляла в 1913 году менее двух процентов, а в 1952 году — почти 99 процентов. Завершена механизация процессов зарубки, отбойки и доставки угля, а также механизация подземного транспорта и погрузки угля в железнодорожные вагоны. Директивы XIX съезда Коммунистической партии предусматривают перевод угольных шахт на комплексную механизацию, внедрение механизированных способов крепления горных выработок, широкое применение дистанционного и автоматического управления работой машин и механизмов.

В дореволюционной России только шесть процентов нефти добывалось механизированным способом, а в СССР уже с 1937 года вся нефть добывается исключительно с помощью механизмов. У нас осуществлены наиболее совершенные методы эксплуатации нефтяных месторождений — турбинное бурение, наклонное бурение, максимальное использование гидравлической мощности нефтяной залежи.

На многих советских металлургических и машиностроительных предприятиях механизация работ достигла ста процентов, на строительных площадках механизированы три четверти всех работ. В строительстве зданий и сооружений всё шире применяются сборные железобетонные конструкции, детали и стеновые блоки. Это позволяет значительно экономить металл и лесоматериалы, сократить трудовые затраты и сроки строительства. В течение трёх лет в стране будет построено свыше четырёхсот заводов и двести полигонов, в результате чего выпуск сборных железобетонных конструкций увеличится в пять раз.

В СССР создано огромное количество специальных механизмов, облегчающих труд рабочих и повышающих его производительность. Речь идёт о мощных землеройных машинах (экскаваторах, бульдозерах, скреперах, землесосных снарядах, гидромониторах), полностью механизированных и автоматизированных бетонных заводах, заводах металлических конструкций и арматуры для железобетонных сооружений, о специальных механизмах для транспортировки и укладки бетона, машинах для забивки свай и шпунтов и многих других. Достаточно сказать, что за послевоенные годы в СССР создано несколько сот новых машин для механизации строительства.

Вся эта изумительная техника, применённая на строительстве Волго-Донского канала, позволила на два года ранее намеченного срока ввести в эксплуатацию весь гидротехнический узел: канал с Цимлянским морем и шлюзами, гидроэлектростанцию, насосные установки.

Эта же техника обеспечила своевременное окончание строительства грандиозного комплекса Московского государственного университета и шести высотных зданий Москвы и успешно используется на строительстве гидроузлов в Куйбышеве, Сталинграде, Каховке, Горьком, Молотове, на Ангаре.

Исключительную роль играет механизация в сельском хозяйстве. В 1954 году на вооружении МТС находилось 1260 тысяч тракторов (в 15-кратном исчислении), 326 тысяч зерновых комбайнов и несколько миллионов различных сельскохозяйственных машин и орудий, изготовленных советскими людьми в цехах советских заводов, на

советском оборудовании, из советских материалов. В нашей стране появились первые в мире электротракторы, самоходные зерновые комбайны, специальные сложные агрегаты, механизующие уборку свёклы, картофеля, льна, конопли, хлопка, сена.

Одним из важных факторов роста урожайности полей, огородов, садов является максимальная механизация сельскохозяйственных работ. И в этом направлении работает сейчас творческая мысль советских учёных и конструкторов. В качестве одного из многочисленных примеров можно привести созданную коллективом советских учёных и инженеров машину для посадки капусты, помидоров и других сельскохозяйственных культур. Эта машина навешивается на трактор «Беларусь». Её рабочая часть состоит из четырёх секций. Каждая из них имеет посадочный аппарат, снабжённый сошником для прокладки непрерывной борозды, катками и волокушей. При движении трактора сошники врезаются в почву и оставляют за собой четыре бороздки, идущие параллельно протянутой на земле проволоке. Как только узелки, расположенные на проволоке, коснутся крестовины посадочного аппарата, он приходит в движение. Сажальщики, сидящие на машине, кладут первые торфоперегнойные горшочки в маленькие корзинки, укрепленные на движущейся крестовине. Вот крестовина повернулась, и четыре торфоперегнойных горшочка одновременно опустились в борозду. Рассада высаживается в четыре ряда. Особые катки сразу же засыпают её землёй и прикатывают почву возле корней. Затем волокуши выравнивают рельеф поля.

В момент посадки производится полив рассады водой или раствором минеральных удобрений; это совершается с помощью остроумно приспособленных воронок, причём вода (раствор) поступает под растение. Машина движется со скоростью более километра в час. За день работы она высаживает рассаду на площади около двух гектаров. Применение этой машины на колхозных полях Подмоскovie показало высокое качество посадки — вся горшечная рассада полностью прижилась.

Общезвестно, какой трудоёмкой сезонной работой была копка сахарной свёклы. Не всегда удавалось справиться с копкой во-время, и часть корнеплодов оставалась в земле. На помощь колхозам и совхозам пришла советская техника. Сконструированный в СССР трёхрядный свёлокомбайн выполняет несколько операций: подкапывает корни, вытаскивает их из почвы, отрезает головки корней с ботвой, очищает корни от земли и собирает их в бункеры. Для уборки кукурузы применяется специальная машина, которая убирает початки, срезает стебли растений, измельчает их и приготавливает для силосования. Производительность этого комбайна в тридцать раз выше, чем при ручной уборке. Уборочный льнокомбайн тербит стебли льна, очёсывает головки и вяжет очёсанную солому в снопы. За день эта машина убирает урожай льна с семи гектаров.

Советские конструкторы в содружестве с передовиками колхозов создали систему машин, механизующих все процессы возделывания картофеля: посадку, внесение минеральных удобрений, междурядную обработку и уборку урожая. На колхозных полях успешно работает четырёхрядная квадратно-гнездовая картофелесажалка. Впервые в мире созданы у нас картофелеуборочные комбайны, способные работать на тяжёлых почвах и почвах повышенной влажности. Комбайн прицепляется к гусеничному трактору. При его движении лемеха комбайна подкапывают одновременно два ряда посадок картофеля. Земля с ботвой и клубнями поступает в элеватор комбайна, где особый механизм последовательно отделяет картофель от земли и ботвы. В течение дня комбайн может обработать четыре-пять гектаров картофельного поля, освобождая от тяжёлого физического труда десятки людей.

Многое сделано в СССР для механизации процессов труда в животноводстве. Самоходные сенокосилки с десятиметровым захватом скашивают за смену до 60 гектаров луга; высокопроизводительные машины сгребают и скирдуют сено. Тракторные навесные волокуши, подборщики-копнителы, пресс-подборщики, крановые моторные стогометелы намного увеличивают производительность труда, улучшают качество работы.

Для приготовления кормов создана универсальная машина, которая режет зелёную массу на силос, измельчает корнеплоды и сухие стебли кукурузы, сорго и солому, дробит сено. Машина снабжена приспособлениями для дробления и плющения зерна, для приготовления плиточного жмыха и жмыховой крошки. На многих животноводче-

ских фермах теперь механизированы водоснабжение, подвозка кормов, дойка коров, стрижка овец.

В колхозе имени Молотова, Раменского района, Московской области, недавно вступил в эксплуатацию механизированный доильный цех. Рядом расположены подсобные помещения: молочное отделение, моченая, комната отдыха доярок, душевая, кабинет зоотехника. В середине цеха установлены 20 лёгких станков-стойл из гнутых труб, над которыми проходят две трубы от вакуумнасоса и стеклянный трубопровод для молока. На одном уровне с ним — герметически закрытые стеклянные цилиндры-подойники. Две доярки за полтора часа успевают подоить 150 коров. Во время дойки руки доярки к корове не прикасаются, что обеспечивает полную стерильность молока.

Таких полностью механизированных доильных цехов имеется уже немало в наших колхозах и совхозах.

Механизация сельского хозяйства, применение передовой агротехники, широкое внедрение удобрений, правильные севообороты, исключительное внимание к техническим культурам, развёрнутая борьба с сельскохозяйственными вредителями — всё это позволило перевести социалистическое земледелие, животноводство, садоводство на подлинно научную агрономическую основу и обеспечивает значительный рост сельскохозяйственной продукции.

В Советском Союзе рост производительности труда базируется не только на применении всё более совершенных машин, аппаратов, приборов, инструментов, но и на непрерывно растущем уровне производственно-технической квалификации работников.

Социалистический строй открыл неограниченные возможности механизации и автоматизации производства. В СССР выпускается всё больше и больше разнообразных механизмов, заменяющих тяжёлую физическую работу в таких трудоёмких отраслях, как горное дело, лесозаготовки, сельское хозяйство, строительство, сооружение дорог, погрузочно-разгрузочные работы. Однако нашим конструкторам, инженерам, новаторам производства предстоит ещё много потрудиться над созданием более сложных и точных машин, аппаратов и приборов для дальнейшего повышения производительности труда.

Наряду с механизацией отдельных процессов всё же сохраняется ручной труд на некоторых подсобных операциях, как, например, подвозка и подноска к агрегату сырья и полуфабрикатов, уборка готовой продукции и отходов. Эти участки представляют собой «узкие» места во всём производственном цикле и снижают общий ритм и темпы производства. Часто машинное время на изготовление изделий составляет едва лишь половину вспомогательного времени. Поэтому ближайшей задачей является внедрение комплексной механизации, охватывающей все смежные участки, а также все основные и вспомогательные работы.

Инженерный труд рабочего.

Высшей формой механизации является автоматизация производства. В своём поступательном развитии наша техника проходит через несколько этапов: от автоматизации отдельных агрегатов — к автоматизации работы системы машин и, наконец, целых предприятий. Проиллюстрируем это некоторыми примерами.

Новейшие советские металлорежущие электрокопировальные станки-автоматы сводят к минимуму физический труд рабочего. Рабочий вставляет в станок чертёж и заготовку: чертёж освещается электрической лампочкой. Тёмные линии контура чертежа отражаются в фотоэлементе и превращаются в электрическую энергию, которая усиливается в несколько тысяч раз, автоматически приводит в действие инструменты, обрабатывающие заготовку и придающие ей нужную форму. Готовая деталь падает в ящик. Наладка станка и управление им не требуют физических усилий рабочего, но он должен в совершенстве знать всё сложное устройство станка, технологию резания металлов, электротехнику.

На московском заводе «Красный пролетарий» изготовлен универсальный токарный станок, управляемый специальным прибором и рассчитанный на автоматическую ступенчатую обточку деталей разнообразной формы. Пользуясь имеющимися на станке

дисками с делениями, рабочий последовательно набирает показатели размеров детали. Нажим пусковой кнопки — и станок вступает в действие. Сначала резец проходит по длине заготовки точно заданный размер, затем, без остановки, автоматически устанавливается на заданный диаметр и продолжает съём стружки. По изготовлении детали резец автоматически возвращается назад в первоначальное положение. Станок работает без брака, детали обрабатываются с постоянной точностью в три сотых миллиметра. Настройка станка при переходе с одной детали на другую занимает полторы-две минуты. Один токарь может обслуживать одновременно несколько таких станков.

Советские конструкторы и машиностроители создали автоматизированный цех для обработки поршневых пальцев тракторных моторов. Здесь не видно ни токарей, ни слесарей — все производственные операции, от нарезки заготовок до упаковки готовых изделий, осуществляют механизмы.

Пятнадцать агрегатов связаны между собой в едином технологическом процессе. Автомат разрезает стальные трубы на заготовки, которые проходят предварительную механическую и термическую обработку на первых участках станочной линии. Затем заготовки попадают в загрузочный бункер автомата черновой шлифовки, где получают правильную цилиндрическую форму. Последующие шлифовочные агрегаты уточняют эту форму и придают зеркальный вид наружной поверхности поршневых пальцев. Через каждые шесть секунд завёрнутый в бумагу поршневой палец скатывается в картонную коробку; ежечасно автоматическая линия выдаёт 120 картонных коробок по пяти поршневых пальцев в каждой.

Весь процесс прохождения поршневым пальцем стометрового станочного пути отражается на центральном пульте управления. Электрические приборы-автоматы определяют порядок включения и выключения отдельных станков, подают команды исполнительным механизмам, обеспечивают высокую точность и безаварийность работы всей линии. Цех обслуживается одним оператором и пятнадцатью наладчиками.

Крупнейшим достижением советской техники является создание завода-автомата, производящего поршни для двигателей внутреннего сгорания. На этом предприятии-уникуме, состоящем из пяти цехов, полностью автоматизированы все процессы производства. В нашей стране работает уже несколько таких заводов-автоматов.

Директивы XIX съезда КПСС предусматривают дальнейшую автоматизацию производственных процессов на электростанциях, завершение полной автоматизации районных гидроэлектростанций. Намечено приступить к широкому внедрению телемеханизации (управлению на расстоянии) в энергетических системах.

Ныне более 90 процентов районных гидроэлектростанций имеет автоматизированное управление агрегатами. Часть гидроэлектростанций, например, на канале имени Москвы, в Узбекистане и в ряде других мест, работает без участия обслуживающего персонала. Управляются такие станции из центрального диспетчерского пункта, расположенного на расстоянии 60—70 километров от них. По проводным линиям связи к диспетчеру поступают «отчёты» машин об их работе. На центральном диспетчерском щите расположены приборы, которые показывают ход работы, сообщают о включении и выключении отдельных механизмов. Диспетчер не только следит за машинами, но и может в любой момент вмешаться в их работу. Перед ним находится пульт управления, и он простым нажатием соответствующей кнопки может остановить одни машины, включить другие, пустить резервные агрегаты, перераспределить энергию между различными потребителями.

Допустим, на одной из гидроэлектростанций произошла авария — вышла из строя гидротурбина. Тотчас же возникают световой и звуковой сигналы в дежурном помещении и на квартире у ремонтного мастера; одновременно у диспетчера загорается красная лампочка. Мастер спешит на станцию. Как только он открыл дверь, сейчас же автоматически включается свет (от аккумуляторной батареи) и на стене появляется световой сигнал, указывающий, где именно произошла авария: лопнул ли ремень трансмиссии, расплавился ли вкладыш подшипника и т. п. По окончании ремонта агрегат автоматически вступает в нормальную эксплуатацию, у диспетчера гаснет красная сигнальная лампа.

Автоматизация управления работой гидроэлектростанций даёт возможность чётко и безошибочно руководить сложнейшими производственными процессами из одного пункта. В этом и заключается сущность телемеханики — управления производственным процессом на расстоянии.

На тепловых электростанциях автоматически действующие приборы регулируют процессы горения в топках котельных установок, температуру и давление пара. На линиях электропередач приборы обеспечивают безаварийную работу повысительных и понизительных электроподстанций, поддерживают постоянную частоту тока, следят за надёжностью установок грозовой защиты.

В чёрной металлургии автоматизация доменных и мартеновских печей, прокатных станов и другого основного оборудования даёт большой экономический и технический эффект. В целях экономии дорогого дефицитного кокса и для ускорения процесса выплавки чугуна поступающее в доменную печь дутьё (воздух) предварительно подогревается до температуры 800—850 градусов. Автоматические приборы строго следят за температурой и обеспечивают равномерность нагрева дутья.

На современных химических заводах автоматизация позволяет без участия человека точно соблюдать требуемую температуру, давление, скорость протекания реакций и другие условия технологического процесса.

Отечественная машиностроительная промышленность всё более увеличивает выпуск автоматического оборудования для всех отраслей лёгкой и пищевой индустрии.

Работая на ткацком станке, ткачиха вынуждена через каждые две-три минуты останавливать его для перезарядки челнока уточным початком. Теперь создан прибор, автоматически заряжающий челнок без остановки станка.

В пищевой промышленности внедрены автоматы для расфасовки, дозировки и упаковки продуктов. На многих предприятиях осуществлено автоматическое регулирование и контроль производственных процессов, что обеспечивает высокое качество продукции и большую производительность.

В 1953 году вступил в строй хлебозавод-автомат непрерывного действия. Механизмы автоматически отвешивают и учитывают расход сырья, контролируют точность дозировки, замешивают и разделяют тесто, обеспечивают выпечку хлеба. Управление этими агрегатами сосредоточено на нескольких пультах. Впервые в мировой практике установлен автоматический контроль влажности теста. Аппарат не только проверяет, но и регулирует влажность теста, прибавляя в случае необходимости муку или воду.

В экспериментальном цехе Всесоюзного научно-исследовательского института молочной промышленности создана механизированная поточная линия для производства сливочного масла. Весь процесс превращения сливок в масло вместо обычных пяти часов длится не более получаса. Помимо высокой производительности, новая поточная линия обеспечивает строгое соблюдение санитарно-гигиенических условий: все технологические операции протекают в закрытой аппаратуре. Установка механизированных поточных линий на существующих заводах позволит на той же площади выпускать масла в два-три раза больше, чем сейчас.

Автоматика и телемеханика внедряются у нас во многие отрасли народного хозяйства. На канале имени Москвы действуют пять автоматизированных насосных станций, оборудованных мощными пропеллерными насосами, подающими в канал волжскую воду. Насосные станции находятся на запоре, их работой управляет диспетчер пункта, расположенного в нескольких километрах от станции. Телемеханические устройства заблокированы друг с другом таким образом, что ошибочное распоряжение диспетчера не будет ими выполнено.

Всё шире применяется автоматика на железнодорожном транспорте.

Безопасность движения обеспечивается автоблокировкой. Путь между двумя станциями разбивается на несколько блок-участков; на каждом из них устанавливают светофор, указывающий, свободен ли путь на участке или занят. Импульсы для изменения цвета semaфора — зелёного или красного — передаются автоматически по рельсам. Автоблокировка предупреждает машиниста не только о нахождении на участке другого поезда, но и любого металлического предмета, лежащего на рельсах, а также о разъединении рельсовой колеи, предотвращая тем самым возможность аварии.

Весьма интересной является новая система автоматической локомотивной сигнализации. На паровозе, тепловозе или электровозе смонтирован свой светофор, на который автоматически передаются показания путевых светофоров. Машинист может уверенно вести поезд с большой скоростью, в любую погоду, даже в тумане. Одновременно с появлением на локомотивном светофоре запрещающего сигнала, требующего немедленной остановки, раздаётся предупреждающий свисток особого устройства — автостопа. Если машинист и в этом случае не примет мер к торможению, автостоп сам остановит поезд перед красным светофором.

Советская техника идёт к комплексной автоматизации. Это означает создание такой системы машин, которая осуществляет весь производственный процесс — от первичной обработки сырья до окончательной отделки продукции — без непосредственного вмешательства человеческих рук. В обязанности рабочего входит настройка всего производственного цикла на определённый режим работы, наладка механизмов, профилактический ремонт, заблаговременная смена инструмента.

Размышляя обо всём этом, невольно вспоминаешь, что ведь не столь уж давно видел на производстве кузнеца с тяжёлым молотом в руках, закопчённого и смертельно уставшего кочегара у дышащей жаром топки парового котла или шахтёра с его, казалось, извечными обушком и кайлом. Всё это ушло в прошлое. Труд советского рабочего — это творческий труд человека, овладевшего первоклассной техникой, хорошо знающего природу технологического процесса и теоретические его основы.

Так на практике стираются у нас в СССР существенные различия между физическим трудом и трудом умственным. И в этом — ещё одна зримая черта грядущего коммунистического завтра.

С помощью химии.

Карл Маркс говорил, что по мере развития химии механическая обработка материалов будет всё более и более уступать место химическому воздействию.

В наши дни нет, пожалуй, отрасли производства, которая в той или иной степени не была бы связана с химией.

В Советской стране осуществлена блестящая идея гениального русского учёного Д. И. Менделеева. Мы имеем в виду подземную газификацию угля. Вместо сложного и трудоёмкого процесса извлечения угля из глубоких шахт его превращают — прямо на месте залегания — в высококачественное газовое топливо, подаваемое затем по трубам потребителям.

За годы пятилеток осуществлена газификация Москвы, Ленинграда, Киева, Саратова, Куйбышева и ряда других городов; построены заводы искусственного горючего; освоены новые методы переработки нефти и обогащения руд цветных и редких металлов. Развернулось производство искусственных волокон, искусственной кожи, пластических масс, фармацевтических препаратов, азотистых, калийных, фосфорных и других химических удобрений.

Советскими химиками и биологами проведены исследования возможности управлять развитием растений при помощи химических веществ. Так, опрыскивание помидоров особым раствором устраняет опадение цветов, стимулирует рост и созревание плодов, которые получают более крупными, с повышенными вкусовыми и питательными свойствами. При обработке тем же препаратом хлопчатника достигается ускоренное созревание коробочек и увеличивается урожай хлопка-сырца. Применение метода химических стимуляторов способствует усилению корнеобразования и быстрому укоренению черенков плодо-ягодных растений.

Достижения химической науки используются теперь и в борьбе с сорной растительностью. Особый интерес приобретает применение новых химических средств (гербицидов). Они избирательно поражают сорняки, позволяя заменить трудоёмкий процесс прополки опрыскиванием или опрыскиванием с самолётов. В СССР созданы такие химические вещества, через листья химикаты проникают в стебли сорняков, доходят до корней и парализуют их деятельность.

Химические кормовые средства, витамины и гормоны повышают питательность пищи, улучшают развитие животных, увеличивают их продуктивность. Применение витаминов А и Д нормализует воспроизводительную функцию животных и сильно снижает падеж скота. Яйценоскость кур повышается чуть ли не наполовину, цыплята выводятся более жизнеспособные. Обогащая витаминами снятое молоко, животноводы получают качественную замену цельного молока для кормления телят. В связи с этим значительно увеличивается выработка масла за счёт молока, сэкономленного от кормления молодняка.

Советские учёные открыли способы расщеплять и соединять по своему усмотрению молекулы углеводов в бесчисленном количестве комбинаций, получая продукты с новыми, заранее заданными свойствами.

Открыты и освоены в производстве новые способы превращения одних органических соединений в другие, считавшиеся ранее взаимно непревращаемыми. Благодаря этому стало возможным рациональное использование многих отходов производства. В этих отходах содержатся иногда весьма ценные редкие элементы и благородные металлы. Так, например, в отходах серно-кислотного производства — пиритных огарках — содержатся медь, серебро, золото, селен, теллур, таллий. Помимо того, эти огарки представляют собой (после извлечения цветных и редких металлов и удаления остатков серы) отличную железную руду.

Широкое распространение получила в СССР электрохимия. На основе электролиза создано производство алюминия, магния, натрия, калия, многих редких металлов, едких щелочей, хлора. Большое распространение получили электрохимические методы покрытия металлов защитными плёнками от коррозии: хромирование, никелирование, серебрение.

Советские химики нашли весьма эффективные методы превращения твёрдого топлива в более ценное, жидкое горючее. С помощью гидрогенизаций (насыщения водородом) из одной тонны угля получают 600 килограммов бензина. На бензин перерабатывают многозольный уголь, угольную пыль, горючие сланцы и другие малоценные сорта твёрдого топлива. Получаемый химическим способом высокооктановый бензин по своим качествам превосходит природный бензин, добываемый из нефти. Применение его позволяет значительно увеличить мощность мотора, при одновременном сокращении расхода горючего.

Новые материалы, созданные химией, — пластические массы — заменяют во многих случаях металл, стекло, дерево, строительные материалы и растительные волокна. Различные детали самолётов, автомобилей и других машин, а также множество предметов народного потребления изготавливаются теперь из пластмассы.

Прозрачность стекла и лёгкость дерева, прочность металла и красивый внешний вид — таковы ценные качества пластмасс. Они в восемь раз легче свинца и в шесть раз легче меди.

Многие искусственные материалы обладают замечательными свойствами. Сопrotивление на удар пластической массы из полихлорвинилиденхлорида соответствует прочности стали, хотя пластмасса в четыре с половиной раза легче её. На автомобильных заводах многие металлические детали заменены пластмассовыми, что экономит ежегодно сотни тысяч тонн стали.

Ряд новых синтетических материалов дала химия текстильной промышленности: искусственное волокно, нити капрон, найлон и другие. Основным сырьём для производства капронового волокна является каменный уголь. В результате сложной химической обработки угля получают смолу-капролактам, из которой на специальных прядильных машинах вырабатывают затем тонкую капроновую нить.

Советские химики создали тысячи сортов и оттенков красителей, совершенно вытеснивших из употребления природные краски.

За последние годы получили широкое применение в технике, медицине и в сельском хозяйстве различные металлоорганические соединения. Они используются как средства борьбы с вредителями и болезнями растений и в качестве фармацевтических препаратов.

Особого внимания заслуживают новые виды клея, обладающие замечательным свойством крепко соединять самые разнородные материалы — металл и дерево, стекло и камень. С их помощью можно производить быстрый ремонт деталей машин и оборудования, отопительных радиаторов. Новые виды клея широко используются при строительстве станций Московского метрополитена для приклеивания мраморной облицовки.

Весьма перспективными являются работы советских физиков и биологов по изучению строения и синтезу белковых веществ. Синтез белка позволит перебросить мост между органическим и неорганическим миром.

Наука и производство.

Для современной советской техники характерны высокие параметры — убыстрение технологических процессов, применение огромных напряжений, высокой частоты, высоких и низких температур, повышение давления. Сошлёмся на некоторые факты.

В холодной обработке металлов осуществлён переход к многолезвийным агрегатным станкам, ведущим обработку детали одновременно десятками инструментов. Переход на высокопроизводительные многошпиндельные автоматы с совмещённым циклом обработки в семь—восемь раз сокращает количество единиц оборудования, в 15—20 раз — число занятых рабочих. Значительно ускорились процессы резания металлов. Раньше токарь обрабатывал стальные детали со скоростью 10—12 метров в минуту, а ныне токарно-скоростники обрабатывают такие же детали со скоростью, превышающей три тысячи метров в минуту.

Применение высоких давлений и высоких температур в десятки раз ускоряет производственные процессы в химии и нефтепереработке и соответственно увеличивает количество выпускаемой продукции при экономии сырья и топлива. Турбина мощностью в 100 тысяч киловатт, работающая при давлении пара в 90 атмосфер, экономит ежегодно не менее 90 тысяч тонн подмосковного угля по сравнению с турбиной такой же мощности, но работающей на паре давлением в 29 атмосфер. Новый, созданный в 1953—1954 годах агрегат «Турбина мира», работая паром давлением в 170 атмосфер, экономит дополнительно 12—15 процентов топлива.

Ещё совсем недавно лучшие самолёты-истребители развивали предельную скорость 550—600 километров в час. А летом 1954 года на воздушном параде в День авиации москвичи могли видеть самолёты с реактивным двигателем, летящие со скоростью, близкой к скорости звука, — около 1 200 километров в час. И это — не предел. Советская научная и конструкторская мысль продолжает работать над дальнейшим повышением скорости полёта.

Работа при больших скоростях, высоких давлениях и высоких температурах предъявляет повышенные требования к качеству материалов, из которых изготавливаются механизмы. В СССР за годы пятилеток создана мощная металлургия качественной стали; у нас изготавливают замечательные сплавы, не теряющие своих механических свойств при работе на повышенных параметрах давления и температуры. Они применяются в реактивных двигателях, мощных паровых котлах, газовых турбинах, в химической и нефтеперерабатывающей аппаратуре.

Советские учёные разработали методы испытания материалов, основанные на последних достижениях науки.

Электронный микроскоп увеличивает объекты исследования в 100—200 тысяч раз, в то время как оптический микроскоп даёт увеличение максимум до трёх тысяч раз. Применение электронного микроскопа позволило сделать важные открытия в области физики, химии, микробиологии, медицины, техники.

По железнодорожному мосту проходит с большой скоростью тяжеловесный товарный поезд. Сооружение испытывает огромную нагрузку в несколько тысяч тонн. Но строители и эксплуатационники уверены в прочности моста — все конструкции его строго рассчитаны и подверглись самым тщательным испытаниям. С помощью специальных приборов была проверена прочность всех сварных швов. Методом меченых атомов исследован ход кристаллизации стали при её остывании в изложнице. С помощью рентгеновских лучей сфотографирована и изучена структура металлических деталей.

Материалы исследуются также с помощью ультразвука. Созданный в СССР ультразвуковой дефектоскоп способен «просматривать» насквозь любые материалы: твёрдые, жидкие, сыпучие. Он позволяет определять раковины в чугунных отливках, внутренние трещины в бетонных плитах, степень коррозии подводных металлических сооружений.

В результате ускорения трудовых приёмов и автоматизации возникли новые, более рациональные формы организации производства. Поточный конвейерный метод, применявшийся ранее лишь на сборке изделий, осуществлён теперь и в других производственных и вспомогательных цехах, при термической обработке деталей машин, в частности при поверхностной закалке, при нагреве перед ковкой, штамповкой, прокаткой и т. п. Включение в единый поток всех этих операций обеспечило непрерывность технологического процесса, высокую производительность, а также доброкачественность продукции при чрезвычайно экономном расходе сырья и полуфабрикатов.

Цель технического прогресса в СССР — рост и совершенствование социалистического производства для всестороннего удовлетворения постоянно растущих потребностей всего общества, для построения коммунизма. В Советской стране созданы самые благоприятные условия для развития и расцвета научно-исследовательской деятельности. В настоящее время в СССР работает около трёх тысяч научно-исследовательских институтов, лабораторий и других научных учреждений.

Учёный, инженер, конструктор, рабочий, колхозник — каждый советский человек кровно заинтересован в дальнейшем совершенствовании общественного производства. Это и обуславливает тесное содружество науки и производства. Рабочие улучшают производственные приёмы, создают новую технологию, совершенствуют оборудование. Учёные обобщают их передовой опыт, подводят под него теоретическую базу.

Токарь Средневолжского станкостроительного завода В. Колесов радикально изменил геометрию реза, стал работать на больших подачах, во много раз превышающих обычные. Введённое новатором «силовое резание» дополнило скоростное резание, внедрённое токарями-скоростниками Г. Борткевичем, Н. Угольковым, П. Быковым, С. Бушуевым и другими. О своём опыте В. Колесов сделал доклад на учёном совете Института машиноведения Академии наук СССР. В результате в силовое резание были внесены некоторые научно обоснованные коррективы, и способ этот стал намного эффективнее.

Токарь механического цеха московского завода имени Владимира Ильича В. Комаров внедрил комплексный метод резания металла, соединяющий скоростное и силовое резание. Раньше он затрачивал на обточку детали 80 минут, теперь же каждые одиннадцать минут он снимает со станка готовый вал. Этот приём также научно обоснован и широко внедряется на других предприятиях.

На московском заводе «Борец» начальник цеха В. Палехо, старший технолог А. Матвейчиков и токарь В. Разорёнков создали новый технологический процесс — вихревое фрезерование с одновременным вращением детали и инструмента. Это в десять раз повысило производительность труда при нарезке резьбы. Раньше на обработку траверзы — детали оборудования затрачивали более получаса. А сейчас обработка длится всего две-три минуты: резьба нарезается за один проход. В. Разорёнков один выполняет за три-четыре дня месячное задание всего цеха по траверзам. Применение вихревого фрезерования дало возможность высвободить в цехе для другой работы пять токарей и пять станков. Таких примеров можно привести множество.

Творческое новаторство в производстве, передовая наука и техника призваны сыграть важную роль в нашем дальнейшем развитии, в победоносном шествии к коммунизму.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Н. Н. МИХАЙЛОВ

★

ПОЭЗИЯ НАУКИ

Писатели многое сделали, чтобы отразить в литературе то новое, что создано в нашей стране. И новое мы видим не только на страницах романов, в драмах и стихах, но и в тех научно-художественных книгах, которые сами по своему жанру представляют собой совершенно новое явление в искусстве.

За время, прошедшее между двумя съездами писателей, в нашей стране развилась новая ветвь литературы — литература научно-художественная. Это — значительное достижение не только советской литературы, но и всей нашей советской культуры. Во время Первого съезда писателей, двадцать лет назад, подобного заявления мы бы сделать не могли.

Создание научно-художественной литературы — прямой завет А. М. Горького. В последние годы жизни А. М. Горький много заботился об этом новом, тогда только появлявшемся роде художественной прозы. Горьким были сформулированы основные её принципы, им было указано на исключительное её значение.

К сожалению, на Втором съезде писателей, где так много говорилось о горьковских традициях, очередь до серьёзного разговора о горьковской научно-художественной литературе не дошла. Между тем развитием этого рода литературы мы должны гордиться и, что более важно, развитию его должны активно способствовать.

В советской литературе целый отряд писателей работает над тем, чтобы передать народу поэзию науки. Научно-художественные книги выпускаются большими тиражами и сразу расходятся, не оставаясь лежать на полках магазинов. Советские научно-художественные произведения в переводах получили широкое распространение за рубежом, например, книги М. Ильина имеют 181 заграничное издание. О влиянии советской научно-художественной литературы говорит, в частности, такой факт: журнал мичуринского направления в Англии назван по заголовку книги нашего писателя В. Сафонова — «Земля в цвету».

Почему научно-художественная литература появилась и растёт в нашей стране?

Прежде всего потому, конечно, что наука и научное творчество проникают всё глубже в жизнь человека и ищут отражения в искусстве. В Советской стране культура и наука носят народный характер. Естественно, что наш читатель хочет стоять на современном уровне развития культуры, а значит — и науки, и требует того же от писателей, чего требовал и Горький.

Академик А. Топчиев, выступавший на Втором съезде писателей от лица учёных, призывал писать о науке. Года три назад А. Фадеев, выступая перед московскими литераторами в Октябрьском зале Дома союзов, говорил о жизни работников науки как об одной из важнейших

писательских тем. И действительно, жизнь и работа учёного всё чаще становятся темой романов и пьес. Разумеется, с дальнейшим развитием нашего общества и его культуры значение этой темы будет расти и расти. И мы должны быть к этому готовы.

Но вот какой возникает тут вопрос: можно ли сейчас в художественном произведении обходиться обстоятельствами, лежащими лишь вокруг науки или научного открытия? Или для создания полноценных живых и целостных образов необходимо со знанием дела затрагивать и самую суть научной проблемы?

Говоря на съезде о мире науки, А. Топчиев призвал писателей «хорошо изучить этот пласт жизненного материала, раскрыть всю важность происходящих в науке процессов, отразить их во всей сложности...» Однако некоторые считают, что писатель обязан показать, как идёт борьба в учёном мире, вопрос же, из-за чего она идёт, по их мнению, лежит вне компетенции писателя и рассматриваться им не должен. Последний раз мы встретились с этой точкой зрения как раз в дни писательского съезда — в статье академика С. Соболева¹, который говорит, что писатель, пишущий о науке, не должен высказывать мнения по существу научного вопроса и что ему остаются только люди, только «их мысли и чувства».

Само собой разумеется, цель и смысл литературы — люди. Но всё же с С. Соболевым нельзя согласиться. Разве можно правдиво изобразить жизнь и борьбу человека, его мысли и чувства, не разобравшись, ради чего он живёт и во имя чего борется? Разве можно сторвать мышление от его предмета? Как известно, В. И. Ленин в письме к А. М. Горькому говорил: «Не понимая дела, нельзя понять и людей иначе, как... внешне». И это отлично знают писатели, серьёзно берущиеся за освещение жизни учёного. Они не ставят своей целью делать научные открытия, не заполняют произведения научным материалом, но они разбираются в существе вопроса.

Писательское раскрытие существа научной темы дало новизну и глубину «Русскому лесу» Л. Леонова и «Открытой книге» В. Каверина, подняло их на более высокий интеллектуальный уровень. Слов нет, такая работа очень нелегка. Она требует от писателя огромной затраты труда. Я считаю, что этот вопрос важен для всех писателей. Роль науки так возрастает, что от этого вопроса не уйти — не уйти сейчас и особенно в будущем. Литература должна быть к этому готова, иначе на этом важном участке она будет отставать от восходящего потока жизни и культуры. В связи с этим мы должны со вниманием отнестись к факту появления у нас особой научно-художественной литературы, уже накопившей известный опыт в том трудном деле, о котором сейчас говорилось, — в поэтическом раскрытии сути вещей. И есть ещё один момент, гарантирующий дальнейшее широкое развитие научно-художественной литературы в нашей стране. Растёт человек коммунистического общества — гармоничный, с целостным восприятием мира, с максимальным сближением эмоциональной и интеллектуальной сферы.

Люди, которых мы можем назвать «поэт-учёный», рождались и раньше (между прочим, обычно на гребне крупных общественных сдвигов): Леонардо да Винчи, Гёте, Ломоносов, Герцен. Единство восприятия мира, ранее свойственное редким, выдающимся личностям, со временем станет обычной чертой человека. Всё это обеспечит в будущем необычайное развитие поэзии науки. В этом можно не сомневаться.

В наши дни происходит становление новой научной поэзии, и естественно, что первые шаги нового жанра были связаны с рядом трудностей, ошибок, недостатков.

¹ «Новый мир» № 12 за 1954 год.

Ещё не всегда удаётся достичь в произведении необходимой цельности — автор иногда восполняет нераскрытую им внутреннюю поэзию темы внешними, техническими приёмами беллетризации. Или, напротив, в работах нередко чувствуется известная скованность рассказа дисциплиной, системой, пришедшей из той области научного творчества, которая автору служит материалом. Этот род литературы — труднейший. Писатель обязан поэтически расплавить неподатливый материал — иногда неподатливый, как скала, — и, стараясь придать выражению изящество, сохранить точность. Можно понять, как много сил уходит на эту, так сказать, скрытую теплоту плавления.

Многие авторы научно-художественных книг должны писать свободнее, легче, эмоциональнее, с более яркой личной окраской. Но я не могу удержаться, чтобы не ответить тем, кто видит недостатки и не видит трудностей, — ответить известными словами Маяковского, конечно, в самом переносном смысле:

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Но ещё хуже, когда автор скован не систематикой науки, а какой-нибудь научной доктриной, доверчиво и пассивно, без собственной точки зрения, на веру им принятой. В драматургии так произошло, например, с Н. Погодиным, который построил пьесу «Когда ломаются копья» на не оправдавшей себя, ложной идее в микробиологии.

Внутри научно-художественной литературы мы видим большое разнообразие жанров: проблемная книга, художественная биография учёного, публицистический очерк и так далее. В этой области литературы нет двух писателей, похожих друг на друга, и уже это говорит о том, какое значение имеет в данном случае художественная форма.

В разнообразной научно-художественной литературе мы находим и такие произведения, где может отсутствовать конкретный персонаж, — кроме, конечно, самого автора, творческое «я» которого и делает данное произведение художественным. Обвинения подобных произведений в «отсутствии людей» были бы так же наивны, как отрицание фламандского натюрморта или отказ от симфонической музыки на том основании, что в ней не слышно человеческого голоса. Разумеется, художественная литература — это рассказ о человеке. Но может существовать жанр, где человек не всегда выступает в качестве конкретного действующего лица. В «Рассказе о великом плане» М. Ильина нет портретов строителей, но весь мир признал, что это замечательное поэтическое произведение о человеческом гении.

Недооценка научно-художественной литературы, а отчасти непонимание, приводит к тому, что её часто называют просто научно-популярной литературой. Это взгляд примитивный и неверный. Действительно, существует научно-популярная литература — она не ставит перед собой художественных задач и занимается только популяризацией научных знаний. Такова, скажем, всем знакомая «Занимательная физика» Я. Перельмана. В этом деле тоже требуется своё большое умение.

В отличие от этого, научно-художественная литература играет ту же роль, что и вся наша советская художественная литература. Она ставит перед собой ту же идейную задачу — воспитание коммунистического человека средствами искусства. Она тоже оказывает эмоциональное воздействие, с той разницей, что она пользуется для этого особым материалом — материалом из области науки. Не отгораживаясь от всей литературы, она, однако, применяет особые художественные методы, в кото-

рых огромную роль играют вопросы познавательного образа и вопросы композиции. Пользуясь материалом науки, научно-художественная литература тем самым тоже, конечно, популяризирует науку, но это не главная её, не определяющая черта.

Обратимся на момент к классическому образцу, вспомним знакомые нам с детства строки Ломоносова:

Открылась бездна, звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Это не констатация научной истины. Это поэзия науки, поэзия мира. Ферсман не затем писал «Воспоминания о камне», чтобы дать нам урок минералогии, — он хотел показать красоту этой науки, красоту жизни. Геннадий Фиш не затем пишет свои книги, чтобы учить читателя биологии, — он хочет вдохновлять его на активное, творческое отношение к природе. Писаржевский, Шаров, Гумилевский, Морозов, Строгова, Могилевский, Поповский, Долгушин, Болховитинов не излагают научные данные ради них самих — они рисуют образ учёного. Агапов, Орлов, Вебер, Захарченко, Ляпунов, Меркульева, Ефетов в своих очерках не ставят целью разъяснение сложных явлений техники — они размышляют об их общественном, жизненном значении.

Словом, начинается процесс, вызванный объективными законами и ростом культурных потребностей народа, процесс, указанный и поддержанный А. М. Горьким, — процесс освоения искусством нового материка: мира научного творчества.

Нужно отнести к этому процессу серьёзно.

Иногда приходится слышать, что научно-художественные произведения адресуются лишь детям и юношеству. Это совершенно неверно. И взрослый наш читатель живёт интересами советской науки. Он не только следит за её развитием, но и сам принимает в нём участие. А. Сурков в своём докладе на съезде правильно сказал, что научно-художественная литература — литература для всех, и для взрослых и для юношества.

Разумеется, значение её для детей и юношества очень велико. Тут она решает ещё и особые, специфические задачи и, соответственно этому, приобретает особые черты.

Надо сказать, что у нас в последнее время научно-художественная литература для детей вследствие большого внимания к ней и развивается успешнее. Лучший показатель в таких случаях — приток свежих авторов. Итоги конкурса на лучшую научно-художественную и научно-популярную книгу для детей, недавно проведённого Министерством просвещения РСФСР и Детгизом, о том свидетельствуют. На конкурс поступило огромное количество рукописей и книг — 396. Премиями были отмечены и авторы первых книг, только начавшие свой литературный путь, и испытанные писатели вроде Н. Плавильщикова, представившего прекрасную книгу «Юным любителям природы», полную знания и настоящей поэзии.

В детской научно-художественной литературе сейчас, я считаю, стоят две задачи.

Первая задача — непосредственная помощь просвещению, школе. Объём знаний, который нужно в наш век воспринять, чтобы стать настоящим грамотным человеком, огромен, и он всё растёт. Учебные программы и учебники не в силах его исчерпать. Кроме того, политехнизация школы требует от ученика лучшего знания жизни, практики. И вот тут делу может помочь внешкольное чтение. Как завещал Горький, должны быть созданы «Круги чтения» по различным разделам знания, по различным областям духовного мира. Задача нелёгкая, потому что

читатель охотно примет подобные циклы лишь в том случае, если они, при всей своей систематичности, будут интересны, увлекательны, романтически, художественны.

Это важная задача, но было бы неправильно на ней остановиться. Есть ещё вторая задача — надо создавать научно-художественные книги и не связанные с программой, написанные на свободную авторскую тему, ставящие широкие проблемы. Опыт показывает: чем более творчески и более свободно построена научно-художественная книга, тем она сильнее, ярче, богаче, тем она более властно ведёт за собой читателя.

К сожалению, есть люди, желающие видеть в авторе детской научно-художественной книги не поэта, не вдохновителя, не знаменосца, а всего лишь, так сказать, занимательного репетитора. Например, в своё время журнал «Советская педагогика» осуждал М. Ильина за то, что его книги не могут служить пособием школьному уроку. Конечно, повторяю, нужны и книги, помогающие школе в узком смысле слова. Но должны существовать научно-художественные книги, лишённые практических указаний, говорящие об общих проблемах, книги мировоззренческие, так сказать, «художественно-политические».

Именно таковы книги М. Ильина, и как раз в этом великая заслуга их автора.

Создание книг второго рода труднее, чем книг первого рода. Находку нелегко предвосхитить, её нужно организовать, вызвать к жизни талантом и чутьём редактора. Но именно такие книги двигают вперёд литературу, открывают новые пути.

Я согласен с Б. Полевым, который в своём содокладе на съезде писателей сказал, что Детгиз должен внести большую плановость в издание научно-художественных книг и создавать их определёнными сериями. Да, это нужно. Но я боюсь, как бы Детгиз, услышав такое безоговорочное предложение, не ударился в крайность и не затруднил бы появления книг внесерийных, не написанных по заданному плану, творчески оригинальных.

Хотелось бы, чтобы Детгиз не упускал из поля зрения обе эти задачи, сочетал бы их в своей работе, не ослаблял внимания к какой-либо из них. Характер премирования на конкурсе, о котором я только что упоминал, является в этом отношении, на мой взгляд, обнадеживающим. Он показывает широкий, лишённый какой-либо ограниченности подход жюри к оценке научно-художественной литературы для детей.

Это не значит, конечно, что перед Детгизом не осталось нерешённых задач. Напротив, основная часть работы ещё впереди.

Детгиз сейчас пытается решить ещё одну важную и трудную задачу — создать научно-художественную литературу для младших возрастов. Мне кажется, что в этом деле он идёт по не совсем правильному пути. В большинстве случаев он переносит на младший возраст тот же литературный жанр, который так оправдал себя в применении к старшему возрасту, — я говорю об очерковом, бесфабульном жанре. Удалось и в этом жанре создать очень хорошие книги для маленьких, как, например, книга А. Дорохова «Сто послушных рук», отмеченная на конкурсе первой премией. Но, мне думается, всё же не только на этом пути нужно ждать настоящих больших удач. Речь для маленьких о науке и технике нужно облекать и в форму сюжетных, динамичных рассказов. Детгиз, кажется, это чувствует и очерки для маленьких в подрубриках называет «рассказами», но этим он лишь обманывает самого себя. Обычно это тот же очерк, только менее трудный и напечатанный более крупным шрифтом и с картинками.

Оглянемся на своё детство. Помню, я ребёнком получил понятие о глетчере, прочитав известный рассказ — кажется, Реклю — о том, как

путешественник провалился в ледниковую трещину и через несколько лет был вынесен ледником в долину. Представление о горном перевале у меня сложилось в раннем детстве — после того, как я прочитал всем памятный рассказ о собаках, спасавших путников на Сен-Готгарде.

Я отнюдь не отвергаю очерки для маленьких, больше того — преклоняюсь перед тем трудом, который затрачивают их авторы. Но всё же мне кажется, что главный путь познавательной литературы к сердцу малыша — сюжетный рассказ.

Перейду к тому разделу научно-художественной литературы, который мне ближе других: к произведениям, рисующим лицо нашей страны. Зачинателем этого рода литературы у нас был опять-таки не кто иной, как Горький, и развилась она за двадцатилетие, протекшее между двумя съездами писателей. Заботясь о создании такой литературы, Горький говорил на Первом съезде писателей: «...в литературе нет нового пейзажа, резко изменившего лицо нашей земли».

Мне кажется, что теперь новый пейзаж, как результат титанической работы народа, находит отражение и во всей нашей литературе и в литературе художественно-географической, новой по жанру.

У нас есть, например, прекрасные художественные работы о наших республиках — книги Шагинян, Витковича, Скосырева, Лукницкого. В художественно-географической литературе для детей многое сделали Кублицкий, Сергеев, Ганейзер. Из специалистов литературные произведения дали Федорович, Щербаков, Ефремов, Арманд, Шахов, Покшишевский, Мурзаев, Котельников.

К сожалению, при всех успехах, общий уровень мастерства в наших работах ещё недостаточно высок. Ещё очень многие места нашей Родины остались неотражёнными в литературе. Стыдно признаться, например, что мы до сих пор не имеем ни одной крупной художественно-географической книги о наших прибалтийских республиках. Ещё очень мало у нас проблемных книг о стране в целом.

Работа над книгой о стране или о каком-либо районе её очень трудна, как бы со стороны ни казалась она лёгкой. Нарисовать пейзаж, например, представляется делом простым. Между тем автор должен владеть для этого не только художественным мастерством, но и солидными знаниями, ибо в наши дни, на достигнутом уровне культуры, декоративный пейзаж удовлетворять читателя уже не может — он должен быть специфичным для данного места, правильным, то есть в основе своей научным. При всей поэтичности, он должен соответствовать структуре ландшафта. Можно ли, скажем, в применении ко всем районам бездумно сопровождать слово «небо» обычным эпитетом «синее»? Ведь синева неба меняется от места к месту — в Арктике она с примесью зеленоватой эмали вследствие отражения снежных масс, над равнинами Средней Азии она бледнотуманная от взвешенных в атмосфере частичек пыли... Мне известно, что не такая уж большая книга «Путешествие по Советскому Узбекистану» взяла у Витковича пять лет труда. Меньшего времени, повидимому, не могло хватить, чтобы поэтическую постройку возвести на твёрдом фундаменте знания.

Сколь свободным, лёгким представляется нам пейзаж Тургенева! Но эта вольность рисунка, выполненного рукой великого мастера, — вольность кажущаяся. Она зиждется на стальном каркасе.

Вспомним тончайшее начало первого стихотворения в прозе «Деревня»:

«Последний день июля месяца; на тысячу вёрст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нём — не то плывёт, не то тает. Безветрие, теплынь...»

Это не картина хорошего дня вообще, а типичная для центрально-чернозёмных областей и для данного времени года картина...

Пожалуй, наибольшая наша беда, отражающаяся, несомненно, на всём росте литературы, — резкое отставание путевого очерка как жанра, с личной оценкой увиденного, с лирическим раздумьем. Великолепные традиции русского путевого очерка, традиции Радищева, Пушкина, Гончарова, Герцена, Короленко, а в советской литературе Тихонова, Павленко, как бы угасли. Их необходимо возродить и развить.

Путевые очерки у нас, конечно, печатаются, но обычно это не совсем те очерки. В них есть путь, но нет путешественника. Личное авторское начало — вот чего им не хватает. В рассказе об увиденном должно сверкать и звенеть богатство писательской души, как в «Путешествии в Арзрум» и в «Путешествии на Гарц».

Но в применении к нашему советскому очерку дело не ограничивается богатством ассоциаций. По возможности мы должны ещё дать и хозяйскую оценку увиденного. Я вспоминаю замечательный случай: путевой очерк М. Шагинян «Выбор варианта» заставил пересмотреть и изменить в лучшую сторону уже принятое, но недостаточно продуманное направление трассы новой железной дороги на Южном Урале. Вот это пример путевого очерка нового типа. Разумеется, такой путевой очерк требует большого труда. Высказывать свои суждения без тщательной подготовки нельзя.

Значение литературы о стране может быть огромным. Она облегчает народу процесс его самопознания. А. М. Горький хотел, чтобы с помощью такой литературы наш народ в условиях напряжённого строительства не просто постигал себя, а постигал динамически, мобилизуя, чтобы в нём крепло сознание ответственности за свой труд. Художественный очерк о стране должен учить народ государственному мышлению.

Не только чтение для удовольствия об интересных местах. Не только замена чтением далёкого путешествия. Не только нагрузка детей и взрослых познавательным материалом. Пусть всё это будет, но не это — главное. Главная задача — развитие коммунистического самосознания, воспитание хозяина страны.



ДОКУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА А. Н. ТОЛСТОГО „ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД“

В конце марта 1927 года А. Н. Толстой начал вторую часть трилогии «Хождение по мукам». В течение месяца были написаны две главы. Автор прислал эти главы в редакцию журнала «Новый мир». Однако одному из редакторов журнала, В. П. Полонскому, отбор событий в романе показался односторонним. В своих замечаниях он выражал опасение, что свет и тени в показе революции будут распределены неравномерно. Оговариваясь, что эти опасения, может быть, преждевременны, он просил изменить или снять в первых двух главах всё, что, по его мнению, могло показаться неясным или двусмысленным читателям романа, подчёркивая при этом, что дата публикации романа совпадает с десятилетием Октябрьской революции.

В частных замечаниях Полонский возражал против таких формулировок: «возвращения к совести и патриотизму русского народа»; «организаторы спасения России от разнузданной черни — главнокомандующий Алексеев и Лавр Корнилов». Первые слова романа: «Всё было кончено» — он находил двусмысленными.

Ответ Толстого на первые замечания по роману — письмо Полонскому от 4 мая 1927 года — интереснейший документ большого литературно-эстетического значения. Писатель отстаивал свою точку зрения, раскрывал идейный и стилиевой замысел романа, в общих чертах сообщал план произведения.

«С первых шагов вы мне говорите, — стоп, осторожно, так нельзя выражаться, — писал Толстой. — Вы хотите внушить мне страх, и осторожность, и, главное, предвидение, что мой роман попадёт к десятилетию Октябрьской революции. Если бы я вас не знал, я бы мог подумать, что вы хотите от меня романа-плаката, казённого ура-романа. Но ведь вы, именно, этого и не хотите.

Нужно самым серьёзным образом договориться относительно моего романа. Первое: я не только признаю революцию, — с одним таковым признанием нельзя было бы писать роман, — я люблю её мрачное величие, её всемирный размах. И вот — задача моего романа, — создать это величие, этот размах во всей его сложности, во всей его трудности. Второе: мы знаем, что революция победила. Но вы пишете, чтобы я с первых же слов ударил в литавры победы, вы хотите, чтобы я начал с победы и затем, очевидно, показал бы растоптанных врагов. По такому плану я отказываюсь писать роман. Это будет одним из многочисленных, никого уже теперь, а в особенности, молодёжь, — не убеждающих плакатов. Вы хотите начать роман с конца.

Мой план романа и весь его пафос в постепенном развёртывании революции, в её непомерных трудностях, в том, что горсточка питерского

пролетарьята¹, руководимая «взрывом идей» Ленина, бросилась в кровавую кашу России, победила и организовала страну. В романе я беру живых людей со всеми их слабостями, со всей их силой, и эти живые люди делают живое дело.

В романе, — чем тяжелее условия, в которых протекает революция, тем больше для неё чести.

Третье: самый стиль, дух романа. — Автор на стороне этой горсти пролетарьята, отсюда пафос — окончательная победа; ленинское понимание развёртывающихся событий; полный объективизм отдельных частей, то есть — ткань романа — ткань трагедии, — всегда говорить от лица действующего лица, никогда не смотреть на него со стороны.

...Я умышленно не начинаю с октябрьского переворота, — это неминуемо привело бы меня к тем фанфарам, которых я так боюсь, и дало бы неверную перспективу событий. Я начинаю с самого трудного момента — немецкой оккупации Украины и неизвестности как далеко зайдёт она, каковы силы у врагов. Ведь тогда ещё Германия была императорской»².

Толстой в письме Полонскому сообщал задуманный план продолжения «Хождения по мукам».

«Первая книга (второй части трилогии) кончается грандиозным сражением под Екатеринодаром. Вторая книга — немцы на Украине, партизанская война. Чехословаки. Махновщина. Немецкая революция. Третья книжка — Деникин. Колчак, Парижская эмиграция. Северо-Западный фронт. Революция на волоске. Четвёртая книжка — победа революции. Крестьянские бунты. Кронштадт³.

Вот, приблизительный план»⁴.

По поводу ответственности за роман А. Н. Толстой писал В. П. Полонскому:

«Я её не боюсь, так как я безо всякой для себя корысти люблю, — жаль нет другого, более мощного слова, — русскую революцию... И уже позвольте мне говорить в моём романе, не боясь никого, не оглядываясь»⁵.

Отвечая на конкретные замечания, Толстой писал:

«...Я нарочно начинаю с фразы «всё было кончено», — кончилось старое. Разве это была шутка, — конец всему зданию империи. А новое?»

¹ Слова А. Н. Толстого — «горсточка питерского пролетарьята» — образно характеризуют рабочих Петрограда, первыми поднявших вооружённое восстание. В романах «Восемнадцатый год», «Хмурое утро» и повести «Хлеб» писатель раскрыл ведущую роль всего рабочего класса России в Октябрьской социалистической революции, показал его как класс, завоевавший в революционных боях авторитет народного вождя в борьбе за мир, за землю, за свободу, за социализм.

² Институт мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР. Архив А. Н. Толстого, № 6230/11. При дальнейших ссылках — «Архив, №...»

³ Имеются в виду кулацко-эсеровские бунты и контрреволюционный кронштадтский мятеж.

⁴ В дальнейшем при работе над «Восемнадцатым годом» и создании третьей части «Хождения по мукам» — романа «Хмурое утро» — этот план был значительно расширен в сторону показа движущих сил революции, организующей роли большевистской партии, но большинство первоначально намеченных в плане событий вошло в эти книги.

О контрреволюционной эмиграции, вышвырнутой за границу, и событиях на Северо-Западном фронте А. Н. Толстым был написан лишь условно примыкающий к трилогии роман «Чёрное золото» («Эмигранты»).

⁵ Архив, № 6230/11.

Да ведь новое-то и было в диком тумане будущего, о новом-то я и говорю на всём протяжении романа. Не забудьте, — мой роман будут читать не только к десятилетию Октября, но будут читать, может быть, через пятьдесят лет. Будут читать на многих языках земного шара. Я слишком серьёзно чувствую свою ответственность.

Организаторы спасения России от разнузданной черни. Да как же их назвать, — контрреволюционерами? Но это должно получиться само собой, этот вывод должен быть сделан художественно. Если я с первых слов скажу, — контрреволюционеры, монархисты, — какой же интерес, чёрт возьми, у читателя. Он и без меня знает, что Алексеев — Корнилов — Деникин, — монархисты, контрреволюционеры. Не для того я пишу роман, чтобы показать, — какие генералы были контрреволюционеры и монархисты. Генералы мне нужны, как выразители силы, борющейся с революцией. Чем ярче, чем объективнее я опишу их — тем сила эта представится сильнее и страшнее, каковой на самом деле она и была [1½ миллиона казачества — для начала это не шутка]. Если вы боитесь за эту фразу, — поставьте её в кавычки х...

Нет, революция пусть будет представлена революцией, а не благоприличной картиночкой, где впереди рабочий с красным знаменем, за ним — благостные мужички в совхозе, и на фоне — заводские трубы и встающее солнце. Время таким картинкам прошло, — жизнь, молодёжь, наступающее поколение требует: «В нашей стране произошло событие, величайшее в мировой истории, расскажите нам правдиво, величаво об этом героическом времени».

Но едва только читатель почувствует, что автор чего-то не договаривает, чего-то опасается, изображает красных сплошь чудо-богатырями, а белых сплошь в ресторане с певичками, — со скукой бросит книжку»¹.

В постскрипуме А. Н. Толстой добавлял:

«Вы пишете: «возражения вызывают и «воззвания к совести и патриотизму русского народа». Ведь мы-то знаем, что авторы воззваний обратились не к совести и патриотизму, а к «глупости»...»

Вот, если так читать мой роман, то, разумеется, печатать его нельзя. Или послать к чертям всякий стиль, всякую иронию, всю художественную концепцию. Но это значило бы с третьей страницы послать к чёрту само писание романа»².

Писатель согласился только с одним замечанием Полонского и снял фразу об уничтожении боеспособных командиров солдатскими комитетами.

«У меня это сказано вскользь и в этом не выражена вся глубина происходившей на фронте трагедии», — писал Толстой.

В дальнейшей работе над «Восемнадцатым годом» редакция «Нового мира» больше не пыталась влиять на автора. Повидимому, некоторую роль в этом сыграл бывший в то время редактором «Известий» и соредактором «Нового мира» старый большевик И. И. Скворцов-Степанов. Он просмотрел переданную ему Полонским рукопись романа и написал автору: «Дорогой Алексей Николаевич, только что прочитал начало II ч. Вашей трилогии. Оно захватило меня. Если и дальше Вы не спуститесь с достигнутого уровня, получится своего рода «гвоздь» художественной литературы за 1927 г. И как кстати к десятилетию! Большой мастер виден в каждой строке и в каждом штрихе»³.

¹ Архив, № 6230/11.

² Там же.

³ Архив, № 1398/2.

Авторитетное мнение И. И. Скворцова-Степанова поддержало уверенность Толстого в правильности как идейного замысла романа, так и взятого с первых глав тона.

«Оно меня очень обрадовало и укрепило, — стало быть, тот тон, который я с таким трудом искал, художественная концепция романа — производит нужное мне впечатление»¹, — писал Толстой Скворцову-Степанову.

Вторая часть трилогии «Хождение по мукам» была закончена в июне 1928 года.

В 1934, 1938 и 1942 годах роман подвергался переработкам и исправлениям, но уже первая его редакция знаменовала новый этап в творчестве А. Н. Толстого на пути к овладению методом социалистического реализма.

«Восемнадцатый год» был для писателя первым итогом «вживания» в революционную эпоху.

Комментарий Ю. А. КРЕСТИНСКОГО,
младшего научного сотрудника
Института мировой литературы
имени А. М. Горького.

¹ Архив, № 6232.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА

★

ПРОЗА АЛЬМАНАХА „СОВЕТСКАЯ ОТЧИЗНА“

Белорусская проза молода. Если белорусская поэзия имеет свои богатые классические традиции, уходящие в глубину веков, то проза Белоруссии находится сейчас на пути к настоящей зрелости. И у неё уже есть свои сложившиеся традиции и свои значительные достижения. В Белоруссии вырос отряд галантливых прозаиков. Книги Коласа, Бядули, Чорного, Самуйленка, Лынькова, Пестрака, Шамякина, Брыля и многих других заслуженно пользуются всеюсоюзной известностью.

Идя по пути совершенствования мастерства, белорусские прозаики стремятся глубже проникнуть в жизненный материал. Это видно и по альманаху. Авторы его ищут острые и интересные ситуации, стремясь к созданию боевых по своему духу и высокохудожественных произведений, отражающих борьбу и победу нового над старым в жизни и психологии людей. Альманах свидетельствует о том, что эти поиски приводят писателей к удачам.

Труден жанр короткого рассказа, и отрадно, что Филипп Пестрак, создавший много хороших стихов, а в 1951 году опубликовавший роман «Встретимся на баррикадах», достигает настоящего успеха и в жанре рассказа. В третьей книге альманаха напечатан его рассказ «Вернулся». В основе рассказа — острая ситуация. Крестьянин Данилка Тетеря сначала первым записывается в колхоз, потом бежит из колхоза в город и со временем возвращается. Действие происходит в западной части Белоруссии.

В рассказе всего три с половиной странички. Но и первый, и второй, и третий поступки Данилки Тетери так убедительно мотивированы, что перед нами в этом крохотном по объёму произведении проходит

целая человеческая жизнь с заблуждениями и колебаниями, с острой внутренней борьбой, жизнь, в которую веришь.

Ф. Пестрак отлично владеет лаконичными выразительными средствами. У него каждое слово работает, и площадь каждой строки, каждого абзаца используется с экономией, свойственной поэзии.

Уже первые строки рассказа позволяют нам увидеть Данилку сразу и внешне и как бы изнутри. Автор в нескольких скупых и чётких штрихах, окрашенных тёплым юмором, мастерски сочетает внешний портрет героя с его психологической характеристикой и с описанием того, как к нему относятся окружающие люди. И всё это в одном абзаце:

«И по паспорту, и по всяким иным канцелярским бумагам этот старина значился Данилой Тетерей. Однако люди окрестили его по-своему. Вероятно, они рассуждали следующим образом: к такой щебетливой фамилии, как Тетеря, едва ли подходит имя звучное и солидное — Данила. Вот поэтому и превратился Данила в Данилку. Да и разве не назовёшь так старину Тетерю, если он, кроме всего прочего, низкого роста, даже очень низкого, а его круглое лицо до того кругло, что попробуй прикинь вдоль и поперёк, мерки получаются одинаковыми».

И далее: «Старине Тетере уже лет под шестьдесят, но, пренебрегая этим, никто не хочет как-то принимать его за серьёзного человека. Как ни хмурит в беседе Данилка брови, как ни разводит он степенно руками, всё равно Тетеря есть Тетеря: наговорит с короб, а к чему клонит, нужно соображать».

Уже из этой авторской характеристики предстаёт образ живого человека. Но далее Ф. Пестрак развивает этот образ, и Данилка становится всё сложнее и многограннее.

Оказывается, он не просто красной и даже не только красной с хитрецей — человек «себе на уме». И краснойбайство, и хитрость Данилки, и его напускная весёлость, с которой мы знакомимся в дальнейшем, оказываются целым арсеналом защитных средств, которые Данилка сознательно взял себе на вооружение.

В этом арсенале рядом с безобидными появились и не совсем честные средства: «Тережься возле начальства — ого-го! — пользу извлечь можно, и не малую».

И вот Ф. Пестрак интересно и достоверно рассказывает, как с приходом новой жизни вся накопленная с годами защитная хитрость Данилки оказывается ни к чему, больше того — она оборачивается против него самого, и это заставляет его призадуматься о настоящей правде новой жизни.

С первого взгляда может показаться, что крестьянское правдоискательство Данилки несколько традиционно. Но при более тщательном рассмотрении видишь, что и эту сторону жизни героя Ф. Пестрак трактует по-своему, по-новому. Нет, Данилка раньше не искал правду — он просто не верил в то, что она существует. А большая правда нового ворвалась в его жизнь. Сперва эта правда пришла и заставила призадуматься:

«— Не-ет, нынче и начальство другое, не то, что при панах. Кажалось мне, будто на неправде всё держится... А теперь... Нет, тут что-то не так...»

Потом эта правда стала желанной:

«Ого, если б всё по правде делалось, не то было бы! А может, оно так и будет? Что ж — дай бог...»

И, наконец, эта правда заставила уверовать в себя, стала единственно необходимой и повела за собой по новому пути.

В рассказе нет героев, кроме Данилки, но они, пожалуй, и не нужны. Мы полностью представляем себе жизнь Данилки даже за пределами рассказа, его отношения с людьми, его душевный мир. Перемена в собственной психологии героя, сложившейся при старом, капиталистическом строе, под влиянием новой жизни знаменует собой рождение другого человека.

К безусловному активу альманаха следует отнести и рассказы Ивана Шамякина. Его индивидуальная творческая манера резко отличается от манеры Ф. Пестрака. Если Ф. Пестрак в рамках маленького рассказа умещает ряд событий, происходящих в течение многих лет, то И. Шамякин любит

выбирать для рассказа одно событие, меньшее по протяжённости и нарочито не особенно значительное, но зато показанное крупным планом.

В рассказе «Первое свидание» ничего особенного не происходит. Просто девятиклассник Саша впервые влюбился в хорошую девушку Женю. Несмотря на то, что это рассказ на «вечную тему», в нём ясно ощущаешь наше время, видишь душевную чистоту нашей молодёжи.

И. Шамякин демонстрирует тонкую наблюдательность и чувство художественного такта. «— Я вас очень прошу, Саша, — сказала девушка, и Саша даже вздрогнул и ещё больше смутился: он только теперь заметил, что она говорит ему «вы». Никто ещё никогда к нему так не обращался».

Так при первой встрече с Женей к мальчику Саше приходит самосознание юноши, и уже ясно, что гордость и смущение, которые он испытывает при этом, являются преддверием зарождающейся первой любви. Но всё это остаётся в подтексте. В тексте только то, что процитировано. С таким же тактом рассказывает автор о ссоре, возникшей между Сашей и его старшей сестрой Наташей, о добром «невмешательстве» матери в первые сердечные тайны её детей, о том, как Саша две недели писал первое коротенькое любовное письмо, справиться с которым ему казалось труднее, чем со своими юношескими стихами. Эти «муки творчества», точно так же как другие душевные переживания Саши, описаны лирично. Вот Саша после длительных колебаний решил пойти к любимой. До её села — пятнадцать километров.

«Итти было приятно и легко. На насыпи крепко пахло смолой, каменным углем, металлом и ещё чем-то незнакомым, своеобразным, чем всегда пахнет на железной дороге, — и вместе с тем пьянил знакомый, привычный запах весеннего поля».

Далее эта железная дорога как бы начинает символизировать прямую и беспредельную дорогу юношеской любви: «Без единого поворота уходила колея в бесконечную даль, за лес, синевший на горизонте, сужаясь там в еле заметную ленточку. Блестели на солнце рельсы, и казалось, что они гудят так же, как телеграфные провода, но не звонко, а гулко и монотонно».

И когда после такой зарисовки И. Шамякин говорит о приподнятом состоянии своего героя, читатель верит в это: «У Саши

даже дыхание захватило, когда он поднялся на насыпь. Радостно было от ощущения бесконечности дороги, бескрайности окружающего простора. Он не шёл, а летел. Ветер свистел в ушах, подгонял его, парусом надувая сатиновую рубашку...»

В пятой книге альманаха есть шесть рассказов И. Шамякина, объединённых общим названием «Портреты». Четыре из них («Председатель», «Наташа», «Критикун» и «Главный инженер») написаны живо, с той же наблюдательностью, лиризмом и юмором, с таким же хорошим диалогом, как рассказ «Первое свидание».

Пятый и шестой рассказы цикла («Агроном» и «Подмоченный») менее удались И. Шамякину — в них много декларативного, неестественного, и поэтому люди выглядят плакатно.

Менее определённое впечатление оставит у читателя повесть Юрия Богушевича «Побратимы». Эта повесть напечатана в первой книге альманаха. Рассказано в ней о том, как Андрейка, одиннадцати лет от роду, поехал с родителями в Корею, как он там подружился с корейским мальчиком Каном, и о том, как однажды, заблудившись, Андрейка попал к шпионам и проделал с ними путешествие, и о том, как шпионов поймали, и т. д.

Сюжет повести занимателен. Но, как в каждом приключенческом произведении, где большая доля выдумки, здесь важно, насколько хорошо это написано, насколько выдумка выглядит правдой.

В детской литературе есть повесть с очень похожим сюжетом — «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара. И несмотря на то, что там дело происходит в Москве и в Киеве, а в «Побратимах» — в Корее, нового в сюжете и в трактовке событий в повести Ю. Богушевича мало.

У А. Гайдара больше героической романтики, больше заинтересованности автора в судьбе своего барабанщика. И герой, Серёжа Щербачов, и шпионы, «дядя Яков» и «безымянный дядя», написаны интересно. В повести Ю. Богушевича враги выглядят традиционными злодеями, и только. Недостаток повести в том, что читатель сразу же догадывается, кто такой «дядя Вильям» и его спутник, а Андрейка — участник происходящего — не понимает этого. И получается, как в Театре юного зрителя, когда ребёнка уже догадались, кто друг, а кто враг, а актёр — ещё нет, и, «помогая ак-

тёру», из зала кричат: «Не верь, не верь ему!»

Андрейка выглядит в глазах ребёнка его лет, безусловно, растяпой, а вся его история — выдумкой, мало похожей на жизнь. Это обидно, так как в повести есть несомненные достоинства. Автор, видно, хорошо знает Корею, так как написал много интересного и удивительного про эту героическую страну. Он тепло рассказал о дружбе двух мальчиков — белоруса Андрейки и корейца Кана, — о том, как они начали понимать друг друга, когда у них появился свой «смешанный» язык. И страницы книги о встрече с дедушкой Кана и рассказ о том, как на могилу корейского партизана возложили венки наши советские солдаты, будут прочитаны ребятами с увлечением.

Юрию Богушевичу, на наш взгляд, нужно заново написать путешествие Андрейки с «дядей Вильямом» и сделать его правдоподобнее. Тогда сложатся совсем другие отношения между Андрейкой и «дядей Вильямом», а это повлияет и на отношение читателя к Андрейке и ко всей книге.

Судя по альманаху, на пути дальнейшего развития белорусской прозы наряду с удачами в 1954 году встречались ещё и значительные издержки. Для того, чтобы разобраться в их характере и найти то общее, что мешает некоторым белорусским писателям более стремительно двигаться вперёд, обратимся в первую очередь к другой повести, напечатанной в альманахе № 2, — повести Владимира Шаховца «Будьте здоровы». Эта повесть — самое крупное по объёму произведение 1954 года, помещённое в альманахе (если не говорить о романе Ефима Кабака «Единение»).

В повести В. Шаховца есть такой эпизод. Поэт Заречный приезжает к себе на родину и в кругу молодёжи горячо рассказывает о своей поэме и её герое — профессоре Залесском. Среди слушателей — дочь профессора, Нина Залеская. Выслушав вдохновенную речь поэта, она задаёт единственный вопрос: «А какой конфликт в вашей поэме?»

Такая постановка вопроса сразу настораживает своей нарочитостью. Нина так хорошо знает, что в литературном произведении нужен конфликт, что это занимает её больше всего. Поэт отвечает Нине, что с конфликтами всё в порядке — они есть, их даже несколько — и что частично они подсказаны самим героем, именно так — не

жизнью, не взятыми из неё наблюдениями и ситуациями, а «самим Степаном Степановичем».

Трудно сказать, насколько удачной при таком подходе к творческим задачам получилась бы поэма вымышленного автора Заречного, но у нас есть полная возможность судить о повести реального автора — В. Шаховца. Скажем наперёд: эта повесть нуждается в значительных улучшениях, и, пожалуй, именно вследствие того, что поиски конфликтов были для автора некой самоцелью.

Разговор о недостатках прозы альманаха «Советская отчизна» следует начать с этого замечания, потому что ошибка В. Шаховца характерна и для некоторых других произведений, например, для рассказа Ильи Гурского «В большой дороге» и В. Пономарёва «Две встречи».

Читая такие рассказы, подозреваешь, что авторы их подходили к своей работе по принципу Нины Залесской из повести В. Шаховца — начинали творческий процесс не с проникновения в жизненный материал и осмысления его, а с вопроса: «А какой конфликт будет в моей повести, в моём рассказе?»

Известно, какой вред принесла литературе пресловутая «теория» бесконфликтности. Но, с другой стороны, при стремлении к конфликту во что бы то ни стало, не связанному органически с жизнью, получается, что не конфликты вытекают из жизненного материала, изученного и отобранного для произведения, а, наоборот, все компоненты произведения неестественно притягиваются к заранее «избранному» конфликту. Создаются ложные ситуации, и понятно, что люди, которым приходится действовать в неестественных обстоятельствах, ведут себя также неестественно, приобретают «ходимость», и читатель просто не верит ни им, ни автору.

Профессор Залесский из повести «Будьте здоровы», который долго держал своё нужное науке открытие для того, чтобы выдать его за открытие своей дочери и таким путём «помочь» ей защитить диссертацию, неожиданно разоблачает себя. «Он не жалел для себя крепких эпитетов, не стеснялся и не боялся рассказать о себе всё, чего люди могли бы и не знать».

В. Шаховец вскользь говорит и о причине поступка профессора и о том, как к нему пришло сознание вины. Вот как это выгля-

дит. Залесский после отказа дочери остаться в аспирантуре и её отъезда в район понял, что он был неправ, сознаться же в своей ошибке не решился. Но к нему пришёл поэт, задумавший написать о профессоре поэму, и тогда, припомнив всю свою жизнь, Залесский понял, «что ошибка не может считаться исправленной, если она мужественно не признана...»

И вот на конференции медиков Залесский рассказывает своим коллегам правду о себе, а те награждают его аплодисментами.

Если представить, что такая ситуация возможна в жизни, то автор должен был, прежде чем подвести героя к осознанию вины, психологически мотивировать его поступки. Учёный, сделавший даже маленькое открытие, нужное народу, тем более в области медицины, не может держать его у себя в шкафу три года — пока дочь его окончит аспирантуру. А если он это делает, то он совершает преступление, и об этом нужно писать только так.

Автор же говорит о Залесском, как о человеке чутком, любящем свою работу, прожившем трудную, настоящую жизнь, и эта характеристика никак не вяжется с поведением героя в повести. Надуманность и неоправданность ситуации повлекли за собой нарушение логики образа Залесского.

Примерно то же происходит с образом врача Смирницкого. Правда, тут дело сложнее. В. Шаховец сразу, с первой же встречи со Смирницким и его семьёй, даёт почувствовать читателю, что люди это плохие. Жена Смирницкого — мещанка, интересуется только туалетами, а сын Ирак — избалованный родителями мальчишка...

Нина, попадая в эту семью сразу же после приезда в село, тяготеет атмосферой, царящей в чистеньком домике, напоминающем «красивую игрушку». Совершенно ясно, что автор не любит этих людей. Он как бы говорит нам: посмотрите, как они неправильно живут и что из этого может получиться.

Получается же из этого вот что. Нина и главврач больницы Смирницкий начинают враждовать. У них разное отношение к медицине, к людям, к работе. Смирницкий считает, что поскольку «человек, как и всякое живое существо, начинает умирать в первый день своего рождения», то лечи его или не лечи, он всё равно умрёт. Мысль действительно кошунственная, а если её высказывает врач, то слушать его и верить

ему страшно. Это отношение к своей профессии Смирницкий отстаивает в разговоре с секретарём парторганизации Туровцом в доказательство того, что начинания чудновских врачей бесполезны. Разговор происходит в конце повести, и, естественно, она кончается тем, что Смирницкого снимают и на его место приходит Нина.

Но что же собой представляет Смирницкий? Известно, что о людях судят по поступкам. Однажды Смирницкий делает операцию, и Нина, а вместе с ней и мы восхищаемся его спокойствием и хирургической хваткой. Сцена операции запоминается, она написана выразительно. В остальных же случаях на протяжении всего повествования Смирницкий воспринимается только как «отрицательный персонаж», конфликтующий с положительной Ниной.

Но каковы же его дурные поступки?

Смирницкий знает, что кладовщик Лабадуда пьяница и ворует спирт, но покает ему. А почему? Неизвестно... В другом случае, желая досадить Нине, Смирницкий оспаривает поставленный ею диагноз, зведомо зная, что он правилен. Автор тут же присылает инспектора из города, который устанавливает правоту Нины Залесской.

Так выглядят дурные дела Смирницкого. На правлении колхоза его «разоблачают». Нина упрекает его в бездушии и говорит, что ему следует сменить профессию.

«— Что, захотелось повышения? — ехидно спросил Смирницкий.

Этих слов Нина боялась», — пишет автор. Но, вопреки воле автора, мы не оскорбляемся вместе с Ниной — нам тоже нет-нет да и подумается: может, Нина действительно хочет повышения? Уж очень она активно не влюбила Смирницкого, а делает он для этого, прямо скажем, недостаточно.

Мало сказать, что жил-де на свете бездушный человек, которому не было дела до людей. Надо его так написать и так заставить жить, чтобы читатель в него поверил, не влюбил и обрадовался его поражению. Это автору не удалось. Тут опять оказалась зависимость между неестественностью конфликта и образами героев. В Шаховец рассказывает о плохом человеке, а этого человека в повести нет, есть схема.

Схематичность образа Смирницкого делает неубедительным и образ Нины, задуманный интересно. То, что ей приходится сражаться с несуществующим злом, освещает её каким-то ложным светом.

Но Нина не только «воет» со Смирницким, она ещё и любит. Любит впервые, горячо, и тут, казалось бы, автору и можно было бы рассказать об отношениях между двумя хорошими молодыми людьми. Но повествует он об этом скучно. В отличие от Шамякина, который в своём рассказе «Первое свидание» не боится трудностей темы, В. Шаховец как бы избегает показывать встречи влюблённых, а если это и случается, то автор не знает, о чём же они должны говорить, и говорит за них сам.

Вот сцена первого свидания у В. Шаховца:

«Когда Сергей рассказывал про университетский городок, про скверик, Нина подумала, что она уже видела там Сергея, что она знакома с ним давно. Вот и теперь было у Нины такое же, но ещё более сильное ощущение этого давнего знакомства. Неожиданная прогулка в поле не казалась странной».

Дальше идёт описание пейзажа. Озеро, лунная дорожка, шуршание у ног потревоженных волнами камешков.

«— Эх, лодки нет, — пожалел Сергей. — Взмахнуть бы вёслами и помчаться по озеру, чтоб вода бурлила за бортом».

Сергей чувствовал в себе необыкновенный прилив сил.

Постояв немного у озера, они незаметно для себя пошли не назад, к магистрали, а дальше, в поле.

— Как в песне, — радостно улыбнулся Сергей, вдруг заметив, куда они идут. — «Надо влево повернуть — повернул направо».

Поднявшись на пригорок, они увидели, что навстречу им идёт человек».

Человек этот, помешавший героям объясниться и явно выручивший автора, оказался председателем колхоза Гарачуном.

Вот и всё о любви. Дальше В. Шаховец рассказывает, что Нина начала вспоминать свои встречи с Гарачуном и сокрушалась, что у неё не получилось с ним беседы «ни в первую, ни во вторую встречи...»

«Да что я вдруг задумалась об этом», — спохватилась Нина.

— Сергей, правда, со мной очень скучно? — спросила она.

В её вопросе Сергею послышалось столько ласки, что он растерялся и мог только ответить:

— Нет!»

А читатель скажет — да! Скучно.

Мы специально привели всю сцену первого свидания влюблённых Нины и Сергея.

Написана она шаблонно. Известно, что ощущение «давнего знакомства», «необыкновенный прилив сил» — неперменные детали безвкусицы в описании любовных отношений.

Отношения Нины и Сергея далее написаны так же бледно и скучно и никак не раскрывают образа Нины. А Сергей выглядит просто резонёром. «Что может сделать любви! — рассуждал Сергей. — Насколько лучше, насколько сильнее становится человек, познавший это великое чувство. Оно не даёт тебе права быть плохим, оно призывает тебя только к хорошему».

До сих пор мы говорили о главных героях, но в повести существует ещё много, так сказать, «второстепенных» героев.

Среди них особо запоминающихся два: председатель сельсовета Позняк и тётка Агата.

В. Шаховец сумел душевно рассказать о крестьянке Агате, пожилой, усталой женщине, потерявшей сына и мужа в войну.

Особая теплота в отношениях с людьми, добрая привязанность к молодёжи, отзывчивость Агаты создают прекрасный тип белорусской женщины-крестьянки. Это свидетельствует о возможностях автора, и В. Шаховец должен ещё продолжить работу над повестью. Когда герои книги действительно заживут, станут людьми, а не схемами и конфликты между ними станут реальными, тема повести — победа нового, светлого над косностью и бездушием — зазвучит горячо, с подбающим ей утверждением.

В рецензируемых 1—5 номерах альманаха напечатаны две повести и девятнадцать рассказов. В обзорной статье невозможно сколько-нибудь подробно проанализировать их.

Темы их разнообразны и актуальны. Писатели Белоруссии живо откликаются на события, происходящие в стране. Здесь есть рассказы о приезде по призыву партии специалистов в село (Т. Хадкевич «С приездом, друзья!», А. Дитлов «Аман-тай», И. Гурский «В большой дороге»). В рассказе «Весна» Г. Попова описан приезд комсомольцев на целинные земли.

Но оперативность, с какой писатель отзывается на то или иное событие, не должна вредить делу. Все перечисленные рассказы грешат очерковостью в плохом смысле этого слова, в них подчас отсутствует глуб-

кая жизненная правда. Необходимо, конечно, писать о великих начинаниях и больших событиях, но нельзя забывать, что главное в них — человек, участник этих событий.

Вот рассказ «Аман-тай» молодого прозаика А. Дитлова — о том, как в казахский аул приехали комсомольцы из Москвы поднимать целину и привезли с собой тракторы.

Герой рассказа, Усман, написан каким-то глуповатым парнем, с показной восторженностью и не менее показной влюблённостью в свою Гюльсум. И весь эпизод, а это вернее назвать эпизодом, написан с претензией на казахский национальный колорит — здесь есть и акын, и старая легенда, которую он рассказывает, и новая песня о комсомольцах, приехавших в Москву, и пляска Усмана, который прыгает, как «барс», хоть сердце его терзает, «как хищный беркут, печаль», и возгласы «ой, бай». Всё это создаёт неестественную ложнотрадиционную картинку из казахского быта, в которой люди — Усман, Гюльсум и белокурый русский парень из Москвы (у него нет даже имени) — выглядят тривиально.

В этой же книге альманаха напечатан рассказ «В большой дороге» Ильи Гурского, автора, относящегося к старшему поколению белорусских писателей, ещё в тридцатых годах выступавшего как драматург, а в 1945 году выпустившего повесть «Лесные солдаты», в 1948 году — сборник рассказов, в 1951 году — роман «В огне».

В рецензируемом нами рассказе Ильи Гурского действие происходит, так же как в рассказе «Аман-тай» А. Дитлова, в колхозе и название у колхоза такое же — «Новый путь».

Туда приезжает новый председатель Алексей Боровицкий. Люди живут плохо, старый председатель развалил всё дело, а Алексей налаживает хозяйство. Но это один план рассказа, в нём есть второй и основной — личная жизнь Алексея.

Из рассказа Алексея в поезде мы узнали, что женился он на мешанке, которую думал перевоспитать. Но из этого ничего не вышло — жена не захотела с ним ехать в село и потребовала развода. Учитель Залуцкий, спутник Алексея, выслушав его, говорит:

«...Если уж вы нашли в себе силу воли вырваться из болота, попав в которое оторвались от народа, да, да, значит, и в деревне найдёте применение для своих знаний. обогатите их практикой и напишете диссертацию. В большой дороге, в которой

вы сейчас неходите, найдёте и настоящих друзей и спутницу, которая согласна будет делить с вами и горести и радости». С этого начат рассказ. Далее новая жизнь Алексея устраивается так, как и предсказывает ему учитель в своём «патетическом» монологе. К весне — и к концу рассказа — Алексей женится на дочери Залуцкого, Насте. Это событие совершается для читателя неожиданно — только на последней странице выясняется, что Алексей любит Настю, а Настя — Алексея. Встречи их написаны сентиментально, даже в некоторых местах сусально.

Но не одно это определило неудачу рассказа. Дело снова в том, что всё, о чём рассказывает читателю Илья Гурский, не похоже на жизнь. Герои рассказа, Настя и Алексей, — какие-то бесстрастные и бесплотные фигурки. Они ни о чём не думают, не переживают, любить не умеют, страдать тоже и поэтому примитивны и бесцветны. Здесь опять сказалась нарочитость в выборе конфликтов, о которой говорилось выше. Герои, каждый в отдельности, рассказывают скороговоркой историю своей неудавшейся любви. Причём истории Алексея и Насти похожи. Оба они полюбили недостойных людей. Но о том, как это случилось и почему они разобрались в этом, автору поведать не удалось, и вышло, что все — и Алексей, и его жена, и Настя, и человек, обманувший её, — кажутся нам какими-то неясными силуэтами, а весь рассказ представляется только планом рассказа. Поэтому и основная мысль его — идея большого пути жизни — мельчает и становится неубедительной.

В. Пономарёв в своём рассказе «Две встречи» тяготеет к описанию исключительных событий, хотя сама по себе история, лежащая в основе рассказа, вероятно, реальна. Двое молодых людей договариваются встретиться после окончания войны на том месте, где они простились в 1941 году. За военные годы они потеряли друг друга. И вот встреча состоялась. Но любящие тут же расстались. Расстались потому, что Валя — любимая Андрея — пришла на костылях, а он растерялся и не сумел объяснить ей, что она ему попрежнему дорога. Прошло много лет, и рассказчик, от лица которого ведётся повествование, встретил в санатории, куда сам приехал на костылях, врача Сергеевко. Это и была Валя, а «водитель» машины «Победа», в

которой больного доставили в санаторий, — Андрей. Валя и Андрей, оказывается, поженились, и у них родилась дочь Леночка.

Таким образом, основные события происходят вне рассказа. В. Пономарёв, как бы перед закрытым занавесом, говорит о том, что происходит на сцене и не видно зрителю, а занавес открывается только дважды: в первый раз, чтобы показать, что действие начато, а во второй — чем оно закончилось.

Почему Андрей потерял Валю, узнав, что она на костылях, сказано походя, вскользь, а ведь если представить себе действительно человека, столкнувшегося с таким случаем, сколько бы в нём это возбудило переживаний, дум, сомнений и утверждений! А здесь просто потерялись, потом нашлись и поженились.

И тон рассказа, описательный и спокойный, никак не вяжется по своей сути с происходящим в нём.

Примитивизация и обеднение героев отличают и рассказ Г. Попова «Счастье».

Несмотря на хороший замысел, в нём много неоправданного, не раскрыты, например, взаимоотношения между Тоней и Нагорным. Плохо написан вставной эпизод из фронтовой жизни, и поэтому отношения Тони и Воронина тоже неправдоподобны.

Сухая регистрация событий, так же как и в рассказе В. Пономарёва, сыграла свою пагубную роль.

Рассказ написан пресным языком. Много небрежностей и лишних слов. Например: «Увидав дочь, она поспешила к ней навстречу, обняла её, поцеловала по-матерински...» А как же ещё мать может поцеловать дочь? Или вот как агроном Нагорный говорит о своём радиоузде: «...Выйдешь вечером на луг — такая музыка льётся!.. Будто сошлись вместе Россини, Штраус и Чайковский — и дуют во всю!..» Что это — восхищение или насмешка? Непонятно.

Второй рассказ Г. Попова, «Весна», — о поездке Кастуся в Сибирь на освоение целинных земель — оставляет впечатление святочного лубка. В рассказе есть традиционный дед, который повествует о своём прошлом, и его внучка Дуня, которая пляшет в горнице и поёт частушки. Всё это представляется знакомым, читанным и перечитанным. Весь рассказ пропитан идиллической успокоенностью.

Цикл рассказов А. Миронова является как бы тематическим продолжением его кни-

ги «На океанских дорогах». Первые два рассказа — «В те дни» и «В лондонском порту» — ничего нового и интересного к книге не прибавляют. «В те дни» — больше очерк, нежели рассказ, «В лондонском порту» кажется вариацией прежде написанных А. Мироновым рассказов.

Но третий рассказ, «Лощман из Аннама», — о борьбе вьетнамских партизан — вызывает интерес. Восхищает образ вьетнамца, старого лощмана Си Тьена, напомнившего своим подвигом подвиг Ивана Су-санина.

Итак, рядом с хорошими, интересными произведениями в рецензируемых номерах альманаха опубликованы рассказы и повести, над которыми редакции и авторам следовало бы больше поработать, прежде чем предлагать их читателю.

Авторы альманаха в 1954 году внесли свой вклад в дело дальнейшего развития белорусской прозы. Но вместе с тем неко-

торых авторов альманаха следует предостеречь от новой болезни — самоцельного поиска конфликта, от поверхностного, малохудожественного раскрытия важных тем современности.

Ведь и надуманность конфликтов в повести В. Шаховца и в рассказе И. Гурского, и неестественность некоторых жизненных положений в более удачной повести Ю. Богусевича и в совсем неудачном рассказе В. Пономарёва «Две встречи», и бледные зарисовки на важные темы в рассказах Г. Попова «Весна» и «Счастье» и А. Дитлова «Аман-тай» — всё это ошибки одного порядка: они идут от недостаточного проникновения в глубины жизненных процессов.

Возможности талантливой прозы Советской Белоруссии велики. Для того, чтобы они были реализованы и на страницах альманаха, редколлегия должна повысить взыскательность.



Г. БЯЛЫЙ

★

РЕАЛИЗМ ГАРШИНА

(К 100-летию со дня рождения писателя)

Всеволод Михайлович Гаршин прожил недолгую жизнь — всего 33 года, — он написал несколько рассказов и статей, всё его литературное наследие умещается в небольшом томике, а между тем его творчество оставило выдающийся и яркий след. Уже современники Гаршина отмечали особую сгущённость его повествования. Г. Успенский писал о Гаршине: «...В его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, положительно исчерпано всё содержание нашей жизни, в условиях которой приходилось жить и Гаршину, и всем его читателям. Говоря — «всё содержание нашей жизни», я не употребляю здесь какой-нибудь пышной и необдуманной фразы, — нет, именно всё, что давала его уму и сердцу наша жизнь (наша — не значит только русская, а жизнь людей нашего времени вообще), всё до последней черты пережито, пережито им самым жгучим чувством...» Какие бы обыденные сюжеты ни разрабатывал Гаршин, его сознанием, как отмечает Г. Успенский, овладевал «весь строй жизни», её «существеннейшие язвы», её тяжёлые конфликты.

Иногда эти конфликты резко бросаются в глаза, нарушают нормальное течение жизни огромных человеческих масс. Так обстоит дело в военных рассказах Гаршина. Но не менее характерны для Гаршина конфликты иного рода, на первый взгляд совсем как будто мелкие, будничные и потому особенно страшные, так как они настолько примелькались, что стали незаметны для обычного взгляда; чтобы увидеть их, нужно внезапно прозреть, ужаснуться, выйти из состояния покоя и довольства. Эту тревогу и неудовлетворённость героев Гаршина отметил анонимный рецензент «Отечественных

записок» в отзыве на первый сборник рассказов Гаршина. «В сущности, — писал он, — у Гаршина только один герой, в разных только лицах, с разными индивидуальными отличиями. Это человек, задумавшийся над самим собою, над окружающим миром, с его горем и страданиями, человек неудовлетворённый». Гаршин, указывал рецензент «Отечественных записок», рисует «пробуждающегося человека, который ощупью, но уже настойчиво ищет света и выхода из той бездны мрака и лжи, куда его повергла тысячелетняя история». Судьба гаршинского героя складывается таким образом, что ему «нужно выбирать одно из двух: или жить во имя шучьих (то есть хищнических.— Г. Б.) идеалов, или силою любви и страдания искупить несправедливость и зло одряхлевшего и развращённого мира. Середины нет. Для тех, кто хочет держаться середины, развязка в могиле».

Итак, сразу после выхода первого сборника рассказов Гаршина современники ясно увидели, что Гаршин создаёт разные варианты единого типического образа. Это образ человека, не способного мириться с «несправедливостью и злом одряхлевшего и развращённого мира».

Рисуя «пробуждающегося человека», его идейные тревоги и терзания, Гаршин стремился показывать социальное зло во всей его наготе, без каких бы то ни было смягчающих обстоятельств, не отвлекая внимания читателя в какую-либо другую область, с тем чтобы всё время поддерживать в нём напряжённую работу мысли, чтобы «убить его спокойствием».

В своём стремлении «убивать спокойствием» людей, лишая их сна, тревожить их

совесть Гаршин был не одинок. Рядом с ним стояли его старшие собраты по перу — Г. Успенский и Салтыков-Щедрин. Современный литератор, считал Г. Успенский, «преподносит нам целый воз, тяжело нагруженный камнями горя человеческого, и неопровержимо доказывает, что нам надобно сдвинуть с места этот непосильный, тяжёлый груз» («Волей-неволей»). Ради того, чтобы этот воз был наконец сдвинут с места, Успенский и решался каждым своим рассказом «омрачать душу» читателя, говоря ему при этом: «пусть читатель знает, что я делаю это, во-первых, с невероятными усилиями, что я должен руку с пером удерживать другою рукою, чтобы она писала, не ушла от бумаги и чернилницы, и, во-вторых, делая это, терзаюсь и мучаюсь и хочу терзать и мучить читателя потому, что эта решимость даст мне со временем право говорить о насущнейших и величайших муках, переживаемых этим самым читателем...»

Стремление Гаршина и Успенского «терзать и мучить» читателей было характерно для критического реализма пореформенной, но предреволюционной поры, когда мучения самых широких масс становились с каждым годом всё более и более невыносимыми, а исторические пути выхода из страшного тупика были ясны ещё очень немногим. Далёкий от пессимизма Щедрин так чувствовал и рассуждал в то время: «Я всё письма получаю с упрёками, зачем стал мрачно писать. Это меня радует, что начинают чувствовать... Настоящее бы теперь время такую трагедию написать, чтобы после первого акта у зрителя аневризм сделался, а по окончании пьесы все сердца бы лопнули. Истинно вам говорю: несчастные люди мы, дожившие до этой страшной эпохи» (из письма А. Н. Островскому от 22 октября 1880 года).

В создании такого беспокойного и трагического искусства видел Щедрин патристический долг писателя-демократа. В сказке-элегии «Случай с Крамольниковым» (1886) Щедрин, рисуя образ литератора, близкого себе по духу и стремлениям, писал о том, что горячая и страстная преданность родине стала для него «живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались, наконец, главным содержанием его жизни, дали направление и окраску его деятельности. И он не только не собрался утишить эти боли, а, напро-

тив, работал над ними и оживлял их в своём сердце. Живость боли и непрерывное её ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других». Гаршин и был таким Крамольниковым — создателем «болевого» искусства. Эту черту гаршинского творчества глубоко почувствовал и понял Чехов. В рассказе «Припадок» (1888), навеянном личностью Гаршина и помещённом в сборнике его памяти, он так сказал о человеке гаршинского склада: «Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него особый талант — человеческий. Он обладал тонким, великолепным чутьём к боли вообще».

Потрясённый сознанием общественной неправды, внезапно раскрывшейся перед ним, герой Гаршина, чаще всего единомысленник автора, мучительно разбирается в своём положении, наедине с собой решает вопрос о своём поведении, о своём общественном долге. Рассказ Гаршина часто приобретает поэтому как бы монологический характер, характер раздумий, размышлений о самых острых, мучительных вопросах общественной жизни. Возьмём, например, знаменитый рассказ Гаршина «Четыре дня». Его содержание составляют размышления героя о войне.

Напряжённая работа мысли и совести студента-добровольца, забытого на поле сражения, — вот предмет повествования Гаршина. По форме это как бы дневник, но дневник особого рода. Рассказчик вспоминает своё прошлое, но так, как если бы он записывал свои воспоминания сейчас, и таким образом воссоздаёт своё отношение к войне во всей его непосредственности и сложности. Отношение героя к войне, восприятие её возникает как нечто складывающееся на глазах у читателя, как психологический процесс.

Герой Гаршина лежит раненый на поле сражения, он должен умереть и спасается только благодаря счастливой случайности. В газетах будет сказано несколько строк о числе раненых и о том, что убит один. Задача Гаршина и заключается в том, чтобы показать, что это значит реально: «убит один»; кто он, этот один, как он был убит, что он пережил и перечувствовал, прежде чем умер, сколько мыслей и воспоминаний пронеслось в его голове, какие были перенесены физические мучения и какие пережиты страдания нравственные.

Один рядовой, забытый на поле сражения,— это, оказывается, целый сложный мир мыслей, страданий, вопросов, чувств.

И первое чувство, которое возникает с первых же строк рассказа, это — чувство странности. Сражение показано Гаршиным как бы в какой-то дымке, как нечто отдалённое, неясное, смутное, похожее на странный сон. «Я помню, как мы бежали по лесу» — так начинается рассказ, и дальше этот мотив припоминания чего-то ускользающего из памяти повторяется несколько раз. «Да, я это хорошо помню». «Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... его». «Помню, и я сделал несколько выстрелов» и т. д.

Все впечатления и эпизоды боя вырисовываются опять-таки как нечто лишённое зрительной и слуховой конкретности. «Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям» — так изображается появление вражеских солдат. «Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо» — это ружейный выстрел. «Одним ударом я выбил у него ружьё, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало» — здесь уже всё становится зыбким и туманным. И подлежащее и оба сказуемых в последней фразе выражают что-то неясное и удивительное. Герой остаётся раненым на поле сражения, бой пронесётся мимо него, он теряет сознание. Это передаётся Гаршиным в такой форме: «Я не слышал ничего, а видел только что-то синее; должно быть, это было небо. Потом оно исчезло». Герой Гаршин не раз сам говорит о странности того, что с ним происходит: «...Мы сразу двинулись вперёд. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Ещё страннее было то, что всё вдруг исчезло...». Но иной раз, и не говоря прямо о странности всего происходящего, Гаршин даёт почувствовать это какой-нибудь совершенно обыденной и до наивности простой фразой, вроде такой, например: «Наши кричали «ура!», падали, стреляли».

Это чувство странности усиливается ещё больше, когда Гаршин переходит к изображению самочувствия своего героя после того, как тот очнулся из забытья и пришёл в себя. Этот эпизод начинается такой фразой: «Я никогда не находился в таком странном положении». Эта странность заключается прежде всего в удивительном сужении мира. Он видит перед собой только

маленький кусочек земли. «Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы — вот весь мой мир». Раненый слышит треск кузнечиков, жужжание пчелы, больше нет ничего. Он делает напрасную попытку встать, но резкая боль валит его снова на землю. «Опять мрак, опять ничего нет». Все богатства мира исчезли для него, всё странно сузилось, превратилось в ничтожный клочок пространства, почти что в точку, и на этой точке совершается сложная идейная драма. Она и составляет содержание рассказа. Это характерно не только для «Четырёх дней».

В рассказе «Происшествие» (1879) героиня рассказа, Надежда Николаевна, молодая интеллигентная девушка, которую жизненные обстоятельства толкнули на страшный путь проституции, также начинает размышлять над своей судьбой. Первая фраза «Происшествия» гласит: «Как случилось, что я, почти два года ни о чём не думавшая, начала думать,— не могу понять». Такое начало как нельзя более характерно для гаршинского рассказа. Герой начинает думать, разбираться в своём личном положении, в общественном устройстве, и с этого начинается рассказ. Дальше развёртывается история его мысли, которая приводит к важным заключениям обо всём строе и характере общественных отношений.

Надежда Николаевна с раздражением и горечью говорит о своём прошлом и настоящем. Она знает ясно, что выхода для неё никакого нет и не может быть, и в своём положении она видит не просто случайность личной судьбы, а закономерность общественного строя. В условиях этого строя её страшная и позорная профессия «нужна, необходима». У неё свой «пост», своя должность, узаконенная современным государством и оправдываемая апологетами капиталистического общества. «Недавно приходил ко мне один юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги. «Это наш философ, наш русский философ», — говорил он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное; вроде того, что мы — «клапаны для общественных страстей...» И слова гадкие, и философ, должно быть, скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти «клапаны».

Итак, пост, должность, освящённая официальной философией и официальной мо-

ралью, такая же «законная», как должность судьи, оштрафовавшего Надежду Николаевну за неприличное поведение в общественном месте. Осознав своё положение, Надежда Николаевна теряет охоту жить, и дневник её превращается в дневник самоубийцы. В самом тоне речи Надежды Николаевны, в её словах, возгласах, интонациях Гаршин передаёт сложную совокупность чувств «презренного и презирающего существа»: здесь и горечь, и холодная ненависть ко всем прямым и косвенным виновникам её позора и несчастья, и недоверие к людям, и сквозь весь этот мрак робко и несмело пробивающаяся жажда жизни.

Это противоречие между жаждой жизни и ощущением невозможности жить выражено Гаршиным в контрастном сопоставлении двух пейзажей, противоположных по смыслу и настроению. Надежда Николаевна выходит из дому и идёт, сама не зная куда. Погода стоит скверная, день пасмурный, тёмный, мокрый снег падает ей на лицо и руки. И поток мыслей течёт такой же пасмурный, тёмный и безнадежный. А между тем, думает Надежда Николаевна, «слишком я молода, слишком много чувствую в себе жизни. Жить хочется. Хочется дышать, чувствовать, слышать, видеть...» И тогда в воспоминании встаёт картина весны. По степным оврагам бегут и шумят реки талой воды, темнеет степь, струится удивительный воздух, сырой и отрадный, и, наконец, вся степь зеленеет, и быстро, в несколько дней, «совсем готовые», выскакивают из-под земли кустики пионов. Характерно, что картина весны перенесена в воспоминания, реально же для Надежды Николаевны существует мокрый снег, каменный спуск на Неве ведёт её прямо к проруби, и городской кричит ей грубые и грязные слова. Надежда Николаевна отмечает с трагическим спокойствием: «Он узнал по моему лицу, кто я». На лице человека, попавшего на дно, каинова печать. Ему «жить хочется», но жизни для него нет, нет возможности «дышать, чувствовать, слышать, видеть». Такова в обрисовке Гаршина жестокая сущность самодержавного строя, калечащего людей, порождающего боль сознания.

В этом, по Гаршину, заключается одна сторона социальной трагедии — физические и нравственные страдания невинно обречённых существ. Другая сторона трагедии состоит в том, что эти страдания лишают душевного спокойствия и возможности жить

мыслящих и чувствующих людей, не принадлежащих к числу обречённых. Таков в «Происшествии» Никитин, бескорыстно любящий Надежду Николаевну, потрясённый сознанием невозможности спасти её и потому погибающий сам. Он гибнет оттого, что «должность» Надежды Николаевны убила в ней веру в возможность собственного возрождения и в чистоту намерений других людей. «Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть?» — говорит Надежда Николаевна, и эти слова звучат, как приговор и ей самой и любящему её человеку.

Никитин не совладал с ударами судьбы и ушёл из жизни. Но он принадлежит к числу тех, кто не способен мириться с общественной неправдой, кто ищет выхода из тяжёлых тупиков несправедливого общественного строя и активно противопоставляет себя миру насилия.

Среди таких людей едва ли не главную роль Гаршин отводил людям искусства. Именно искусство призвано будить мысль и совесть человека, выводить его из состояния пассивности и обывательского прекраснотушия. Заставить человека увидеть зло и неправду, заставить его ужаснуться, почувствовать невозможность жить в мире вопиющей неправды, заставить его искать выхода — вот что должно делать искусство, если оно претендует на подлинное значение в современном мире. «Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил моё...» С этими словами обращается гаршинский художник Рябинин («Художники», 1879) к фигуре замученного каторжным трудом рабочего-котельщика, изображённого им на полотне. Таковы, по Гаршину, задачи искусства, враждебного эксплуататорскому строю, такова краткая формула его эстетики. Искусство Гаршина по природе своей враждебно бесстрастному эстетизму, «искусству для искусства», уходящему от тяжёлых впечатлений жизни.

В рассказе «Художники» Рябинину, стороннику беспокойного искусства, представителю «мужичьей полосы» в живописи, стремящемуся перенести на полотно «растущие язвы» социального строя, противостоит сторонник «чистого искусства» Дедов, который видит в искусстве убежище от жизненных противоречий. «Где здесь красота, гармония, приятное?» — спрашивает он о про-

изведениях Репина и других передвижников и тут же добавляет: «А не для воспроизведения ли приятного в природе существует искусство?»

Что касается Рябинина, то он уверен, что искусство существует не для этого. А для чего же? Это вопрос для него, и притом вопрос мучительно трудный. Об этом предмете написаны целые горы книг. Рябинин читал многие из них, но не нашёл настоящего ответа. Все писавшие об искусстве рассуждают о том, какое оно имеет значение, а в голове Рябинина при чтении их книг шевелится тяжёлая мысль: «Если оно имеет его». «Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?»

В этих сомнениях Рябинина заложено стремление к действительному искусству. Теоретики толкуют о значении искусства. Рябинина же волнует, какое влияние оно имеет, в чём его действительная сила, зачем оно? «Вечером, когда сумерки прервут работу, вернёшься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос: «Зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто где-нибудь в ней написан ответ».

Рябинин не нашёл этого ответа. Даже искусство, убивающее спокойствие людей, показалось ему мало действенным, не способным перевернуть жизнь, а именно этого-то и хочется Рябинину: «...впереди ещё целая жизнь, которую я, наверно, сумею повернуть по-своему (! наверно, сумею)...» Рябинин бросает искусство и отправляется в учительскую семинарию, чтобы стать народным учителем. В народ, к народу — вот куда ведёт путь людей, подобных Рябинину. Если искусство мешает этому, они бросают его. Рябинин не понял роли и значения реалистического искусства, он не увидел великой его общественно-воспитательной силы, его связи с народом. В этом была его ошибка, но в этой ошибке, по мысли Гаршина, был и подвиг. Ради народных интересов, как он их понимал, Рябинин отказался от самого дорогого в жизни. В деревне он «не преуспел», — многозначительно замечает Гаршин, и в этом заключена большая правда; не только Рябинин, но и все подобные ему представители демократической молодёжи, устремившиеся в народ, не преуспели. В 1879 году, когда был написан рассказ Гаршина, это уже было совершенно ясно. «...об этом — когда-нибудь после», — такой

фразой закончил Гаршин рассказ. Но и после об этом Гаршин также не написал. В подцензурной печати нельзя было рассказать о том, что делали Рябинины в деревне и почему они «не преуспели».

В противоположность Рябинину, Дедов верит в своё искусство и удивляется людям, которые не могут найти в нём полного удовлетворения. «Не могут они понять, — говорит он, — что ничто так не возвышает человека, как творчество». И вместе с тем, подчёркивает Гаршин, при всей показной возвышенности своих взглядов на искусство, Дедов, сторонник «чистого» творчества и бескорыстного созерцания, не больше, чем делец от искусства, «чистое» искусство и торгашество, самое элементарное, идут рядом. Дедов с восторгом и завистью говорит о художниках, зарабатывающих большие деньги и выгодно продающих плоды чистого творчества. «Нужно только прямее относиться к делу: пока ты пишешь картину — ты художник, творец; написана она — ты торгаш; и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше», — пишет он в своём дневнике и заканчивает эту запись фразой, которая по грубой откровенности своей была бы к лицу какому-нибудь купчику из комедии Островского: «Публика часто тоже норовит надуть нашего брата». Так с лёгкостью и непринуждённостью переходит сторонник «чистого» искусства от высокой поэзии к языку самой грубой прозы, к языку чистогана. И в этом, как подчёркивает Гаршин, есть своя логика: безразличное к страданиям трудящегося человека, искусство становится слугой тех самых солидных посетителей выставок, о которых говорит Рябинин: «Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопение и благополучно проследуют далее». Художник же, обслуживающий этих сытых господ, перенимает взгляды и нравы своих хозяев.

Вместе с тем Дедов не обрисован Гаршиным одними лишь непривлекательными чертами. Рисунок его характера сложен. Он добр, наивен, его любит Рябинин, он, по словам Рябинина, «невинен, как сам пейзаж», он кроток и мил, он способен справедливо оценить талант своего идейного противника. И в то же время он холоден и равнодушен, ничто не затрагивает его глубоко и сильно. Он говорит иной раз о страданиях трудящихся людей, и говорит об этом с полной искренностью, но от этой

волнующей темы Дедов быстро переходит к впечатлениям природы. Люди, подобные Дедову, даже сочувствуя страданиям людей, утешаются очень легко.

Противоположность между Дедовым и Рябиным в их отношениях к социальным противоречиям тонко показана Гаршиным в диалоге о рабочем-котельщике, «глухаря». Первые сведения о глухарях передаются сначала от лица Дедова, который рассказывает об их мучениях обстоятельно и правдиво, даже сочувственно, но внутренне бесстрастно. Вслед за этим о том же говорит Рябинин; он произносит всего лишь несколько скупых фраз, без видимого волнения, но каждая фраза звучит, как крик боли: «Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился». И последняя фраза — как клятва: «Я его напишу». Рябинин сдержал свою клятву. Мучась сам и муча зрителя, он написал не картину, а созревшую болезнь, и это, по Гаршину, и есть то высшее, на что способно реалистическое искусство.

Рябинин поселяется в деревне, уходит «в народ». Это вплотную подводило Гаршина к вопросу о революционной борьбе его современников. Рябинин в деревне «не преуспел», как и все его единомышленники. К тому же, когда писались «Художники», время хождения в народ было уже в прошлом. Революционеры народовольческого толка перешли к борьбе с самодержавием без расчёта на народ, одними своими силами. Этот поединок закончился, как известно, трагически. Самая большая победа народовольцев — убийство Александра II — оказалась в то же время и их поражением. Эти «революционеры исчерпали себя 1-ым марта...» (Ленин). В этих условиях, после 1 марта и накануне его, тема революционной борьбы самоотверженных одиночек должна была приобрести героический и одновременно трагический колорит.

Эта тема стала источником романтической струи в реалистическом искусстве Гаршина.

В конце 1879 года Гаршин написал свою знаменитую сказку «*Attalea princeps*», в которой в романтико-аллегорической форме затронута была эта жгуче злободневная тема.

Сказка начинается с описания ботанического сада, в котором находится огромная

оранжерея из железа и стекла. В этой массе железа и стекла есть своеобразная стройность и красота: витые колонны, лёгкие узорчатые арки, в паутинах железных рам — прозрачные стёкла, в которых горят и переливаются красные отблески заходящего солнца. Гаршин на мгновение вводит этот элемент красоты, чтобы сразу же снять его: речь идёт у него о темнице, враждебной всему живому.

В оранжерее томится множество растений. Гаршин называет их «заключённые растения», сразу подчёркивая политический смысл своей аллегии, и дальше, на протяжении всей сказки, поддерживает и усиливает этот смысл. Садовники стараются, чтобы растения «не могли расти, куда хотят», директор «не допускал никакого беспорядка», для растений же «нужен был широкий простор, родной край и свобода». Всё это не могло не связываться в сознании читателей с представлением о русском социально-политическом строе, о самодержавном режиме, о громадной тюрьме из железа и стекла, в которой есть своя стройность и свой «порядок», но нет свободы и простора для жизни. Вот почему романтический образ пальмы, решившей сломать железные рамы и выйти на волю, должен был вызвать представление о смелых и одиноких борцах против самодержавия.

Создавая образ гордого существа, не способного мириться с неволей, Гаршин окружает его сатирически нарисованными «портретами» растений, примирившихся со своей стеклянной темницей. Иные вполне довольны своей судьбой, как «пузатый кактус» (характерен здесь подчёркнутый эпитет; сразу сближающий это растение с едмодовольным и сытым обывателем — буржуа); иные ворчат, как саговая пальма, которой недостаёт сырости, но это не протест, а именно воркотня. «...Ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком», — презрительно говорит им пальма, и самый подбор слов опять придаёт всей картине злободневный политический смысл. Споры из-за подачек — это ведь как нельзя более характерно для мелкого либеральничанья, трусливого и жалкого. Против него и направляется сатира Гаршина.

«...Оставьте ваши споры и подумайте о деле», — говорит пальма, обращаясь к своему окружению, и здесь опять-таки звучат политические ноты. «Дело» — это в легаль-

ной публицистике синоним революции, а революционеры семидесятых годов не раз обращались к либеральному обществу с бесплодными призывами к совместной борьбе. «Послушайте меня: растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стёкла, наша оранжерея рассыплётся в куски, и мы выйдем на свободу» — такие слова часто раздавались в обращениях революционеров к либералам, а те отвечали им так же, как деревья в сказке Гаршина: «Глупости! Глупости!.. Несбыточная мечта, вздор, нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их...» Когда наступает момент последней схватки, растения, окружающие пальму, восклицают: «Неужели решится?» — совсем так, как говорили о революционерах люди из «общества», к какой бы категории они ни принадлежали — к пузатым кактусам, довольным судьбой, или к саговым пальмам, отваживавшимся на лёгкую воркотню. Так кладёт Гаршин водораздел между мелким фрондёрством либерального пошиба и гордым стремлением к свободе. Пальму не поддерживает рабская среда, этим объясняется её одиночество, вот почему *Attalea* с горечью и одновременно с гордостью говорит: «Я и одна найду себе дорогу». Впрочем, по Гаршину, пальма не совсем одинока. За ней тянется травка, бледная, жалкая, бессильная, но сочувствующая её свободолюбивому порыву. За своё сочувствие она расплавивается жизнью и гибнет вместе с пальмой; тем не менее она не в силах поддержать её в борьбе. В решительный момент, замирая от волнения, она говорит: «Не лучше ли отступить?» И так, самодовольное рабство одних и робкое, бессильное сочувствие других — вот причины, обусловившие одиночество борца.

Гибель героини сказки изображается Гаршиным и как победа и как поражение одновременно. Раздаётся звонкий удар, лопаются толстая железная полоса, сыплются и звенят осколки стекла, пальма выходит на волю. Это победа. Поражением её является вовсе не гибель. Героическая смерть ещё далеко не поражение. Поражение в том предсмертном разочаровании, которое переживает свободолюбивая героиня Гаршина. Увидев осеннее небо, и мелкий дождик пополам со снегом, и серые клочковатые тучи, пальма горестно думает: «Только-то? И это всё, из-за чего я томилась и страдала так долго?» Здесь уже начинается

спор Гаршина с его революционными современниками. Гаршин горячо сочувствует их героизму и самоотверженности, но он видит их недостатки. Они мечтатели больше, чем практические деятели, они не знают условий русской жизни, они способны к подвигу, но не способны к упорной борьбе, борьбе повседневной. Суровые сосны и ели угрюмо смотрят на пальму. «Замёрзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть».

Гаршинская пальма происходит из тёплых, экзотических стран. Эта деталь кажется странной в произведении, таком злободневном, как «*Attalea princeps*», так тесно связанном с русской жизнью. Однако в сказке Гаршина это имеет свою художественную логику. Уроженка жарких краёв, пальма не знает суровых снегов и морозов. Зато она помнит ясное голубое небо, и тёплый ветер, и горячее солнце. Для Гаршина это символ всеобщего человеческого счастья, несовместимого с неволей. Одинокие, гордые борцы стремятся разом достигнуть полного и безоблачного счастья и ради этого совершают героические подвиги, но, благородные мечтатели, они не знают реальной жизни, и в этом их трагедия.

Людам, символическим изображением которых являлась гаршинская пальма, нужно было голубое небо и вечное ликование всеобщего счастья. На меньшем они не примирялись, в этом была их заслуга, но они не знали путей к счастью мира. Гаршин также не знал путей к свободе и счастью; поэтому отпечаток безысходности лёг на его замечательную сказку. Мёртвую пальму выбрасывают на задний двор, прямо в грязь, и снег засыпает её. На мёртвой пальме — вырванная охапка травы. Гордое, сильное существо и создание слабое, но понимающее красоту подвига, сравнялись в трагической гибели. Выхода нет, но свободолюбивый подвиг оправдан. Пусть он не принёс плодов, — в глазах автора он всё же возвышен и свят. Таков дух и смысл гаршинской романтики.

Характерно, что в «*Attalea princeps*» был силен сатирический элемент. В этой сказке гармонически сочетались героические мотивы с обличительным смехом. Целиком в сатирическом духе выдержана сказка Гаршина «То, чего не было» (1882). Здесь та же пародия на сытых обывателей, довольных своим положением, что и в «*Attalea princeps*». Собака, с тоненьким визгом зеваю-

щая от тоски, и свиньи, маменька с дочками, отдыхающие в жирной грязи, — вот аллегорическая экспозиция, создающая колорит реакционной эпохи. Всё спит, царит жара, уныние, скука. Но есть ещё «общество неспящих господ», как называет Гаршин компанию философствующих животных и насекомых, «портреты» которых представляют собой ядовитую сатиру на либерально-мещанское интеллигентское пустословие и пустомыслие. Ведутся праздные разговоры на высокие темы, речь идёт о мире, о целях жизни, о смысле бытия. Приобретательская «философия» навозного жука, заботящегося о себе и о своём потомстве, и рабская гордость муравья, работающего «на казну», и трескотня кузнечика, этого либерального фразёра, любящего попрыгать и потрещать «о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое», и мистические стоны гусеницы о будущей жизни, о загробных тайнах — всё это разные виды интеллигентско-обывательской косности, угодничества, холопства, узости мысли. Кузнечик уверен, что во время прыжков он достигает огромной высоты и с неё видит, что миру нет конца, а гнедой считает, что несколько окрестных деревень «это-то и есть мир», — таков кругозор «неспящих господ», считающих себя благородными мыслителями, солью земли и даже героями гражданских подвигов, как ящерица, у которой оторвали хвост за то, думается ей, что она осмелилась высказать свои убеждения. Гаршин предназначал свою сказку для детей, но это не помешало ему вложить в неё остро-сатирический смысл, прямо направленный против «ликующих, праздно болтающих».

Сатирическое изображение обывательской, мещанской жизни, ничтожной, серой, унылой, даёт Гаршин и в большом рассказе «Медведи» (1883). Здесь он впервые выходит на простор эпического повествования и развёртывает широкую картину жизни тихого и сонного уездного городка. В этом рассказе Гаршин как бы возвращается к первоисточкам своего творчества, к раннему очерку «История Энского земского собрания», где также в сатирических тонах показана была жизнь маленького уездного городка, с которым связаны были детские годы писателя, но он возвращается к старой теме обогащённый опытом жизни и творчества.

В форме бытового повествования он говорит в «Медведях» о том же, о чём гово-

рил в сказочной форме в «Attalea princeps» и в «Том, чего не было», — о безликой и рабской обывательщине, враждебной романтико-героическому началу.

За годы, прошедшие со времени написания «Истории Энского земского собрания», Гаршин ясно увидел трагическую сторону жизни, и теперь, выступая вновь в качестве сатирического бытописателя, он мастерски пользуется методом контрастного сочетания трагического с гротескным и этим достигает особенно сильного эффекта.

Рассказ начинается картиной обывательской пошлости в разных её воплощениях. Братья Поповы, Бобчинский и Добчинский гаршинского уездного городка, и первая дама города, «владычица мод», лет восемь назад приехавшая из Петербурга, и уездное земство с выборами и скандалами, с Иваном Петровичем и Иваном Парфёнычем, побивающими друг друга, — это всё детали общей картины, воплощающей пошлость и плоскость жизни. Вслед за этим — резкий трагический контраст: весть о медвежьей «казни», пёстрая толпа цыган, дыхание жизненной драмы, настоящего горя настоящих людей.

Далее развёртывается трагический элемент рассказа, трагический и одновременно романтический. Возникают образы цыган, описания их своеобразного быта, обычаев, вожделение медведей, артистические представления, странные песни и — необыкновенно важная деталь — сочувственное внимание ко всему этому малого ребёнка, будущего автора. Эта небольшая деталь служит как бы знаком особой важности и ценности изображённого здесь яркого и необычного мира, резко контрастирующего с застойным прозаическим бытом мещанского городка.

«Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел...» — говорит ребёнок о песнях цыгана, его воображение работает, и в маленькой голове возникают странные романтические образы. Цыганского языка никто не знает, никто не понимает цыганской песни. «Никто не знает, когда слезена она, какие степи, леса и горы породили её», она загадочна и таинственна. Характерно, что именно ребёнок с его непосредственной чистотой и поэзией стремится понять её. Взрослых она не занимает, как не занимают их тайны и голоса самой природы. Приведённым выше словам ребёнка предшествует удивительная пейзажная зарисовка степи, таборных огней и чистых звуков

степной ночи, непонятных и гармоничных. «...что это? звук ли далёкого колокола, принесённый лёгким ветерком, или голос природы, языка которой мы не понимаем?..» — спрашивает автор. На этом фоне слова мальчика: «Я хотел бы научиться» — приобретают особенно важный смысл. Цыганская песня — это тоже голос самой природы, и весь табор — это как бы воплощение природной жизни. Так возникает в «Медведях» освящённая Пушкиным старинная тема цыган, вольных детей природы. Обновив старую тему в новых условиях жизни, Гаршин показал цыган в момент тяжёлого бедствия и полного бессилия перед лицом несправедливого закона. Степная вольность терпит поражение и отступает перед жестокой силой самодержавно-бюрократической государственности, но отступает с достоинством и мужественной сдержанностью. Это придаёт всему повествованию романтический колорит, который возрастает от главы к главе и достигает особой силы в сцене медвежьей «казни». В этой сцене звучит патетическая речь старика-цыгана, в которой слышна угроза неправедным властям: «Пусть бог на небе рассудит нас с ними». Фигура старика приобретает здесь характер почти эпического. Это — воплощение народного взгляда, народной морали, народного суда, — нечто аналогичное образу старого цыгана из поэмы Пушкина. Характерно, что романтическая приподнятость речи старого цыгана и ореол романтического величия — всё это естественно входит в бытовое повествование Гаршина и не нарушает реалистической целостности произведения.

Обличение социального зла и апофеоз героического подвига развивались у Гаршина рядом. Показательно, что он одновременно работал над двумя рассказами: над «Медведями», в которых так силен элемент сатиры, и над «Красным цветком», окрашенным в героические тона.

«Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!» — этими словами героического безумца открывается рассказ. В таком начале есть нечто символическое. «Сему сумасшедшему дому» объявлена ревизия. Мир нуждается в обновлении — такова идея безумного героя «Красного цветка», и высказывает он её, как имеющий право, громким, резким, звенящим голосом. Он ведёт себя, как че-

ловек, сознающий свою моральную силу и власть, но находящийся в руках врагов. Он ходит «быстрою, тяжёлою и решительною походкою, высоко подняв безумную голову». Ради великой идеи освобождения человечества и уничтожения тюремных решёток он готов перенести мучения и пытки инквизиции, даже самую казнь. «Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему всё равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить...» Образ гаршинского героя должен был связываться с представлением о самоотверженных деятелях освободительной борьбы, не боявшихся тюремных казематов, пыток, мучений и казней. Его словарь, его манера говорить и мыслить характерны для революционеров семидесятых годов. Как и они, герой Гаршина сожалеет о людях, которые в печальном ослеплении своим защищают носителей зла, и готов сам, в одиночку, сразиться разом со всем злом мира. «О несчастные! — думал он. — Вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы помереяемся силами. И если я погибну, не всё ли равно...»

Как многие революционно настроенные люди семидесятых годов, он находится во власти великих ожиданий и грядущее обновление представляет себе в космических очертаниях. «Скоро, скоро распадутся железные решётки, все эти заточённые выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнётся, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте».

В. Г. Короленко, вспоминая в «Истории моего современника» настроения своей молодости в период семидесятых годов, говорит о том, что у него, как и у других мечтателей его поколения и круга, была одна великая мысль, захватывавшая и вдохновлявшая. «Господствующей основной мыслью, своего рода фоном, на котором я воспринимал и видел явления, стала мысль о грядущем перевороте, которому надо уготовить путь». Ему мерещилось, что «придёт время, и оно казалось близко, когда станет новое небо и новая земля». В другом месте своих воспоминаний Короленко пишет, что многие его современники «мечтали не о конституции, а о всеобщем катаклизме, который сразу перевернёт весь строй». Многие революционно настроенные люди семидесятых

годов, участники конспиративных кружков и групп, подобно герою Гаршина, считали себя призванными исполнить дело, казавшееся им «гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле». Они были политическими романтиками и природу социального зла представляли себе более чем смутно и туманно. Во всяком случае, опять-таки подобно гаршинскому герою, они стремились найти и разом уничтожить источник этого зла, впитавший в себя «всю невинно пролитую кровь, все слёзы, всю жёлчь человечества». «Там будет последняя борьба, а после — хоть смерть». Герой Гаршина понимает свою обречённость, он знает, что погибнет, умрёт, «но умрёт, как честный боец и как первый боец человечества». Он гибнет бесплодно, но вид его мёртвого тела внушает мысль о моральном величии подвига, чем бы он ни кончился. «Лицо его было спокойно и светло; истощённые черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье».

Гаршин понимает обречённость революционных романтиков, мечтателей, одиночек, ведущих свою борьбу без народа. И вместе с тем он преклоняется перед их «безумием», которое выше, ценнее и человечнее благоразумной трезвости людей «из общества».

Гаршин сказал как-то одному из своих знакомых о деятелях революционного подполья:

— Мне хотелось бы воплотить этих людей в художественные образы, но это выше сил моих, да, к сожалению, с революционерами я не встречаюсь и боюсь встречаться с ними ...не за себя боюсь... Ты знаешь, что я временами болею. И вот в эти-то минуты

болезни я могу наговорить бог знает что... Нет, мне не место там, где конспирация.

Гаршин не мог воплотить в художественные образы деятельность революционеров. Но он сумел в таких произведениях, как «Attalea princeps» и «Красный цветок», выразить своё преклонение перед красотой «самоотвержения и героизма», перед романтикой подвига, пусть даже не завершившись успехом, пусть даже трагического. «Красный цветок» — это гаршинский гимн «безумству храбрых».

На многих произведениях Гаршина лежит отпечаток глубокой скорби, но это не безысходный пессимизм, не лирика отчаяния. Жизнь для Гаршина никогда не теряла своего обаяния, он верил в неизбежность её обновления. Друг Гаршина, зоолог Фаусек, писал об авторе «Красного цветка»: «Он не думал, что жизнь мира есть грех и зло; он тем более ненавидел зло, что оно было, на его взгляд, чудовищным контрастом с той радостью и красотой, которую он видел в мире». Высшей красотой была для Гаршина красота героического подвига.

«Настало время нужды в героическом», — писал А. М. Горький А. П. Чехову в 1900 году, намечая ту перспективу, которая раскрывалась в произведениях Чехова. В словах Горького намечена была одна из характерных черт не только творчества Чехова, но всего русского реализма конца XIX века, когда Россия приближалась к периоду исторических бурь. Назревшая нужда в героическом просвечивает и в творчестве Гаршина, она составляет живую душу его реалистического искусства, сохранившего своё значение и ценность для нас, современников и участников великих героических дел.



О ВОСПИТАНИИ ВКУСА

В № 10 журнала «Новый мир» за 1954 год была напечатана статья художника Н. Жукова «Воспитание вкуса». Статья эта вызвала отклики читателей. Мы публикуем некоторые из полученных редакцией писем.

Из личных наблюдений

Я полностью разделяю высказанную автором статьи «Воспитание вкуса» Н. Жуковым мысль о том, что каждому советскому человеку присущи любовь к красивому, стремление окружать себя изящными вещами.

Это абсолютно верно. И это значит, что большая ответственность возложена на тех людей, которым по роду их деятельности поручено постоянно разжигать, а не гасить нужное, движущее нас вперёд чувство любви ко всему, что подлинно красиво.

Мы живём в эпоху великих свершений, которые окрыляют нас, делают нашу жизнь год от году всё лучше и краше. И чем выше поднимается уровень материального благосостояния, тем шире и разностороннее становятся духовные запросы советского человека. То, что ещё совсем недавно могло быть вполне приемлемым, что устраивало нас, — сегодня уже перестаёт удовлетворять наши новые, значительно возросшие эстетические потребности. Это — свидетельство культурного роста нашего народа.

На мой взгляд, главная ценность статьи Н. Жукова состоит в том, что она своевременно ставит вопрос о назревшей сейчас необходимости усилить контроль над художественным качеством товаров народного потребления. В связи с этим хотелось бы поделиться и некоторыми личными наблюдениями.

Вскоре после замужества, когда у нас с мужем появился свой «угол» в виде отдельной комнаты, мы задумались, как сделать её попригляднее, уютнее... В памяти ещё свежа была неуютность студенческих лет. Может быть, именно поэтому так велико было стремление создать собственную красивую обстановку.

А что такое уют? Если бы нас спросили об этом, мы вряд ли сумели бы объяснить. Мы знали одно, что уют — это, конечно, не фикусы с пыльными листьями и не стадо мраморных слонов, которых «для счастья» пускают пасть по туалетному столику.

Нам хотелось иметь такой дом, в котором хорошо бы работалось и хорошо отдыхалось. Размышляли об этом вместе. Но практически заботиться о домашнем устройстве пришлось мне одной. Мужчина может много рассуждать об уюте и завтракать на столе, покрытом вчерашней газетой.

Вот тогда-то я впервые почувствовала, как тягостно действует на человека тот самый стандарт, ремесленный штамп, о которых говорится в статье Н. Жукова.

...Длинный витой шнур с поблёскивающей на конце электролампой тоскливо свешивался с потолка нашей комнаты. Вечером, когда зажигали свет, ярко раскалённая нить слепила глаза. Поэтому было решено прежде всего купить абажур. И вот я в Центральном универсаме. Над прилавком покачиваются абажуры. Их много, значит выбрать один из них себе по вкусу — дело несложное. С такой надеждой приступила я к тщательному осмотру разноцветных образцов. Ещё издали был приметен и назойливо заявлял о своём существовании ядовито-оранжевый абажур фабрики ширпотреба Коминтерновского райпромтреста Москвы. Судя по всему, долго ещё придётся ему висеть здесь. А вот тёмносиний в цветочках — продукция художественной фабрики Ленинградского района. Я попросила включить свет, и всё вокруг приобрело какой-то мертвенный оттенок. Почти все изделия — одного размера и мало отличаются по форме. Попался мне, правда, приятного мягкого цвета красивый абажур в виде оп-

рокинута чаша (их выпускает производственный комбинат Центрального универмага). Но такой хорош лишь для спальни. Я не знаю, существует ли специальный стандарт на абажуры, и не уверена, нужен ли он. Но если такой стандарт всё-таки есть, то составляли его бездушные люди, не имеющие ни малейшего представления о красоте и уюте.

Пока я рассматривала абажуры, пожилая женщина пыталась приобрести настольную лампу: «Представляете, какая радость: сын кончил институт. Молодой инженер! Хочу сделать ему подарок». Я не оговорила — женщина именно «пыталась» купить лампу. В этот день в продаже были только подставки голубого цвета с золотистыми ободками и стеклянные абажуры — зелёный и белый. Покупательница мечтала о лампе с зелёным абажуром — с ним легче работать, меньше устают глаза. Но голубое в сочетании с зелёным её никак не устраивало.

Вечерами мы с мужем любим читать вслух. Как хорошо было бы повесить над тахтой небольшую лампочку-бра — овал и на изящно изогнутом стебле белый колокольчик. Красиво, просто и без претензий. Но вместо этого в магазине «Газоаппарат», на улице Горького, мне предложили «одноили двухрожковые бра» с золочёными подставками, с завитушками, как будто нарочно приспособленными для скопления пыли.

Кстати сказать, люди, ведающие выпуском ширпотреба, чересчур увлекаются золотыми красками, причём используют их там, где это подчас совсем не требуется. Приобрела я не так давно оригинальную застёжку-молнию, составленную из цепочки белых пластмассовых шариков. Но на замке у неё наклеена нелепая золотая бляха. С тем же самым стремлением сделать вещь на вид «богаче» я столкнулась в Художественном салоне, подбирая рамки для репродукций: все они сверкали тяжёлой вычурной позолотой. А мне хотелось иметь гладкую рамку с простым и строгим узором.

По улицам Москвы мчатся автомашины, и мы невольно любуемся не только изяществом их формы, но и радующей глаз окраской. Так ведь это всё же автомобиль! А вот почему кастрюли — да, да, самые обыкновенные эмалированные кастрюли! — бывают только коричневые или зелёные?

Иногда, усматривая потребность в некотором оживлении, по тёмному фону пускают светлую крапинку. Если к тому же посуда большого размера, то кажется, что на столе стоит ведро или бак. «Проблема» большой кастрюли удачно разрешена в Риге, где выпускают кухонную посуду нескольких видов с удачно найденной формой. К сожалению, в Москве до этого ещё не додумались.

А как хорошо бывает, когда вместе с другой посудой хозяйка ставит к обеду изящно выполненную перечницу или солонку. Какой здесь простор для фантазии художника, работающего над подобного рода домашней сервировкой! Но на витринах посудных магазинов выставлены только привнесённые всем стандартные наборы для приправ, точно такие, как в любом ресторане.

Право, обидно становится, когда видишь, что наши заводы, фабрики, промышленные артели так мало заботятся об оформлении вещей, с которыми повседневно имеет дело каждая семья.

Не так давно мне привезли из Ленинграда чудесный набор кухонных принадлежностей. Тут и скалка, и шинковка, и сбивалка, и сечка — и всё это красиво и аккуратно собрано на изящной полочке. Набор сделан Ленинградским металлургическим заводом имени Сталина. Хочется от души поблагодарить ленинградцев за прекрасный подарок, сделанный ими домашним хозяйкам.

Не в обиду пусть будет сказано москвичам, но в Ленинграде больше думают о красоте и удобстве предметов быта. В Ленинградском пассаже в прошлом году состоялась интересная выставка, на которой демонстрировались различные вещи, облегчающие труд женщины в домашнем хозяйстве. Много таких нужных и красивых вещей можно приобрести в находящемся неподалёку «Магазине новинок».

Однажды мы с мужем собрались к знакомым — они праздновали день рождения. Покупать какой-нибудь банальный подарок — галстук или флакон духов — не хотелось. Вспомнили о красочной вывеске «Подарки» в Столешниковом переулке. Продавщица любезно обратила наше внимание на целую галерею персонажей из «Мёртвых душ» Гоголя. Статуэтки превосходно выполнены, но кому придёт в голову подарить приятелю Плюшкина или Манилова? Ведь он, чего доброго, и обидится.

Факты, приведённые мной, единичны и не систематизированы. По ним, конечно, нельзя судить о художественном качестве общей массы изделий. Многие из того, что поступает на полки магазинов, сделано с большим вкусом, любовью и умением. Но вещи эти не задерживаются, их моментально раскупают. На долю большинства покупателей остаётся только грубая, неприглядная продукция. Напрашивается естественный вопрос: кто же всё-таки отвечает за её выпуск, кто несёт ответственность за это по всем правилам хозяйственного расчёта? Неужели торгующим организациям так трудно научиться правильно, здраво учитывать запросы потребителя?

Мы ждём освобождения из плена стандарта, рутины и обращаем свой голос прежде всего к товароведом — им принадлежит решающее слово в оценке соответствия

ассортимента и качества товаров, получаемых от промышленности, вкусам и потребностям покупателей.

В статье Н. Жукова, талантливого и наблюдательного художника-графика, говорится и об участии во всём этом деле мастеров изобразительного искусства. И действительно, почему бы нашим художникам не вспомнить о керамике Врубеля, не возродить былых традиций В. Васнецова, Нестерова, которые не гнушались «прикладным искусством»? Почему бы со статьями, посвящёнными искусству в быту, не выступить журналу «Искусство»?

Товарищи художники, подумайте о создании красивых, простых и удобных вещей! Мы скажем вам большое спасибо.

И. Пономаренко,
домохозяйка.

Художник и производство

Статья Н. Жукова «Воспитание вкуса» очень взволновала нас, художников-текстильщиков, работающих на производстве. И не только потому, что её тема непосредственно касается нашей деятельности. Ведь очень многим художникам по тканям до сих пор приходится подчас испытывать горькое чувство неудовлетворённости, когда они видят продукцию, выпущенную при их участии.

Только ли художник повинен в том, что прилавки наших магазинов заполнены однообразными, малоинтересными тканями, грубыми по цвету, безвкусными по рисунку?

Мне кажется, что это не совсем так. Между творческим стремлением художника, между его замыслом и окончательным результатом в виде изделий, поступающих в продажу, находится производство — очень сложный организм. Дело в том, что производственники заинтересованы только в количественных показателях, то есть в возможно большем метраже тканей. Качественные же показатели не включают в себя художественную сторону продукции. Учитываются только те признаки качества, которые можно сосчитать и измерить. А как измерить элегантность ткани? Чем определить её красоту, гармонию красок и изящество рисунка?

Бракровка готовой продукции производится без образца — эталона, сделанного художником. А ведь зачастую бывает так,

что эталон имеет мало сходства с его практическим воплощением. Создаётся явно ненормальное положение, противодействовать которому художник не имеет возможности.

Первым сортом с фабрики идёт ткань без внешне заметных повреждений, если даже она безобразна по цвету или рисунку. Но вот на материю попали незначительные брызги другой краски, хотя бы величиной с булавочную головку. Тогда она уже не считается первосортной. Чтобы исправить это, её покрывают сверху другим рисунком, так называемой «покрышкой», скрывающей посторонние пятнышки. От пересечения двух рисунков на поверхности ткани появляются загадочные фигуры, вызывающие естественное недоумение потребителей. Но зато такая продукция по своей оценке вновь попадает в высшую категорию, что вполне устраивает производственников.

Так возникает конфликт между художником, который в своей деятельности обязан руководствоваться высокими эстетическими принципами, и технологом, который заинтересован в том, чтобы фабрика произвела больше тканей первого сорта.

Вряд ли можно признать закономерным и другое явление. В художественной мастерской фабрики, как правило, работают люди с высшим художественным образованием. Эта мастерская административно подчиняется колористу-химику отделочного производства, который самостоятельно решает

все вопросы художественного качества тканей. В большинстве случаев колорист — это специалист, великолепно разбирающийся в технологии производственного процесса, но, увы, не имеющий какой-либо художественной подготовки. Нетрудно представить себе, насколько может быть ошибочной его позиция в споре относительно внешнего вида тканей.

Таким образом получается, что художник на текстильном производстве даже не в силах изменить что-либо, если видит, что его образец уродуется, одни краски заменяют другими, переиначивают рисунок и т. д. Поэтому так часто замысел художника, образец, им созданный, неизменно меняется в сотнях тысяч метров ткани, выпущенных по этому образцу.

Надо сказать прямо: руководители производственных предприятий далеко не всегда правильно понимают роль художника в создании новых тканей, в борьбе за наилучшее удовлетворение растущих запросов советских людей. Вот характерный пример. Директор фабрики имени Свердлова товарищ Губырин заявил однажды главному художнику: «Вы мне здесь искусства не разводите, здесь не Академия художеств». Этот же хозяйственник, воспользовавшись уточнением штатных расписаний на 1955 год, сократил три должности: агента жилищно-коммунального отдела, счетовода этого отдела и... главного художника.

Как это ни странно, но осложняют работу художника на производстве и взаимоотношения с представителями торгующих организаций.

Конечно, в большинстве своём работники торговой сети — это опытные товароведы, они руководствуются в практической работе возросшими требованиями советских людей, болеют за судьбу производства, поддерживают инициативу художников. Но, к сожалению, в качестве представителей торгующих организаций, которые диктуют свои требования от лица трудящихся, нередко приходят люди, не имеющие ни достаточной культуры, ни просто такта выслушать и учесть мнения более знающих товарищей. Такие представители заказывают то, что много раз уже появлялось на прилавке, что продаётся быстрее всего, что им «делает план». В отборе тканей они не руководствуются ни хорошим вкусом, ни обоснованными соображениями.

Допустим, что художник вместе с Общесоюзным домом моделей создал новое, интересное по характеру оформление материала, скажем, полукупонную или купонную ткань для детского платья. Пусть два художественных совета оценили этот труд на «отлично», к тому же и в производстве рисунок получился хорошо. Но представителю торговли новинка показалась невыгодной («сложно отрезать» или «нужно объяснять потребителю»), и он отказывается от заказа. Новый, со вкусом сделанный рисунок, не увидев света, умирает в недрах производства.

Так под влиянием случайных причин изменяется направление в работе художника, и он вновь возвращается к старому, уже испытанному «массовому», «тиражному», всем надоевшему рисунку, бросает свои поиски. В результате страдает потребитель.

Оргкомитет Союза советских художников и Академия художеств равнодушны не только к судьбе художника, работающего в промышленности, но, к сожалению, и к судьбе самого декоративно-прикладного искусства, они не принимают никаких мер, чтобы улучшить условия работы художников на производстве, где создаются художественные предметы быта.

В прошлом году Академия художеств провела конференцию по декоративному и прикладному искусству. Как много мы ожидали от неё! Но ничем практически не помогла она большому отряду художников, работающих на фабриках. Конференция была недостаточно подготовлена. На заключительном заседании выступил президент Академии художеств А. Герасимов с весьма неудачной речью, в которой высокомерно-пренебрежительно отозвался о большой и полезной работе художников Общесоюзного дома моделей. Делегаты конференции, съехавшиеся со всего Советского Союза, разошлись в подавленном состоянии.

Из всего сказанного ясно, что художнику-текстильщику приходится работать без поддержки, без направления со стороны художественных организаций.

Большую и важную задачу воспитания эстетического вкуса трудящихся нашей страны художники смогут решить только совместно с работниками промышленности и торговли.

В. Силарова,
художник Московской шёлко-
отделочной фабрики имени
Свердлова.

Критерий художественности

Накануне открытия Государственного универсального магазина (ГУМа) кое-кто из товарищей по работе говорил мне: «Вы счастливая, уж в вашем-то художественном отделе завтра не будет толкотни...» А на следующий день, как только открылись двери нашего колоссального торгового предприятия и поток посетителей хлынул и растёкся по многочисленным отделам магазина, в художественном салоне образовалась очередь за украинской керамикой — красивыми и недорогими изделиями: кувшинами, вазами, куманцами и т. д.

Нам, работникам торговли, особенно заметно, насколько возросла тяга советских людей ко всему красивому и изящному, насколько сильно их желание украсить свой быт, своё жилище художественными изделиями, радующими глаз, воспитывающими эстетическое чувство.

Почти все покупатели, впервые попадающие к нам, удивлённо оглядываются, улыбаются и произносят обычно одни и те же слова: «Разве это магазин? Я как будто в музей попал». И действительно, вдоль стен и по всему салону расположены стеклянные витрины, в которых выставлена вся художественная продукция, имеющаяся в данный момент в магазине. Посетитель может спокойно всё осмотреть, полюбоваться красивыми изделиями, и любая вещь, которую он пожелает приобрести, будет сейчас же снята с витрины и продана ему. Взамен проданной вещи в витрине появится новая. Каждый день здесь меняется ассортимент товаров. Мне кажется, что художественный салон ГУМа, кроме своей прямой обязанности — торговли художественными изделиями, выполняет и другую — воспитывает у потребителя любовь к красивому, развивает хороший вкус.

В своей статье «Воспитание вкуса» Н. Жуков правильно говорит о благодарной роли работников торговли в эстетическом воспитании советского человека. Но это при условии, если они сами не плетутся в хвосте, на поводу у людей с отсталым, мещанским вкусом. Работник прилавка, который смотрит на товар только с точки зрения его «ходкости», боится новинки, потому что не знает ещё, «как она пойдёт», не обращает внимания на внешнюю, художественную сторону предметов народного потребления,

а думает лишь о формальном выполнении плана, — плохой работник.

Меня иногда просят назвать фабрики, артели, заводы, продукция которых не находит спроса у советских людей. Как ни странно, я всегда в этом случае нахожусь в затруднительном положении. Дело в том, что в отделе, которым я руковожу, таких товаров нет: у нас, за редким исключением, ничто не залеживается на прилавках. Объясняется это тем, что нашему универмагу дано право непосредственно заключать договоры с предприятиями, выпускающими предметы широкого потребления. Естественно, что мы забираем у них только наиболее высококачественные изделия, зная заранее, что они обязательно понравятся покупателю. Остальные магазины снабжаются централизованным путём, через оптовые базы, которые зачастую «сплавляют» в торговую сеть плохо и грубо сделанные вещи. Магазины берут эти товары в виде принудительного ассортимента.

Вот почему не всегда вина за недоброкачественную продукцию лежит на рабочих заводах торговли. Может быть, имеет смысл предоставить крупным магазинам право закупать товары у промышленности, минуя посредничество торговых баз? Такая мера, на мой взгляд, значительно подстегнула бы и нашу промышленность, повысила её ответственность за качество, заставила производить только то, что будет иметь успех у покупателей.

Спрос на самые разнообразные изделия художественной промышленности растёт из года в год. Приведу пример. В прошлом году мы закупили керамических изделий у гжельской артели «Художественный керамик» на 400 тысяч рублей. В текущем году мы заключили с этой артелью договор уже на два с половиной миллиона рублей. Большой популярностью у покупателей пользуется каслинское и кусинское литьё, камнерезные изделия горьковской артели «Барнуковская пещера», хохломские изделия, произведения художников Палеха, Мстеры, Федоскино. Моментально раскупается настольная скульптура Ленинградского завода имени Ломоносова и украинской промышленной артели «Художник» (г. Полонны). Но ведь это означает, что надо подумать о расширении производства таких товаров, спрос на которые настолько велик и продолжает

увеличиваться, что торговая сеть сейчас не в состоянии удовлетворить его.

Мне хочется отметить ещё одно обстоятельство, отрицательно влияющее на выпуск художественных изделий. Я имею в виду преёскурант цен, не учитывающий критерия художественности изделия, а лишь количество и качество материала, из которого оно сделано. Но ведь абсурдно подходить к расценке произведений искусства с весами и сантиметром, подгоняя неравноценные по своему эстетическому значению вещи под преёскурант.

Оценка художественной стороны продукции всецело зависит от индивидуального вкуса приёмщика. Получается вкусовщина, случайные расценки, вызывающие много нареканий и обид, а отсюда и незаинтере-

сованность в выпуске действительно красивых, изящных предметов для продажи населению. Пора серьёзно пересмотреть старый преёскурант и составить новый, который в первую очередь учитывал бы художественную ценность вещей.

Первый отзыв о продаваемом товаре слышит продавец. Жалобы на не удовлетворяющее потребителя качество изделия записываются в книгу предложений и жалоб магазина. Следовательно, мы, торговые работники, обязаны не только учитывать, но и защищать интересы покупателя, не допуская проникновения плохих, в том числе и антихудожественных, товаров в торговую сеть.

А. Рязанова,
заведующая отделом ГУМа.

На положении пасынков

Проблемы эстетического воспитания молодёжи, затронутые в статье Н. Жукова «Воспитание вкуса», имеют прямое отношение и ко мне, как преподавателю истории декоративно-прикладного искусства в художественно-ремесленном училище.

Советский народ хочет, чтобы всё, что окружает его в жизни, было красиво и изящно, соответствовало бы строю и духу нашей жизни. Для того, чтобы выполнить эти законные требования, нужна огромная армия художников-«прикладников», работающих в самых различных областях.

Как же готовятся кадры для художественной промышленности?

В специальных ремесленных училищах, где воспитываются одарённые подростки, будущие мастера декоративного искусства, не всё обстоит благополучно.

Богатое содержание жизни советского народа, многообразие его интересов, огромные успехи научно-технической мысли не нашли ещё соответствующего художественного выражения в работах мастеров прикладного искусства. По бытовым предметам, по характеру нашей мебели, наших интерьеров трудно порой догадаться, что «мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня» (А. Жданов).

Нельзя не отметить, что в нашем «искусстве малых форм» часто отсутствует современный советский стиль. В практике художественных вузов и училищ всё ещё преобладает механическое подражание. Дальше классических розеток, древнерусских ба-

лясин и «завитушек» барокко учащиеся обычно не идут.

Здесь значительная доля вины падает на нас, педагогов. Коллективы художественно-ремесленных училищ обязаны искать новые конструктивные решения с использованием новых материалов и технических приёмов. Необходимо смелее переходить от кустарных, устаревших способов производства к механизированным приёмам обработки материалов, к оснащению производственных цехов наших училищ передовой техникой. К сожалению, пока этого нет.

При наличии специальных мастерских и налаженной системы производственной практики будут созданы все предпосылки для подготовки кадров талантливых «умельцев», которыми всегда так славился русский народ.

Очень затрудняет обучение отсутствие периодических или постоянных выставок по отдельным отраслям прикладного искусства (керамика, мебель, осветительная арматура, резной камень). Сказывается и недостаток учебников, альбомов, каталогов. Почти невозможно найти репродукции лучших образцов отечественной и зарубежной художественной промышленности.

У нас ещё не изжито разделение искусства на главные, «высшие» жанры, такие, как живопись, скульптура, графика, архитектура, и второстепенный, «низкий» жанр—декоративное и прикладное искусство. Кому известны авторы хороших ваз, шкафов, люстр? А ведь внимание широкой обще-

ственности — это важный стимул для творческой работы художников-«прикладников».

Наши учащиеся нередко проявляют хороший художественный вкус и одарённость в композиционных решениях дипломных работ. Чем же объяснить, что многие даровитые ученики переключаются в область «чистой» живописи или скульптуры, теряя интерес к своей профессии?

Как ни странно, но по окончании училища выпускники при устройстве на работу сталкиваются с известными трудностями. Это связано с тем, что в разных областях художественного оформления нашего быта вместо квалифицированных специалистов подвизается множество случайных людей, не имеющих никакого отношения к искусству. С другой стороны, предприятия художественной промышленности и те учреждения, где требуются художники, всячески отмахиваются от творческой молодёжи.

В своей статье Н. Жуков упоминает о резком сокращении сети художественно-ремесленных училищ. Их осталось всего двенадцать, в том числе два — в Москве. Около пяти лет назад было ликвидировано мо-

сковское 41-е училище, выпускавшее отличных краснодеревцев, мастеров художественного стекла, резчиков по камню, чеканщиков-монтировщиков. Не хватает сейчас училищ по художественной керамике, по обработке стекла, росписям и т. д. Разве не нужны в нашей художественной промышленности, в строительстве эти специальности?

Кто виноват в таком бесхозяйственном распылении художественных кадров? Я не могу взять на себя смелость утверждать, что в этом повинно Министерство культуры или косность некоторых руководителей промышленных предприятий и новостроек. Ясно одно, что до сих пор не принято никаких мер, чтобы исправить существующее положение.

Без широкой сети художественно-ремесленных училищ, без максимального использования выпускников этих училищ по специальности мы не сможем поднять художественное качество предметов народного потребления, не сможем решить всех больших и важных задач, стоящих перед художественной промышленностью.

Р. Гевенман,
преподаватель Московского
художественно-ремесленного
училища № 64.

Пошлость и безвкусица

Как-то один художник показал мне несколько открыток, которые он приобрёл в киоске. На одной из них были изображены сусального вида мальчик и девочка, на другой — влюблённая пара, целующаяся на фоне символически пламенеющего сердца, пронзённого стрелой. Трудно было поверить, что эта «художественная» продукция предназначена для людей нашего времени, а не для удовлетворения мещанских вкусов семьи какого-нибудь дореволюционного купца Епишкина.

Со времени выпуска такого рода открыток прошло несколько лет. А между тем... Передо мной лежит открытка, появившаяся в продаже всего лишь два месяца назад — к Новому году. В двух противоположных — верхнем и нижнем — углах этой открытки представлены юноша и девушка, прижимающие к уху телефонные трубки. Влюблённую пару соединяют слова: «С Новым годом!», получившиеся из завитушек телефонного провода. Как видите, сюжет несколько изменён. Парочка уже не целуется, а разговаривает по телефону, нет и тривиального

сердца. Но мы всё равно узнаём те же стандартно-слащавые лица, те же одинаково сладенькие, застывшие улыбки, ту же трафаретную позировку «героев» старых открыток. К сведению потребителей этой изопродукции проставлены и «выходные данные»: автор — художник С. Забалуев, издатель — «Изогиз».

Но ведь какие действительно прелестные открытки можно было бы выпустить к Новому году. Какой здесь простор художественной фантазии! Шуточные и сатирические, детские и сказочные сюжеты, реалистические картинки, мир фантастики... Да разве перечислишь всё, что было бы интересно, весело и занимательно изобразить в новогодней праздничной открытке!

А вот вышло в свет упомянутое изделие, вышло колоссальным тиражом, разошлось по всей стране, попало в руки миллионам советских людей и ничего, кроме коверканья вкуса советского человека, не принесло.

Ведь каждая мещанская открытка, уродливая ваза, небрежно выполненная репро-

дукция, нехудожественная скульптура, аляповатая чашка или другая какая-либо вещь, с которыми человек постоянно имеет дело в быту, формирует его эстетическое чувство, незаметно для него самого влияет на его восприятие. Человеческий глаз постепенно привыкает к этому окружению, теряет критерий того, «что такое хорошо и что такое плохо», и обывательская красивость начинает мешать людям воспринимать подлинную красоту.

Есть у нас, конечно, и хорошие красочные открытки. К Новому, 1955 году, в частности, было выпущено несколько удачных. Но вред, нанесённый одной плохой открыткой, не стирается десятью хорошими. Как известно, ложка дёгтя может испортить бочку мёда.

В своей статье Н. Жуков затронул серьёзную и актуальную тему, правильно поставив вопрос о воспитании вкуса не как об индивидуальном, частном деле каждого из нас в отдельности, а как об одном из существенных компонентов строительства социалистической культуры.

Действительно, трудно представить себе советского человека, живущего богатой духовной жизнью, пытливого, любознательно-го, жадно интересующегося литературой, музыкой, театром, живописью, разнообразными областями человеческих знаний и в то же время окружающего себя дома мешанскими статуэтками и вышитыми крестиком диванными пуфиками, одевающегося в крикливо-яркую, безвкусную одежду. Поэтому задачи эстетического воспитания советских людей, о которых говорится в статье Н. Жукова, должны заинтересовать всю нашу общественность.

К сожалению, ещё иногда случается, что очень нужные проблемы, поднятые на страницах нашей печати, так и остаются только на бумаге — для их разрешения не пред-

принимается никаких организационных мер, никаких практических действий.

Вспоминаю, как тот же Н. Жуков выступил в прессе по поводу недостатков торговой рекламы, оформления магазинных витрин. К этой же теме он вернулся в статье «Воспитание вкуса». А между тем «кроватьные завитушки» рекламы бархатного крема ещё красуются на Трубной площади и безобразные муляжные туши в витринах магазинов до сих пор «поражают» воображение прохожих. Получается нечто вроде известного положения, обрисованного Салтыковым-Щедриным: «Писатель пописывает, читатель почитывает», а люди, стоящие во главе предприятий, выпускающих товары народного потребления, и руководители торговых организаций только ухмыляются и продолжают «творить» в том же духе.

Я не хочу снимать ответственности с нас, художников, в первую очередь отвечающих за развитие хорошего вкуса у широких масс трудящихся. Мы, к сожалению, больше разговариваем о нашей вине перед народом за многие безвкусные и халтурные вещи, попадающие на прилавки магазинов, но слишком мало делаем для того, чтобы действительно, творчески исправить это положение.

Повидимому, настала пора подумать об организации реального, конкретного влияния Союза советских художников на всю художественную продукцию, идущую в широкие массы.

Значительная по своему существу тема, затрагивающая важную сторону жизни советских людей, может так и повиснуть в воздухе, если те лица, которым адресуется статья «Воспитание вкуса», не сделают действительно практических выводов, которые помогут нам общими усилиями оградить советских людей от мешанской пошлости и безвкусицы в быту.

Бор. Ефимов,
заслуженный деятель искусств.



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лазарев. Роман о Москве.— **А. Шагалов.** Морская служба.— **Е. Городецкая.** Була и Волга.— **Н. Мацуев.** Большое и нужное дело.— **Н. Дьяконова.** «Весна, которую предали».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Д. Льдов. Тайвань сегодня.— **С. Князева.** Страницы скорби и мужества.— Кандидат военных наук подполковник **О. Кузуб.** Передовая военная наука.— **Ю. Давыдов.** Русские на Средиземном море.— Кандидат исторических наук **А. Николаева.** Памятники русской культуры.— **Н. Болотников.** Записки натуралистов Арктики.— **А. Иглицкий.** Заслуженные победы.

Литература и искусство

Роман о Москве

Книги по-разному остаются в памяти читателя. В одних нас привлекают мощь и красота характеров героев, с которыми нас знакомит писатель, другие дорожат тем, что в них раскрыта новая, доселе неизвестная сфера жизни, третьи покоряются богатством красок, яркостью письма, живостью и прелестью описаний.

По-своему запомнится читателю новый роман Л. Никулина «Московские зори», посвящённый театру предреволюционной поры. Чувство гордости и восхищения Москвой — городом русской славы, пламенная любовь к чудесному русскому театру — вот лейтмотив этого произведения, вот то, что привлекает внимание читателя книги.

Из многочисленных описаний Москвы складывается в книге единый образ нашей столицы, собирательницы и центра русских земель, образ города, символизирующего величие и несокрушимость народного духа. В неповторимом облике этого древнего города, не раз видевшего у своих стен врагов и неизменно выходявшего победителем из жестоких испытаний, в его строениях, возведённых трудолюбием простого народа и искусством зодчих, запечатлена история нашей родины за многие годы. Частое обращение автора к московской старине помогает ему передать своеобразный облик великого города, раскрыть его значение для русского общества и культуры.

Л. Никулин. «Московские зори». Роман. «Советский писатель», М. 1954.

Москва в романе Л. Никулина это не одни только памятники старины, но и закопчённые цехи заводов Бромлея, Гужона, Михельсона, лачуги рабочих окраин, мрачные казармы прохоровской мануфактуры. Л. Никулин следует в этой книге традиции, утвердившейся в советской литературе. Если прежде для авторов ряда книг, изображавших Москву на рубеже XIX и XX веков, купеческое Замоскворечье олицетворяло душу города, то для советских писателей эта душа — рабочая Пресня. Там, на Пресне, в нищете, холоде и голоде живут подлинные хозяева Москвы, там рождается её великое будущее.

Действие романа «Московские зори» охватывает довольно значительный промежуток времени: от начала девяностых годов прошлого столетия до памятного 1919 года. Как изменяется за это время Москва! Вот угрюмая, зловещая тишина «царвопрестольной» столицы в эпоху Александра III. Вот величественная в своём гневном Москва 1912 года, возмущённая зверским расстрелом рабочих на Ленских приисках. И вот, охваченная революционным порывом, суровая, собранная, решительная, Москва навсегда сбрасывает власть помещиков и капиталистов.

Эта тема рабочей Москвы органична в романе Л. Никулина о судьбах русского театра в предреволюционную пору. Она закономерно возникает как выражение идеи служения искусства революционному народу.

И тот трудный, сложный, порой противоречивый путь в искусстве, который проходит талантливый актёр Николай Артемьев, главный герой романа, — это путь от служения «чистому искусству» к служению народу.

Л. Никулин хорошо знает театр. Его перу принадлежит ряд интересных очерков о деятелях русского театра, в том числе известная книга о жизни и творчестве Фёдора Шаляпина. В романе «Московские зори» писатель вновь порадовал нас интересными зарисовками дореволюционного театрального мира, правдивыми описаниями жизни и быта актёров, яркими картинными потрясающей игры выдающихся мастеров сцены. Мы знакомимся и с мертвящей, чиновничьей атмосферой императорских театров и с тяжкой жизнью кочующих по провинциальному захолустью театральных трупп, состоящих из «каторжников Мельпомены», как горько шутили в ту пору. Перед нами предстают такие могучие, самобытные фигуры, как Шаляпин и Мамонт Дальский.

Всё, что касается театра, написано Л. Никулиным с отличным знанием предмета и неоспоримой достоверностью. Здесь нет приблизительности, психологический рисунок чётко и закончен, мотивировки поступков ясны и убедительны. И образы актёров, деятелей сцены, запоминаются. Запоминается и разудалая, широкая, бесшабашная натура Рокотова, и загубленное страшной жизнью большое и чистое дарование Ромоданова, и затаённая тоска по подлинному искусству Днепровской, и эгоизм Мирской, любящей в театре только себя и свою славу.

Роман «Московские зори» представляет собой весьма обширное полотно не только благодаря значительной временной протяжённости действия, но и по обилию персонажей, характеризующих различные слои русского общества, по «охвату» географического пространства — события, описанные в произведении, разворачиваются в Москве и Петрограде, на русско-германском фронте и в захолустном уездном городке, в Крыму и в Варшаве. Однако в центре романа — судьба Николая Артемьева, отражающая искания демократически настроенной русской художественной интеллигенции. Судьба эта раскрывается на широком историческом фоне. Но было бы неверным, основываясь на широте нарисованной романом картины, усмотреть в «Московских зорях» эпопею русской действительности послед-

них предреволюционных десятилетий. Об этом следует сказать, ибо композиционная структура произведения даёт некоторые основания для подобного определения. Широта картины — лишь внешний признак эпопеи.

Недостатком романа нам кажется и другое: перегруженность его несколькими самостоятельными или в высшей степени условно связанными с основной темой и главным героем сюжетными линиями. Некоторые из них сами по себе интересны. Так, например, история штабс-капитана Булатова — выходца из аристократической семьи, блестящего гвардейского офицера, понявшего гнилость и фальшь общества, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию, и перешедшего в Октябрьские дни 1917 года на сторону народа, — эта история могла бы лечь в основу самостоятельного произведения. Занимая же довольно значительное место в романе, она дробит впечатление, уводит наше внимание в сторону. Роман мог бы стать, на наш взгляд, гораздо более цельным и компактным, более стройным, если бы автор отсекал одни сюжетные линии, а другие органичнее «вплёл» в художественную ткань повествования.

Этот недостаток нового романа Л. Никулина есть проявление одной из слабостей, присущих вообще творческой манере писателя. В основе произведений Л. Никулина обычно лежит большой, разнообразный материал, но, к сожалению, не всегда он весь бывает освоен художественно. В этом случае и появляются в произведении случайные персонажи, лишние эпизоды, даёт себя знать отсутствие единого, целеустремлённого, развёртывающегося сюжета — возникают те погрешности, которые, как справедливо указывала критика, были свойственны роману «Россия верные сыны». В романе «Московские зори» эта слабость проявилась не только в композиции. В некоторых главах книги обращение автора к историческому прошлому приобретает характер чисто механических справок, которые, естественно, не становятся органическим элементом повествования. Поэтому мы и не можем преодолеть чувства недоверия к описываемому, когда читаем, что Артемьев, гуляя по Москве и рассматривая её достопримечательности, мысленно цитирует... куски из исторических книг и документов.

Точно так же некоторые описания жизни и быта дореволюционного театра приобрета-

ют характер «вставных» очерков. Они почти без изменений перенесены писателем в роман из его очерков о деятелях русского искусства (любительский спектакль, проезд в город Н. кочующей труппы артистов и другие). Это замечаешь потому, что роман, несомненно, требует иной, чем очерк, манеры повествования. Такого рода «включения» могут пройти безболезненно только в том случае, когда произведение безлико, когда манера художественного письма, которым оно написано, лишена своеобразия. Но этого нельзя сказать о романе «Московские зори», и тем досаднее находить в книге страницы, нарушающие единый стиль произведения.

Из более частных недостатков романа хочется указать лишь на один. Автор злоупотребляет приёмом сообщения о том, что произойдёт с героем в будущем. В данном случае именно сообщения, ибо приём этот может использоваться с различной целью: и для того, чтобы путём сравнения с будущим глубже раскрыть происходящее в данный момент, и для привнесения лиризма в повествование, и для обнажения скрытой ещё от героев в настоящее время правды жизни, как это делал, например, Л. Толстой.

В «Московских зорях» сплошь и рядом приходится читать:

«Думал ли тогда доктор Артемьев, почтенная личность в городе, что его единственный сын Николай узнает во всей прелесть эту грустную долю актёра, будет странствовать в товаро-пассажирских поездах, играть в ветхом провинциальном театре, сидеть на пустом чае и ржаном хлебе!»

Очевидно, что здесь нет той художественной многозначительности, которая оправдывала бы столь частое обращение к этому приёму.

Лев Никулин — писатель с большим творческим опытом. Именно поэтому особенно огорчительно, что он порой отказывается от поисков более точных, более совершенных художественных решений.

При всём этом следует отметить, что его новый роман «Московские зори» является в конечном счёте содержательным произведением, трогательным искренней любовью автора к Москве, к русскому театру. Роман занимателен, и легко и с интересом читается, а мы ещё часто забываем, что это тоже большое достоинство, которым, кстати, обладают далеко не все книги.

Л. ЛАЗАРЕВ.



Морская служба

1932 год. По призыву партии в военно-морские училища направляются коммунисты и комсомольцы, которые должны будут стать офицерами, защитниками морских границ Советского Союза от агрессивных попыток империалистических хищников.

Уже на первых страницах книги Г. Соловьёва «Морская служба» читатель знакомится почти со всеми её героями. В старейшее Военно-морское училище имени Фрунзе в Ленинграде приходят московский рабочий Василий Прокофьев, донецкий шахтёр Григорий Будко, речник Николай Быковский и многие другие.

Нелегко даётся морская служба. Немало срывов, недоразумений, тяжёлых переживаний возникает у людей в первые дни. Василию Прокофьеву порой кажется, что старшина несправедлив к нему, что напрасно пошёл он в училище. Не всё гладко идёт и у Виктора Сашина. Понадеявшись на

себя, на свои силы и способности, он терпит поражение на конкурсе по штурманской прокладке, ставит в неловкое положение не только себя, но и преподавателя, возлагавшего на него большие надежды. Трудно легкомысленному, изнеженному и ленивому Константину Петикю. Он получает двойки, подводит своих товарищей, за что они его осуждают. Нелегко учиться коммунисту, парторгу Григорию Будко. Требуется и упорство и настойчивость, чтобы не только не отставать от товарищей, но и показывать им пример в учёбе. И, пожалуй, только Николай Быковский, бывший речник, испытавший невзгоды в летские и отроческие годы, чувствует себя хорошо в училище. Однако, назначенный старшиной класса, он противопоставляет себя коллективу, своим товарищам, считая, что его положение даёт ему особые права и привилегии. Он пытается действовать только взысканиями и понуканием, забывает о справедливости, о чуткости к своим товарищам, в какой-то степени подчинённым ему.

Г. Соловьёв. «Морская служба». Роман. Военное издательство Министерства обороны СССР, М. 1954.

Из-за Быковского чуть не гибнет на льду Финского залива Прокофьев, срывы Виктора Сашина также во многом объясняются несправедливым, придирчивым отношением к нему старшины класса. Командование отстраняет Быковского от этой должности, ставя на его место Голомызика. Быковский тяжело переживает это, но он не в силах сделать правильного вывода и попрежнему остаётся в стороне от товарищей. Коллектив старается помочь ему. Однако это не так просто. Воспитание человека — дело сложное и нелёгкое.

В острых столкновениях, в сложных взаимоотношениях различных человеческих характеров развивается действие книги. Автор не пытается быстро и просто — как это часто бывает — решить все конфликты, утвердить победу положительного начала.

Постепенно в училище формируется характер будущих офицеров, закаляется их воля, приобретаются практические навыки. И вот училище закончено, курсанты стали офицерами флота. Как-то теперь сложится их судьба, как дальше будут развиваться характеры, интересно намеченные в начале романа?

На разные флоты направляются выпускники училища. Некоторые, как Петик, стараются служить «дома», в Ленинграде, не ехать далеко. Василий Прокофьев не ищет лёгких путей. Он просит направить его туда, где он больше всего нужен, где труднее.

Подводная лодка Тихоокеанского флота, на которой начинает свою службу Прокофьев, только строится. Строительство лодки идёт одновременно с кропотливой боевой учёбой моряков. Здесь Прокофьев встречается с Александром Арефьевым — своим старым товарищем по заводу. Казалось бы, встреча друзей должна быть душевной: сейчас нахлынут воспоминания, начнётся бурная беседа, прерываемая репликами, восклицаниями. Нет. Сухо, официально встречает Арефьев Прокофьева. Шаг за шагом, глубоко и убедительно раскрывая образ Арефьева, автор показывает человека замкнутого и самоуверенного, внешне хорошего офицера, а на самом деле эгоиста, безразличного к жизни и судьбам товарищей. Отсутствие широких жизненных устремлений и интересов, грубость и бестактность, выдаваемые за требовательность и строгость, — всё это изобличает в нём человека надменного, чёрствого, тяжёлого.

В Арефьеве есть что-то от Быковского. Но недостатки Быковского в нём усилены во много раз. И если отрицательные качества Быковского лежали как бы на поверхности, не были спрятаны глубоко, то здесь они укоренились, заострились. И трудной, очень трудной будет борьба коллектива за Арефьева, как бы утверждает автор, показывая нам этого офицера.

Кроме Арефьева, Прокофьев встречает на подводной лодке старшего лейтенанта Чекавцева — милого и обаятельного человека, пришедшего на флот из пехоты, комиссара Шкунаева — умного политического руководителя, воспитателя, умеющего найти подход к каждому человеку, командира подводной лодки Кириянова — строгого, но справедливого начальника.

В отличие от некоторых книг, посвящённых Военно-Морскому Флоту, где главное внимание уделяется офицерам, а на обрисовку образов матросов и старшин у авторов уже не остаётся красок и образы их получаются бледными и схематичными, старшины и матросы, действующие в романе «Морская служба», — Коптев, Зюков, Волков, Силов, Гудков — наделены индивидуальными характеристиками, выписаны тщательно, с любовью.

Убедительно показан в романе процесс воспитания матроса Гудкова. Гудков так же, как Петик, ищет дел полегче, старается не утруждать себя службой, пробить на флоте положенное время, а затем жить «вольным человеком», свободным от строгой дисциплины, вообще от морской службы. Но морская служба нелегка — и эта мысль лейтмотивом проходит через весь роман. Снимая романтический покров с призрачного некоторой части молодёжи понятия: служить на флоте — это значит щеголять в морской форме, испытывать особые приключения, быть необыкновенным, — автор показывает, что морская служба — это прежде всего мозоли и пот, будни, насыщенные напряжённой учёбой, тяжёлый, но благородный труд, отдаленный на благо Родины.

Началась Великая Отечественная война. На Балтийском флоте, защищая Ленинград, встречаются знакомые нам герои. Гвардейская подводная лодка, которой командует Виктор Сашин — мастер торпедных ударов, удостоенный за боевые подвиги звания Героя Советского Союза, — топит транспорты и корабли противника, нагоняет страх на врага, срывая его ковар-

ные замыслы. На корабль своего самого близкого друга попадает для прохождения службы Василий Прокофьев. Его назначают старшим помощником командира корабля. Как-то теперь сложатся отношения между друзьями, один из которых — командир, а другой — его помощник? Тактично, умело, не сбиваясь на сентиментальность, автор показывает отношения между двумя передовыми советскими офицерами, складывающиеся из взаимного уважения, доверия и товарищеской любви друг к другу.

Здесь же, на Балтике, мы встречаем Константина Петика. Многие по-новому осмысливает теперь Петик. Потеряв в тяжёлую блокадную зиму родителей, пережив много горьких минут, он становится командиром подразделения катеров и с честью гибнет в бою.

Подразделением тральщиков командует Арефьев, понемногу «оттаивающий», становящийся человечнее. На самых опасных участках Ленинградского фронта можно встретить военврача Киру Прокофьеву — сестру Василия и невесту Виктора Сашина.

Помимо уже знакомых нам героев, автор показывает и других моряков-балтийцев, мужественно сражающихся с врагом. К заслугам автора следует отнести то, что даже такие эпизодические фигуры, как командир Лукьянов или майор Молодцов, наделены запоминающимися характеристиками и поэтому представляются живыми людьми.

Суровое повествование о трудной морской службе сочетается с рассказом о советских людях, об их замечательных качествах, становится лирически взволнованным, когда речь идёт о любви, семье.

В книге немало интересных наблюдений, она богата фактическим материалом.

И всё же, закрыв книгу, не испытываешь полного удовлетворения, того чувства, когда хочется к книге вернуться ещё и ещё раз.

Самым большим недостатком книги является её объём. Автор очень часто с ненужной точностью, с раздражающей скрупулёзностью описывает событие за событием, ситуацию за ситуацией. Хорошая, выигрышная деталь подчас «обрастает» скучнейшими и ненужными подробностями, создаётся впечатление, что отдельные положения, события, описания действий на корабле, показ всех перипетий боевой учёбы варьируются по несколько раз. Поэтому

некоторые главы неинтересно, скучно читать.

Вот, например, Арефьев после тяжёлого, но удачного похода подводной лодки устраивает на своём тральщике душ для Прокофьева и Сашина. Вместо того чтобы сказать об этом в нескольких словах, автор подробно рассказывает, как они раздевались, как мылись, что говорили в это время друг другу. Нагромождая подробность на подробность и ослабляя этим главную линию повествования, автор тем самым, не желая того, снижает интерес к произведению. В то же время писатель порой проходит мимо важного, существенного. Показывая пребывание своих героев в училище, он счёл, например, возможным совсем обойтись без комиссара курса. А ведь комиссары и затем заместители командиров по политчасти играли и продолжают играть большую роль в воспитании курсантов.

Мы уже отмечали, что в книге убедительно раскрывается образ Арефьева, человека, у которого «тяжёлый» характер. Рисуя этот образ тонко и умело на протяжении многих страниц, автор в конце книги переходит на скороговорку, точно Арефьев ему надоел, и заставляет его быстро перестроиться, стать хорошим командиром и товарищем.

Отдельные страницы романа напоминают газетные корреспонденции: в них бегло перечисляются события международной и внутренней жизни. Некоторые персонажи произведения часто вместо живой, образной речи изъясняются избитыми, штампованными фразами. Это относится к Будко, Александровскому, а иногда к Прокофьеву и Сашину. Взволнованность повествования, к которой стремится автор, подменяется в таких случаях резонёрством, нарочитостью, ненужной риторичностью.

В книге встречаются и досадные небрежности. Непонятно, например, почему комсомолец Гудков присутствует на партийном собрании, которое, как это вытекает из описания, является закрытым.

Очень полюбилось автору выражение «не вдруг», как будто бы в русском языке мало синонимов, чтобы заменить это выражение. Женщина, к которой приходит Василий, чтобы узнать о судьбе сестры Киры, «не вдруг... нашла место, куда посадить Василия», в свою очередь Василий «не вдруг нашёл слова, чтобы извиниться перед Кирьяновым». Или вот Прокофьев и Сашин, вспоминая годы юности, говорят об истории

Ленинграда, о Великой Октябрьской социалистической революции. «Но не вдруг обо всём расскажешь», — резюмирует Сашин.

Есть и ещё в книге эти «не вдруг» — назойливые, вызывающие чувство досады.

Недостатки, которых можно было бы из-

бежать, прояви автор, да и редактор, большую требовательность к произведению, в значительной степени снижают общее хорошее впечатление от интересной и нужной книги.

А. ШАГАЛОВ.

★

Була и Волга

Небольшая повесть чувашского писателя Алексея Талвира «У нас на Буле» охватывает довольно большой жизненный материал. Читатель найдёт в ней немало интересного о быте и нравах чувашской деревни, о её социальном расслоении и политических настроениях в десятилетие, предшествовавшее Октябрю. Алексей Талвир умеет писать коротко и ёмко. Его рисунок при всей своей скупости пластичен.

Основное содержание повести образуют бытовые картины. Живописуя быт, автор не впадает в плоское бытописание, а даёт представление о больших исторических событиях.

Отец рассказчика, кузнец Лука Тимофеевич, говорит мельнику Савику, что он собирается отдать сына в школу. «Разве в школе счастье? — ответил Савик. — Кто был бблшим человеком в Симбирске, чем инспектор Ульянов? По разуму стоял он над всеми, как город над рекой». «Большой был человек», — ответил отец. «А что вышло? — продолжал Савик. — Пропали у него оба сына — одного в живых нет, а другой скитается где-то. Вот тебе и большой разум! А мы здесь сидим, ты нам машину наладил, мы тебя угощаем, а машина стучит, работает». «Может, ещё объявится Ульянова сын?» — ответил отец».

В этой беседе метко выражена характерная разница в отношении мельника и кузнеца к тому, что произошло в революционной семье симбирского инспектора. Имя сына Ульяновых возникает в повести ещё несколько раз, составляет её лейтмотив.

Так же в повести показано, как в язык простых людей входили новые слова: «большевик», «баррикада» и другие, как росло революционное сознание трудящихся чувашей и крепла их воля к борьбе.

Алексей Талвир. «У нас на Буле». Перевод с чувашского Виктора Шнловского. Детгиз, М. 1954.

Печать неповторимого колорита лежит на образах действующих лиц повести, вместе с тем они типичны.

С Угиком, одним из наиболее красочных персонажей, мы впервые знакомимся во время традиционного молебствия против засухи. Перед нами — молодой ямщик в суконном, не ему принадлежащем кафтане. Печально он говорит о себе: «И конь не мой, и я не свой». Но уже в следующем эпизоде, в истории с гармонью, он вырисовывается как страстная натура. Угик потерял работу. Подвыпив с горя, он изливает душу на гармони, которую сын старосты предоставил ему на часок. Желая поиздеваться над парнем, о котором ребята говорят, что он первый на селе, только бедняк, кулацкий сынок заявляет, что он готов отдать Угик гармонь в собственность, если тот в обмен отдаст стыд — разденется до гола и в таком виде пройдёт по деревне до конца и обратно. История эта полна драматизма.

В Угике заложены значительные возможности. Дальше мы узнаём, что у него действительно большая биография, важнейшие события которой разыгрываются за пределами родной деревни: некоторое время он работает на приисках в Сибири, будучи призван на военную службу, попадает на Балтийский флот в Кронштадт, затем участвует в первой мировой войне. Однако автор не следует за своим героем по путям его странствий, а рисует его только тогда, когда он, обогащённый опытом, снова оказывается дома. Чувашская деревня — неизменное место действия повести; сознательно себя ограничивая, автор нигде не выходит за пределы деревни. Право писателя на такое ограничение неоспоримо. История с гармонью является наиболее ярким моментом в художественной характеристике образа. Дальнейшие эпизоды с Угиком, хотя и дают представление о его духовном росте, всё же лишены большого эмоционального воздействия.

Наряду с мятушейся натурой Угика в повесть выведен спокойный, уравновешенный кузнец Лука Тимофеевич. Он полон сознания своего человеческого достоинства, но при этом пассивен, не любит ссориться, не умеет бороться. 1905 год прошёл для него не бесследно. В селе появились перedовые люди, оказывающие на кузнеца некоторое влияние. Однако только война 1914 года стала решающим этапом в его биографии. И опять-таки пребывание кузнеца на фронте осталось вне рамок повести. Но зато писателю удалось нарисовать выразительную сцену появления кузнеца в деревне летом семнадцатого года.

Лука Тимофеевич вернулся с фронта не с пустыми руками. Протирая винтовку масляной паклей и глядя в ствол на небо, он на вопрос, заданный работником мельника: «Дядя Лука, зачем ты ружьё чистишь?», твёрдо отвечает: «К хозяину к твоему вместе с Угиком ехать». Автор не говорит о переживаниях, вызвавших революционный скачок в духовном росте его героя, — они и так ясны читателю.

Труженик осознал свою силу и стал хозяином своей судьбы — таков смысл повести, выраженный в жизнеописании Луки Тимофеевича. Заслуга писателя состоит в том, что ограниченность места действия и тесные рамки бытового жанра, в которых движется повествование, не помешали выявлению этого смысла. Вместе с тем эти рамки помогли автору сохранить в своей живописи своеобразный народный колорит.

Подкупает своим реализмом образ Тайси, жены кузнеца. Дочь кулака, вышедшая за Луку вопреки воле родителей, она любит мужа, гордится его славой мастера, его умом, его независимым, благородным характером и всё же иногда, досадуя на бедность, упрекает его за то, что он не ищет путей к богатству, не занимается торговлей. Однако в семнадцатом году, когда муж был на фронте, а богатая родня, опасаясь, что отберут землю, вспомнила о ней и стала звать к себе («Нам души нужны, по душам будут делить»), она, хоть ей и трудно жилось, твёрдо заявила, что останется в своём доме и к родственникам не поедет. И противоречия в характере этой женщины и преобладающие в её душе чувства показаны верно, жизненно.

Умение лепить социально-содержательный образ, выявляя при этом его индивидуальные особенности, несомненно свидетельству-

ет о таланте Алексея Талвира. Талантливо написан и образ мельника Савика. Его кулацкие козни всегда неожиданны, но по сути представляют собой вариации одного и того же хода, преследуют одну цель: уловление не искушённых в борьбе бедняков в свои сети.

Характерными чертами обладает во многих случаях речь действующих лиц — мельника Савика, любящего прикидываться благодетелем обездоленных чувашей, или старосты Ильбаруса, питающего склонность к наставительным интонациям. «У царя солдат много... много, я говорю, у царя солдат, и на каждого надо приготовить сапоги, и хлебом каждого надо кормить, и мясо на щи давать. У кого сапоги забрали или корову увели, это всё по закону».

Своя манера речи у кузнеца:

«— Дядя Лука, а дядя Лука! — сказал батрак.— У нас жнейка сломалась.

— У тебя? — переспросил Лука.

— У купца Савика.

— Так и говори».

Тут и любовь к ясности и самобытный лаконизм мастера, привычка экономным и точным движением ставить всё на своё место.

Не все образы действующих лиц художественно полноценны. Невыразительны представители сельской интеллигенции: Андрей Павлович, учительница Зоя Савельевна, учитель Пожеданов. О первом мы информированы, что в 1906 году его выслали из Москвы. Но в нём нет ничего от борца. Нет ясной цели, нет революционного горения. Он демократичен, го́тов при случае помочь бедняку советом и делом — и только. В отношениях учителя и учительницы автором намечен конфликт — они любят друг друга, между тем он большевик, а она сочувствует эсерам, — но конфликт не использован для выявления характеров и вообще остался в зародышевом состоянии.

Недостаточно ясен и образ юного рассказчика, сына кузнеца, хотя мы и получаем довольно подробные сведения о его детстве. Он не столько герой повествования, сколько способ его ведения, не столько живой характер, сколько литературный приём.

Язык перевода точен и прост. В поговорках, которыми пересыпана речь действующих лиц, чувствуется дух народа и его манера выражаться.

В начале повести мы читаем: «Стоит наша кузница на берегу речки Булы; Була впадает в Свягу, а Свяга течёт в Волгу». Эта подробность не случайна. Образ Волги живёт в повести. Кузнец говорит: «Наш язык — хорошая, чистая река, но нужно знать и русский язык — он как Волга».

С Волгой ассоциируется имя Владимира Ульянова, проходящее сквозь произведение красной нитью. Жизнь досоветской чувашской деревни на небольшой речке Буле Алексей Талвир сумел показать в свете больших исторических событий.

Е. ГОРОДЕЦКАЯ.

★

Большое и нужное дело

Среди книг, вышедших ко Второму Все-союзному съезду советских писателей, не могла не обратить на себя внимание богато изданная книга большого формата под названием «Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки».

Необычная по внешности книга содержит и не совсем обычный текст. Это библиография произведений советской литературы, вышедших за рубежом в отдельных изданиях в течение 1945—1953 годов.

Подобного рода справочник по теме и объёму впервые появляется в истории русской библиографии.

«Переводы художественной литературы, — говорится в предисловии, — являются ярким и убедительным проявлением культурных связей, какие существуют между народами. Библиография переводов произведений советских писателей позволяет судить о мировом и повсеместном распространении советской литературы и культуры, о глубокой заинтересованности, которую вызывает творчество наших писателей у зарубежных читателей».

Просмотр справочника даёт представление о поистине грандиозном размахе изданий советской литературы на различных языках мира. Если двадцать лет назад, на Первом съезде советских писателей, говорилось о 96 советских авторах, переведённых на иностранные языки, то в настоящее время можно назвать более 900 советских писателей, переведённых только в послевоенное время на 42 языка.

Книги советских писателей издавались в Софии и Варшаве, Берлине и Париже, Вьетнаме и Буэнос-Айресе, в столицах и различных городах стран всего мира. На иностранные языки переводились не только произведения русских писателей, но и писателей других национальностей СССР (украинских, белорусских, азербайджанских, таджикских, узбекских и т. д.).

Справочник содержит огромный библиографический материал, но всё же не является исчерпывающим, как об этом заявляют и сами составители, указывая, что в нём с недостаточной полнотой даны сведения по странам Востока, Латинской Америке, Португалии, Греции, Финляндии. О том, что учёт переводов советской литературы, появившихся в 1945—1953 годах, может быть продолжен, указывает и непомерно большое «Дополнение», содержащее список изданий, о которых стало известно составителям уже во время печатания справочника.

Авторы пособия ограничились регистрацией переводов литературы художественной, частично охватив и литературу очерковую и научно-популярную.

Переводы критических и литературоведческих работ регистрировались в виде включения.

Весь материал справочника расположен в алфавите авторов, а затем в алфавите произведений, с указанием, на какие языки данное произведение переведено.

К сожалению, составители справочника упрощённо поняли свою задачу, давая лишь алфавитный перечень советских писателей и их произведений в переводах на иностранные языки. Материал справочника остался малопроработанным. Пользуясь им, можно получить справку только одного типа, а именно: какие произведения данного писателя были переведены в 1945—1953 годах.

Такое расположение материала при отсутствии вспомогательных указателей несколько снижает бесспорную справочную ценность большой работы.

По справочнику, например, трудно найти ответ на вопрос о том, какие же советские писатели имеются в переводах на язык какой-либо страны (Болгария, Чехословакия и т. д.). И читатель русский, и болгарин, и чех для того, чтобы получить подобные све-

дения, должны будут просмотреть весь справочник, название за названием.

В итоге большая и ценная работа даёт несравненно меньше того, что она могла и должна была бы дать.

Несколько слов об оформлении рецензируемого справочника. Прекрасная бумага, чёткий шрифт, добротный и изящный переплёт должны являться неотъемлемым свойством каждой книги. В особенности это относится к книгам, находящимся в постоянном пользовании. Полиграфическое оформление нового справочника вызывает вполне понятное недоумение. Формат книги неудобен, а золотое тиснение на переплёте и нежнокремовая суперобложка совершенно не подходят для книги «рабочей» и не соответствуют тому большому, ценному и актуальному материалу, какой содержит справочник.

Говоря о самой новой и самой капитальной работе, изданной Всесоюзной библиотекой иностранной литературы, нельзя не отметить и других справочных пособий, вышедших одновременно или несколько раньше, чем указатель «Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки». Эти справочники, не блещущие такой эффектной внешностью, по своему содержанию заслуживают серьёзного внимания.

Мы имеем в виду серии указателей по литературе, издаваемых этой же библиотекой.

Если в первом справочнике учтены переводы советской литературы на языки зарубежных стран, то в других указателях даются сведения о писателях иностранных, произведения которых переводились и переводятся на русский язык. Происходит своеобразный обмен культурными ценностями между Советским Союзом и прогрессивными силами других стран мира.

Можно назвать три типа вышедших справочников. Во-первых, пособия общего характера, входящие в серию «Литература стран народной демократии в русских переводах».

Уже вышли справочники по литературе Польши, Болгарии и Чехословакии. В них даны сведения о переводах на русский язык произведений польской литературы с конца XVIII века и до 1950 года, болгарской литературы за 1854—1951 годы и чехословацкой — за 1820—1951 годы.

Справочники, охватывающие большие периоды времени и дающие сведения о про-

изведениях, как вышедших отдельными изданиями, так и опубликованных в журналах, газетах и сборниках дореволюционной и советской эпох, являются самыми новыми и необходимыми пособиями для всех интересующихся литературой славянских народов.

Если читатель и не найдёт в них исчерпывающей библиографии, то во всяком случае переводы произведений польских, болгарских и чехословацких писателей представлены в справочниках с достаточной полнотой.

Как бы в дополнение к этим справочникам, Всесоюзной библиотекой иностранной литературы изданы био-библиографические сборники, тоже входящие в серию «Писатели стран народной демократии», а именно: «Писатели Польской Народной Республики — лауреаты государственных премий 1948—1952», «Писатели Народной Республики Болгарии — лауреаты Димитровских премий 1950—1952» и «Писатели Чехословацкой Республики — лауреаты государственных премий 1951—1952».

Сборники, посвящённые писателям-лауреатам, дают сведения о писателе в большем объёме, чем справочники, упомянутые раньше. Здесь читатель найдёт не только сведения о существующих на русском языке переводах произведений писателей, но и краткую биографию писателя и указания на существующую критическую литературу о нём на русском языке и на языке писателя данной национальности.

Ещё шире представлены материалы о жизни и творчестве писателей в справочниках персональных, то есть посвящённых одному автору. В серии «Писатели стран народной демократии» вышли небольшие био-библиографические монографии о писателях Болгарии (Никола Йонков Вапцаров, Любен Каравелов, Христо Смирненский), Чехословакии (Мария Пуйманова, Юлиус Фучик), Польши (Леон Кручковский), Румынии (Ион Лука Караджале).

Другие персональные био-библиографические указатели отнесены к сериям: «Прогрессивные писатели стран капитализма» (Джеймс Олдридж, Альберт Мальц, Говард Фаст, Луи Арагон), «Писатели зарубежных стран» (Франсуа Рабле, Генри Фильдинг, Проспер Мериме, Эмиль Золя, Мартин Андерсен Нексе, Мульк Радж Ананд), «Писатели Германской Демократической Республики» (Вилли Бредель, Эрих Вайнерт),

«Лауреаты международных Сталинских премий «За укрепление мира между народами» (Иоганнес Р. Бехер, Анна Зегерс, Жоржи Амаду) и «Лауреаты Сталинских премий» (Андрэ Стыль).

Каждая из этих небольших био-библиографических монографий в двадцать—тридцать страниц содержит статью о писателе, даты его жизни и творчества, библиографию произведений писателя на его родном языке и в переводах на русский язык. Указана также главнейшая критическая литература на двух языках. К справочнику приложен портрет писателя.

Весьма ценной особенностью изданий Всесоюзной библиотеки иностранной литературы является их актуальность.

Положительным качеством самих справочников следует считать умело подобранный материал о писателе, необходимый читателям различной квалификации.

Небольшие монографии о писателях будут интересны и для читателя массового, желающего лишь ознакомиться с жизнью и творчеством писателя. В особенности это относится к работам о тех писателях, которые ещё недостаточно широко у нас известны.

Однако, несмотря на все положительные качества изданий, выпускаемых Всесоюзной библиотекой иностранной литературы, следует отметить, что обилие выпускаемых указателей не носит строгой последовательности и не имеет чёткого плана. Выходящие справочники не имеют ни общего порядкового номера, ни номера серии.

Списка уже вышедших работ нельзя обнаружить ни в одном справочнике. Между тем накопление книг одной серии (то есть одной темы) превращает серию в справочник общего характера, и ценность его увеличивается с появлением каждого очередного выпуска.

В 1954 году вышел справочник о чехословацкой писательнице Марии Пуймановой. Во вступительной статье говорится о знакомстве писательницы с Юлиусом Фучи-

ком и приводятся слова писательницы: «...я впервые поняла, как следует поняла, какая это ни с чем несравнимая радость — жить ради будущего и за него бороться. К этому привёл меня, собственно, Фучик».

Совершенно очевидна внутренняя связь и литературная преемственность в творчестве двух писателей Чехословакии. Читатель же, имея в руках книгу о Марии Пуймановой, может и не знать, что аналогичная книга о Юлиусе Фучике вышла в предыдущем году.

Затрудняет ориентировку в вышедших книгах и большое количество серий. В особенности это отчётливо видно в том случае, когда издательство не придерживается единого принципа классификации.

Все справочники, за исключением указателя, вышедшего ко Второму Всесоюзному съезду советских писателей, распространяются издательством по библиотекам и научным учреждениям и по тиражу рассчитаны на узкий круг читателей.

С этим никак нельзя согласиться. И характер изданий, и темы справочников, и имена писателей, которым посвящены био-библиографические указатели, говорят за то, что справочники должны иметь более широкое распространение, чем это наблюдается сейчас. Начало этому и положено изданием указателя «Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки 1945—1953», получившего распространение на общих основаниях.

Располагая очень большим и разнообразным библиографическим материалом и приступив к публикации его, Всесоюзная библиотека иностранной литературы делает большое и нужное дело, значение которого нельзя недооценивать.

Хорошее начало всё же является половиной дела. Впереди ещё много работы по изданию самых необходимых справочных пособий для удовлетворения всё растущих запросов советского читателя.

Н. МАЦУЕВ.

«Весна, которую предали»

Романист и поэт, публицист, историк и литературный критик, Джек Линдсей — выдающийся прогрессивный писатель современной Англии. Роман «Весна, которую предали» начинается новый этап в творчестве этого разностороннего писателя, деятельного борца за мир.

В этой книге, так же как и в продолжении её, озаглавленном «Растущий прилив», Линдсей впервые сумел сочетать изображение широких народных масс с анализом индивидуальной психологии, что не удавалось ему даже в таких значительных его произведениях, как романы «1649 год», «Мы вернёмся. Роман о Дюнкерке», «Люди 1848 года».

«Весна, которую предали» — это книга о выборе простыми людьми Англии жизненного пути в трудные месяцы (с сентября 1946 по март 1947 года), когда рухнули надежды на демагогически провозглашённые лейбористами социализм, мир и процветание.

Эту тему Линдсей разрабатывает в четырёх различных вариантах, воссоздавая перед читателем жизнь четырёх семей, отдалённых друг от друга географически и социально. Тут и семья владельца текстильной фабрики в Йоркшире—Суинтона, и семья ланкаширского шахтёра Дика Бакстера, и профсоюзного служащего Эмери из Тайнсайда, и лондонского штукатура Тремейна. Эти четыре линии повествования сюжетно почти не связаны, если не считать упоминаний о прежней военной дружбе героев различных частей романа.

Наиболее интересной частью романа является та, которая озаглавлена «Лондон». В ней описывается семья усталого, измученного беспросветной бедностью рабочего Тремейна и его близких. Эта часть построена как история постепенного созревания души и ума героини, молоденькой дочери Тремейна — Фил. Вместе с тем, поскольку её внутренняя эволюция определяется обстоятельствами её со всех сторон впечатлениями от несправедливости, лжи, угнетения, постольку её глазами, всё более и более зрячими и внимательными, читатель всё яснее

воспринимает кричащие противоречия действительности и мужество рабочего класса, всюду поднимающегося на защиту своих прав. Линдсей разоблачает в своём романе негодный строй, вырождающиеся политические учреждения и противопоставляет им новые силы, стихийно растущие из самых недр эксплуатируемого народа.

Глядя на мир широко открытыми глазами девятнадцатилетней Фил Тремейн, мы видим, что, хотя весну предали, она, весна, молодость, неистребимая сила жизни, заложенная в тысячах таких Фил, жива и будет жить, и с нею не спрячутся ни английские капиталисты, ни их американские хозяева. Линдсей связывает основные стадии душевного развития Фил со значительными социально-типическими эпизодами. Первая из этих стадий обусловлена переселением сотен рабочих семей, ютящихся в жалких, обезображенных войной трущобах, в брошенные пустующие дома и отели богатых. Семья Тремейнов — одна из многих семей, завладевших старинным отелем, почувствовавших новый прилив веры в себя, новое утверждение своего человеческого достоинства. Даже пустые огромные комнаты, голые стены, незавешенные окна как-то поднимали переселенцев в их собственных глазах, казались им выходом на широкие жизненные просторы. И это ощущение возникает у них вместе с их организацией в единый коллектив. Но вот по приказу правительства полиция, несмотря на сопротивление переселенцев, изгоняет их отсюда, как посягающих на «священную», хотя и никому не нужную частную собственность.

Вторая стадия душевной эволюции Фил обусловлена её сближением с официанткой Бетт Джонс, деятельной участницей забастовки и демонстрации рабочих и служащих лондонских отелей. Идя с Бетт в рядах демонстрантов, Фил чувствует радостный подъём, блаженное возбуждение, бодрящее «чувство локтя».

Наконец, последняя, хотя и не завершающая стадия духовного роста Фил отмечена её поступлением в качестве официантки в третьесортный ресторанчик, обслуживающий докеров. Здесь она включается в жизнь тяжёлую, внешне однообразную, но наполненную движением и борьбой.

Центральным событием этой жизни Линдсей делает стачку грузчиков и докеров.

Jack Lindsay. „Betrayed Spring“. London, 1953 (Джек Линдсей. «Весна, которую предали». Лондон, 1953).

Jack Lindsay. „Rising Tide“. London, 1953 (Джек Линдсей. «Растущий прилив». Лондон, 1953).

Приход солдат для подавления стачки изображён как смертельный удар по иллюзиям тысяч простых людей, ещё недавно увлечённых лейбористской пропагандой «государственного социализма». Лживая проповедь классового мира наглядно разоблачается в крошечном, но глубоко типичном эпизоде: молодой розовощёкий лейтенант, с трудом протолкавшись сквозь угрюмую толпу грузчиков, вынимает карту, видимо, план района рынка Ковент-Гарден, места действия забастовки. «Ясно, он на вражеской территории, — сказал один из грузчиков и продолжает: — Они, никак, думают, они в Берлине!» «Русские взяли Берлин, — ответил другой, — а Эттли — тот взял Ковент-Гарден».

Показывая, какие личные чувства движут Фил в выборе её общественного пути, Линдсей ставит проблему о типичном развитии сотен и тысяч английских девушек.

Типическое у Линдсея берётся как обычное, повседневное, но в его движении к лучшему и более совершенному. Метод Линдсея в этом смысле существенно отличается от метода такого мастера нового, прогрессивного искусства, как Фаст. Если герои Фаста показаны нам в действии, часто героическом, то у Линдсея героические черты даны как потенциальные и выступают обычно в подчёркнуто скромной, повседневной оболочке.

Подчёркивая обыкновенность своих героев, Линдсей хочет заставить своего читателя проникнуться сознанием широкой доступности и естественности избранного ими пути. Если по этому пути весело, с высоко поднятой головой идёт обыкновенная девушка Фил, почему не вступить на него тысячам её братьев и сестёр? Если в обыкновенных чертах Фил заключено так много по существу своему прекрасного, то не значит ли это, что прекрасное, в сущности, гораздо обычнее, чем оно представляется?

Помимо Фил, в романе особенно интересен образ Уилла Эмери. Профсоюзный служащий, он мечется между изгвавшими его рабочими и использующими его услуги предпринимателями, удваивает рвение к защите рабочих в связи с приближающимися профсоюзными переизборами и в то же время мучительно старается «потрафить» и хозяевам — таков Уилл Эмери. Это превосходно очерченный реалистический образ.

И вот человек, в сущности неплохой и неглупый, не лишённый чувства чести, не-

приметно для себя теряет и ум и совесть и становится жалкой и отвратительной марionеткой. Так Линдсей ставит проблему выбора пути: неправильный выбор определяет падение Уилла Эмери как гражданина и человека.

Остро решается эта проблема выбора в образе Кита Суинтона, сына фабриканта. С суровостью и прямоотой показывает Линдсей, что ни совестливость, ни живость ума, ни чувство стыда за несправедливости, особенно совершаемые по отношению к рабочим, — ничто не может спасти Суинтона от позорной участи ренегата, раз он в период организованного отцом локаута рабочих встаёт на сторону отца.

Но хотя проблема поставлена правильно, разрешение её недостаточно убедительно: слишком легко, повинуясь только ультиматуму отца, Кит отказывается от попыток найти свою самостоятельную дорогу и помочь рабочим в их борьбе. Остаётся неясным, что именно, по мысли Линдсея, обусловило быструю капитуляцию Кита — то ли его происхождение, то ли болезнь воли, то ли страх погрязнуть без суровой поддержки отца в распущенной компании богатой молодёжи его круга.

Не совсем удалась Линдсею также разработка темы становления личности Дика Бакстера и выбора им пути в острый момент резкого размежевания всех сил. Замысел Линдсея очень интересен: всю силу разочарования в лейборизме он хочет показать воплощённой в сознании молодого шахтёра, для которого это разочарование усилено ещё его чувством вчерашнего участника освободительной войны против фашизма. Вернувшись на родину, он с отвращением и негодованием видит, что всё то, против чего он боролся, здесь, дома, попрежнему живо. «Его внезапно охватила бешеная ненависть к этому неизменившемуся миру». Чувствуя связь несветы с этим ненавистным ему миром, он порывает с нею, отказывается от возможного с нею мешанского благополучия и возвращается в шахту. Он понимает, что война против фашизма и борьба горняков за улучшение своего положения — одна борьба. Его возмущает лицемерие и цинизм, с которыми лейбористское начальство в торжественный день передачи шахт народу выбрасывает из числа флагов союзников, украшающих шахты, красный флаг с серпом и молотом: он видит в этом

попытку забыть о войне, о её освободительном значении.

Итак, одна и та же тема — пробуждение обманутого народа, обострение всех отношений, резкое размежевание на предателей (и их вольных или невольных, тайных или явный пособников), с одной стороны, и на борцов против предателей, уже действующих или потенциальных, с другой стороны, — эта одна тема в виде мощного и грозного лейтмотива проходит через книгу Линдсея. Эта тема воплощается в характерах, поставленных в типичные обстоятельства и в целом бесспорно типичных, хотя и не всегда развёрнуто и разносторонне обрисованных.

Значительную роль в создании верных действительности образов играет язык романа. Линдсей мастерски воспроизводит речь как главных персонажей, так и второстепенных, внося в эту речь большое разнообразие социальных и психологических оттенков. Так, книжная интеллигентская речь Кита Суинтона с характерными для неё скрытыми цитатами, многочисленными терминами фрейдистского психоанализа, особенно обильными в его внутренних монологах, несколько не похожа на речь другого интеллигента, Гарри Мэнсона, порывистую, горячую, насыщенную политической терминологией.

Необходимо отметить, что речь рабочих

воспроизводится Линдсеем вопреки буржуазной натуралистической традиции, которая на первый план при передаче речи «низших классов» выдвигает диалектизмы и нарушения грамматической и фонетической нормы. Линдсей подчёркивает принципиально иные особенности речи рабочих: прямоту, юмор, насыщенность изречениями народной мудрости и традиционной образностью народного языка.

Как ни велико место речевых характеристик героев, они не вытесняют собой авторских характеристик. Речь автора лексически богаче и разнообразнее и по содержанию сложнее и насыщеннее. Вместе с тем она проста, ясна, синтаксически прозрачна, так же проникнута юмором, как и язык персонажей.

Юмор, характерный для всего романа в целом, чрезвычайно способствует общему оптимистическому звучанию романа. Несмотря на то, что Линдсей повествует о нужде и труде, о жестокой зиме и о наступлении холодной, безрадостной весны, его книга полна оптимизма и веры в будущее.

Оптимистический и боевой дух романа, его ясность и жизнерадостность, вера в простых людей и их будущее — вот причина успеха книги и высокой оценки её в английской прогрессивной печати.

Н. ДЬЯКОНОВА.

★

Политика и наука

Тайвань сегодня

За последнее время американские империалисты усилили свою подрывную враждебную деятельность против Китайской Народной Республики. Одним из прямых провокационных актов в отношении китайского народа явилось заключение «договора о взаимной безопасности» между Соединёнными Штатами Америки и окопавшейся на Тайване чанкайшистской кликой.

Этот пакт означает явное нарушение международного права, грубейшее посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР. Он предусматривает военное вмешательство США во внутренние дела Китая. Агрессивные круги стремятся не

допустить освобождения исконной территории Китая — острова Тайвань — от злейших врагов китайского народа — гоминдановских банд — и окончательно превратить остров в американскую колонию, в плацдарм для нападения на Китайскую Народную Республику.

Подписание американо-гоминдановского договора вызвало новую волну возмущения среди широких масс китайского народа. Газета «Женьминьжибао» писала: «Китайский народ гневно протестует против преступных действий американских агрессоров, открыто захвативших территорию нашей страны — остров Тайвань — и готовящих мировую войну. Китайский народ не забудет день 2 декабря 1954 года, когда американские агрессоры своим подписанием

Линь Чу. «Тайвань сегодня». Пекин, 1954 (на китайском языке).

так называемого «договора о взаимной безопасности» с предательской кликой Чан Кай-ши открыто выразили своё намерение увековечить оккупацию Тайваня. Китайский народ не может дальше мириться с фактом оккупации Тайваня Соединёнными Штатами».

О том, какая обстановка сложилась сейчас на Тайване, даёт представление брошюра китайского публициста Линь Чу «Тайвань сегодня», выпущенная в Пекине издательством «Женьминьчубаньшэ». Приводя многочисленные факты и цифровые данные, автор рассказывает о бедственном положении населения острова, разоблачает предательскую политику продажной гоминдановской клики.

Остров Тайвань является неотъемлемой территорией китайского государства, принадлежащей ему с давних времён. Около шестидесяти лет назад он был оккупирован японскими империалистами. После поражения Японии во второй мировой войне Тайвань был возвращён Китаю, что предусматривалось Каирской и Потсдамской декларациями, под которыми стоят подписи и представителей Соединённых Штатов Америки.

В 1949 году на Тайвань бежала гоминдановская клика, выброшенная с континента великим китайским народом, поднявшимся на борьбу за своё освобождение. Обосновавшись на острове под защитой американских империалистов, чанкайшисты фактически предоставили американским монополиям полное право неограниченно распоряжаться Тайванем.

Всячески поддерживая обанкротившуюся чанкайшистскую клику, США поставляют на Тайвань большое количество самолётов, танков, артиллерийских орудий. Как сообщает Линь Чу, по неполным данным, за период с 1949 по 1954 год правительство США израсходовало на военную помощь гоминдану свыше миллиарда долларов, а в одном только 1954 году расходы на эти цели составили пятьсот шестьдесят миллионов долларов.

Правящие круги США не перестают направлять на Тайвань военных «советников», в задачу которых входит обучение гоминдановской армии. К настоящему времени число их возросло до восьмисот человек. «Фактически,— пишет Линь Чу,— эта группа является высшим военным органом гоминдановцев». Структура управления гоминданов-

ской армией реорганизована по американскому образцу.

Но сколько бы ни тратили американские империалисты на содержание гоминдановской клики, они не в состоянии оживить этот смердящий политический труп. Правда, клика Чан Кай-ши прилагает старания к тому, чтобы омолодить свою одряхлевшую и утратившую боеспособность армию. Выполняя требование американской военщины, гоминдановцы приняли новый закон о воинской обязанности, в школах и институтах Тайваня введено обязательное военное обучение.

Однако все эти мероприятия встречают сопротивление жителей острова. «Население Тайваня,— пишет Линь Чу,— не хочет быть пушечным мясом для осуществления агрессивных замыслов американских империалистов и предательской клики Чан Кай-ши».

Автор приводит множество данных, свидетельствующих о полном подчинении экономики Тайваня американским монополиям.

Услужливо угождая своим хозяевам, гоминдановцы издали в июле прошлого года новые правила об иностранных инвестициях, согласно которым иностранные капиталисты могут свободно переводить в валюте полученные ими прибыли. Чтобы облегчить американскому капиталу доступ на Тайвань, чанкайшистская клика создала свои законы о земле, о гражданской авиации, морском транспорте и горнодобывающей промышленности.

Засилье американских монополий привело к сокращению производства в ряде важнейших отраслей промышленности Тайваня. Так, значительно сократилось производство сахара, резко снизилась добыча угля, уменьшилось производство бумаги и соли. Закрылось уже более двадцати процентов текстильных фабрик. На одну треть своей мощности работает мыловаренная промышленность.

Пагубно отражается господство монополий США и на состоянии сельского хозяйства. По требованию заокеанских хозяев гоминдановские власти заставляют крестьян Тайваня сокращать посевы риса и выращивать вместо него сахарный тростник, камфарное дерево и другие технические культуры, приносящие наибольшие прибыли американским монополистам.

В брошюре рассказывается о невероятно тяжёлом положении, в котором находятся трудящиеся массы Тайваня, испытывающие

на своей спине двойной гнёт. Неудержимо повышаются цены на товары первой необходимости. «Рост цен, — замечает Линь Чу, — не сопровождающийся соответствующим увеличением заработной платы, усугубляет и без того бедственное положение населения Тайваня».

Помимо высоких налогов, трудящиеся острова облагаются различными поборами. В принудительном порядке распространяется, например, так называемый «патриотический» заём. Для приобретения облигаций этого займа все предприятия обязаны откладывать одну пятую своих доходов.

Всё это ведёт к дальнейшему обеднению населения Тайваня, обречённого гоминдановской кликой на полуголодное существование. В городах растёт армия безработных. В сельских местностях усиливается процесс обезземеливания крестьян. Рис, этот основной продукт питания, производимый на Тайване, идёт на экспорт и поэтому для большинства населения является недоступным. Каждый понедельник объявлен гоминдановцами «безрисовым днём». Фактически же такими «безрисовыми днями» являются для многих трудящихся все дни недели.

Широко распространена на Тайване продажа детей. «В тайваньских газетах, — пишет автор, — часто помещаются объявления о готовности родителей отдать своих детей на воспитание. Многие из девочек, отданных на такое «воспитание», оказались впоследствии проданными в публичные дома».

Тяжёлые жизненные условия вызывают массовую заболеваемость трудящихся. По всему острову свирепствуют малярия, дизентерия, эпидемический грипп и другие болезни. Лечение приходится оплачивать суммой, равной двух-трёхмесячному заработку

рабочего, поэтому медицинская помощь недоступна большинству населения.

Крестьянство острова стонет под непосильной тяжестью помещичьего гнёта. Высокие налоги, арендная плата забирают у крестьян львиную долю их урожая. Доходы крестьян сократились более чем наполовину по сравнению с доходами, получаемыми ими в годы японской оккупации.

Гоминдановцы установили на острове полицейский террор, поддерживая своё господство с помощью драконовских мер. Малейшее проявление недовольства чанкайшистским режимом жестоко преследуется. Тюрмы и концентрационные лагеря на Тайване переполнены, арестованные подвергаются бесчеловечным пыткам и истязаниям. Почти за каждым жителем острова установлена полицейская слежка. Тайные агенты гоминдановской охраны хватают любого жителя, подозреваемого в связях с коммунистами.

Население Тайваня с надеждой ждёт того дня, когда будет ликвидировано чанкайшистское охвостье и остров будет снова возвращён в лоно своей великой родины.

Воля китайского народа к освобождению Тайваня нашла своё выражение в заявлении министра иностранных дел КНР Чжоу Энь-лая, который сказал: «Освобождение Тайваня и ликвидация предательской клики Чан Кай-ши являются вопросом, целиком относящимся к суверенитету Китая и его внутренним делам, и никакого вмешательства со стороны какого-либо иностранного государства мы не потерпим».

Справедливое требование китайского народа об освобождении Тайваня поддерживается всеми миролюбивыми народами мира.

Д. ЛЬДОВ.

★

Страницы скорби и мужества

В июне 1953 года в США были казнены супруги Розенберг. Арестованные по ложному обвинению в «атомном шпионаже», они провели в тюрьме почти три года, из которых более 26 месяцев прожили после вынесения им смертного приговора.

Вскоре, после казни, в Лондоне была выпущена книга, в которой собраны письма

Этель и Джулиуса Розенбергов друг к другу, к детям и адвокату Блоху, защитнику их во время процесса. Издатели предпослали письмам предисловие и присоединили к ним некоторые документальные приложения.

Со страниц книги встают перед читателем образы простых, честных людей, которые, став жертвами военной истерии, нашли в себе мужество и силу предпочесть двухлетнюю пытку страхом смерти и самую смерть

«The Rosenberg Letters». London, 1953 («Письма Розенбергов». Лондон, 1953).

участию в грязной игре поджигателей войны.

Страстные утверждения Этель и Джулиуса об их невинности проходят через каждое письмо. Эти интимные, безыскусственные листки, написанные в зловещей тиши одиночных камер, содержат простые рассказы о бытовых делах, признания в неугасающей взаимной любви, тоску по детям. Но, взятые вместе, они раскрывают негибкость и величие человеческого духа.

Письма Этель в первые месяцы заключения полны недоумения и скорби: «Каждое утро, перед тем как встать, я подавляю чувство отчаяния, невыразимо горькое, страстное желание видеть детей, безумный порыв позвать вслух их и тебя... Что мы сделали, чтобы заслужить такое несчастье?»

Её ободряют лишь слова мужа, полные любви к ней и проникнутые верой в её мужество и моральную чистоту: он призывает Этель не дать использовать себя «в качестве пешек в политических делах». Джулиус настойчиво внушает жене: «Мы будем продолжать здесь, как и раньше, бороться за мир, свободу и истинное правосудие... Наше дело используется как камуфляж, чтобы парализовать искренних прогрессивных людей и подавить критику курса на атомную войну. Наша личная борьба связана с общим движением за мир».

В стенах Синг-Синга супруги не потеряли способности радоваться солнцу, распускающимся цветам, первым стихам сына. Их письма полны надежд на торжество справедливости. Но нелегко сохранить твёрдость духа, находясь у порога смерти! Нелегко договориться между собой, как показать детям, что родители не очень волнуются, и ответить на вопросы, что такое казнь на электрическом стуле и есть ли он в тюрьме. В одном из писем Джулиуса мы читаем: «Мне особенно тяжело думать о том, что принесут новые события нашим милым сыновьям. Душевная боль поистине непосильна, ибо невозможно что-либо сделать, чтобы защитить их от ужасных последствий нашей казни...»

Во время процесса реакционная печать пыталась представить Розенбергов коммунистами, с тем чтобы усилить кампанию, направленную против компартии США. На деле Джулиус, а тем более Этель Розенберг весьма далеки от коммунистического мировоззрения. Но они относились к числу американцев, борющихся за мир и про-

гресс, а это считается в сегодняшней Америке преступлением.

Письма, помещённые в книгу, достаточно ясно показывают взгляды Розенбергов. Джулиус называет себя «прогрессивным человеком» и в разговоре с другом вспоминает, что с юности ненавидел расовую дискриминацию негров, боролся за освобождение Тома Муни и узников Скоттсборо, выступал против итальянского фашизма. Находясь в тюрьме, он не переставал следить за событиями, гневно осуждая «законное» линчевание негра Вилли Макги и возмущаясь тем, что правительство США собирается заключить соглашение с франкистской Испанией.

Горькой иронией и одновременно верой в победу прогрессивных сил полны строки по поводу американской Декларации независимости, написанные в одну из её годовщин, которую Розенберги встретили в камерах смертников: «...Интересно читать о свободе слова, свободе печати и религии в этой обстановке. Права, за которые умирали патриоты нашей страны, не могут быть отобраны у народа даже конгрессом или судами. Определённые политики используют наше дело для запугивания либеральных и прогрессивных людей, но мы разоблачаем эту судебную инсценировку, и мы не одиноки. Борьба за наши жизни является частью борьбы за справедливость и свободу мысли».

В последние месяцы Розенберги неоднократно обращались к вопросу о маккартизме, называя себя «первыми жертвами американского фашизма».

В петиции президенту (отрывки из которой помещены в приложении) Розенберги доказывали, что их обвинение построено на ложных показаниях. С достоинством честных людей они писали: «Мы невинны, как мы заявили и продолжаем утверждать со времени нашего ареста. Это полная правда. Отказаться от неё — значит заплатить слишком высокой ценой даже за бесценный дар жизни... Да, мы хотим жить, но с простым достоинством тех, кто был честен с самим собой и со своими собратьями».

После сообщения Розенбергам о дне казни чиновник министерства юстиции долго уговаривал их «полностью сотрудничать с правительством», обещая за это помилование. Два больших письма Джулиуса и Этель к Блоху подробно рассказывают об этой попытке «вырвать фальшивое признание,

покачивая перед нами наши жизни, как приманку перед беззащитной рыбкой». Они категорически отказались купить жизнь ценой участия в махинациях американской реакции. «Мы так горячо любим Америку,— говорил Джулиус,— что не позволим обеспечить её доброе имя, вступая в безнравственную сделку!»

После этого ход машины «правосудия Линча» ускорился, и Розенбергам осталось время лишь для последних писем. В книге помещены три письма — от 17—19 июня: одно к Блоху и два к детям со словами любви и утешения и заветом «всегда помнить, что мы были невинны».

Прогрессивная общественность всего мира приняла горячее участие в деле Розенбергов. В защиту их выступили многочисленные политические, профессиональные, религиозные, научные организации ряда стран Европы, Америки и Азии. Представители самых различных слоёв населения требовали помилования Розенбергов, посылая протесты Эйзенхауэру и в американские посольства. Отклик этого мощного движения слышится в переписке, а также в предисловии и приложениях к книге.

Так, в письмах Джулиуса упоминается, что из одного итальянского города Майклу и Роберту прислали подарки; он сообщает, что из Франции и Бельгии на их имя приходит множество сочувственных открыток; что в Голландии молодая мать в честь Розенбергов назвала свою дочь Этель-Джулия.

Предисловие к книге написано Коллинсом, юрисконсультom епископа собора св. Павла. По его мнению, последние письма Розенбергов свидетельствуют о том, что осуждённые «заражены коммунистическими мыслями и выражениями»; он не соглашается с их высказываниями об американском фашизме, но, тем не менее, не может

не поднять свой голос против несправедливого приговора.

В приложениях приводятся отрывки из заявлений американского учёного Г. Юри, профессора Эйнштейна, французского юриста Виллара о недоказанности вины Розенбергов. Против казни страстно протестовал от своего и от имени Поля Элюара Луи Арагон, обращаясь не только к президенту, «но и к народу Линкольна, который, если он позволит пролиться этой невинной крови, запятнает свой звёздный флаг пятном, которое ему придётся когда-либо смывать». О помиловании просила Лига прав человека, созданная ещё в дни дела Дрейфуса. «Розенбергов хотят сделать первыми жертвами войны, которую готовят агрессоры, а мы не хотим ни этих смертей, ни этой войны»,— писал Жан-Поль Сартр, призывая бороться за спасение Розенбергов во имя американской и французской демократии.

В письме сестры Ванцетти, направленном президенту Эйзенхауэру, подчёркивается сходство суда над Розенбергами с процессом Сакко и Ванцетти. «Я присоединяюсь к движению протеста,— говорится в послании,— в надежде, что Розенберги получат отсрочку казни, новое рассмотрение дела и пересмотр смертного приговора. Только таким образом я могу оказать уважение и воздать должное памяти моего брата, Бартоломео Ванцетти, сказавшего перед смертью: «Я надеюсь быть последней жертвой такой ужасной несправедливости».

Требования прогрессивной общественности не повлияли на решение суда. Правительство США послало на электрический стул ещё двух невинных людей, чтобы усилить военный психоз, запугать американцев, участвующих в борьбе за мир.

С. КНЯЗЕВА.

★

Передовая военная наука

Выпущенный недавно в свет сборник статей «О советской военной науке» в известной мере восполняет тот пробел, который существует у нас в области военно-теоретической литературы, рассчитанной на широкие круги невоенных читателей. Полезность этой книги состоит прежде всего в том, что

«О советской военной науке. Сборник статей». Воениздат, М. 1954.

она даёт более или менее цельное представление о сущности советского военного искусства, последовательно рассматривая его формирование и развитие в ходе великих социалистических преобразований в нашей стране.

В материалах сборника обстоятельно рассказывается об организаторской, воспитательной и руководящей роли Коммунисти-

ческой партии в создании и совершенствовании Советских Вооружённых Сил, раскрываются основы советской военной науки и её превосходство над буржуазной военной наукой. Читатель найдёт в книге популярное изложение таких важных тем, как главные факторы, решающие судьбу войны и оказывающие влияние на развитие военного искусства, значение организаторских способностей начальствующего состава, вопросы мобилизации экономики в современной войне, военная наука как составная часть надстройки.

Отмечая успехи, достигнутые в последние годы советской военной наукой, авторы вместе с тем поднимают ряд актуальных вопросов, которые предстоит решить военно-научным работникам. Так, в частности, нет ещё фундаментальных трудов, посвящённых проблемам советской военной идеологии, серьёзных исследований, в которых развивались бы и конкретизировались положения о современной войне как вооружённой борьбе со всей её специфичностью и закономерностями.

Новые задачи, вставшие перед нашей военно-теоретической мыслью в связи с решениями XIX съезда партии, требуют улучшения качества военно-научной работы, повышения уровня организации и руководства ею, совершенствования её методов и приёмов.

С первых дней существования Советского государства Коммунистическая партия уделяет огромное внимание строительству и укреплению высокой боеспособности армии и флота, стоящих на страже безопасности, свободы и независимости Родины. Под руководством партии, выпестовавшей Советскую Армию — армию непревзойдённого массового героизма, наш народ отстоял завоевания Октября и разбил иностранных интервентов. В годы мирного социалистического строительства партия направляла развитие Вооружённых Сил; она привела их к всемирно-исторической победе в Великой Отечественной войне.

Коммунистическая партия выработала научно и практически проверенную военную теорию, ставшую основой самой передовой советской военной науки. В. И. Ленин и И. В. Сталин обобщили в своих трудах богатейший военный опыт партии и народа и творчески развили марксистское учение о войне и армии применительно к новым историческим условиям. Этот опыт убедительней-

шим образом доказывает, что в современной войне побеждают те государства, которые оказываются сильнее своих противников не только в экономическом отношении и в военной выучке войск, но и по морально-политическому единству армии и народа. Марксизм-ленинизм учит, что современные войны ведутся не армиями, а народами в целом. Только справедливые и благородные цели войны способны поднять народ на борьбу и довести её до победы.

Советское военное искусство, говорится в сборнике, представляет собой высшее достижение в развитии способов ведения войны в её машинный период. Наиболее существенными отличительными чертами советского военного искусства, как это сформулировано в редакционной статье, являются:

— решительность целей и форм военных действий и ведения войны в целом;

— активное участие в войне всего народа, привлечение и использование для дела победы всех экономических и морально-политических ресурсов страны;

— гигантский размах и величайшая активность вооружённой борьбы; неистощимый наступательный дух, неуклонное наращивание в ходе войны силы ударов по врагу;

— полная реальность военных планов, трезвый учёт как своих сил и возможностей, так и сил и возможностей противника;

— монолитная цельность планов ведения вооружённой борьбы от этапа к этапу войны, от кампании к кампании;

— высшая целеустремлённость боевых и оперативных действий при руководящей роли стратегии;

— тщательная подготовка операций и всестороннее их обеспечение;

— массированное применение сил и средств в решающие моменты и в решающих местах;

— целеустремлённое накопление и расходование резервов как в тактическом и оперативном, так и особенно в стратегическом масштабах;

— чёткое и целесообразное взаимодействие всех видов вооружённых сил и родов войск;

— высокие темпы развития операций при большой их глубине;

— широкое применение операций на окружение с полным уничтожением крупных группировок противника;

— высокоактивный характер обороны, завершающейся переходом в решительное контрнаступление;

— творческий подход к выбору способов и форм вооружённой борьбы, разумное их сочетание в зависимости от обстановки.

В противоположность авантюристическим установкам буржуазных военных теорий, советская военная наука основывается не на временных, случайных явлениях, возникающих в ходе военных действий. Центр тяжести она переносит на постоянно действующие факторы, так как именно они, воплощая в себе единство экономических, морально-политических и военных возможностей страны, обеспечивают в конечном счёте победу в современной войне. К этим факторам относятся прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организационные способности начальствующего состава. Подробная характеристика и анализ этих факторов даются в статьях полковников В. Петрова и П. Сидорова.

Материалы сборника убедительно опровергают идеалистические воззрения реакционных буржуазных теоретиков, сводящих военную историю к действиям «завоевателей» и «покорителей» мира и игнорирующих роль народных масс.

Формы и средства вооружённой борьбы не являются продуктом свободного творчества выдающихся полководцев, а зависят от общих условий материальной жизни общества. Конечно, одним из факторов, непосредственно влияющих на способы ведения войны, является техника. Но главная сила войны всё же не техника, а человек, носитель определённых морально-боевых качеств, которые находятся в прямой зависимости от господствующих производственных отношений и социально-политической структуры общества.

Советская военная наука исходит из того, что мощность экономического и морального потенциалов находится в прямой зависимости от общественного и государственного строя.

«Известно,— говорится в статье полковников А. Строкова и И. Марыганова,— что американские империалисты настойчиво вдвигают в сознание широких масс тезис о «всесилии» экономической мощи США и на этой основе проповедают миф о непобедимости своей армии. Слов нет, Соединённые Штаты имеют высокоразвитую про-

мышленность. Однако экономический потенциал страны нельзя определять простым количественным подсчётом ресурсов и производственных мощностей. Главное заключается в мобилизации материально-технических возможностей и превращении их в непосредственные факторы войны. Но это в решающей степени зависит от характера экономического строя, господствующего в данной стране, от отношения трудящихся масс к войне».

Составными частями советского военного искусства являются стратегия, оперативное искусство и тактика.

Стратегия разрабатывает планы войны и отдельных кампаний, определяет направление главного удара. Она тесно связана с политикой, определяющей цели и характер войны и ставящей задачи стратегии. Правильное взаимодействие политики и стратегии — одно из решающих условий победы. Если политика ставит перед военной стратегией явно непосильные задачи, последняя впадает в авантюризм и неизбежно обрекает войска на поражение. Так обстояло дело с фашистской стратегией в войне против Советского Союза. И, наоборот, Великая Отечественная война, завершившаяся разгромом гитлеровской Германии и милитаристской Японии,— яркий пример полного соответствия советской политики и советской военной стратегии.

Оперативное искусство было впервые разработано советской военно-теоретической мыслью. В эту новую отрасль военного искусства входят планирование и выбор способов подготовки, а затем и проведения фронтовых и армейских операций. Тактика охватывает способы подготовки и ведения боя подразделениями, частями и соединениями до корпуса включительно.

Все эти три составные части советского военного искусства находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.

Раскрывая особенности советской военной науки, полковник В. Василенко пишет: «Впервые в истории военного дела появилась такая государственная военная наука, которая учит, как использовать средства вооружённой борьбы в коренных интересах народных масс, трудящихся Советского Союза и всех других стран земного шара» Революционное, классовое и тем самым интернациональное существо советской военной науки находится в принципиальной противоположности контрреволюционному клас-

совому существованию империалистической военной науки, служащей корыстным интересам монополистического капитала, политике разбойничьей, захватнической войны.

Не останавливаясь здесь на разборе отдельных недостатков сборника, относящихся к узкоспециальным вопросам военной науки, мне хочется сделать следующие замечания.

Думается, что известное положение И. В. Сталина — «Задача военного искусства состоит в том, чтобы обеспечить за собой все роды войск, довести их до совершенства и умело сочетать их действия»¹ — разъяснено в статье В. Василенко недостаточно. История военного искусства знает не только развивающиеся, но и отмирающие роды войск. Я имею в виду, например, конницу, применение которой на полях сражений войн машинного периода становится всё более и более ограниченным.

Чувство неудовлетворённости вызывает статья подполковника М. Широкова «Вопросы мобилизации экономики в современной войне». К моменту выхода в свет рецензируемого сборника она несколько устарела. Автор, рассуждая о слабых сторонах военной экономики капиталистических стран, привёл мало данных о действительном состоянии их военного производства, в частности США.

Рост капиталовложений в атомную промышленность, захват крупнейшими монополистическими компаниями важнейших отраслей промышленности, имеющей военное

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 170.

значение, а также сырьевых источников капиталистического мира, в том числе нефти и атомного сырья, — все эти факты недостаточно полно отражены в статье М. Широкова. Между тем они дают возможность более правильно оценить военно-экономический потенциал США — этого наиболее агрессивного из государств современного капиталистического мира.

Наконец, о структуре сборника. Если в интересной статье подполковника М. Сквородкина достаточно подробно раскрывается тактика как составная часть теории военного искусства, то следовало бы поместить аналогичные исследования и по вопросам оперативного искусства и стратегии. Отсутствие подобных статей делает книгу незаключенной, так как без них она не даёт должного освещения основных сторон нашего военного искусства.

Статьи, помещённые в сборнике, написаны ясным, доходчивым языком. Однако тон их несколько декларативен. Для лучшего восприятия читателем специальных вопросов военного дела следовало бы, пожалуй, усилить иллюстративную часть материалов более яркими фактами, живыми, конкретными примерами, характеризующими применение нашего военного искусства на практике.

В целом книга представляет собой ценное пособие для ознакомления читателей с важнейшими теоретическими положениями советской военной науки.

*Кандидат военных наук
подполковник О. КУЗУБ.*

★

Русские на Средиземном море

Одной из последних работ недавно умершего крупнейшего историка академика Е. В. Тарле является книга «Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземное море». Она знакомит читателя с замечательной страницей истории русских вооружённых сил, действовавших в прошлом веке на Средиземноморье.

События, отодвинутые от наших дней почти на полтора столетия, оживают в книге во всей сложности быстро меняющихся военных и политических обстоятельств, в переплетении экономических и дипломати-

ческих интересов, в героике рядовых участников экспедиции, руководимой талантливым флотоводцем Дмитрием Николаевичем Сенявиным.

1805—1807 годы — время третьего победоносного появления русских солдат и матросов на Средиземном море. А книга Е. Тарле — третье исследование автора из истории русских кампаний в этих широтах.

В нашей морской библиотеке нетрудно, конечно, найти книги и о Чесменском сражении, и о подвигах русских моряков на Ионических островах, и о плаваниях Сенявина. Однако эти работы в большинстве своём касаются только военно-морской стороны вопроса. Е. Тарле показывает нам ещё

Е. В. Тарле. «Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземное море (1805—1807)». Воениздат, М. 1954.

одну и весьма существенную сторону: внешнеполитическую, дипломатическую.

Что же привело Сенявина и руководимые им войска в воды Средиземного моря? История внешней политики французской крупной буржуазии (и превосходной шпаги её — Наполеона Бонапарта) отвечает на поставленный вопрос.

К 1805 году явно обрисовалось одно из направлений внешней политики Наполеона. Оно устремлялось к Турции, к Константинополю. Это означало, что рано или поздно под прицелом окажутся и Чёрное море и Южная Россия. Таким образом, когда в сентябре 1805 года сенявинская эскадра направилась из Кронштадта в обход Европы, к Средиземному морю, на неё была возложена важная миссия, имевшая, как отмечает Е. Тарле, предупредительную, чисто оборонительную цель. «Д. Н. Сенявин, — пишет автор, — достиг этой цели. Турки потерпели ряд поражений на море, французы потерпели в свою очередь поражения на западном берегу Балканского полуострова, причём русские победы показали славянам, действовавшим в союзе с русскими, что они и в будущем могут рассчитывать на дружбу и помощь России».

Если первая и вторая экспедиции на Средиземном море дают замечательные примеры содружества русских и греков, то третья, сенявинская, полна незабываемых эпизодов, сердечных, поистине братских взаимоотношений русских с западными славянами. Между ними сразу же возник тесный боевой союз. Он был нужен не одним русским. В нём были глубоко заинтересованы сами балканские народы, которые вели долгую, изнурительную и кровопролитную борьбу с иноземными захватчиками — турками, австрийцами, французами.

Едва сенявинские моряки высадились на далматинском берегу, близ важного торгового порта Боко-ди-Каттаро, как их приветствовал двухтысячный отряд черногорцев, предводитель которого, Пётр Негош, воскликнул: «Самые горячие пожелания исполнились! Наши русские братья соединяются с нами в братской общности. Пусть никогда эта великая минута не исчезнет из вашей памяти!»

Приход русских вдохновил не только черногорцев, но и бокезцев, жителей Боко-ди-Каттаро. В городе загудел набат, по улицам пронёсся клич: «Кто есть витязь! К оружию, братья!» Бокезцы снарядили в

помощь Сенявину три десятка вооружённых пушками судов. Столь же радостно приняли весть о появлении русской эскадры и славяне Дубровника (Рагузы).

Русским симпатизировали не только славяне. Е. Тарле ссылается на любопытный документ, который ещё не был в научном обороте. Это — обращение к Сенявину итальянцев Кастельнуовы с просьбой наконец укрепить русский флаг над Далмацией. Они заявляли, что во всяком ином случае «будут защищать свою свободу с оружием в руках».

Е. Тарле рассказывает и об июньском сражении 1806 года у Дубровника (Рагузы), и о сокрушительном ударе осенью того же года по французским позициям, когда Мармону, командующему французскими войсками, долго не удавалось остановить отступление, и о господстве русского флота на Адриатике, оспаривать которое и думать боялся неприятель. Это были победы значительные и ощутимые для того времени. По замечанию современника и мемуариста морского офицера Броневского (Е. Тарле широко пользуется его воспоминаниями, ставшими библиографической редкостью), «русский штык и дерзость черногорцев повсюду торжествовали».

Искреннее содружество позволило русским и западным славянам смешать в тот период карты Наполеона и сорвать его планы по овладению Далмацией и Черногорией.

Е. Тарле подчеркнул, насколько глубоко осознавал это сам Сенявин. В книге приведена интереснейшая записка флотоводца, относящаяся к концу его жизни. Когда у старого адмирала запросили его соображения относительно планов новой войны с турками на Балканах, Сенявин мысленно ещё раз обратился к славным дням 1806 года. Отвечая на запрос, он первым и непременно условием выдвинул необходимость сотрудничества с балканскими славянами.

В своей работе Е. Тарле представляет читателю не только Сенявина-адмирала, но и Сенявина-политика, одного из тех русских военных людей, перед которыми зачастую пасовали профессиональные дипломаты.

Сенявину пришлось вести сложную и лично для него чреватую большими неприятностями русскую политику на Средиземноморье. Положение его было не лёгким. При тогдашней почтовой связи события подчас обгоняли фельдъегерей. Адмирал не раз получал либо запоздалые инструкции,

либо инструкции, исключают друг друга. Нельзя забывать, что он имел дело с Александром I, любившим в сомнительных и шекотливых случаях умыть руки. Но всё это было бы ещё сносно, если бы царь, следуя зигзагам и петлям европейской политики, не приказывал флотоводцу то уступать французам, то послушаться австрийцев, то опять уступить французам. А Сенявин не единжды прятал полученные распоряжения «под сукно», всячески маскируя своё послушание.

Сенявин не фрондировал. Он просто оставался тем, чем был всю жизнь, — натурой глубоко русской, озабоченной не милостями и карьерой, а пользой отечеству, чего, кстати, и не простил ему впоследствии император, удалив адмирала в отставку. Пользу же отечеству Сенявин видел не в исполнении скоропалительных и опрометчивых решений Александра, а в том, чтобы как можно меньше делать приятного Наполеону. Перед Сенявиным, как и перед многими другими русскими деятелями, стоял призрак грядущего решительного единоборства с ним.

Однако общий ход европейских дел сказался наконец со всей силой и на положении сенявинской экспедиции и на положении его союзников — славян. После Тильзитского мира русская эскадра вынуждена была оставить Адриатическое море.

Е. Тарле превосходно показывает, как на втором этапе кампании войска Сенявина сразились с турками и обрели новую славу в блокаде Константинополя, в захвате острова Тенедос, в сражении у Афонской горы.

Средиземноморская экспедиция снискала Д. Н. Сенявину прозвание «знаменитого россиянина». Оно с полным правом может быть отнесено и к каждому участнику похода.

Отдельные разделы книги посвящены не делам и дням экспедиции, а непосредственно Сенявину. Вступительная глава названа «Первые годы жизни и службы», заключительные рассказывают о царской немилости к адмиралу, о подозрениях в его «неблагонадёжности» и связях с тайным обществом будущих декабристов, о последнем периоде его жизни, когда он вновь ступил на корабельную палубу.

Эти главы представляются нам слишком краткими. Почти ничего не узнаёт читатель о противнике Сенявина Огюсте Мармане,

наполеоновском генерале, а затем маршале и «герцоге Рагузском». Беглые замечания автора не позволяют также получить ясное представление о черногорском вожде Петре Негоше.

Тем не менее значение работы Е. Тарле велико. Оно заключается не только в историко-познавательной ценности книги, но и в её полемической, разоблачительной силе.

Западная и заоканская буржуазная историография либо замалчивает победные дела русских на Средиземном море, либо искажает их. Е. Тарле указывает, что подобная фальсификация началась ещё с тьеровской многотомной «Истории консульства и империи» и продолжалась вплоть до писаний Л. де Войнович во французской периодике.

Можно добавить и другие работы. Даже в узкоспециальных изданиях, посвящённых приморским провинциям Западных Балкан именно того периода, когда в Адриатике находилась сенявинская эскадра, авторы нарочито пренебрегают русскими, умалчивая об их делах, победах, союзе со славянами. Таковы, например, книги Ф. Киршмайера, Пауля Пизани и других буржуазных историков.

Не удивительно, что тот же приём двойкой лжи — умалчивания и извращения — мы находим и в сравнительно недавних статьях американского морского офицера Роберта Дейли, подвизающегося на страницах «Юнайтед Стейтс нейвл институт пресидингс». Правящие круги США после второй мировой войны вождельно уставились на древний бассейн, омывающий Европу, Африку и Малую Азию. В своём стремлении превратить Средиземное море в подбие внутреннего озера главари далёкого от него государства «познают» Средиземноморье и своими эскадрами и своими историками, усердно работающими на американских хозяев.

Всех этих, с позволения сказать, историков и разоблачает в своей книге Е. Тарле, побывая их подлинными документами и свидетельствами современников.

Хочется надеяться, что все три исследования Е. Тарле, связанные с историей русских кампаний на Средиземном море, будут объединены в новом издании. Оно окажется вполне достойным русской морской Одиссеи.

Ю. ДАВЫДОВ.

Памятники русской культуры

„В старинной литературе нашей есть чему поучиться»,— писал А. М. Горький. Эти слова основоположника социалистического реализма вспоминаются, когда читаешь сборник, озаглавленный «Русская повесть XVII века». В книгу вошли тексты пятнадцати оригинальных произведений и их литературные переводы. Каждая повесть сопровождается вводной статьёй и примечаниями. В заключение дано обстоятельное послесловие.

В XVII столетии завершился процесс складывания русского централизованного государства. Мужественная, победоносная борьба русского народа с иноземными захватчиками, мощные крестьянские движения вызвали широкий подъём национального самосознания, следствием которого явился могучий взлёт отечественной культуры. Искусство этого периода было проникнуто гуманистическими началами, стремлением отойти от церковной схоластики, тягой к народному творчеству. Те же прогрессивные тенденции характерны и для русских повестей.

Многие из них были открыты и исследованы ещё в дореволюционный период. Однако внимание дворянских и буржуазных учёных было направлено преимущественно в сторону изучения традиционных элементов повести. Они неправомерно подчёркивали религиозные, церковные черты, якобы присущие всей русской повести XVII века.

Для советской историко-литературной науки характерно стремление по достоинству оценить эти самобытные произведения, показать их значение в развитии древнерусской литературы и — что особенно важно — выдвинуть новую проблематику изучения.

Повести сильнее и глубже, чем другие памятники русской культуры, отразили многообразие бурного XVII века. Лучшим из них присущи патриотические чувства, страстная публицистичность. Во многих повестях, особенно сатирических, отчётливо выражены антифеодалные настроения народа, его исконная ненависть к угнетателям-крепостникам.

Художественное своеобразие повестей обусловлено в значительной степени проникновением в них элементов устного народно-

поэтического творчества, их живой, меткой и образной русской речью.

Сборник открывается патриотической «Новой повестью о преславном Российском царстве», написанной в форме «подмётного письма». Этот ранний образец «потаённой» литературы призывает народ к борьбе против польских интервентов и бояр-изменников, что «со враги соединилися». К ней примыкает «Повесть о смерти воеводы М. В. Скопина-Шуйского», оплакивающая раннюю смерть талантливого полководца, отравленного, по преданию, завистниками-боярами.

Необычайно ярко, почти с документальной точностью отразила события 1637—1641 годов знаменитая «Повесть об Азовском осадном сидении». Прославление земли Русской, описание героической защиты Азова, близость к фольклору роднят её с такими жемчужинами древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве».

Основной темой «Повести о Савве Грудцыне», помещённой в сборнике, являются взаимоотношения старого и молодого поколений. Здесь впервые изображена жизнь частного человека, запечатлены некоторые бытовые черты.

Хорошо показаны и зло высмеяны нравы русских землевладельцев в «Повести о Фроле Скобееве». Герой её, «худородный» новгородский дворянин, промышленный писанин «ябед» и «кляуз», втирается в среду родовитого боярства, становится крупным вотчинником.

В этой весёлой, «лукавой» повести обрисован характерный для того времени процесс слияния в единое сословие двух прослоек класса землевладельцев. «Это чрезвычайно замечательная вещь. Все лица превосходны, и наивность слога трогательна»,— писал о ней И. С. Тургенев. «Повесть о Фроле Скобееве», как и о «Савве Грудцыне», с полным правом может быть названа зародышем русского национального романа.

Публикуемые в книге сатирические повести — о «Ерше Ершовиче», о «Шемякином суде», «Калязинская челобитная» — подвергают беспощадному разоблачению и осмеянию язвы тогдашней общественной жизни: самовольные захваты феодалами земель, на которых «сидели» крестьяне, беззаконное «похолопливание» и иное «насилство», «ха-

барничество» воевод и приказных, «криво-душие» и «лихоимство» судей, разгул и разврат значительной части духовенства.

Сатирическое направление, справедливо говорится в книге, было передовым идейным течением, выразившим возросшую активность низов русского общества. В. Г. Белинский подчёркивал, что в русской сатире XVII века «ярко отражается народный ум, народный взгляд на вещи и народный быт».

В состав сборника вошли также «Повесть о зачале царствующего града Москвы», поэтичная «Повесть о Тверском Отраче монастыре», построенная на сказочно-песенной и легендарной основе; «Повесть о купце», представляющая собой переработку популярной сказки, в сюжетную ткань которой вплетены реалистические штрихи, воспроизводящие купеческий быт конца столетия, и две повести муромского происхождения — «Об Ульянии Осорьиной» и «О Марфе и Марии», посвящённые «добрым жёнам».

Выбор произведений, включённых в сборник, следует признать удачным. Это действительно лучшие образцы повествовательной литературы XVII века, представленной во всём её разнообразии. Читатель найдёт здесь исторические, воинские, бытовые, сатирические и сказочные повести.

Благоприятное впечатление оставляет археографическая сторона издания. Тексты печатаются по наиболее исправленным спискам, близким к авторским подлинникам. В частности, «Калязинская челобитная» даётся по списку, публикуемому впервые.

Составителями проведена известная источниковедческая работа. В качестве примера можно указать на вдумчивое изучение И. Лапицким различных вариантов «Повести о Ерше Ершовиче». Буржуазное литературоведение замалчивало в этой острой сатире на крепостников факты отражения ожесточённой классовой борьбы, рассматривая произведение как шутливо-пародийное изображение суда второй половины XVII века. До последнего времени исследователи обрашались обычно к так называемой «первой редакции» повести. И. Лапицкий путём тщательного сопоставления текстов установил, что первая редакция не есть «старейшая» и что таковой является именно «вторая редакция» — «сатирическая», вошедшая в настоящий сборник.

В «Послесловии» следует отметить стремление автора по-новому осмыслить идейно-художественное содержание повестей, пока-

зать в них ту «живую струю» подлинной народности и патриотизма, которая, несмотря на трёхвековую давность, отделяющую нас от времени создания памятников, делает их близкими и понятными советскому читателю. Автор уделяет большое внимание повестям и как важному источнику для изучения истории русского литературного языка.

Вводные статьи и примечания к повестям также написаны дельно. Однако авторы отдельных статей, увлечённые стремлением показать в повести прогрессивные идеи, «находят» их иногда там, где они отсутствуют. Явно натянуто, например, утверждение М. Скрипиля о передовом характере «Повести о Савве Грудцыне», талантливый автор которой, мистически настроенный, проникнутый умилением перед «благонравием» и «благочестием» богатеев, был приверженцем старины. Если в своём прежнем исследовании М. Скрипиль ошибочно выводил сюжет повести из византийской традиции и рассматривал её автора как идеолога крупного купечества, то сейчас он ударяется в другую крайность.

Вряд ли можно согласиться с неожиданным выводом М. Скрипиля, что в оптимистических формах сказочного стиля «Повести о купце» автор её «выразил свою уверенность в торжестве нового (?) в русской действительности второй половины XVII века».

Не всегда достаточно дифференцированно применяется обязывающая характеристика — «демократическая повесть». К примеру, И. Лапицкий, справедливо прилагая эту оценку к отражающей народные чаяния и народную психологию антифеодальной «Калязинской челобитной», точно так же именует и «Новую повесть». Между тем автор последней — дворянин, сын боярский или приказный дьяк, — будучи патриотом, бичуя боярскую верхушку за измену родине, презирал «рабов и смердов», был типичным представителем интересов «средних слоёв» Москвы.

В настоящее время установлено, что автором «Повести об Азовском осадном сидении» был есаул Фёдор Порошин, в прошлом беглый холоп, крупный деятель донского казачества, приехавший вместе с «отпиской» о героической обороне Азова. Ему не удалось убедить царя Михаила Фёдоровича «принять» Азов. И после того, как город

был возвращён Турции, Порошин был сослан в Сибирь. В. Митрофанова в своей вводной статье, к сожалению, прошла мимо важного вопроса об авторстве замечательного памятника.

Общим недостатком, присущим научному аппарату издания, является отсутствие показа ведущей роли Москвы в литературе XVII века. Не раскрыто также влияние русской повести на развитие братских литератур — украинской и белорусской. Между тем в XVII веке, как известно, значительно усилились экономические, политические и культурные связи между Россией, Украиной и Белоруссией.

Во многих случаях ни в вводных статьях, ни в примечаниях не указываются подлинные названия повестей, и заголовки к ним, как правило, даются в книге в изменённом виде либо просто придуманы составителями. Вызывает возражение и датировка некоторых произведений, таких, например, как «Повесть о Савве Грудыцине» или «Повесть о Ерше Ершовиче».

Досадно, что высказывания В. Г. Белинского о русских повестях XVII века, обильно приведённые в вводных статьях, цитируются без ссылок на его произведения.

К сожалению, читатель не найдёт в книге разоблачения современных буржуазных, в частности американских, литературоведов. Между тем эти фальсификаторы истории по указке своих хозяев лезут вон из кожи, чтобы любыми средствами и способами извратить действительную ценность лучших образцов нашей отечественной культуры, принизить и охаять её. Достаточно сказать, что яркую и многообразную древнерусскую литературу американский «исследователь» Д. Герни глумливо представляет «дремучей тундрой, покрытой церковно-славянским мхом хроник и мирных договоров».

Сборник, несомненно, привлечёт внимание читателей, интересующихся историческим прошлым нашей Родины.

Кандидат исторических наук
А. НИКОЛАЕВА.

★

Записки натуралистов Арктики

Ещё сравнительно недавно Арктику называли «царством холода», «страной ледяного молчания», «мёртвой пустыней». В наши дни столь безнадежные эпитеты уже неуместны. Северные окраины живут теперь единой жизнью со всей великой страной, и огни социализма ярко светят на берегах Ледовитого океана, в тундровых и таёжных просторах заполярной глухомани.

Но сурова Арктика. Условия работы в ней намного труднее, чем в средних широтах. Человек здесь сталкивается со многими сложными особенностями природы, наблюдает явления, необычные для центральных областей страны. Естественно, он ищет объяснения им, хочет знать причины, их вызывающие. Молодым полярникам, которых с каждым годом становится всё больше и больше, эти знания необходимы не только для осмысливания происходящего вокруг, но и для применения их на практике. В этом должна помочь умная книга. Кроме полярников, существует обширный контингент читателей — учащихся, педагогов, на-

туралистов и всех тех, кто интересуется природой своей необъятной страны. Вот почему можно только приветствовать выход двух научно-популярных работ известных советских биологов — «В высоких широтах» Л. И. Леонова и «По арктической тундре» В. М. Сдобникова.

Оба автора — опытные исследователи, много лет проработавшие за Полярным кругом — повествуют о своих наблюдениях над «живой» и «неживой» природой тех краёв, попутно рассказывая отдельные эпизоды из своих странствований по северным морям, рекам и островам.

Книги эти написаны по-разному, иногда о различных явлениях. Но оба автора хорошо знают и, главное, любят Арктику, её величественную, суровую, порой удивительно нежную красоту.

Разнообразие тем и вопросов, освещённых в книге «В высоких широтах», позволяет судить о многогранности интересов её автора, о его пытливости, горячем стремлении проникнуть в тайны арктической природы. Эту черту отмечают все, кто близко общался с ныне покойным Л. И. Леоновым.

О кругозоре учёного свидетельствуют его научные труды, в своё время опубликованные в специальных изданиях. Характер-

Л. И. Леонов. «В высоких широтах. (Записки натуралиста)». Географгиз, М. 1954.
В. М. Сдобников. «По арктической тундре. (Очерки натуралиста)». Географгиз, М. 1953.

но, что работы Л. И. Леонова по изучению различных районов Севера, по биологии морского и пушного зверя, орнитологии, физической географии, геоморфологии, гидрологии, климатологии, помимо научно-теоретического интереса, представляют большую практическую ценность при решении важных народнохозяйственных задач.

Книга «В высоких широтах» — это фрагменты из дневников и путевых записей Л. И. Леонова. Написана она простым, лаконичным, порой даже слишком скупым языком. Очерки «Гиганты ледниковой эпохи», «Стволы деревьев в арктической тундре», «Чудесный» айсберг» представляют собой всего лишь описания определённых фактов с краткими, исчерпывающими выводами. Однако кажущаяся сухость изложения ничуть не ослабляет интереса читателя, настолько ясное и простое объяснение даёт автор самым необычным вещам.

Вот, к примеру, очерк «Красный снег», рассказывающий об одном удивительном явлении природы, долгое время поражавшем полярных исследователей. Вид снега, окрашенного в несвойственные для него цвета, вызывал суеверный ужас у древних мореходов. Причина этого явления — присутствие в снегу несметного количества мельчайших растительных организмов, так называемых снежных водорослей, — была установлена и до Л. И. Леонова. Однако он не удовлетворился этим. Исследуя снежные водоросли, учёный установил, что интенсивность и тон окраски снега находятся в прямой зависимости от солнечной радиации. Читатель, сопутствующий автору в его исканиях и размышлениях, удивляется не только этому открытию. Оказывается, клетки снежной водоросли при отсутствии каких-либо видимых средств защиты от исключительно низких температур воздуха прекрасно сохраняют жизнеспособность в течение долгой и суровой полярной зимы.

Жизнь существует повсюду, даже на самых высоких широтах, доказали советские исследователи. Своими открытиями они опровергли утверждение Ф. Нансена о полной безжизненности центральной части арктического бассейна, этой, по словам норвежского путешественника, «пустыни в океане». Седовцы, папанинцы, а ныне участники высокоширотных экспедиций, находящихся на дрейфующих льдинах в центре полярного бассейна, наблюдали и наблюдают в непосредственной близости к Северному полюсу

не только цветение фитопланктона и существование микроскопических организмов, но и встречали там пуночек, чаек, тюленей, белых медведей.

Л. И. Леонов рассказывает в своих записках об «ухищрениях» растений, насекомых, животных, борющихся за жизнь в суровых условиях Крайнего Севера. Весьма любопытен, например, очерк «Природные подснежные парнички». Автор отмечает, что весной, когда ещё стоят суровые морозы, на дальких северных островах можно встретить участки почвы, где под ледяной коркой наста уже зеленеет трава, набухают и распускаются бутоны полярного мака. В чём же дело? Оказывается, горные породы, слагающие остров, поглощая солнечное тепло, отдают его растению. Снег снизу подтаивает, и над растениями образуется камера — естественный парничок с льдинкой сверху вместо стекла. Благодаря подобным парничкам распространённое в тундрах растение — сиверсия удлиняет свой вегетационный период на две-три недели по сравнению с другими растениями.

А вот такой интересный факт. Базальтовая глыба, излучая тепло поглощённых солнечных лучей, создаёт условия для существования на 81 градусе северной широты.. комаров. Причём, насекомые держатся лишь в зоне тёплого воздуха, нагреваемого глыбой. Это ли не удивительно!

Л. И. Леонов не случайно считается одним из лучших знатоков пернатого населения Арктики. В этом убеждаешься, знакомясь с его очерками «Нападение крачек», «Полярные чистики», «Фомка-разбойник», в которых автор не без юмора рассказывает о своей неудавшейся охоте на маленьких но отважных крачек, о сугубо «спартанских» условиях выведения чистиками птенцов и о «разбойничьих» повадках короткохвостых поморников.

Большой интерес представляет очерк «Розовые чайки» — о редких птицах, которые, по поэтическому описанию известного советского зоолога-североведа С. А. Бутурлина, сохранили в своём оперении «отблеск бесконечных зорь и прекрасных северных сияний своей морозной родины». Читателю невольно передаётся восторженная взволнованность учёного, после долгих лет исканий увидевшего наконец этих замечательных птиц. «Если полярный исследователь Нансен, забыв все горести и трудности пути, при виде розовых чаек пустился в

пляс, — пишет Л. И. Леонов, — то я не в состоянии был тронуться с места при виде открывшейся предо мной сказочной, незабываемой картины».

У читателя невольно возникает вопрос: уж не розовые ли чайки послужили прототипом волшебной жар-птицы русских сказок, неуловимой птицы невиданной красоты, со сверкающими перьями, в образе которой наши предки воплотили мечту о счастье?

Очерки об арктических животных — нерпах, белых медведях, моржах — менее оригинальны. Описание повадок этих представителей животного мира Арктики встречается в книгах многих полярных исследователей. Исключение составляет очерк «Хищные моржи», в котором автор впервые даёт объяснение этому патологическому явлению в животном мире. Известно, что моржи — одни из самых крупных и вместе с тем самых мирных и безопасных обитателей арктических морей. Однако среди них встречаются хищники (на Чукотке их называют «келючи»), нападающие не только на морских животных и птиц, но даже на охотничьи вельботы. О таком, чуть не кончившемся плачевно, столкновении с «келючем» и рассказывает автор.

В книге Л. И. Леонова говорится ещё о многом, столь же необычном и занятном. И тем не менее это далеко не всё, что в своё время написал учёный в дневниках, которые, как сказано в предисловии, «из-за удивительной скромности их автора редко перед кем открывались». Большинство ценных наблюдений, заметок исследователя до сих пор остаётся под спудом. Хочется верить, что Арктический научно-исследовательский институт, сотрудником которого был Л. И. Леонов, найдёт возможность собрать, изучить и издать его научное наследство.

Автор очерков «По арктической тундре» В. М. Сдобников также посвятил свою жизнь изучению природы Русского Севера. Этим он занимается на протяжении двадцати с лишним лет, из которых большая часть проведена за Полярным кругом. Учёный бродил по Кольской, Печорской, Ямальской и Таймырской тундрам, кочевал с оленьими стадами, плавал в лодке по стремительным речкам, зимовал на полярных станциях.

«С ружьём, биноклем, фотоаппаратом и, конечно, с записной книжкой, стараясь всё подметить, записать, понять и объяснить

жизнь малоизученной живой природы Севера, я, — пишет В. М. Сдобников в предисловии к своей книге, — исходил по тундре не одну тысячу километров.

За время этих путешествий у меня накопилось много разных наблюдений. Меня интересовали дикие звери и птицы тундры, их образ жизни, повадки и привычки; мне хотелось бы поделиться своими наблюдениями не только с людьми родственной специальности — биологами, но со всеми, кто любит живую природу Севера, кого волнуют её тайны и загадки и кто стремится их познать и раскрыть».

Книга В. М. Сдобникова «географически» ограничивается лишь полосой тундры. Но это нельзя поставить автору в вину, если вспомнить, что тундры нашей Родины занимают свыше трёх миллионов квадратных километров — почти одну седьмую часть площади СССР. Что же касается разнообразия тем, освещённых автором, то круг их достаточно обширен.

В первых четырёх очерках («Тундровые просторы», «Весна света», «Весна воды. Лето в тундре», «Осень и зима»), составляющих в сущности единый цикл, В. М. Сдобников удивительно верно передаёт картины арктической тундры с характерными для каждого времени года особенностями. Создав таким образом общий фон, он в других очерках, с глубоким знанием дела, оперируя многими новыми, неизвестными ранее фактами, повествует о жизни, борьбе за существование и повадках животных и птиц, населяющих тундру.

Характерно, что исследователь рассматривает природу с позиций мичуринской биологии — не изолированно, а во взаимосвязи между собой, между животными и растениями и окружающими их внешними условиями существования. Автор приводит, в частности, пример зависимости самых отдалённых видов от тундровых грызунов.

«Не будет преувеличением сказать, — пишет В. М. Сдобников, — что если бы не было в тундре леммингов, исчезли бы или очень сократились в числе песцы, горностаи, белые совы, канюки, поморники, чайки, а это, в свою очередь, привело бы к тому, что куропаток, гусей, гаг, уток, куликов и других птиц, гнёзда которых разоряют вышеперечисленные виды, стало бы значительно больше. Это обстоятельство, несомненно, увеличило бы количество таких хищников, как сапсан, кречет и другие, живу-

щих за счёт птиц. В результате появилось бы много хищных птиц на местах зимовок куропаток, гаг, уток, гусей, куликов и других птиц. Таким образом, исчезновение леммингов отразилось бы на животном мире даже тех стран, которые отстоят от тундры на многие тысячи километров».

Можно процитировать ещё множество других интересных мест из книги В. М. Сдобникова, но тогда пришлось бы её цитировать почти целиком.

★

Заслуженные победы

Минувший год был большим шахматным годом. Календарь крупнейших соревнований был настолько уплотнён, что любители шахмат во всех странах мира то и дело настраивали свои радиоприёмники на «шахматную волну», а утром, разворачивая свежие номера газет, прежде всего искали новые известия об очередной шахматной битве.

Одна особенность была свойственна всем этим известиям, будь то сообщения из различных стран Европы или из США, из Аргентины. Всюду, где в состязаниях участвовали наши соотечественники, их имена всегда назывались как имена победителей. А в крупнейшем соревновании года — матче за первенство мира — оба соперника были советскими гражданами.

В чём же причина этого небывалого ещё в шахматной истории явления, когда представителям одной страны принадлежат все самые высокие достижения? Чем объяснить, что в области шахмат «русские убежали далеко вперёд и их трудно будет догнать», — как писала одна голландская газета во время XI шахматной олимпиады?

Убедительный ответ на этот вопрос даёт сборник «Советские шахматисты в борьбе за первенство мира», составленный международным мастером М. Юдовичем. В книге помещены работы ряда наших виднейших шахматистов. Удачно подобранный материал, а также сохранение единства стиля этого сборника являются одним из его бесспорных достоинств.

По характеру своего содержания книга заметно выделяется среди других, посвящённых шахматам и трактующих какие-

Очерки Л. И. Леонова и В. М. Сдобникова — это взволнованный рассказ о борьбе советских людей за познание родной земли. За каждой строчкой, за каждым описанным ими фактом, за каждым сделанным ими заключением читатель видит облик советского человека, неутомимого, пытливого, ищущего, любящего свою великую Родину и во имя этой любви готового на любой подвиг.

Н. БОЛОТНИКОВ.

нибудь отдельные темы или события шахматной жизни. Она охватывает ряд значительных по своим масштабам и целям соревнований, происходивших на протяжении нескольких лет (1948—1952). Итоги этих встреч должны были внести ясность в такие актуальные в то время проблемы: кто является сильнейшим шахматистом мира и команда какой страны представляет собой сильнейший шахматный коллектив.

Книга воскрешает в памяти беспрецедентный случай, когда шахматный мир остался без чемпиона. В 1946 году скорострительно скончался первый русский чемпион мира А. Алёхин — в тот момент, когда был почти окончательно решён вопрос о его матче с чемпионом СССР М. Ботвинником. Несколько раньше — в 1944 году — в Англии погибла от фашистского снаряда бессменная чемпионка мира В. Менчик.

Крупнейшие международные победы лучших представителей советской шахматной школы давно уже утвердили их авангардную роль в мировом шахматном искусстве. Период с 1948 по 1952 год характеризуется не только новыми большими победами наших мастеров, но и тем, что за ними были официально закреплены почётные звания чемпиона мира, чемпионки мира и командного (олимпийского) чемпиона мира. Рассказ об этом и составляет основное содержание книги.

Вступительная статья В. Виноградова «За массовость и мастерство» раскрывает основы успехов советского шахматного движения, его подлинную народность, неразрывную связь с передовой культурой. Массовость — это та наглядная черта, которая прежде всего отличает советскую шахматную организацию от шахматных организаций капиталистических стран.

«Советские шахматисты в борьбе за первенство мира». Издательство «Физкультура и спорт», М. 1954.

Древняя шахматная игра обрела в Советской стране новое качество — качество определённой общественной полезности. У нас созданы самые благоприятные условия, обеспечивающие непрерывный прогресс шахматного искусства. Поэтому естественна та большая ответственность, которую чувствуют наши шахматисты, защищая спортивную честь своей Родины. «Мы высоко ценим те возможности, которые предоставляет нам наше государство, правительство, наша Коммунистическая партия. Никогда в истории ещё не изучали шахматы столь серьёзно, не играли с такой энергией, как играют сейчас советские мастера. Для нас — это сама творческая жизнь». Эти слова, принадлежащие чемпиону мира М. Ботвиннику, выражают мнение всех советских шахматистов.

Переигрывая помещённые в книге партии, убеждаешься в высоком накале шахматной мысли наших мастеров, в глубине и дальновидности их замыслов. На помощь читателю приходят и примечания, которыми щедро снабжены партии. Комментарии широкого плана, как бы вводящие читателя в творческую лабораторию шахматиста, имеются, например, в живо написанном гроссмейстером Д. Бронштейном очерке «Решающий этап». Запоминается разбор партии Д. Бронштейн — М. Найдорф, где выразительно противопоставлена творческая, нестандартная оценка позиции советскими гроссмейстерами несколько догматическому подходу к партии, свойственному западноевропейским и американским шахматистам.

В начале сборника рассказывается о матч-турнире 1948 года на звание чемпиона. Среди пяти участников трое были советскими гроссмейстерами. Первое место уверенно завоевал М. Ботвинник, вторым был В. Смыслов, третье и четвёртое места поделили П. Керес и С. Решевский, последним был М. Эйве. Это выдающееся соревнование знаменовало собой начало новой эры шахматной истории. Советская шахматная школа блестяще доказала правоту своих творческих установок, своей системы взглядов на сущность шахматного искусства и пути его развития.

Первыми гроссмейстерами, получившими право вступить в единоборство с Ботвинником, были Бронштейн и Смыслов. Как известно, оба эти матча закончились ничью, и Ботвинник сохранил своё звание чемпиона мира.

Советские шахматисты установили прочную традицию: занимать в международных соревнованиях почти все призовые места. В Стокгольме в 1948 году ими было занято четыре места из пяти. То же самое произошло в матч-турнире в Будапеште в 1950 году. Ещё успешнее наши шахматисты сыграли во втором межзональном турнире в Стокгольме в 1952 году, где пятеро представителей СССР заняли все пять призовых мест. Этот результат был повторён на международном турнире в Бухаресте в 1953 году.

Во второй части книги рассказывается об успехах советских шахматисток. Нужно сказать, что интерес русских женщин к шахматам и раньше был высок, но в условиях царской России он ограничивался преимущественно узким семейным кругом. Даже о скромном участии какой-либо женщины, скажем, в сеансе одновременной игры шахматная печать того времени сообщала, как о сенсации. Свидетельство того, что женщины-шахматистки были не так уж редки, находим у Пушкина, бывшего большим любителем шахмат. В письме к жене он писал: «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься». Мы помним описание партии между Ольгой Лариной и Ленским в «Евгении Онегине». В 1891 году «Шахматный журнал» писал: «Шахматной игрой русская публика стала больше заниматься. Подвиги М. И. Чигорина за границей в матчах и турнирах породили такое увлечение между шахматистами, какого в России ранее не бывало». Даже женщины, говорилось далее, немало занимаются шахматами.

Ныне в СССР активное участие в шахматном движении принимают сотни тысяч женщин — и не только в городах, но и в колхозной деревне. Регулярно проводятся многочисленные женские соревнования, завершающиеся женскими чемпионатами СССР. Наиболее сильным женщинам-шахматисткам присвоено звание мастеров спорта.

В начале 1950 года в Москве закончилось первенство мира среди женщин. В нём участвовали представительницы двенадцати стран. Все наши четыре шахматистки уверенно заняли первые места. Звание чемпионки мира завоевала Л. Руденко.

Из заключительной части книги читатель узнаёт о том, как команда СССР стала олимпийским чемпионом. Это произошло в августе 1952 года в Хельсинки, где было проведено X командное первенство мира

(в предыдущих соревнованиях шахматисты СССР участия не принимали).

На X олимпиаде команда СССР заняла первое место, опередив команды двадцати четырёх стран. Недавно закончившаяся XI олимпиада снова принесла убедительную победу советским гроссмейстерам, ещё на большее, чем в прошлый раз, число очков опередившим своих соперников. Уместно заметить, что команда США, несколько раз занимавшая на олимпиадах первое место (когда в них не участвовала команда СССР), на X олимпиаде была лишь пятой, а от участия в XI олимпиаде вообще отказалась.

В приложениях к книге приведены результаты шахматных соревнований, начиная с 1945 года (радиоматч СССР — США), не входивших в программу официальных соревнований на первенство мира, список ведущих советских шахматистов и дан различный справочный материал.

Несколько слов о недостатках книги. Сразу же бросается в глаза, что в ней отсутствует шахматный материал, относящийся к 1953 году, если не считать нескольких строк о турнире в Будапеште и портрета Е. Быковой, завоевавшей в 1953 году звание чемпионки мира. А ведь её матч с Л. Руденко закончился за два месяца

до подписания книги к печати и должен был получить в ней отражение.

Значительная задержка с выходом книги повела и к тому, что в ней кое-где не учтены последние теоретические изыскания. К слову сказать, издательство «Физкультура и спорт» отстаёт от бурно развивающейся шахматной жизни в нашей стране — и в смысле количества выпускаемых изданий и в смысле своевременности их выхода в свет.

В книге имеются некоторые повторения, особенно когда речь идёт об общих вопросах, например, о развитии шахмат в СССР, о возникновении новой системы розыгрыша звания чемпиона мира и т. д. В примечаниях встречаются отдельные технические ошибки (например, к партии Р. Бирн—Б. Слива).

Жаль, что среди авторов сборника мы не находим М. Ботвинника и В. Смыслова. Между тем их участие в этой работе было бы встречено шахматной общественностью с большим и заслуженным интересом.

Борьба советских шахматистов за первенство в мире увенчалась заслуженной победой. Читатель ждёт появления новых книг, рассказывающих о дальнейших успехах советской шахматной школы.

А. ИГЛИЦКИЙ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Десятилетие договора о союзе и взаимной помощи между СССР и Французской Республикой. 36 стр. Цена 30 к.

Л. Я. Берри, К. И. Клименко. Механизация производства в тяжёлой промышленности СССР. 222 стр. Цена 3 р. 50 к.

Б. И. Брагинский, Н. С. Коваль. Организация планирования народного хозяйства СССР. 392 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Воронович. Аграрная программа КПСС и её осуществление в СССР. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

И. А. Геевский. Расистская политика американского империализма. 248 стр. Цена 4 р.

Г. Глезерман. КПСС — руководящая сила социалистического государства. 64 стр. Цена 75 к.

Р. П. Дадыкин. Начало массового социалистического соревнования в промышленности СССР. 224 стр. Цена 3 р. 70 к.

М. С. Драгилев. Противоречия между империалистическими державами на современном этапе. 152 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Ефремов. Французский народ в борьбе за мир и демократию. 112 стр. Цена 1 р. 10 к.

Конгресс народов в защиту мира. Вена 12—19 декабря 1952 года. 1112 стр. Цена 14 р. 30 к.

Б. Кузнецов. Аграрный вопрос в современной Франции. 224 стр. Цена 2 р. 70 к.

Б. Л. Леонтьев. Внешняя политика Советского государства — политика мира. 88 стр. Цена 80 к.

И. Я. Подкопаев. Восстановление мира в Индо-Китае — крупная победа миролюбивых сил. 56 стр. Цена 65 к.

В. Сторожев. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалистической революции. 216 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Г. Ткаченко. Советский социалистический строй — подлинно народный. 56 стр. Цена 50 к.

Украинские революционные демократы. 304 стр. Цена 5 р. 35 к.

Я. Г. Фейгин. Размещение производства при капитализме и социализме. 552 стр. Цена 8 р. 30 к.

В. Чепраков. Обострение противоречий между капиталистическими странами. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Галин. Чудесная сила. Очерки. 496 стр. Цена 11 р. 50 к.

Б. Лавренёв. Пьесы. 516 стр. Цена 12 р. 15 к.

А. Малышко. Книга братьев. Перевод с украинского. 112 стр. Цена 2 р. 15 к.

Н. Мацуев. Советская художественная литература и критика. 1952—1953 гг. Библиография. 300 стр. Цена 11 р. 50 к.

А. И. Одоевский. Стихотворения. (Библиотека поэта. Малая серия). 212 стр. Цена 4 р. 15 к.

В. Саянов. Лена. Роман. 656 стр. Цена 11 р. 15 к.

С. Чиковани. Новые стихи. Перевод с грузинского. 136 стр. Цена 2 р. 20 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Аристофан. Комедии. В двух томах. Перевод с древнегреческого. Том 1. 451 стр. Цена 10 р. Том 2. 504 стр. Цена 10 р. 55 к.

С. Борзенко. Повинуясь законам Отечества. Повести и очерки. 608 стр. Цена 11 р.

Жюль Верн. Собрание сочинений в двенадцати томах. Перевод с французского. Том 1. 712 стр. Цена 12 р.

Ярослав Гашек. Рассказы. Фельетоны. Перевод с чешского. 227 стр. Цена 2 р. 60 к.

О. Генри. Избранные произведения в двух томах. Перевод с английского. Том 1. 479 стр. Цена 7 р. 50 к. Том 2. 582 стр. Цена 8 р. 85 к.

Вашингтон Ирвинг. Новеллы. Перевод с английского. 312 стр. Цена 6 р. 75 к.

В. Каян. Обездоленные войной. Роман. Перевод с чешского. 236 стр. Цена 3 р. 80 к.

В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах. Том 7. История моего современника. 455 стр. Цена 10 р. 50 к.

Б. Лавренёв. Срочный фрахт. 34 стр. Цена 35 к.

М. М. Морозов. Избранные статьи и переводы. 596 стр. Цена 14 р. 10 к.

В. Озеров. Образ коммуниста в советской литературе. Литературно-критические очерки. 275 стр. Цена 7 р. 20 к.

П. А. Павленко. Собрание сочинений в шести томах. Том 4. Пьесы и киносценарии. 376 стр. Цена 10 р.

Ромен Роллан. Собрание сочинений в 14 томах. Перевод с французского. Том 2. Жизни великих людей. 372 стр. Цена 9 р.

Сибгат Хаким. Стихотворения и поэмы. Авторизованный перевод с татарского. 151 стр. Цена 5 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Беляев, М. Рудницкий. Под чужими знамёнами. 208 стр. Цена 6 р. 10 к.

И. Горелик. Первые страницы. Очерки о творчестве советских инженеров. 232 стр. Цена 5 р. 10 к.

Валентин Иванов. Возвращение Ибадуллы. Роман. 312 стр. Цена 7 р. 60 к.

Ярослав Иоселиани. Записки подводника. Литературная обработка Ильи Кремлива. 288 стр. Цена 5 р. 80 к.

М. Ильин. Человек и стихия. 336 стр. Цена 6 р. 75 к.

И. Касумов, Г. Сеидбейли. На дальних берегах. Повесть. 256 стр. Цена 6 р. 90 к.

Анатолий Калинин. Красное знамя. Роман. 296 стр. Цена 7 р. 90 к.

А. Котовщикова. История одного сбора. Повесть. 100 стр. Цена 2 р.

Б. Ляпунов. Открытие мира. 160 стр. Цена 5 р. 75 к.

Константин Локотков. Содружество. 352 стр. Цена 7 р. 80 к.

Вилис Лацис. Потерянная родина. Роман. 312 стр. Цена 6 р. 80 к.

Илья Маркин. На берегах Дуная. Роман. 511 стр. Цена 10 р. 20 к.

Галина Николаева. Повесть о директоре МТС и главном агрономе. 168 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. В. Обручев. В неизведанные края. Путешествия на Север. 1917—1930 гг. 272 стр. Цена 8 р. 10 к.

В. Сафонов. Люди великой мечты. 424 стр. Цена 9 р. 30 к.

А. Твардовский. Стихотворения и поэмы. 600 стр. Цена 15 р. 75 к.

Геннадий Фиш. Человек создаёт землю. 224 стр. Цена 5 р. 40 к.

ДЕТГИЗ

Э. Аленик. Далёкое путешествие. Повесть. 216 стр. Цена 4 р. 75 к.

Г.-Х. Андерсен. Сказки. 128 стр. Цена 3 р.

С. Антонов. Зелёный дол. Повесть. 80 стр. Цена 2 р. 35 к.

Н. Бобров. Сокол. Повесть. 432 стр. Цена 9 р. 90 к.

Г. Брянцев. Следы на снегу. Повесть. 256 стр. Цена 6 р. 40 к.

Э. Вилде. Человек закона. Рассказы. Перевод с эстонского. 160 стр. Цена 3 р. 30 к.

Возрождённая земля. Стихи и рассказы белорусских писателей. 464 стр. Цена 7 р. 10 к.

А. Голубева. Клаша Сапожкова. Повесть. 88 стр. Цена 2 р. 30 к.

Г. Гулиа. На земле Яна Гуса. 176 стр. Цена 4 р. 10 к.

М. Ефетов. Капитаны стальных кораблей. 165 стр. Цена 3 р. 55 к.

Д. Жмер. Стёжки-дорожки. Повесть. Перевод с украинского. 128 стр. Цена 3 р. 45 к.

Б. Изюмский. Ханский ярлык. Историческая повесть. 104 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Инбер. Как я была маленькая. 114 стр. Цена 7 р. 20 к.

А. Кардашова. Маленькие товарищи. 32 стр. Цена 2 р. 35 к.

А. Кожезников. По тундрам, лесам, степям и пустыням. 184 стр. Цена 6 р. 40 к.

П. Лопатин. Москва. Очерки по истории великого города. Часть первая. 436 стр. Цена 14 р. 15 к.

Р. Михайлов. Наш друг из далёкой страны. Повесть. 328 стр. Цена 5 р. 55 к.

В. Мезенцев. Вода вокруг нас. 80 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Немцов. Тень под землёй. Рассказы. 240 стр. Цена 6 р. 30 к.

Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей. 168 стр. Цена 5 р. 40 к.

Л. Пантелеев. Весёлый трамвай. Сказки, стихи, рассказы. 88 стр. Цена 4 р. 35 к.

К. Ползикова-Рубец. Они учились в Ленинграде. Дневник учительницы. 168 стр. Цена 3 р. 65 к.

М. Прилежаева. Над Волгой. Роман. 190 стр. Цена 3 р. 95 к.

Рассказ за рассказом. Избранные рассказы советских писателей. Книга 1. 288 стр. Цена 5 р. 5 к.

Сабир. Сатиры и басни. Перевод с азербайджанского. 80 стр. Цена 80 к.

Н. Саконская. Стихи, песни, поэмы. 128 стр. Цена 2 р. 80 к.

В. Смирнова. С. Я. Маршак. Критико-биографический очерк. 80 стр. Цена 1 р. 5 к.

Ц. Солодарь. У лесного озера. Пьеса. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Тихонравов. Рассказы о нефти. 240 стр. Цена 5 р. 10 к.

Е. Тругнева. Родные голоса. Стихи. 136 стр. Цена 4 р. 90 к.

Г. Фаст. Тони и волшебная дверь. Повесть. Перевод с английского. 88 стр. Цена 2 р. 15 к.

Шолом-Алейхем. Мальчик Мотл. Перевод с еврейского. 100 стр. Цена 2 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Б. А. Айзин. Подъём рабочего движения в Германии в начале XX века (1903—1906). 395 стр. Цена 17 р. 75 к.

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Том V. Статьи и рецензии. 1841—1844. 862 стр. Цена 20 р.

П. Г. Бейлин. Георгий Фёдорович Морозов — выдающийся лесовод и географ (1867—1920). 174 стр. Цена 3 р.

Е. А. Будилова. Учение И. М. Сеченова об ощущении и мышлении. 203 стр. Цена 9 р.

С. И. Вавилов. Собрание сочинений. Том I. Работы по физике, 1914—1936. 450 стр. Цена 23 р.

А. И. Герцен. Собрание сочинений. Том III. Дилетантизм в науке.— Письма об изучении природы. 1842—1846. 360 стр. Цена 15 р.

М. А. Гречев. Империалистическая экспансия США в странах Латинской Америки после 2-й мировой войны. 263 стр. Цена 11 р.

Я. Д. Дмитрико. Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко. 170 стр. Цена 6 р. 50 к.

Д. И. Менделеев. Работы по сельскому хозяйству. 620 стр. Цена 23 р.

Н. Н. Миклухо-Маклай. Собрание сочинений. Том V. Рисунки и этнографические коллекции. 461 стр. Цена 24 р.

Народы мира. Этнографические очерки. Народы Африки. 731 стр. Цена 40 р.

А. И. Недорезов. Аграрные преобразования в народно-демократической Чехословакии. 214 стр. Цена 9 р. 90 к.

В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 485 стр. Цена 15 р.

А. И. Ноткин. Материально-производственная база социализма. 306 стр. Цена 13 р. 50 к.

Очерки истории русской советской литературы. Часть I. 374 стр. Цена 11 р.

Очерки истории русского советского драматического театра. Том I. 1917—1934. 781 стр. Цена 50 р.

А. И. Петров. Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель. 103 стр. Цена 4 р.

Д. И. Розенберг. Очерки развития экономического учения Маркса и Энгельса в 40-е годы XIX века. 324 стр. Цена 14 р. 60 к.

А. А. Сангалов. Империалистическая борьба за источники сырья. 586 стр. Цена 25 р. 50 к.

М. Б. Храпченко. Творчество Гоголя. 627 стр. Цена 18 р. 70 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Берёзко. Мирный город. Книга 2-я. 294 стр. Цена 6 р. 25 к.

А. Д. Борисов. Одесса — город-герой. 78 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Ф. Буянов. Химия на службе человека. 170 стр. Цена 2 р. 50 к.

Во славу Советской Родины. Примеры доблести и героизма советских воинов. 343 стр. Цена 8 р. 55 к.

Г. Гайдовский. Герой Советского Союза Иван Голубец. 88 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Глуховский. Герой Советского Союза В. А. Лынный. 58 стр. Цена 1 р. 5 к.

История военно-морского искусства. Том II. Военно-морское искусство капиталистического общества до эпохи империализма. 264 стр. Цена 12 р. 90 к.

П. С. Нахимов. Документы и материалы. («Материалы по истории русского флота. Русские флотоводцы»). 831 стр. Цена 32 р. 60 к.

М. И. Наумов. Хинельские походы. 400 стр. Цена 7 р. 95 к.

А. Чурбанов. Герой Советского Союза Николай Фильченков. 94 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. И. Шустов. Путь советского парашютизма. 120 стр. Цена 3 р. 20 к.

ГЕОГРАФИЗ

А. Г. Банников. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай. 52 стр. Цена 80 к.

Н. Болотников. Никифор Бегичев. 262 стр. Цена 4 р. 45 к.

А. А. Борзов. Географические работы. 523 стр. Цена 18 р. 30 к.

Н. А. Гвоздецкий. Карст. 350 стр. Цена 10 р. 85 к.

В. Г. Гончаров. Ф. И. Соймонов — первый русский гидрограф. 31 стр. Цена 75 к.

Э. Д. Жибицкая. Швеция. 365 стр. Цена 11 р. 10 к.

Н. Н. Зубов. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. 474 стр. Цена 23 р. 70 к.

Г. Д. Кулагин. География промышленности Италии. 364 стр. Цена 10 р. 70 к.

С. И. Помазанов. Промышленность Румынской Народной Республики и её размещение. 231 стр. Цена 7 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роберто Батталья. История итальянского движения сопротивления. Перевод с итальянского. 658 стр. Цена 24 р. 40 к.

А. Запотоцкий. Красное зарево над Кладно. Роман. Перевод с чешского. 422 стр. Цена 12 р. 55 к.

Куба. Избранное. Перевод с немецкого. 238 стр. Цена 7 р. 85 к.

Виджай Кумар. Англо-американский заговор против Кашмира. Сокращённый перевод с английского. 251 стр. Цена 4 р. 75 к.

Дж. Луццатто. Экономическая история Италии. Перевод с итальянского. 454 стр. Цена 17 р. 25 к.

Жорж Маньян. Там, где больше трава не растёт. Роман. Перевод с французского. 223 стр. Цена 5 р. 90 к.

Канда Масао, Кубота Ясутаро. В японской деревне Утинада. Борьба против военных баз. Перевод с японского. 262 стр. Цена 6 р. 90 к.

М. Мушкат. Интервенция — преступное орудие политики США. Перевод с польского. 200 стр. Цена 6 р. 60 к.

Общественные деятели Англии в борьбе за передовую идеологию. Сборник сокращённых переводов с английского. 318 стр. Цена 13 р. 75 к.

Джеймс Олдридж. Охотник. Перевод с английского. 206 стр. Цена 5 р. 25 к.

Поднимаясь к новой жизни. Современная немецкая поэзия. 1945—1953. Перевод с немецкого. 411 стр. Цена 10 р. 40 к.

Поэты — лауреаты Народной Польши. Том I. Перевод с польского. 496 стр. Цена 12 р. 70 к.

Х. Радевский. Басни. Перевод с болгарского. 63 стр. Цена 1 р. 15 к.

Э. Рассел. Проклятие свастики. Перевод с английского. 274 стр. Цена 5 р. 40 к.

Эд Рейд. Позор Нью-Йорка. Сокращённый перевод с английского. 108 стр. Цена 3 р. 25 к.

Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи. История Индии. Перевод с английского. 440 стр. Цена 24 р. 95 к.

Сяо Сань (Эми Сяо). Избранное. Авторизованный перевод с китайского. 215 стр. Цена 5 р. 60 к.

Тэру Такакура. Воды Хаконэ. Исторический роман. Перевод с японского. 278 стр. Цена 7 р. 50 к.

«ИСКУССТВО»

Башкирская советская драматургия. 329 стр. Цена 11 р. 20 к.

Государственная Оружейная палата Московского Кремля. 576 стр. Цена 90 р.

Н. Зоркая, А. Д. Попов. 275 стр. Цена 16 р.

Вл. Немирович-Данченко. Театральное наследие. Том II. Избранные письма. 639 стр. Цена 17 р. 75 к.

Переписка Крамского. Том II. Переписка с художниками. 667 стр. Цена 38 р. 70 к.

Пьесы советских писателей. Том V. 683 стр. Цена 17 р. 50 к.

Русское искусство. Первая половина XIX века. 742 стр. Цена 53 р. 80 к.

Русское советское искусство. 132 стр. Цена 10 р. 90 к.

А. Соколова. Идеи и образы советской драматургии. 329 стр. Цена 17 р. 15 к.

К. С. Станиславский. Собрание сочинений. Том II. 422 стр. Цена 16 р.

Назым Хикмет. Пьесы. 322 стр. Цена 11 р. 65 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

Археологические памятники Москвы и Подмосковья. Сборник статей. 154 стр. Цена 6 р.

М. Ю. Барановская. Декабрист Николай Бестужев. 296 стр. Цена 9 р. 65 к.

А. Ганин. Общественное хозяйство — основа благосостояния колхоза и колхозников. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

За крутой подъем социалистического сельского хозяйства. Сборник. 204 стр. Цена 3 р. 20 к.

Н. С. Каржанский. Московский ткач Пётр Алексеев. 158 стр. Цена 6 р. 75 к.

В. Москвинов. Репин в Москве. 116 стр. Цена 5 р. 40 к.

По следам древних культур. От Волги до Тихого океана. 336 стр. Цена 12 р. 35 к.

И. А. Шаров. Покорение стихии. 168 стр. Цена 7 р. 40 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

И. Андреев. Диалектический материализм о процессе познания. 99 стр. Цена 1 р. 20 к.

С. Леонов. Молодость. Роман. 646 стр. Цена 11 р. 40 к.

Новая техника на стройках Москвы. Сборник. 433 стр. Цена 29 р.

А. Тарасов. Авангардная роль коммунистов совхоза. 42 стр. Цена 50 к.

МУЗГИЗ

Н. Кашкин. Избранные статьи о Чайковском. 238 стр. Цена 5 р. 50 к.

О музыкальном исполнительстве. Сборник 310 стр. Цена 10 р. 75 к.

В. Стасов. Письма к родным. Том I, часть 2-я. 406 стр. Цена 14 р. 75 к.

ЛАТГОСИЗДАТ

Я. Зарахович. Орлёнок. Повесть. 268 стр. Цена 3 р. 45 к.

В. Спиридонова. Клёны в цвету. Рассказы. 239 стр. Цена 4 р. 90 к.

ЛЕНИЗДАТ

В. Дегилев. Гвардейцы. Повесть. 240 стр. Цена 4 р. 60 к.

Г. Матвеев. Семнадцатилетние. Повесть. 564 стр. Цена 10 р. 55 к.

С. Орлов. Стихотворения. 220 стр. Цена 3 р. 75 к.

МОЛДАВГИЗ

Петря Дариенко. Сердце коммуниста. Стихи. Перевод с молдавского. 180 стр. Цена 2 р. 30 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Алексеев. Костры и зори. 256 стр. Цена 5 р. 60 к.

Е. Орлова. Там, где протекает Обь. 396 стр. Цена 6 р. 30 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

С. П. Антонов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 4/1-55 г.

Подписано к печати 3/II-55 г.

А00441 Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 29.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.